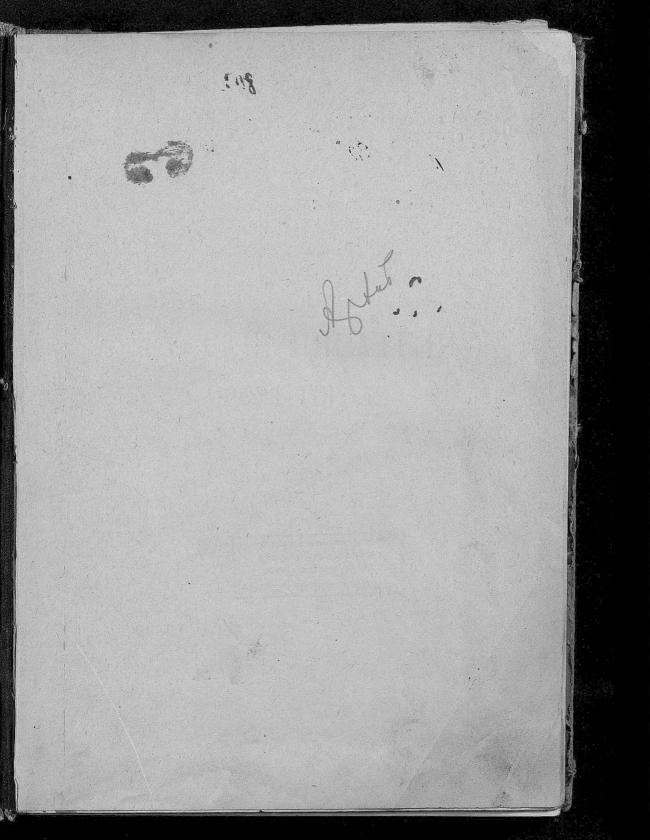
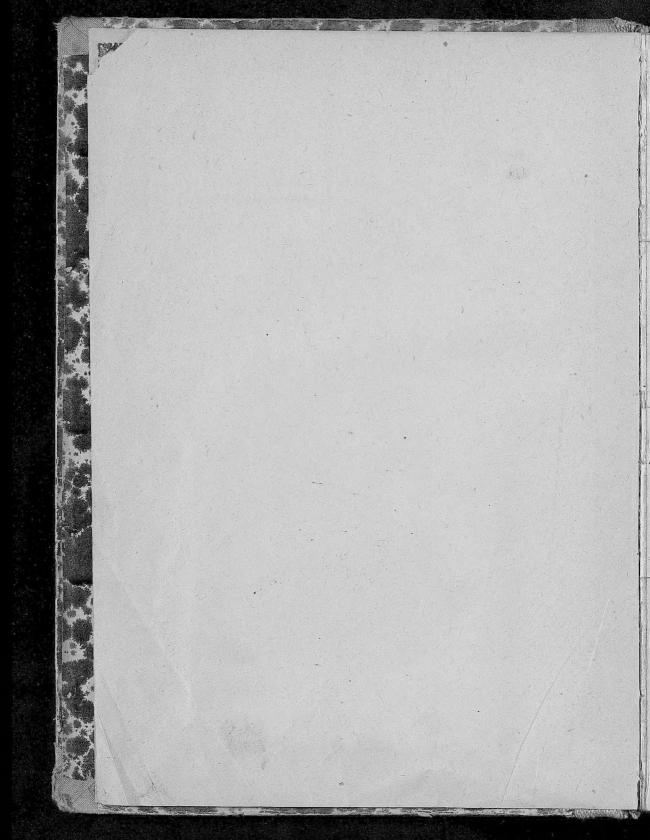


MPBATCHAR MYMCHAR FUMHASIR. 809 Библіотека учелическая M-60 ОТДВЛЪ ... Иб... Инна съ переплетомъ Др. 15 гг. за Зт. Myzen II-26.

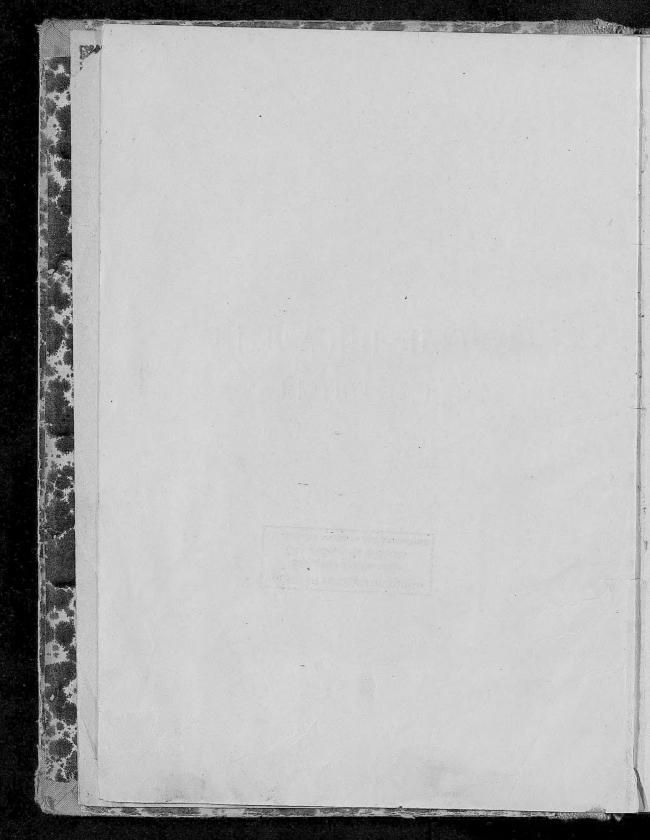




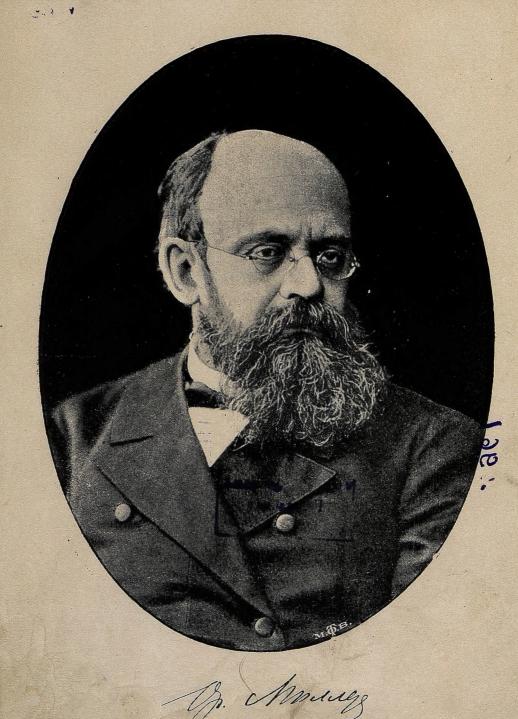
РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ послъ гоголя

муниципальное казённое учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит

«Библиотечная система»







258 1

P 83.3 (2700 8P P991 M60

РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ

послъ гоголя

ЧТЕНІЯ, РЪЧИ И СТАТЬИ ОРЕСТА МИЛЛЕРА

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ проф. И. А. Шляпнина



томъ і

И. С. ТУРГЕНЕВЪ.—О. М. ДОСТОЕВСКІЙ

Изданіе пятое



муниципальное казённое учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит

«Библиотечная система»

Tokariwetka Mockea .

- Etieved - Mockea .

1987



ПЕЧАТЬ ТТЙОГРАФІИ
ТАИЛОЗ-О-М ЛЗ-Т
О-ПЕТЕРОТОВІННЯ ВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІННЯ ВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІННЯ ВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ-ТТОВ-О-ВЕТЕРОТОВІ ВІТЕРОТОВІ ВІТЕРОТОВОТОВІ ВІТЕРОТОВІ ВІТЕРОТОВІ ВІТЕРОТОВІ ВІТЕРОТОВІ ВІТЕРОТОВІ ВІ ВІТЕРОТОВІ ВІ ВІТЕРОТОВІ ВІТЕРОТОВІ ВІТЕРОТОВІ ВІ ВІ ВІТЕРОТОВІ ВІ ВІ ВІТЕРОТОВІ ВІ ВІТЕРОТОВІ ВІ ВІ ВІТЕРОТОВІ ВІ ВІ ВІТЕР

Біографическій очеркъ О. О. Миллера ¹). (1833—1889).

Оскаръ Миллеръ, сынъ таможеннаго Эстляндской губерніи Фридриха Миллера, родился 4 августа 1833 года въ городъ Гансалъ. Рождение Оскара стоило жизни его матери (урожд. баронессв Унгернъ-Штернбергь), а черезъ три года скончался и отецъ его, происходившій изъ шведскихъ выходцевъ въ Эстляндін. Круглый сирота быль взять въ домь бездётнымь дядей своимъ Иваномъ Петровичемъ Миллеромъ, впоследствін генераль-лейтенантомъ (по артиллеріи), а супруга его Екатерина Николаевна (урожд. Чирикова) сделалась Оскару второю матерью. Тъсная горячая любовь привязывала покойнаго профессора къ его тетушкѣ, или, какъ онъ обыкновенно называль ее, матушкъ. Трогательно было видъть впоследствии, какъ немолодой уже профессоръ ухаживаль за своей пріемною матерью, самъ наливаль ей сунь, откладываль лучше куски и безропотно выносиль капризы больной старушки. «Отчего вы не женитесь?» — спрашивали его близкіе люди. — «Богъ знаетъ, какъ поладила-бы моя жена съ матушкой, - говорилъ онъ добродушнымъ тономъ, - да и вообще людямъ, по-

¹) Пособіями служили: О. Ө. Миллерь, біографическій очеркъ В. Г. Глинскаго, Спб. 1890. Очеркъ научной дѣятельности проф. О. Ө. Миллера сост. И. Шляпкинъ Спб. 1889. Намяти О. Ө. Миллера (рѣчь въ Славяпскомъ обществѣ И. Шляпкина. Слав. извѣстія 1889 № 51), рукописные дневники и письма О. Ө. Миллера, находящіеся у автора.

святившимъ себя общественной дѣятельности, лучше не жениться: это еще и Хомяковъ говорилъ—семья связываетъ».

Семья, въ которую попаль четырехлётній Оскаръ, была совершенно русская. Иванъ Петровичъ былъ лютеранинъ, но нѣмецкаго языка не зналъ и даже любилъ подсмёнваться надъ нёмцами. Катерину Николаевну ея пріемный сынъ самъ характеризуеть (въ 1885 г.) такими словами: «при недостаткъ настоящаго образованія, она отличалась, однако, замёчательнымъ природнымъ умомъ и тъмъ чутьем правды, которое заставляло ее, при всей властности ея привычекъ, а отчасти и ея характера, понимать всю мерзость крипостного права». Офицерскій кругъ знакомства семьи Миллера съ ихъ разговоромъ и разсказы о святыхъ бъдной старушки Вассы Савишны причудливо переплетались въ воображеніи ребенка «и отсюда должно быть, —говорить О. О. въ своихъ воспоминаніяхъ, — и произошла та картина, которая мысленно носилась передъ монми глазами: это взятіе Цареграда ратью будущихъ русскихъ крестоносцевъ, во главъ которыхъ находился не кто другой, какъ я самъ, святой Оскаръ Великій, какъ величаль я себя въ ребяческомъ полетъ своего разыгравшагося воображенія». Семья Миллеровъ, по условіямъ военной жизни, побывала въ Петербургъ, Осташковъ, Валдаъ и наконецъ въ Вильнъ. Въ Вильнъ Миллеръ началъ учиться подъ руководствомъ гимназиста Немшевича, о которомъ онъ вспоминалъ съ большою любовью. Мальчикъ издаваль рукописный журналь, писаль драматическія сцены, учился музыкъ, рисованию, гимнастикъ и верховой вздв. Рисоваль онь недурно: у меня сохранились копін масляными красками съ портретовъ Вань-Дейка. Въ Вильнъ было положено основание глубокому религіозному чувству и тёмъ высокимъ нравственнымъ требованіямъ къ себѣ, которыми отличался покойный. Въ семь часто бывалъ арх. Платонъ, впоследстви митрополить кіевскій, говорившій, что онь за такого лютеранина, какъ Иванъ Петровичъ, отдалъ бы десять

православныхъ... Бывала семья и у архіепископа литовскаго Іосифа, возсоединителя уніатовъ. Чистый религіозный пламень охватиль душу маленькаго Оскара. «Христосъ, —разсуждалъ я, —пострадалъ, чтобы искупить человъческий родъ отъ внутреннихъ послъдствий гръхопаденія. Но внъшнія послъдствія его, бользни и бѣдствія, до сихъ поръ остаются не искупленными. Надо, — представлялось мнѣ, — чтобы опять кто-нибудь одина принялъ на себя добровольно всё болёзни и всё бёдствія человічества. И воть мий страстно захотілось быть этимъ однимъ. Я сталъ молиться о томъ, чтобы меня постигли всевозможные недуги, всевозможные виды уродства и искальченія, чтобы я быль всьми заброшень, вслёдствіе моей ужасающей отвратительности, чтобы при этомъ я былъ также вполнъ лишенъ всякихъ матеріальныхъ средствъ и жилъ въ такомъ состояніи долго, долго, только бы цёною моихъ неимовёрныхъ страданій куплено было прекращение всякихъ бользней и всякихъ бъдствій на земль. Я не переставаль молиться объ этомъ довольно долго и не повёряль такого моего настроенія рѣшительно никому». Рядомъ съ этимъ шелъ рядъ искушеній обычныхъ юности, но юноша не сдался... шалунъ и шутникъ, онъ вынесъ твердое убъждение, ни разу не поколебавшееся въ немъ до конца жизни, что «человъкъ, что тамъ ни говори, не животное или, по крайней мфрф, не только экивотное». Въ одномъ изъ своихъ позднихъ стихотвореній Миллеръ прямо говорить:

> «За то, что юности кипучей Соблазновт сладнихт я не зналт, Молю, чтобъ сердца жаръ могучій Во мнё по гробъ не остываль».

Такъ оно, какъ увидимъ, и случилось.

По перевздв изъ Вильны въ Варшаву, въ 1848 г., шестнадцатилътний мальчикъ перешелъ въ православіе и и получилъ имя Ореста. «На самомъ дълъ, —пишетъ Миллеръ, —это даже и не было переходомъ, а этимъ только придавалась внъшняя форма тому, что существовало на

деле съ техъ поръ, какъ я себя помню». Въ Варшаве, среди учителей О. О., особое вліяніе ималь намецкій учитель А. Г. Плеве (родомъ жмудинъ). При чтеніи Шиллера и вообще на урокахъ онъ старался пробудить въ ученикъ философскую пытливость и политическое свободомысліе: въ этомъ отношеніи онъ нашель себѣ непредвиденнаго союзника въ одномъ изъ офицеровъ дядиной дивизін Н. А. Веревкинъ. Вліяніе Шиллера сопровождало Миллера всю жизнь, и не даромъ, теперь тоже покойный, а тогда ректоръ университета, А. Н. Бекетовъ въ надгробной речи (1889 г.) упомянулъ о Шиллеръ, какъ основномъ камнъ міросозерцанія О. Ө. Это не мѣшало тогдашнему «квасному», какъ самъ Миллеръ окрестиль его, патріотизму будущаго профессора. «Началась Венгерская война, предпринятая Николаемъ Павловичемъ, конечно, не ради того, что венгерцы враги славянь, а просто, чтобы поддержать подлую, но милую его деспотическому сердцу Австрію. Она разлучила насъ съ дядей и кончилась для него жестокой контузіей подъ Дебречинымъ съ переломомъ реберъ». Въ 1850 г. Миллеры убхали въ Теплицъ и посътили Дрезденъ, гдъ О. О. восхищался знаменитой Мадонной Рафаэля. Больной дядя получилъ назначение членомъ Совета Государственнаго Контроля въ Спб., и туда отправился и Орестъ Оедоровичъ. Сначала юноша порывался поступить въ военную службу, но затъмъ по настоянию дяди въ августъ 1851 г. выдержаль первымь университетскій экзамень и поступиль на историко-филологическій факультеть, гдф всфхъ студентовъ, по тогдашнему комплекту, было шестеро. «Мы не знали ни кутежа, ни какихъ-либо романическихъ похожденій. Если бы кто нибудь изъ студентовъ вздумаль въ то время жениться, то это не только не было бы позволено, но и сами теварищи насмѣшливо подвели бы его подъ Митрофанушкину пословицу: «не хочу учиться, а хочу жениться». Я и теперь (1886) того же мивнія... Насъ въ университетъ занимала только наука, литература, искусство, понимаемыя пожалуй слишкомъ отвлеченно, помимо непосредственной связи съ жизнью...» Между профессорами Миллеръ вспоминаетъ даровитаго М. С. Куторгу по всеобщей исторін и А. В. Никитенко по русской словесности. Личность А. В. Никитенки, этого превосходнаго человѣка, прекрасно выяснена, благодаря его напечатанному трехтомному дневнику. Проводя эстетическую точку эрвнія въ своихъ лекціяхъ, Никитенко, по словамъ историка Спб. университета В. В. Тригорьева, всегда имълъ въ виду глубокое и высшее значеніе литературы, дающее чувствовать себя въ нравственномъ образовании и развити какъ цёлыхъ обществъ, такъ и отдельнаго человека. При отсутствии курса философін, исключенной изъ тогдашняго университетскаго преподаванія, Никитенко философской стороной своихъ лекцій восполняль насколько возможно было этоть важный пробъль студенческого образования. Въ 1852 году 30 мая въ «Сѣверной пчелѣ» Миллеръ помѣстилъ стихотвореніе «На смерть Жуковскаго»—первое свое печатное произведение:

«И опъ угасъ, нашъ старецъ, духомъ юный, Нашъ лебедь сладостный, нашъ голубь иистотой. Замолкли довственный струны, И кто коснется ихъ невърною рукой? Какъ дъва чистая, поззія его Средь въка буйнаго невинностью сіяла, И мысль безплотную въ видънья облекало Его пебесное перо...»

Въ 1854 г. на сценъ Михайловскаго театра была поставлена патріотическая драма Миллера (безъ имени автора) изъ войны 1812 года «Подвигъ матери», посвященная «драгоцъпной русскому сердцу памяти В. А. Жуковскаго». Въ университетъ Миллеръ писалъ на медаль сочинение о комедияхъ Сумарокова, Фонвизина, Княжнина и кн. Шаховского, и вмъстъ съ А. Н. Пыпинымъ оба получили по золотой медали.

«Подъ конецъ моей студенческой жизни,—писалъ О. О.,—въ университетъ заведена была, въ связи съ тогдашней войной, обязательная маршировка каждый день послъ лекцій. Попечитель постоянно при этомъ присут-

ствоваль. Но воть вдругь умираеть императорь Николай Павловичь, и на другой-же день послѣ его смерти попечитель на маршировку уже не пріѣзжаль, мы же ее обратили въ шутку... Сразу повѣяло новымъ воздухомъ».

Въ томъ же 1855 г. Миллеръ кончилъ университетскій курсъ и остался при кафедрѣ Никитенки для приготовленія къ профессорскому званію. Въ семь своего профессора О. О. встретиль и ту девушку, о которой онъ мечталъ, какъ о своей будущей подругѣ, но мысль объ обязанностяхъ сына по отношению къ тетушкъ и присутствіе мнимаго соперника, извістнаго писателя И. А. Гончарова, заставили Миллера отказаться отъ мысли о собственной семьв. «И воть я принесь жертву, не знаю даже и теперь, заслуга это съ моей стороны или ирихь?..» 1) У Никитенки Миллеръ познакомился, между прочимъ, съ Н. Г. Чернышевскимъ, но отношенія съ последнимъ были не дружелюбныя. Начиная съ 1856 г., на страницахъ Журнала Мин. Народн. Просвъщенія стали печататься статьи Миллера подъ общимъ заглавіемъ «Историческія очерки поэзіи», вошедшія впослідствін въ 1858 г. въ магистерскую диссертацію «О нравственной стихіи въ поэзіи на основаніи исторических данныхъ». Въ основъ книги лежитъ сочинение праваго гегеліанца Карла Розенкранца: «Die Poesie und ihre Geschichte. Eine Entwickelung der poetischen Ideale der Völker». О славянофильствъ и народничествъ тогда покойный профессоръ еще и не думалъ. Вотъ какъ онъ самъ характеризовалъ свою диссертацію въ 1870 году. «Книга «О нравственной стихіи въ поэзіи» была построена такимъ образомъ, что въ ней не затрогивалась ни одна изъ славянскихъ литературъ. Тотъ отвлеченнонравственный и художественный космополитизмъ, котораго я держался, довели меня до того, что я считаль непозволительнымъ урывать время отъ чтенія первосте-

¹⁾ Эта особа, недавно умершая, такъ и осталась въ дъвицахъ, и до конца жизни сохраняла теплое чувство къ покойному профессору, могилу котораго она неръдко посъщала.

пенныхъ поэтовъ западно-европейскихъ народовъ для изученія славянскихъ нарічій и знакомства съ какиминибудь бёдными литературами народовъ, обреченныхъ, по тогдашнему моему пониманію, на вѣчное заимствованіе изъ Европы». Самое строеніе книги страдаетъ большими недостатками, туманностью и расплывчатостью съ замѣной точнаго историческаго обзора своеобразными философскими обобщеніями. Разсмотравь литературу индійскую въ ея идеалахъ самоотверженія и греческую, какъ выставлявшую начало личной самостоятельности, и отдавъ преимущество первой, авторъ указываетъ на высоту христіанской идеи самопожертвованія и отказа отъ своей воли, непонятую въ среднев ковой романтической поэзін и достигшую своего полнаго выраженія у Шекспира. Начало частной жизни и низкаго быта въ новеллахъ и Донъ-Кихотъ слилось гармонически съ началомъ свободной воли у Шекспира. Поэзія Шекспира возсоздаетъ жизнь такъ, какъ она есть, но самыми недостатками своихъ героевъ указываетъ на нравственный идеаль, общечеловъческою высотою и полнотою своей превышающій вст отдёльно-народные идеалы. На туманность и неопределенность, на странную широту темы, на принижение значения личности, на квістические идеалы автора напаль ученый критикъ диссертаціи, упомянутый уже Котляревскій. Недостатки книги, впрочемъ, не помѣшали полученію авторомъ магистерской степени. ІО. О. Самаринъ, въ одномъ изъ примъчаній къ своей стать о крестьянскомъ вопрост, цитироваль книгу, не называя автора, и утверждаль, что въ виду предстоящей крестьянской реформы именно самоотвержение-то и должно быть проповъдуемо. Но буря уже собиралась и поднялась съ другой стороны. Будучи живымъ человъкомъ, Миллеръ не остался на почвѣ умоэрѣній, а кольнулъ и тогдашнее направление литературы — литературы 60 годовъ, уже начинавшей «разрушеніе эстетики». «Ознакомленіе съ наукой о поэзіи, которая и есть выразительница нравственности, —писалъ О. О., —особенно необходимо въ наше время, когда преимущественное

развитие такъ называемыхъ естественныхъ и реальныхъ наукъ приковываетъ все внимание человека до того, что онъ наконецъ во всемъ видитъ одну матерію и ею ограничиваетъ свое собственное существо. Въ виду другихъ наукъ идеальныхъ, наука поэзін можетъ служить сильнымь противодействиемь такой односторонности... Она имъетъ еще особенное, мъстное значение для насъ и именно въ настоящее время... Странное и тягостное чувство овладаваетъ душою, когда, проходя весь кругъ нашей современной литературы, находишь въ ней только однѣ и тѣ-же постоянныя темы современной намъ жизни съ ихъ ограниченнымъ добромъ, съ избыткомъ зла или пустоты... Не выпускають насъ изъ тъснато очерченнаго около насъ круга, и не является у насъ поэта, который мощною рукою сорваль бы всё запоры и вывель насъ на вольный свёть Божій, даль бы подышать намь всёмъ, что есть въ немъ прекраснаго и живительнаго для него». (О нрав. стихін стр. 294). Этихъ словъ, соединенныхъ съ проповёдью отреченія отъ своей воли для высшаго нравственнаго совершенствованія, было достаточно для Добролюбова, кстати сказать, лично Миллера вовсе не знавшаго. Смешавъ юнаго романтика съ ненавистною для него партією обскурантовъ, туманныя отвлеченности Миллера съ филистерствомъ и прекраснодушіемъ, онъ обрушился на молодого ученаго со всёмъ жаромъ своей кипучей натуры и грубостью семинариста 50 годовъ. «Не върьте, —писалъ Добролюбовъ, —что нравственность состоить въ отречении отъ своей воли и ума, какъ силится увърить г. Орестъ Миллеръ, и внайте, что, напротивъ, всякій, кто поступаетъ противъ внутренняго убъжденія, поступаетъ безчестно и подло, всякій, потерявшій силу свободнаго самостоятельнаго дійствія, есть жалкая дрянь и тряпка и только напрасно поворить свое существование». (Соч. Добролюбова, изд. 2-е, т. II, стр. 380).

Молодой авторъ былъ придавленъ такимъ отзывомъ. Онъ хотълъ отвъчать, объяснить, что его не поняли, что его передергиваютъ—напрасно: имя его было ошель-

мовано, пи одна редакція не соглашалась напечатать его отвѣта 1), многіе нзъ представителей литературы отъ него отворачивались... «На меня была наложена какая-то печать отверженія. Я сильно страдаль отъ этого, хотя въ настоящее время и долженъ признать свое уязвленное самолюбіе крайнимъ малодушіємъ. Только, когда мой университетскій товарищь И. Х. Вессель сталь издавать вийсти съ О. И. Паульсономъ педагогический журналь «Учитель», представилась мнв возможность печатать въ немъ сперва статью «Білинскій, какъ педагогъ», а потомъ отдёльными главами мой «Опытъ историческаго обозрѣнія русской словесности». Но все проходить въ этомъ мірѣ... Лекцін о Шиллерѣ, читанныя въ 1860 г. по поводу столетняго юбилея рожденія поэта, имъли успъхъ среди публики, несмотря на то, что основныя идеи лектора остались тѣ же, что и въ «Нравственной стихіи», но на этотъ разъ строже формулированныя. Въ Шиллеръ всего выше стоитъ его идеализмъ, а идеализмъ этотъ, по словамъ Миллера, не уживаясь вообще съ дъйствительностью, какъ она есть, не уживается и съ дъйствительностью отдельныхъ личностей, предписываетъ упорный трудъ надъ самимъ собой, внутреннюю переработку себя по идеальному образцу. Вотъ этого-то труда мы не любимъ: намъ хотълось бы двигать общество къ лучшему, не исправляя отдёльныхъ личностей, потому что къ этимъ личностямъ принадлежимъ и мы сами; намъ хотълось бы быть прогрессистами, но дешевымъ образомъ-безъ подвиговъ и борьбы съ собой, безъ самоотвержения и самогосподства» (Шиллеръ и его время. Спб. 1801, стр. 113). Публичныя лекцін о Бълинскомъ не были разръщены Миллеру по «нецензурности темы», но были прочитаны частнымъ образомь въ квартира дяди О. О., гда была большая зала.

¹⁾ Статьи Миллера, угверждавшаго, что безь правственнаго начала невозможна и настоящая гражданская свобода, была отвергнута и редакторомь тогдашняго «Русскаго Въстника». Тогда Катковъ быль англоманомъ и въ то-же время цензоръ Касторскій называль Миллера — краснымъ. Впослідствіц въ томъ же журналів Миллера обвиняли въ политической неблагонадежности.

Крестьянской реформ 1861 г. горячо сочувствоваль и самъ О. О., и его тетушка, и дядя, хотя и ворчавшій по поводу земельных надаловъ. Въ это время Миллеръ сотрудничаль въ журналѣ «Учитель», давалъ уроки въ Смольномъ институтъ во времена инспектора К. Д. Ушинскаго, съ которымъ О. Ө. прожилъ целое лето на кумысь, въ Маріинскомъ институть и наконецъ знакомится съ русской народной поэзіей-богатырскимъ эносомъ. «Покойный дядя мой,—пишетъ 0, 0.,—положилъ на рабочій мой столь, вскор'є по ихъ появленіи въ св'єть, первые выпуски пѣсенъ Кирѣевскаго... Я въ продолженіе цёлыхъ місяцевь даже не раскрываль этихъ завѣтныхъ книжекъ, продолжая усердно учиться «гражданству вселенной» у Шиллера или отвлеченно наслаждаться Шекспиромъ и вовсе не воображая, что вскоръ придется отъ нихъ перейти къ безграмотнымъ Ильямъ Муромцамъ» (Илья Муромецъ и богатырство кіевское. Спб. 1869, І). Въ концъ 1862 г. О. Ө. отправился за границу сначала въ Гейдельбергъ и Берлинъ, гдъ, между прочимъ, познакомился съ внаменитымъ Яковомъ Гриммомъ, восхишавшимся реформой 19 февраля. Въ Прагѣ Миллеръ воочію познакомился со славянствомъ. Едва ли мы ошибемся, сказавъ, что его особыя симпати вызывалъ къ себъ тотъ славянскій народъ, который по высотѣ своего развитія стоить наравив съ романо-германскимъ міромъ — чехи. Вотъ какъ горячо говорилъ профессоръ о чехахъ и Іоаннъ Гуссъ въ своей ръчи 1885 г. (Поэма Менодіевскаго дня). «Между западными нашими братьями есть великій народъ, на знамени котораго написано имя, ярко сіяющее въ воспоминаніяхъ славянства наряду съ именами солунскихъ братьевъ. Когда папство, не удовольствовавшись запретомъ на народный языкъ въ богослужении, вапретило народу и доступъ къ Христовой чашъ, святотатственно обративъ ее, страшно сказать, въ монополію одного духовенства, тогда смёло возсталь за Христовы слова «пінте отъ нея вси!», какъ и за благодатный даръ Духа Святого, даръ языковъ, тотъ для всёхъ великій славянскій мученикъ, о грѣшномъ судѣ надъ которымъ,

конечно, не могли позабыть да и не позабыли чехи...» Въ письмахъ изъ Праги, посланныхъ И. С. Аксакову и напечатанныхъ въ «Днъ», Миллеръ, по его позднъйшимъ словамъ, «проводилъ мысль, которую и теперь провожу въ ръчахъ своихъ въ Славянскомъ обществъ, мысль о томъ, что Россіи, для исполненія своей славянской миссін, слёдуеть усвонть себё самую свободолюбивую, радикальную политику». Въ это время профессоръ-уже убѣжденный славянофиль - народникъ: «Въ 1862 году попались мнѣ первые листы «Дня» И. С. Аксакова и. уже подготовленный народными пъснями, я почуялъ и въ этихъ листахъ что-то свежее, новое и такое, съ чемъ, казалось, давно бы надобно согласиться... Если самъ я оставался до той поры не затронутымъ чувствомъ русской народности, то только вследствие односторонняго направленія въ ход'є развитія нашей образованности... Могучее чувство народности вдругъ меня охватило, и въ силу его я съ тъхъ поръ посвятилъ свою жизнь изученію народности и родной старины». Осенью 1863 г. Миллеръ въ качествъ приватъ-доцента началъ чтеніе лекцій въ Спб. университет по народной словесности. Въ 1867 году онъ былъ членомъ славянскаго съёзда и лично познакомился со многими представителями славянства. Въ прощальной рачи при отправлении славянъ въ Москву вызвало шумное одобрение заявление Миллера, что онъ «дорожитъ самостоятельностью каждаго изъ славянскихъ народовъ и не жужжитъ имъ въ уши о главенствъ Россіи... Общность и равноправность-вотъ она, славянская правда; не удивляйтесь-же, что о ней говоритъ человъкъ съ нъмецкимъ именемъ». Въ мартъ 1867 г. скончался дядя Миллера: новыя обязанности легли на О. О., и онъ терпъливо и любовно несъ ихъ до смерти своей тетушки († 1884). Научная діятельность профессора за это время главнымъ образомъ была посвящена изученію народной психологіи вообще и русской народной поэзіи въ связи съ славянскими песнями въ частности. Ему пришлось изучить для этой работы почти всѣ славянскія наржчія и перебрать все, что было написано

о славянской пародной поэзіп. Плодомъ этихъ занятій явилась объемистая, печти въ 1000 стр. книга: сравнительно критическія наблюденія надъ слоевымъ составомъ народнаго русскаго эпоса. «Илья Муромецъ и богатырство кіевское». Спб. 1870 г. Книга эта, доставившая автору докторскій дипломъ, представляетъ по истинѣ гигантскую работу по всему русскому эпосу; въ ней заключаются матеріалы и зародыши большинства мніній, появлявшихся впоследствии въ этой области, хотя общее построеніе ея и личные взгляды автора теперь уже устарѣли. Въ главныхъ положеніяхъ слышится тотъ же непоколебимый ревнитель правственной стихіи въ поэзіи. «Какъ Владиміръ кіевскій служиль въ эпост средоточіемъ вившнимъ, такъ средоточіемъ внутреннимъ, душой эпоса является у насъ крестьянскій сынъ Илья Муромецъ. Онъ является представителемъ заботы о ненарушимости свободныхъ порядковъ, сохраненныхъ отъ древней въчевой поры и хранителемъ объединенной Руси и защиты отъ всякихъ витинихъ враговъ. Рядомъ съ этимъ, Илья Муромецъ представляетъ такой выработавшійся въками, совершенно живой, вполнъ удавшійся идеаль народный, которому ничего соотвётственнаго не можеть представить наша литература, до сихъ поръ (1870) отличающаяся замёчательными созданіями преимущественно въ отрицательномъ родъ, съ другой же стороны скорте вооружающая противъ всего идеальнаго неудачностью своихъ, по большей части заоблачныхъ, безпочвенных идеаловъ». Съ тъхъ поръ идеальный образъ Ильи Муромца явился для О. Ө. живымъ образомъ, живымъ воплощениемъ народнаго идеала. Вотъ какими чертами нарисоваль его Миллеръ въ одномъ изъ своихъ стихотворсній:

Илья Муромецъ.

Передо мной ты съ плотью, съ кровью Возсталь нашь богатырь Илья, И съ изумленьемъ, и съ любовью Въ тебя сталь всматриваться л: Ты не берешь сребра иль злата, Не падокъ ты на славу, власть, Ты обуздать умжешь страсть, За то душа твоя богата Любовью къ вдовамъ, сиротамъ... Не ради князя и княгини, Не ради райской благостыни, Ты ради Руси-страхъ врагамъ! Не дашь ты стольному забыться, Ты поприжмешь князей, бояръ Замъсто недруговъ-татаръ; Пойдешь съ Владиміромъ мириться, Лишь настрёлявъ златыхь верховъ Для угощенья бедняковь, Лишь съ темъ, чтобъ вспьхо ихъ за собою Вести на княженецкій пиръ... Я вѣрю: день не за горою, Когда съ повинной головою Къ тебъ на судъ придетъ весь міръ...

Свою речь на диспуте Миллеръ закончилъ словами: «Будущее должно принадлежать народнымъ началамъ, если върно, что будущее принадлежитъ народамъ». Мы не будемъ поднимать изъ пыли тѣ полемические приемы, которыми была встржчена эта книга. Досталось порядочно «этому отчаянному любителю первоначальнаго арійскаго сродства древнихъ литературныхъ произведений; этому бъдному близорукому (О. Ө. дъйствительно былъ близорукъ) человъку, вынужденному говорить о томъ, что ему не по плечу; этому «Менцелю», уморительному своимъ лжелиберальничаньемъ и лжедемократизмомъ etc.» Книга Миллера быстро разошлась, легла въ основу нашихъ учебниковъ, трактующихъ о народной словесности, да и доселъ цитируется въ ученой литературъ. Но съ трудомъ О. Ө. получилъ утверждение въ звании экстраординарнаго профессора. Тогдашній министръ народнаго просвъщения графъ Д. А. Толстой производилъ классическую реформу гимназій, а Миллеръ писаль противъ нея въ «Голосъ» указывая, какъ и князь А. И. Васильчиковъ, на затаенную цёль классицизма-аристократизированіе нашего средняго образованія. Но Миллеръ сталъ уже «популярнымъ» профессоромъ и съ увольненіемъ его по 3 пункту, которымъ грозилъ попечитель ки. Ливенъ. пока поцеремонились.

Частое чтеніе публичныхъ лекцій въ пользу студентовъ постепенно перевело Миллера въ общедоступную область новъйшей литературы. Онъ начались съ 1871 г. чтеніями «Объ общественныхъ типахъ въ повъстяхъ И. С. Тургенева. Ни постоянныя отрицательныя тенденціи журнальной публицистики, ни эстетическая критика не были по душѣ лектору. Онъ прямо и неоднократно заявляль: «Разбирая писателя, я не говорю о самомъ писатель, о его міросозерцаніи или о пріемахъ его творчества и о степени присущей ему силы; я разбираю тѣ явленія общественной среды, которыя отразились въ его главивишихъ типахъ». Отмвчая въ своихъ публичныхъ лекціяхъ о Тургеневѣ и Толстомъ 1874 года отличительныя черты героевъ этихъ романистовъ, онъ объясняетъ ихъ постоянную «тоску», ихъ прерывистое увлечение то тъмъ, то другимъ идеаломъ именно оторванностью отъ почвы, отъ простого народа, народа той земли, которую «въ рабскомъ видъ Царь Небесный исходиль благословляя».

Въ 1876 г. произошло извъстное славянское движеніе на Балканскомъ полуостровѣ, и вспыхнули русскія симпатін къ славянству. Миллеръ считаль эту пору самой счастливой порой въ жизни, хотя онъ быль лишенъ, правда на короткое время, права читать публичныя лекцін и могъ лишь произносить річи въ Славянскомъ обществъ. Это была пора... но мы опишемъ ее словами самого Миллера: «Это была пора страстнаго порыванія русскихъ людей на выручку къ сербамъ, возставшимъ за славянскую независимость, пора всенароднаго трепетнаго расхватыванія телеграммъ съ в'єстями о ході неравной борьбы, о новыхъ турецкихъ жестокостяхъ, новыхъ многочисленныхъ жертвахъ, принесенныхъ добровольцами, но за то порой и о новыхъ, богатырски-неимовърныхъ черногорскихъ побъдахъ. Это была пора, когда становилось такъ трудно отдаться своимъ обычнымъ житейскимъ занятіямъ, потому что такъ постоянно и сильно щемило сердце, и совстви невозможными становился покой, но когда ощущался за то такой могучій

подъемъ во всемъ вашемъ существѣ отъ живого участія въ великомъ всенародномъ движени». О. Ө. горячо взялся за дёло помощи нуждающимся славянамъ. Онъ содействовалъ и обширною своею перспискою съ нашими и иностранными деятелями за границей и на востоке (митрополитомъ сербскимъ Миханломъ, П. Л. Куликовскимъ, А. П. Хитрово, П. Л. Ровинскимъ, Фарлеемъ, Рамбо и др.), писаль пылкія статьи въ русскихъ и иностранныхъ журналахъ, составлялъ тексты воззваній о помощи славянамъ, читалъ о нихъ лекціи, посылалъ деньги и книги въ славянскія земли и т. д. Плодомъ этого служенія «новой наступившей исторической эръ» была книга «Славянство и Европа», Спб. 1878, гдъ противополагается восточное начало свободной общины западному началу исключительности свободной личности. Впрочемъ, вскоръ Миллеру «пришлось горько убёдиться въ томъ, что новая историческая эра далеко еще не наступила-это было одно изъ самыхъ убійственныхъ разочарованій въ его жизни». Славянское общество сблизило Миллера съ Достоевскимъ, гдъ послъдній подъ конецъ своей жизни былъ товарищемъ председателя, чрезъ совиестное участие съ Достоевскимъ въ публичныхъ чтеніяхъ, на которыхъ доставались великому писателю именно со стороны молодежи самыя восторженныя оваціи. Въ 1874 году Миллеръ на своихъ публичныхъ лекціяхъ о русской литературѣ послѣ Гоголя, гдѣ собиралось до тысячи человѣкъ, нападалъ отчасти на «Бѣсовъ» Достоевскаго-эту пророческую книгу, какъ назвалъ ее де-Вогюэ въ своихъ этюдахъ о Достоевскомъ.

Мрачные восмидесятые года, время безпрестанных взрывовъ, подкоповъ, выстръловъ, спутанности и недоумънія выдвинули О. М. Достоевскаго такъ высоко, какъ
никогда еще не подымался ни одинъ изъ русскихъ писателей. Разъяснителемъ значенія произведеній Достоевскаго, указавшимъ сходство его пдеаловъ съ идеаломъ
русскаго народа, и явился покойный профессоръ. Послъ
смерти Достоевскаго въ 1882 г. Миллеръ уже открыто
и смъло выступилъ защитникомъ «Бъсовъ» и заповъди

«не убій». Не разсчитывая на популярность, Миллеръ напаль на то направление, которымь было подготовлено 1 марта 1881 года и его пагубныя последствія, «Студенты сочувствовали моимъ словамъ, хотя многое въ нихъ, какъ и у Достоевскаго, гладило нашу молодежь совсёмъ не по шерсткъ. Тогдашній ректоръ университета И. Е. Андреевскій какъ-то замітиль мні, что только я могу такъ говорить, не рискуя быть освистаннымъ. Христіанство, пропов'єдываемое огнемъ и мечомъ, не оказалось настоящимъ христіанствомъ; цивилизація, насажденная у насъ петровскимъ терроромъ, не оказалась настоящей цивилизаціей; такъ и рай земной, насаждаемый тёмъ же терроромъ, выстрёлами и взрывами, никогда не окажется настоящимъ раемъ. Цёль никогда и нигдъ не оправдываетъ средствъ. Идея, какая-бы она ни была, никогда не должна быть навязываема силою, она есть результать убъжденія, а убъжденіе возможно только при полной свобод'в слова». Эти иден представляютъ общее credo профессора въ 80 годахъ, и ихъ онъ проводилъ и въ своихъ лекціяхъ въ университетъ, и на высшихъ женскихъ курсахъ, и въ своей біографіи Достоевскаго, и въ этой, выдержавшей четыре и ныих выходящей въ пятомъ изданіи, книгъ «Русскіе писатели послѣ Гоголя», и въ послѣдней своей книжкѣ «Г. И. Успенскій». Но книгу прочтеть не всякій, книга убита газетой, и вотъ О. О. съ свойственнымъ ему юношескимъ пыломъ отдается публицистикъ, оставивъ въ сторонъ кабинетную научную дъятельность. Да и личныя обстоятельства жизни вели его къ тому-же. Въ 1884 году скончалась его тетушка, и профессоръ остался совершенно одинокимъ. 30 ноября 1885 г. онъ началъ читать въ Соляномъ Городкъ лекціи о русской поэзін послъ Пушкина; ихъ должно было быть 12, но прочтено 3. При объяснении стихотворения «Чернь» Пушкина, Миллеръ указалъ, что подъ чернью можно подразумъвать и аристократовъ и придворныхъ, ни о чемъ кромъ себя не думающихъ. Это вызвало нападки «Гражданина» Мещерскаго. Лекціи были прекращены, В. П. Коховскому завѣ-

дывавшему лекціями Соляного Городка сдёланъ выговоръ. Въ 1886 г. справляли юбилей Миллера, вызвавшій взрывъ единодушнаго къ нему сочувствія учениковъ, товарищей и почитателей; все дъто этого года онъ проработалъ надъ книгой «Русскіе писатели послѣ Гоголя»; а въ 1888 году О. Ө. Миллеръ былъ уволенъ безъ прошенія изъ Спб. университета по постановленію сов'єщанія мииистровъ Ванновскаго, Делянова и оберъ-прокурора Победоносцева. Дело произошло такимъ образомъ. Горячій поборникъ свободы слова, онъ понималъ его значение въ ту мрачную эпоху русской жизни. «Мы живемъ въ такую пору, когда не только за всякое сфальшивленное, но и за всякое недосказанное слово приходится отвѣчать передъ Богомъ... свобода слова представляется не только правомъ, но и обязанностью каждаго гражданина. Свобода слова, по такому понятію, не есть что-нибудь даруемое и отнимаемое по человическому велиню, она есть прирожденный даръ Божій:

> Да, наложить на разумъ цёни И слово можеть умертвить Лишь Тотъ, Кто властень вихрю въ степи И солицу въ небё запретить....

И я по мъръ силъ моихъ останусь въренъ такому взгляду

до послѣдняго моего издыханія».

Эти слова помѣщены въ статъѣ «Славянофилы и Катковъ» въ «Русскомъ курьерѣ» 1887 г. № 267. Статья эта представляла изъ себя сокращение университетской лекции по поводу кончины Каткова, жестоко преслѣдовавшаго, какъ извѣстно, реформаціонную дѣятельность императора Александра ІІ-го. Эта лекція и была причиной увольненія Миллера изъ университета и негласнаго за нимъ полицейскаго надзора.

«Славянофильское направленіе, — писалъ Миллеръ, — дорогое уму моему и сердцу, не должно быть смѣшиваемо съ другими направленіями, которыя безразлично называются исповѣданіемъ de vieux parti russe, der altrussischen Partei. Я, какъ убѣжденный послѣдователь Хо-

мякова, Самарина и Аксаковыхъ, всегда возставалъ противъ такого смъшенія. Они утверждали, что государство почерпаеть свою настоящую силу въ постоянномъ общеній съ землею, въ узнаваніи отъ нея же самой ея нуждъ и стремленій, возможномъ только при свобод'є голоса земли... Народосовътіе совътъ всенародныхъ людей представляеть не право, а обязанность свободно заявлять свою нужду, святую обязанность, оказывать верховной власти ту помощь, безъ которой она безсильна на то, къ чему ее призываетъ церковь---на върное служеніе человічеству. На этой вовсе не политической почет вполнт сходятся потомокъ удёльныхъ князей-Курбскій и мизинный человѣкъ или простецъ, какъ называлъ себя Посошковъ. Они сходятся на ней, не какъ аристократъ съ демократомъ, которымъ никогда и нигдъ не сойтись, а какъ сыны той единой Христовой церкви, въ лонъ которой всъ братья и только братья. Это то русское понятіе, которое испов'ядываль передь Петромъ Великимъ Посошковъ, голосъ котораго, вполнъ сочувственный просвътительной реформъ, но не сочувственный проведению ся безъ всякаго спроса у земли, такъ и заглохъ у насъ, пока не раздался снова въ ученіи славянофиловъ. Нашъ типъ государства-это не тотъ старый, по преимуществу типъ полицейскаго государства (теперь сказали бы бюрократическаго И. Ш.), усвоенный было нами съ петровской реформой. Это и не тотъ византійскій государственный типь, который является для насъ политическимъ соблазномъ въ ту древнюю пору, когда, по мъткому выражению митрополита Макарія (Булгакова), греки играли у насъ роль впослъдствін перешедшую къ нѣмцамъ. Правительству-сила власти, земль — сила мнънія. Но это народосовътіе, этотъ голосъ земли — не сословная привиллегія, не демократизмъ... Гдт демократизмъ-тамъ и любоначаліе народной массы, котораго, какъ и всякаго дурного любоначалія не благословляеть и не можеть благословить церковь»...

Невольная разлука съ университетомъ, поднадзорное положение опальнаго, трудное денежное положение, тог-

дашняя внутренняя политика, все это тяжело ложилось на душу профессора-идеалиста. Единственною тихою отрадою для О. О. быль юноша, его родственникь, который составляль для него всю семью. Какь будто провидя грядущее, Миллеръ посвятиль ему стихотвореніе, въ которомь горячо желаль,

Чтобъ всявдъ за страшною борьбою, Которой намъ не миновать, Съ иною лучшею порою Настала тишь, да благодать, Когда Россів вев народы На мирный подвить призоветъ И знами братства и свободы Надъ Божьимъ міромъ развериетъ.

Но, несмотря на эту надежду, тяжело жилось нашему идеалисту, и онъ писалъ:

> Не дай мив Богъ сойти съ ума, Не дай и оскудъть трудами, И не достанься мив съ годами Недужной старости тюрьма.

Поэть желаль бы, чтобъ онъ

Въ бою съ неправдою суровой Столномъ стоялъ врагу на страхъ, Съ неодолимо-сильнымъ словомъ На несмолкающихъ устахъ, И смертью на людяхъ мгновенной Закончилъ путь свой дерзновенный...

Его желаніе исполнилось. 1 іюня 1889 года около полудня Орестъ Өедоровичъ Миллеръ почувствовалъ себя дурно, упалъ на улицѣ, недалеко отъ своего дома, но пришелъ домой и нѣсколько оправился. Послалъ за докторомъ. Подписавъ нѣсколько бланковъ для выдачи вспомоществованія бѣднымъ студентамъ отъ Общества вспомоществованія студентамъ, онъ снова почувствоваль себя дурно и скончался пять минутъ спустя въ креслѣ у письменнаго стола. Несмотря на лѣтнее пустынное время, Миллера провожала до мѣста его успокоенія (на Смолен-

скомъ кадбищѣ, близъ церкви Смоленской Божьей Матери) громадная толпа со множествомъ вѣнковъ. Рѣчи произносили о. Антоній Храповицкій, А. Н. Бекетовъ, В. И. Семевскій, А. С. Будиловичъ, Н. С. Карцовъ,

В. М. Тупиковъ и пишущій эти строки.

Прошло десять лътъ, и въ 1899 г. на могилъ говорилъ какому-нибудь десятку слушателей ученикъ покойнаго, тоже покойный, проф. И. Н. Ждановъ. Но университетъ не забылъ Миллера; студенческая столовая посвящена его имени и не даромъ. Сколько бъдняковъ благословляло его имя, имя человіка, который буквально роздала свое имущество неимущимъ, -- его пришлось похоронить въ старомъ рваномъ платъв и бельв. Сколько широкихъ дёлъ общественнаго благотворенія совершилось благодаря его неутомимой настойчивости въ Литературномъ фондъ, въ Обществъ вспомоществования студентамъ, въ Славянскомъ благотворительномъ обществъ... Онъ не зналь враговъ, кромѣ враговъ по убѣжденіямъ. Убѣжденія шли у него рядомъ съ жизнью, напоминавшей житія первыхъ христіанъ. Миллеръ жилъ и умеръ дъвственникомъ при страстной кипучей натуръ, и не даромъ лица, знавшія его близко, называли его евангельскимъ, святымъ человъкомъ.

Проф. И. Шляпкинъ.

ОТЪ АВТОРА

Восьмильтній промежутокъ времени отделяетъ настоящее изданіе отъ предыдущаго, вышедшаго подъ общимъ заглавіемъ монхъ «Публичныхъ лекцій» въ 1878 г. Много съ тъхъ поръ утекло воды. Мнъ пришлось послъ того читать новыя публичныя лекціи и болже вдумчиво, какъ мнѣ кажется, отнестись въ нихъ ко многому. Эти лекиім посвящены были Ө. М. Достоевскому, передъ которымъ я считалъ себя виноватымъ, въ чемъ и признался въ некрологъ его, напечатанномъ мною въ «Русской Мысли» (мартъ 1881 г.). «Я недавно перечелъ, сказано было тамъ, мой отзывъ о «Бъсахъ» и нашель въ немъ не что иное, какъ общее мъсто съ казенно-либеральнымъ оттънкомъ. Тутъ-же я понялъ и односторонность моего тогдашняго взгляда на «Преступленіе и наказаніе»... Я все еще быль тогда, такъ сказать, въ переходномъ періодѣ, и это выразилось въ моихъ лекціяхъ обиліемъ общихъ мѣстъ. А Өедоръ Михайловичъ именно ихъ-то и не могъ выносить. Дъло въ томъ, что въ нихъ сказывается не одна недодуманность, но и недостатокъ характера».

Вмёсто тёхъ двухъ лекцій, которыя посвящены были Достоевскому въ двухъ прежнихъ изданіяхъ, въ настоящемъ помѣщены цѣлыхъ пять, посвященныхъ его дѣятельности вообще, сверхъ же того еще и другія лекціи, посвященныя отдёльнымъ ея сторонамъ, а также двѣ рѣчи и двѣ статьи. Такія-же точно пополненія позднѣйшими чтеніями, різнами или статьями внесены и въ отдёлы, посвященные И. С. Тургеневу и Л. Н. Толстому (обзоръ дъятельности М. Е. Салтыкова пополненъ тъмъ, что имъ написано было съ 1878 г., хотя я нигде не читалъ и ничего не печаталъ о немъ съ тъхъ поръ). За то изъ настоящаго изданія исключено то, что посвящено было въ прежнихъ Н. А. Некрасову, такъ какъ я имію въ виду включить его современемъ въ особый трудь о нашихъ писателяхъ въ стихотворной формв послѣ Пушкина и Лермонтова (что составляло предметъ задуманныхъ мною въ прошломъ году публичныхъ лекцій, которыхъ прочитано было всего три).

Соотвётственно сдёланнымъ въ настоящемъ изданіи измёненіямъ ему дано и другое заглавіе, и оно выходитъ въ двухъ частяхъ, вслёдъ за которыми, подъ тёмъ-же заглавіемъ, удобно могутъ появляться въ свётъ и дальнёйшія. Поживемъ — поработаемъ 1).

Ор. Миллеръ.

28-го іюля 1886 г.

¹⁾ Цитаты приведены у меня безъ указанія страниць, такъ какъ это не было бы удобно при различныхъ изданіяхъ разбираемыхъ мною писателей. Но въ разборѣ «Вратьевъ Карамазовыхъ» такія указанія есть, при чемь я имѣю въ виду полное собраніе сочиненій θ . М. Достоевскаго въ 14 томахъ. Такія же указанія есть п въ статьѣ, посвященной послѣднему (ХІІ-му) тому сочиненій гр. Л. Н. Толстого, и еще кое-гдѣ.

нъсколько словъ

о гоголъ и критикъ гоголевскаго періода

(вмъсто введенія).

Гоголь окончательно водвориль въ русской литературъ то, въ чемъ она такъ долго нуждалась, но что ей далось не легко. Въ русской литературъ такъ долго преобладало направленіе, чуждое жизни. Оно неизмінно въ ней сохранялось не только при долгосрочномъ вліяніи на насъ Византін, вовсе не подходившей къ намъ ни по возрасту, ни по своимъ, неподдавшимся христіанству, бытовымъ и культурнымъ основамъ, но и при позднейшей, все болье и болье учащавшейся, смыт различныхъ постороннихъ вліяній. Въ этомъ смыслѣ у насъ постоянно господствовала схоластика, хотя собственно такъ-называемое схоластическое направление пришло къ намъ заднимъ числомъ изъ западной Европы уже на смѣну заматерѣлому византійству. Такъ-называемое схоластическое направление замънилось псевдо-классицизмомт; въ сущности-же оно продолжало существовать и въ этой новой литературной школт со встми ея героями, не имтющими ничего общаго не только съ нашею жизнью, но даже и съ жизнью какой-либо опредёленной страны. Затёмъ совершился переходъ къ сентиментальному направленію, дъланнымъ слезамъ, дъланнымъ чувствамъ, къ изображенію житья-бытья нашихъ русскихъ простолюдиновъ въ

идиллическомъ блескъ пастушеской Аркадіи-та-же старая ложь, тотъ-же въчный разладъ съ дъйствительностью! Затъмъ настала пора романтизма съ его заоблачными мечтами, съ его удаленіемъ въ глубь чужой среднев ковой поры и вообще въ отдаленную глубь временъ. Но даже и позже, у Пушкина, этого великаго провозвъстника новаго направленія, жизненнаго и правдиваго, даже и у него старая закваска порою сказывается еще въ видъ того художническаго квіэтизма (покоелюбія), который запирался въ своемъ самодовольномъ я и среди этой привольной пустыни не хотёль уже знать ничего о «житейскихъ волненіяхъ». Но издавна уже, съ другой стороны, начинаетъ просачиваться и иная струя, струя жизненная, правдивая. Она сказывается во многихъ мъстахъ нашей лѣтописи, запечатлѣнныхъ свѣжестью красокъ нашей родной действительности, въ горячо затрогивающей современность чисто христіанской пропов'єди нікоторыхъ духовныхъ писателей, въ стремлении пѣвца Игорева пѣть «по былинамъ своего времени», въ его глубокомъ горѣ о розни въ родной землъ, она сказывается въ яркой прямот' посланія архіепископа Вассіана къ Іоанну III и писемъ Курбскаго къ Грозному, въ прямо христіанскомъ дух посланія заволжских старцевь къ одному изъ столновъ нашего византійствующаго фанатизма. Позже мы видимъ ту-же живую струю и въ той върной картинъ нашихъ до-Петровскихъ порядковъ, которую рисуетъ смълое перо самоучки Посошкова, и въ различныхъ запискахъ по современнымъ вопросамъ великаго Ломоносова. Та-же струя сказывается въ сатирѣ Кантемира, Фонвизина и Новикова, въ лирическомъ сатиризмѣ Державина, неожиданно и пріятно изумившемъ тогдашнюю публику, утомившуюся отъ прежнихъ надутыхъ одъ. Въ XIX в. струя эта расширяется въ комедін Грибовдова, въ басняхъ Крылова, въ полныхъ жизненной правды картинахъ русскаго быта у Пушкина и у Лермонтова. Но окончательно пробивается эта-струя и становится цёлымъ могучимъ потокомъ, потокомъ, захватывающимъ почти всю нашу литературу, - уже со временъ Гоголя.

Кто не знаетъ Гоголя? Кто не помнитъ его типовъ? Кто не помнитъ, между прочимъ, его «очаровательнаго» Манилова, въ составъ котораго «было черезъ-чуръ много передано сахара»; кто не помнитъ этого милаго человъка, который такъ любиль мечтать о томъ, «какъ было-бы хорошо, если-бы вдругъ отъ дома провели подземный ходъ, или черезъ прудъ выстроить каменный мость, по объимъ сторонамъ котораго стояли-бы лавки, и чтобы въ нихъ сидъли купцы и продавали мелкіе товары, необходимые для крестьянъ», а между темъ, при его сентиментальномъ ничегонедѣланіи, временщикъ-приказчикъ выжималъ сокъ изъ техъ-же крестьянъ. Все у Манилова — самые добрые, самые достойные люди. Въ разрядь этихь добрайшихь и достойнайшихь людей попаль, какъ извъстно, и самъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Маниловъ готовъ, на словахъ по крайней мере, отдать половину состоянія, чтобы хоть сколько-нибудь усвоить себъ высокія душевныя качества Павла Ивановича. Извъстно, что даже намекъ на покупку мертвыхъ душъ только на-время смущаетъ прекраснодушно глядящаго на все, вполнъ довърчиваго Манилова. Павлу Ивановичу достаточно сказать, что это вовсе не будеть вредить интересамъ Россіи, что онъ самъ благоговъетъ передъ закономъ, что онъ не даромъ во все продолжение своей жизни много страдаль за правду; Маниловъ въритъ всему, и, согласившись на продажу мертвыхъ душъ, думаеть о томъ, какъ-бы было пріятно пофилософствовать съ Павломъ Ивановичемъ подъ тёнью вяза и какъ-бы «ихъ за эту трогательную дружбу само начальство отличило и пожаловало генералами». Но почему-же мы вспомнили именно этотъ всемъ известный типъ? А потому, что Гоголевские типы имали самое широкое значение; онъ и самъ въдь указываетъ на это въ пояснительныхъ замъткахъ къ своему «Ревизору». Дъло въ томъ, что такимъ Маниловымъ, такимъ сладкимъ, все въ розовомъ цвътъ рисующимъ себъ Маниловымъ оставалась долгое время и русская литература. Гоголь уничтожиль разъ навсегда маниловщину въ русской литературъ.

Правда, впоследствін, подъ вліяніемъ особыхъ обстоятельствъ, особыхъ явленій своей внутренней жизни, онъ было пытался самъ до нёкоторой степени воскресить эту самую маниловщину на некоторыхъ страницахъ своей влополучной «Переписки съ друзьями»; но это, къ счастью, не удалось ему. Публика, привътствовавшая съ такимъ сочувствіемъ его прежнія произведенія, отвернулась отъ постылой маниловщины. Критика, въ лицъ своего даровитъйшаго представителя, Бълинскаго, ополчилась на Гоголя именно за его «Переписку». Къ сожальнію, въ лучшую пору литературной деятельности Гоголя самъ Белинскій еще не быль вполнѣ въ состояніи оцѣнить ее во всей глубинѣ ея значенія. Критика Бѣлинскаго, какъ извъстно, прошла черезъ нъсколько видовъ развитія. Но въ свой позднъйшій, наиболье жизненный видъ, тотъ, который запечатлёнъ общественным направленіем, она перешла только тогда, когда Белинскимъ уже были разобраны прежнія и лучшія произведенія Гоголя, разобраны съ точки зрѣнія такъ-называемаго «искусства для искусства», притомъ-же подъ вліяніемъ и съ употребленіемъ терминовъ господствовавшей въ то время философской школы — гегеліанства. «Миргородъ» и «Ревизоръ» разобраны были Бълинскимъ еще въ эту пору; потомуто, при всей необыкновенной талантливости критика, эти произведенія Гоголя не могли быть оценены имъ въ томъ смысль, въ какомъ-бы онъ несомнънно оцениль ихъ впослёдствіи, послё совершившагося въ немъ поворота. Повъсти «Миргорода» и особенно «Ревизоръ» разсмотръны были Бѣлинскимъ преимущественно съ точки эрѣнія художническихъ требованій соотвътствія идеи и формы, соразмѣрности отдѣльныхъ частей и т. п. Гегелевская-же терминологія привела критика къ тому, что всё тё уклоненія отъ разумной жизни, которыя, попадаясь на всякомъ шагу, стали у насъ едва-ли не господствующимъ явленіемъ, должны были признаваться призрачными. Такимъ образомъ, напримъръ, и самъ Сквозникъ-Дмухановскій, такъ и быющій въ глаза яркою выпуклостью своей живой личности, которая воспроизведена у Гоголя, такъ

сказать, съ плотью и кровью,—и онъ даже представлялся призракомъ, и это, разумѣется, не могло не мѣшать раскрытію настоящаго общественнаго смысла Гоголевскихъ произведеній. Затѣмъ уже совершился въ Бѣлинскомъ поворотъ, послѣ котораго его критика сдѣлалась по преимуществу общественной. Но въ эту-то пору ему и не удалось уже возвратиться къ подробному разбору лучшихъ произведеній Гоголя. Къ этой порѣ относится краткій разборъ «Мертвыхъ душъ» въ томъ ихъ злополучномъ 2-мъ изданіи, въ предисловіи къ которому уже съ достаточною ясностью обозначилось то, что мы называемъ возрожденьемъ маниловщины у самого Гоголя.

Къ лучшей порѣ Бѣлинскаго относится и оцѣнка «Переписки съ друзьями». Но надо помнить, что, кромѣ того, Бѣлинскій явился тогда и истолкователемъ общаго смысла того направленія, которое было внесено Гоголемъ въ русскую литературу. Оно называется у Бѣлинскаго «школой Гоголя», направленіемъ «натуральнымъ», въ смыслѣ его противоположности прежней литературной лжи во всёхъ ея видахъ. Въ натуральной школѣ Бѣлинскій превозносиль то, что, подъ ея вліяніемь, «поэзія перестала безстыдно лгать, изъ детской сказки превратилась въ быль, не всегда пріятную, отказалась быть гремушкою, подъ которую пріятно прыгать и засыпать». Бѣлинскій хвалиль въ натуральной школѣ и то, что она обнимаетъ весь человъческій міръ, не гнушаясь никакими его углами; что она обращается ко всякаго рода людямъ и во всёхъ этихъ людяхъ умфетъ отыскать и выставить на видъ человфческія черты. Воть въ этомъ-то широкомъ смыслѣ школа Гоголя продолжается и до сихъ поръ. Господствующій литературный родъ, выдвинутый этой школой, есть, какъ извъстно, «нравоописательная повъсть». Съ другой стороны, Гоголь оставиль глубокій слёдь и на поприщё драматическомъ; послѣ его знаменитой комедін явились талантливые последователи, изъ ряда которыхъ особенно выдавался въ наше время Островскій. Но я рёшился на этотъ разъ оставить въ сторонѣ драматическую литературу послѣ Гоголя; русская комедія и вообще русская

драма послѣ Гоголя и Пушкина можетъ составить когданибудь предметъ особаго труда. Въ настоящее-же время, избирая собственно главныхъ представителей нашей нравоописательной повѣсти и сатиры, я даже и при такомъ ограничении моей задачи не берусь съ одинаковой подробностью разобрать и каждаго изъ выбранныхъ мною писателей.

Началомъ дѣятельности лучшихъ нашихъ представителей нравоописательной повѣсти являются такъ-называемые «сороковые года», славные вмѣстѣ съ тѣмъ и по своей критикѣ, главный представитель которой до сихъ поръ еще остается у насъ незамѣненнымъ. Счастливы были всѣ эти писатели, въ своемъ положени еще начинающихъ, счастливы тѣмъ, что ихъ сразу привѣтствовала теплая, задушевная, вполнѣ честная критика Бѣлинскаго, которая каждому таланту готова была воздать должное, которая, если часто и увлекалась, если, ради несогласія во взглядѣ, и не вполнѣ оцѣнивала тотъ или другой талантъ, то никогда не руководствовалась личностями.

Критика Бълинскаго въ то время достигла высшаго періода своего развитія, но достигла его, къ сожальнію, незадолго до его преждевременной смерти. Тѣ два направленія, которыя боролись въ Бълинскомъ, — направленіе чисто художническое и направление общественное, въ этотъ последній періодъ его деятельности вполне примирились; одно стало только дополнениемъ другого. «Искусство, — говориль въ эту пору Бѣлинскій, — прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ уже оно можеть быть выражениемь духа и направления общества въ извъстную эпоху». Развивая свою мысль, онъ доказывалъ, что послъднее вполнъ достижимо только въ томъ случат, когда искусство вполнт искусство, потому что только тогда оно обладаетъ силою действительно уловить и воплотить въ своихъ созданьяхъ духъ времени.

«Многихъ увлекаетъ волшебное словцо направленіе, — говорилъ Бѣлинскій, — не понимаютъ, что въ сферѣ искусства никакое направленіе гроша не стоитъ безъ таланта.

Самое направленіе должно быть не въ голов'ї только, а

прежде всего въ сердцѣ, въ крови пишущаго».

Но если направленіе должно быть вз крови, то оно оказывается неразрывно связаннымъ съ художникомъ какъ съ живымъ человъкомъ, а живой человъкъ не можетъ не откликаться на явленія современной ему дъйствительности. Поэтому-то,—находилъ Бълинскій,—и ошибаются тъ, которые «хотятъ видъть въ искусствъ какой-то умственный Китай, ръзко отдъленный точными границами отъ всего, что не искусство въ строгомъ смыслъ слова». Вотъ въ эту-то пору, когда критическіе взгляды Бълинскаго окончательно выяснились и опредълились, начали свое поприще тъ молодые тогда таланты, которые теперь

справедливо считаются у насъ первостепенными.

Одна сторона тогдашней нравоописательной повъсти не могла быть, при тогдашнихъ условіяхъ нашей печати, вполнѣ выяснена критикой Бѣлинскаго; на эту сторону, особенно близкую его теплому сердцу, онъ могъ только дълать намеки. Такъ, напр., повъсти г. Григоровича «Антонъ Горемыка» Бёлинскій даже не посвятиль полнаго разбора; онъ отозвался о ней совершенно кратко въ литературномъ обозрѣніи 1847 г. при чемълищь вообще указалъ на человъчность, которою она пропитана. Только въ общей характеристикъ натуральной школы упоминается у него, въ видѣ примѣра, одно изъ дѣйствующихъ лицъ Григоровича (при чемъ не поименовывается ни авторъ, ни самая повъсть); это именно тамъ, гдъ онъ говоритъ о непріятномъ впечатліній, производимомъ натуральной школой на тъхъ людей, которые привыкли смотръть на книгу, какъ на особаго рода десертъ послъ вкуснаго об'яда. Представляя себ'й одного изъ подобныхъ людей, Бълинскій говоритъ между прочимъ: «Ему надобно было дать балъ, срокъ приближается, а денегъ не было; управляющій его, Никита Өедоровичъ, что-то замѣшкался высылкой. Но сегодня деньги получены, баль можно дать; съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный, лежитъ онъ на диванъ, и, отъ нечего дълать, руки его лъниво протягиваются къ книгъ. Опять та-же исторія: проклятая

книга разсказываеть ему подвиги его Никиты Өедөрөвича, и ему-то, незнакомому ни съ какими человъческими чувствами, поручена судьба и участь всёхъ Антоновъ... Скорве прочь ее, скверную книгу!» Уже совершенно невыясненнымъ осталось у Бѣлинскаго содержание другой повъсти г. Григоровича — «Деревня». Тутъ, какъ извъстно, для препровожденія времени барыни, которая никогда не видала крестьянской свадьбы, супругу ея приходить въ голову выдать замужъ за перваго попавшагося крестьянина бъдную сироту, и этимъ довершается рядъ техъ бедствій, которыя испытала она съ самаго дътства. Извъстно, что когда, послъ свадьбы, молодые являются съ поклономъ, барыня замвиаетъ, что у молодой очень печальный видъ: но баринъ успокоиваетъ ее тъмъ, что у народа самый обрядь требуеть слезъ въ продолженіе цілой неділи. Кто глубже Білинскаго могъ чувствовать все значение такихъ повъстей, кто былъ способнье его указать на то, что авторъ, идя по стопамъ Гоголя, ушелъ значительно дальше его въ правдивомъ воспроизведеніи народнаго быта? Гоголь, какъ извъстно, только косвенно указываль на язву крепостного права; прямого выставленья ея со всёми ея послёдствіями мы не видимъ у Гоголя. Но язва эта вполнъ раскрывается въ знаменитыхъ, сразу доставившихъ извъстность Тургеневу, «Запискахъ охотника». И именно эта-то ихъ сторона и не могла быть выяснена Бълинскимъ, который съ полнымъ сочувствиемъ приветствовалъ это произведение, но должень быль ограничиться однимь указаніемь на то, съ какой теплотой понимаетъ Тургеневъ «человъческое» въ народъ.

Другія произведенія Тургенева, появившіяся при Бѣлинскомъ, не подавали уже такихъ большихъ надеждъ, какъ «Записки охотника». Ни «Андрей Колосовъ», личность котораго осталась не довольно выясненной, ни даже гораздо глубже задуманные и лучше выполненные «Три портрета 1) не могли еще дать понятія о томъ, чѣмъ дол-

¹⁾ Имъ большое значеніе придаваль θ . М. Достоевскій, даже винившій Вѣлинскаго въ томъ, что онъ недостаточно оціниль Тургенева.

женъ былъ сдёлаться Тургеневъ; но Бёлинскій, со свойственнымъ ему чутьемъ знатока, обратилъ вниманіе на тѣ стихотворныя произведенія Тургенева, которыя оставались потомъ забытыми и даже самимъ авторомъ считались, повидимому, недостойными помѣщенія въ полномъ собраніи его сочиненій. Между тѣмъ, Бѣлинскій и въ этихъ опытахъ умѣлъ замѣтить задатки таланта, хотя

еще не попавшаго на настоящую свою дорогу.

Объ одной изъ Тургеневскихъ поэмъ, а именно о «Помѣщикѣ», Бѣлинскій справедливо, однако, замѣтилъ, что въ ней Тургеневъ нашелъ свой истинный родъ. «Поэма эта,—по опредѣленію критика,—легкая, живая, блестящая импровизація, исполненная ума, ироніи, остроумія и граціи». Для насъ она должна представляться теперь прекраснымъ стихотворнымъ pendant къ «Запискамъ охотника»—какъ по своему бытовому значенію, такъ и по проходящей въ ней черезъ сатиру теплой грусти и непритязательному глубокомыслію. Стоитъ только вспомнить въ поэмѣ стихи:

> ...сильному не нужно счастья. О немъ не думай... Но судьбъ Не покоряйся; знай: въ борьбъ Съ людьми таится наслажденье Неистощимое — презрънье.

Говоря о стихотворной повъсти Тургенева «Андрей», герой которой представляетъ существовавшій и до Тургенева типъ русскаго человъка, поучившагося кое-чему, далеко не глупаго, но не знающаго, что предпринять, и отъ нечего дълать начинающаго видъть всю цъль жизни въ одной любви, Бълинскій страннымъ образомъ заявиль митніе, будто бы изображать любовь «не въ талантъ автора». Но что же тогда составляетъ прелесть «Параши», этой столь превознесенной Бълинскимъ поэмы Тургенева? Множество Тургеневскихъ повъстей, появившихся уже послъ Бълинскаго, конечно, окончательно говорятъ противъ критика.

Бълинскій обратиль вниманіе на стихотвореніе Тургенева «Разговоръ»; онъ призналь въ немь звучный и спльный стихь, но вмёстё съ тёмъ мысль несамостоятельную. Дёйствительно, съ перваго взгляда, это странное стихотвореніе поражаетъ какимъ-то запоздалымъ Байронизмомъ во вкусё Козлова. Но въ старомъ отшельникѣ, удалившемся въ пустыню отъ неудачной любви, и въ приходящемъ къ нему молодомъ человѣкѣ, разочарованномъ и махнувшемъ на все рукою, Тургеневъ тогда уже выставилъ два поколѣнія, взаимно упрекающія одно другое.

«Такъ будь же проклять ты на въкъ, Вольной безсильный человъкъ... Я, гръщникъ, здъсь, одинъ, еъ лъсахъ Мечталъ о жеизни молодой, О новыхъ, сильныхъ племенахъ — Желалъ блаженныхъ, ясныхъ дией Землъ возлюбленной своей...»

Но молодой человъкъ обращается къ нему самому съ такимъ упрекомъ:

«Теперь я спрашиваю влсъ, О предки наши! Что для насъ Вы сдълали? скажите намъ: Вотъ — нашимъ доблестнымъ трудамъ Благодари — смотрите — вотъ Насколько выросъ нашъ народъ... Чтожъ? отвъчайте намъ... Увы! Какъ ваши внуки — на покой Безсмысленый — спъщили вы Съ работы трудной, по пустой.

Въ этомъ сопоставленіи двухъ покольній, въ формь, конечно, странной, уже устарьлой, заключается какъ-бы программа многихъ посльдующихъ произведеній какъ самого Тургенева, такъ и другихъ представителей нашей нравоописательной повъсти; но Бълинскій, конечно, не могъ предвидьть появленія подобныхъ произведеній. Полноту творческой силы Бълинскій видьлъ собственно въ Ө. М. Достоевскомъ и И. А. Гончаровь, а это легко объясняется тымь, что они сразу заявили себя такими крупными произведеніями, какъ «Бъдные люди» и «Обыкновенная исторія». Что касается насъ, то, имъя уже

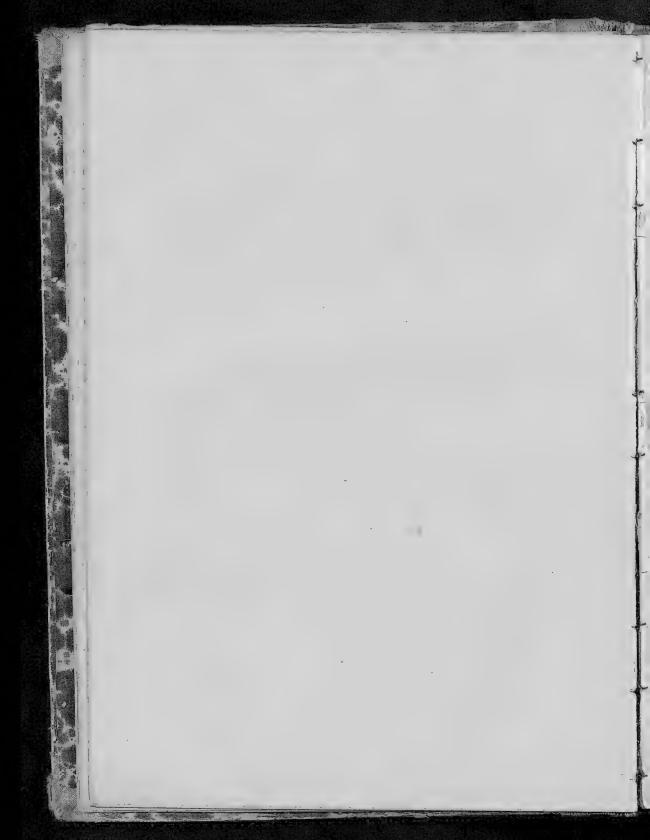
передъ глазами цёлый рядъ позднёйшихъ капитальныхъ произведеній Тургенева, мы, конечно, не можемъ согласиться съ мнёніемъ Бёлинскаго объ его способности собственно на физіологическіе очерки. Хотя пов'єсти Тургенева, сравнительно съ большими романами Достоевскаго и Гончарова, могутъ представиться и теперь какъ бы очерками, но, въ сущности, оно только такъ кажется, и остаться при такомъ мнёніи можно только глядя съ внёшней стороны. Тургеневъ никогда не вдается въ мелкія подробности, но онъ ум'єсть выдёлить изъ жизни своихъ героевъ нёсколько такихъ моментовъ, которыми

ясно обозначается ихъ природа.

Бёлинскій находиль также, что Тургеневъ можетъ изображать только то, что онъ видёль своими глазами и что предварительно изучаль, --чистаго творчества нашъ критикъ не признавалъ въ немъ. Мы въ настоящее время должны видонзмёнить это мнёніе въ томъ смыслё, что, дъйствительно, на Тургенева имъло большое вліяніе все, что происходить вокругь него; что онъ быль въ высшей степени отзывчивъ на вст явленія современной жизни. Онъ следилъ за нарождениемъ новыхъ типовъ, новыхъ направленій, онъ ихъ немедленно схватываль и воспроизводилъ и, действительно, могъ воспроизводить только то, что было у него на глазахъ. Съ тъхъ поръ, какъ онъ сталъ только редко, и то не надолго, бывать въ Россіи, мы уже не находили въ его повъстяхъ воспроизведенія новыхъ явленій русской жизни. Если въ «Дымѣ» еще выказались многія современныя стороны, то это только такія, которыя Тургеневъ могъ непосредственно подмѣтить въ своихъ соотечественникахъ въ Баденъ-Бадень. Поздньйшая крупная повысть Тургенева «Вешнія воды», при удивительной художественности выполненія, только повторила старый типъ празднаго русскаго барича, проводящаго время въ сердечныхъ дёлахъ, да и въ нихъ-то оказывающагося пошленькимъ. Именно такой писатель, какъ Тургеневъ, и не долженъ бы былъ покидать своего отечества, чтобы остаться художникомъ - лѣтописцемъ дальнъйшаго хода его внутренней жизни.

Со смертью Белинскаго для техъ писателей, которыхъ первое появление онъ такъ задушевно привътствовалъ, а равно и для техъ, которые вскоръ примкнули къ нимъ, наступали уже менъе благопріятныя времена. Наша критика, подъ вліяніемъ обстоятельствь, становилась все менже и менже способною вникать въ самую сущность писателя, чтобы схватить въ немъ и выставить передъ читателями именно его самого, а затемъ уже произносить надъ нимъ и свой приговоръ. Чуткость въ распознаваніи существенныхъ свойствъ писателя, правда, безпрепятственно проявлялась у Ап. Григорьева-благодаря его широкому, но часто за то не довольно определенному кругозору. Но оригинальнаго критика слишкомъ также рано не стало. Онъ оставилъ по себѣ даровитаго послѣдователя, но отъ него по преимуществу посчастливилось Л. И. Толстому. Чёмъ далёе, тёмъ болёе становилось въ области нашей критики смутно и непріютно отъ идейнаго или, пожалуй, и совстив безъидейнаго произвола. Были, правда, и проблески лучшаго, но крайне не много. Такимъ образомъ и выходило, что «наша литература въ упадкѣ, что читать нечего», между тьмъ, какъ у насъ появлялись одно за другимъ такія произведенія, которыя обратили, наконець, на себя восторженное внимание иностранцевъ. Тутъ пришлось наконецъ и намъ спохватиться и повнимательнее оглянуться на свое добро.

и. с. тургемевъ



ОБЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ТИПАХЪ ВЪ ПОВЪСТЯХЪ И. С. ТУРГЕНЕВА

читано въ 1871 году.

I.

«Записки охотника» и «Рудинъ».

Рашаясь подвергнуть разбору цалый, годами слагавшійся, рядъ созданій писателя, котораго мы имбемъ счастіе считать своимъ современникомъ, я вполнѣ сознаю затруднительность моего положенія. Если и вообще подведеніе итоговъ дъятельности, происходившей у насъ на глазахъ и еще не вполнъ закончившейся, является дъломъ весьма щекотливымъ, то тёмъ более щекотливо оно въ томъ случай, когда дёятельность эта подвергалась уже различнымъ, болъе или менъе пристрастнымъ, толкамъ, раздававшимся съ противоположныхъ сторонъ. Но въдь именно такъ оно и случилось, какъ всемъ известно, съ дъятельностью г. Тургенева, и тъмъ живъе лишь долженъ я сознавать за собою обязанность — отнестись къ нему трезво и сдержанно и не дать проникнуть въ мою оценку страстному голосу какой-бы то ни было партіи. Вотъ почему я и берусь говорить, не столько о самомъ писатель, объ его міросозерцанін или даже о пріемахъ его творчества и степени присущей ему силы, сколько о техъ явленіяхъ общественной нашей среды, которыя отразились въ его главнейшихъ типахъ. Нашъ писатель,

къ тому-же, и самъ облегчаетъ такую постановку задачи, выдвигая передъ нами въ своихъ повъстяхъ за цълую четверть віка цільій послідовательный рядъ такихъ типовъ, изучение которыхъ даетъ намъ возможность прослёдить главнейшія перемёны, происходившія въ нашей общественной жизни за все это время. Если замѣчательная чуткость И. С. Тургенева ко всякому, вновь слагающемуся, направленію, если эта неоспоримая отзывчивость его живой художнической природы и навлекала на него, на первыхъ порахъ, нападки представителей того или другого, по мижнію ихъ, невжрно имъ истолкованнаго направленія, то то же свойство его дарованія даетъ возможность, говоря о немъ, какъ о литературномъ представителъ цълой эпохи, находить чрезвычайно богатую почву и совершенно помимо его собственной личности.

Являясь въ нашей литературъ однимъ изъ довольно многочисленныхъ представителей нравоописательной повъсти-литературнаго рода, какъ-то особенно намъ удающагося-г. Тургеневъ оказывается и однимъ изъ самыхъ многообъемлющихъ-по крайней мёрё изъ живыхъписателей нашихъ въ этомъ родъ. Обозръть, хотя-бы и бъгло, содержание всей его общественно-литературной деятельности въ какія-нибудь три лекціи было-бы ръшительно невозможно, а потому и приходится ограничиться только самыми выдающимися, самыми жизненными изъ его произведеній. Выборъ въ этомъ отношеніи не труденъ, такъ какъ нельзя не сознаться, что изъ-подъ пера нашего писателя выходили неръдко и вещи, лишенныя особенно дъльнаго содержанія; у него даже были цълыя полосы, не особенно содержательныя, какъ-бы служившія роздыхомъ для его творческой силы.

Думаю, что я могу, не подвергаясь упрекамъ, совершенно обойти все, предшествовавшее «Запискамъ Охотника», хотя уже и первые опыты г. Тургенева въ свое время заслужили самый сочувственный отзывъ со стороны нашего высоко-даровитаго Бълинскаго. Что касается «Записокъ Охотника», которыя еще при жизни незабвеннаго критика стали печататься отдёльными очерками въ «Современникъ», то о нихъ, еслибы онъ и вышли при немъ всѣ сполна, Бѣлинскій едва-ли-бы могъ отозваться такъ, какъ-бы ему, конечно, хотелось. Известно, какія были тогда времена, и какой переполохъ возбудилъ общій смысль «Записокъ Охотника», когда онъ вышли отдёльнымъ изданіемь. Этотъ роковой общій смыслъ, повидимому, совершенно разрозненныхъ и неумышленно-правдивыхъ разсказовъ заключался, какъ встмъ извтстно, въ обнаружении встхъ непривлекательныхъ сторонъ положенія нашего простого народа подъ крѣпостною властью помѣщиковь, вмѣстѣ-же съ тѣмъ весьма многихъ, вполнѣ привлекательныхъ сторонъ нрава простого русскаго человѣка, умѣвшаго оставаться человъкомо и при самомъ нечеловеческомъ положении. Умъніе указать на все это въ сороковыхъ годахъ составляеть со стороны И. С. Тургенева (вмёстё съ г. Григоровичемъ) темъ более неоценимую заслугу, что до того наша литература текущаго въка, въ лицъ именно крупныхъ своихъ представителей, умъла какъ-то оставаться почти безучастною ко всему этому. Извёстно, что и Пушкинъ почти не подходиль къ народу съ этой стороны. Даже у Гоголя онъ выставлялся преимущественно во внъшнихъ комическихъ своихъ проявленіяхъ, на язву-же кръпостного права указывалось только косвеннымъ образомъ-темъ, что выводилась во всей ся отвратительной наготъ нечеловъческая пошлость нашего помъщичьяго быта, пошлость, завиствшая, главнымъ образомъ, отъ возможности пользоваться всёми благами, не прилагая и мальйшей капли труда. Въ лиць самыхъ передовыхъ своихъ представителей наша литература XIX въка часто совсёмь забывала тё доблестныя преданія, представителями которыхъ являлись въ XVIII в., съ одной стороны, наши комики, съ другой, публицисты въ родъ Поленова, Новикова и Радищева. Но XIX веку даже мало было забыть о нихъ: онъ решился, въ лице Пушкина, болбе чемъ критически отнестись къ Радищеву, преданья котораго, впрочемъ, оставались живы у Пнина,

Арсеньева, Анастасевича и особенно у Н. И. Тургенева. Нашъ въкъ ознаменовалъ себя сладкогласнымъ ратованьемъ за отсрочку решенія крепостного вопроса въ лицъ Карамзина, который, отвернувшись отъ Новиковскаго мистицизма, не задумавшись отвернулся и отъ самыхъ человъчныхъ стремленій этого хотя-бы притомъ и мистика. И не только одни умозрѣнія, но и живые пріемы пов'єсти послужили позорному д'єлу такой отсрочки, создавая изъ нашей народной жизни пріятноубаюкивающую идиллію. И отголоски такой идилліи сохранялись у насъ до временъ, ближайшихъ къ Тургеневу, между тёмъ, какъ, съ другой стороны, обнаруживались и зародыши противоположной крайности-выставленія народа совсёмъ уже отупёлымъ, почти низведеннымъ на степень животнаго. Какъ-же послё этого не превознесть въ «Запискахъ Охотника» именно того, что, правдиво обнаруживая всю бъдственность положения народа, онъ столько-же правдиво, не убъляя и не черня, представляють намъ въ простомъ народъ-людей.

Въ нѣкоторыхъ разсказахъ своихъ охотникъ, т.-е. нашъ писатель, даже не затрогиваетъ крѣпостного вопроса, а просто рисуеть намъ такіе типы крѣпостныхъ людей, въ которыхъ оказывается гораздо болье человьческаго, чёмъ во многихъ типахъ помёщичьихъ. Вотъ передъ нами дътскій крестьянскій міръ въ «Біжиномъ Лугъ», со всею налегшею на него съ колыбели непроглядною тьмой суеверій, но и со всею бодростью и находчивостью существъ, тоже почти съ колыбели выведенныхъ на открытое поле жизни и предоставленныхъ почти совершенно самимъ себъ. Есть, однако, и между ними болье приголубленные судьбою въ лиць болье зажиточныхъ родителей, но нътъ между ними такихъ, которыхъ-бы она приголубила до того, чтобы довесть до состоянія комнатнаго растенія. А вспомните этотъ яркій, поразительный образъ Павлуши, такъ спокойно готовящагося встретить волка, -и согласитесь, что въ эту минуту далеко до него какому-нибудь изнежившемуся барчуку, хотя-бы и вовсе не суевърному! А воть передъ вами простой народный кабакт со всею его неприглядною обстановкой и со всеми его, более или менее сбившимися съ пути, посътителями («Иввцы»). И что-же? На этой совершенно низкой ступени тёхъ чувственныхъ наслажденій, до какихъ въ состояніи ниспасть человакъ. вдругъ сказываются во всёхъ такихъ забулдыгахъ порывы къ высшему-въ этой внезапной жаждё упиться пѣснею, въ этомъ, приковывающемъ всѣхъ, состязаніи двухъ пъвцовъ и обаятельномъ дъйстви ихъ, всъмъ давно нзвъстныхъ, но всегда отвъчающихъ на запросы народа, песенъ. И согласитесь, что въ эту минуту кабакъ представляеть намь болье признаковь человыческой жизни, чёмъ тотъ барскій покой Ивана Никифоровича, среди котораго онъ лежалъ въ натурѣ, или даже чѣмъ тотъ, поэтически выставленный Гоголемъ, уголокъ «Старосвътскихъ помѣщиковъ», въ которомъ почти исключительно раздавалась нескончаемая бесёда о томъ, «чего-бы такого покушать?»--А вотъ передъ вами одинъ изъ тѣхъ характерныхъ представителей въ своемъ родъ поэтическаго начала народной жизни, которые носять название «юродивых»» или «блаженных». («Касьянъ съ Красивой Мечи»). Природа, не давъ ему вырости выше дътскаго роста, и по внутреннимъ качествамъ оставила его какъ будто-бы навсегда ребенкомъ-съ чисто-дътской способностью не думать о завтрашнемъ днѣ, съ чисто-дѣтской сердечной привязанностью ко всёмъ тварямъ. Но вгляди+ тесь, и вы замътите въ немъ при этомъ уже вовсе не дътскую способность къ широко-хватающимъ обобщеніямъ. У него не только сжимается сердце при мысли о тёхъ бёдныхъ пташкахъ, которымъ придется стать жертвой забавы охотника, но онъ и разсуждаетъ объ этомъ такимъ образомъ: «кровь—святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видить, кровь отъ свёту прячется... великій грахъ показать свату кровь—охъ, великій!» И въ этомъ «юродивцѣ», конечно, гораздо живѣе сказывается человъкъ, чёмъ въ свётски-натертыхъ, элегантныхъ представителяхъ нашего благороднаго класса въ родѣ Пѣночкина, приказывающаго выпороть своего слугу

за ненагрътое вино за завтракомъ («Бурмистръ»), или-же Мардарія Аполлоныча Стегунова, съ добрѣйшей улыбкой вторящаго ударамъ исправительныхъ розогъ: «чюки-чюкичюкъ! чюки-чюки-чюкъ!» («Два помѣщика»).—Но и друтимъ еще образомъ сказывается въ Касьянъ та особаго рода разумность, которую такъ любить скрывать самъ народъ въ своихъ сказкахъ подъ кажущеюся глупостью любимаго ихъ лица-Иванушки. Повидимому, до совершеннёйшей безотв'ятности выносливъ Касыянъ, и даже готовъ признать, что опека, конечно, совершенно справедливо разсудила, переселивъ его вмёстё съ другими съ привольной Красивой Мечи на новое, непривольное мъсто. А между тъмъ, такъ и рвется его поэтическая душа изъ этой «тъсноты, сухменя» на широкій и вольный просторъ-«и туда, и сюда, вилоть до теплыхъ морей съ сладкогласными птицами, съ золотыми яблоками на серебренныхъ въткахъ и довольствомъ, и справедливостью для каждаго человъка». И, что особенно замѣчательно, сейчасъ-же при этомъ переносится его ужь ни мало не себялюбивая мысль къ другимъ, такимъ-же какъ онъ, горемыкамъ. «Много, —тужитъ онъ, другихъ крестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищуть... да! А то что дома-то, а? Справедливости въ человеке неть, вотъ оно что...» И, конечно, въ это время юродивецъ Касьянъ несравненно разумнъе тёхъ нашихъ литературныхъ умниковъ, которые такъ, бывало, любили васъ занимать чисто личными и притомъ еще большею частью напускными «страданіями поэта», эгоистически забывающаго затемь весь мірь, или даже наивно увъряющаго и себя, и васъ, будто, сравнительно съ его участью, и участь какого-нибудь бъдняка завидна!

«Справедливости въ человъкъ нътъ», —вотъ чъмъ оканчиваетъ Касьянъ; и въ этомъ слышится уже затаенный и кроткій, по самой своей обобщенности, жизненный выводъ народа изъ явленій кръпостного права. Но юродивецъ Касьянъ гораздо живъе чувствуетъ неправду его, чъмъ другія, столько же поэтическія личности въ самомъ народъ, только пе отмъченныя печатью «юродства». (И въ этомъ случав нашъ писатель совершенно вврно поняль значеніе этого психологическаго явленія народной жизни: кому неизвёстны въ своемъ родё смёлые, далеко хватающіе взгляды нашихъ историческихъ юродивыхъ?). Вполнъ безотвътнымъ, любовно-благоговъющимъ передъ своимъ господиномъ является въ «Запискахъ Охотника» народный романтикъ Калинычъ. «Ужъ ты его у меня не трогай», — говорить онь про пом'єщика Полутыкина другу своему, народному реалисту Хорю; и на возражение последняго: «А что-жъ онъ тебе сапоговъ не сошьетъ?» спокойнейшимь образомь отвечаеть: «Эка, сапоги! на что мив сапоги? я мужикъ». Но при такой незлобивой го-/ товности примиряться съ существующимъ порядкомъ вещей, тёмь более вась отталкиваеть нравственный кругозоръ помъщика Полутыкина: вспомните безчувственно откровенное признанье его про Калиныча: «Усердный и услужливый мужикъ; хозяйство въ исправности одначе содержать не можеть: я его все оттягиваю. Каждый день со мною на охоту ходить... Какое ужъ тутъ хозяйство, посудите сами». Въ лицѣ Калиныча г. Тургеневъ развернулъ передъ нами ту сторону природы русскаго человька, которая сказывалась, между прочимъ, и въ знаменитыхъ, уже совсёмъ отживающихъ, типахъ нашихъ дядекъ и нянекъ крѣпостной поры. Наши наблюдатели нравовъ изъ «благороднаго» лагеря любили объяснять эти типы преобладаніемъ человечности въ отношеніяхъ помішиковъ къ крібпостнымъ; но едва-ли не вірнъе его объяснять добродушіемъ самого народа. Было бы однако-же странно, еслибъ подобныя сердечныя отношенія къ господамъ являлись въ немъ сплошь и къ ряду. И воть въ народъ оказывались и совершенно другія личности — съ рѣшительнымъ перевѣсомъ разсудка, замѣчательно развитого жизнью; личности себть на умть, умівшія достигать довольно выгоднаго положенія, несмотря на крѣпостное право, а иногда и благодаря ему. Такимъ-то является Хорь, насквозь видевшій своего помещика, и потому-то именно не только умѣвшій нажить себъ и дътямъ своимъ сапоги, но даже находившій совершенно излишнимъ (хотя и могъ бы) выкупиться на волю. То же практическое направление доведено уже до самыхъ крайнихъ предъловъ въ лицъ бурмистра помъщика Пъночкина. Вспомните его холопские панегирики помъщичьей власти, которые представлялись помещику чрезвычайно touchants, а панегиристь, между темь, довель имѣніе его до того, что оно только числилось за Пѣночкинымъ, на самомъ же деле владелъ имъ бурмистръ,владёль, забравь къ себё въ кабалу всёхъ крестьянь, въ чьихъ жалобахъ Пѣночкинъ если и видѣлъ le mauvais côté de la médaille, то слишкомъ оберегалъ свой покой, чтобъ вступать въ разбирательство. Извъстно, что это было однимъ изъ не особенно рѣдкихъ явленій нашего крѣпостничества, при чемъ неограниченный властелинъ, какъ оно бываетъ и не въ однихъ крепостныхъ владенияхъ, незамѣтнымъ образомъ обращался въ игрушку своего холопа: совершенно законная кара, но отъ которой, къ несчастью, становилось не лучше, а хуже для всёхъ,т.-е. для той же мелкой четы, для тъхг же униженныхг и оскорбленных. Вспомните также и конторщика г-жи Лосняковой («Контора»), къ тому-же стакнувшагося съ ея «вёдьмой» — ключницей. Особый оттенокъ въ немъ составляетъ расположение къ сердечнымъ дъламъ и способность изъ мести настроить г-жу Лоснякову — не давать разръшенія на бракъ съ ея дъвкой ея человъку, конторщикову сопернику. «Ея господская воля», -- неотразимо ссылается при этомъ конторщикъ, подобно какому-нибудь администратору, ссылающемуся на законъ. Но барская воля, какъ неумолимый законъ и въ самомъ вопрост о бракт, неоднократно сказывается въ «Запискахъ Охотника» во всей своей страшной и, какъ всемъ намъ хорошо памятно, заурядной силь. Едва-ли не съ самой разительной стороны представлено это въ разсказъ «Ермолай и Мельничиха», который если-бы даже совершенно одинь уцёлёль для потомства, то и тогда-бы могь служить вполнъ удовлетворительною поэтическою характеристикою криностной поры. Можно сказать, что даже одинъ разсказъ г. Звъркова о «черной неблагодарности»

дъвки Арины достаточно ярко передаетъ всю глубину безнравственности, всю непробужденность чего-либо человъческаго въ заурядныхъ понятіяхъ многихъ изъ нашего благороднаго класса этой еще недавней поры. Дъвка должна быть благодарна барынь за то, что еще съ дътства вырвали ее изъ родной семьи и пожаловали въ горничныя. Неблагодарность ея заключается въ томъ, что она просится замужъ. Г-жа Зверкова могла-бы при этомъ, нодражая г-жѣ Простаковой, сказать: «любить, бестія, точно благородная!» Но не даромъ-же наши помещичьи нравы смятчились со временъ Фонвизина (должно быть, подъ вліяніемъ Карамзинской сентиментальности и т. п.). Г. Звёрковъ считаетъ нужнымъ отвётить на просьбу Дарын цълымъ доводомъ су барыни другой горничной ньть, а замужнихь она не держить...» (Кому не извъстно, что это послъднее правило и до сихъ поръ еще сохраняетъ у многихъ всю свою силу при наймѣ, конечно, уже не крѣпостной прислуги; но развѣ нужда не является и теперь своего рода крѣпостною зависимостью?). Другимъ признакомъ усовершенствованія понятій служить, какъ навъстно, со стороны г. Звъркова то, что онъ не позволяеть Аринт валяться у него въ ногахъ, потому что «человъкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство». Во имя того же, конечно, приходить въ негодованіе и г-жа Звъркова, когда не выносить естественныхъ последствій запрета, истекшаго изъ ея же барской воли... Дъйствительно, важный успъхъ: при Фонвизинъ гг. Звърковы не стыдились-бы прямо показываться вепрями, тогда какъ Тургеневу уже пришлось ихъ представить разыгрывающими людей. Но нашъ авторъ умълъ показать, что причиною барскихъ запретовъ того же рода бывала даже и не забота о своихъ выгодахъ и привычкахъ, а просто капризный припадокъ барскаго самодурства. Глядя на Петра Петровича Каратаева, Марь в Ильиниший вдругъ пришло въ голову женить его на зеленой своей компаньонкъ, и отъ этого-то, главнымъ образомъ, она такъ и разозлилась, когда онъ ей предложилъ выкупъ за полюбившуюся ему дъвку ел Матрену.

Конечно, съ другой стороны, въ Маръв Ильинишнъ заговорило при этомъ и чувство человъческаго—виноватъ, помъщичьяго достоинства — при возмутительной мысли о

женитьбѣ дворянина на крѣпостной!

Вспомнимъ затъмъ и о другихъ, столько-же заурядныхъ явленіяхъ крѣпостной поры, столь-же вѣрно воспроизведенныхъ г. Тургеневымъ: о графской метрескъ, забривающей слугь лобь за шоколадь, пролитый ей на платье; о барскихъ привычкахъ самого графа Петра Ильича, который, по разсказу стараго дворецкаго Тумана, душа быль добрая: «побьеть, бывало, тебя, смотришь, ужъ и позабылъ» («Малиновая Вода»); о рыбакъ Сучкъ, попавшемъ въ это званіе изъ кучеровъ, въ кучера изъ поваровъ, въ новара изъ актеровъ — все по барской воль (напоминающей въ этомъ отношении пріемы и не однихъ только баръ) («Льговъ») и т. д. Но особенно важно то, что г. Тургеневъ и выставляль почти исключительно именно такія заурядныя явленія крѣпостной поры, нимало не изыскивая и не подбирая такихъ, про которыя можно-бы было сказать, что это лишь исключенія — хотя и такихъ такъ-называемыхъ исключеній, отъ которыхъ-бы волосы у читателей поднялись дыбомъ, оказывалось на Руси не мало. Но въ томъ именно и заключалась неотразимая сила этихъ, какъ-бы лишенныхъ всякой умышленности, просто-правдивыхъ записокъ, что онѣ не только не преувеличивали действительности, не приправляли воспроизведенія ея никакими возгласами и не выкапывали различныхъ ужасовъ изъ угодовныхъ архивовъ, но, можно сказать, съ совершенно эпическою невозмутимостью отражали все то, что встрычалось само собою на каждомъ шагу и что уже само по себъ, сведенное въ одинъ сборникъ, подавало достаточный поводъ къ тяжелымъ думамъ. А между тъмъ, въдь разсказы этого сборника связаны между собою чисто-вижшнею связью, --случайною послёдовательностью охотничьихъ впечатлѣній и наблюденій, однородность которыхъ зависитъ исключительно отъ того, что охотникъ постоянно сталкивается съ помещиками и крестьянами.

Во многихъ мъстахъ, при разсказахъ о прошломъ, онъ обнаруживаетъ готовность думать, что многаго уже теперь не делается, и получаеть при этомъ въ отвётъ: «теперь, въстимо, лучше». И опять-таки тъмъ лишь сильнее действують при этомъ разсказы, изъ которыхъ оказывается, что на самомъ-то дель оно и не лучше. Такимъ образомъ, отъ стараго графа Петра Ильича вовсе не далеко ушелъ его сынъ Валеріанъ Петровичъ, отказывающій въ сбавкъ оброка крестьянину, лишившемуся своего кормильца-сына. «Да мнв съ полугоря, -- говоритъ крестьянинъ, взять-то съ меня нечего... Ужъ, братъ, какъ ты тамъ ни хитри — шалишь; безотвътная мон голова». При этомъ мужикъ разсмъялся... («Малиновая Вода»). И невольно коробить васъ, какъ подумаете, что этимъ-же горемычнымъ смѣхомъ и теперь еще нерѣдко смвется мужикъ, когда съ него взыскиваютъ недоимку! А между тёмъ, вёдь и самъ, довольно близко стоящій къ народу однодворецъ Овсянниковъ еще въ то время увърялъ нашего охотника, что «теперь лучше, а вашимъ дъткамъ еще лучше будетъ». По словамъ его, «много воды утекло» съ тёхъ поръ, какъ дёдъ охотника, присвоивъ себѣ землю отца Овсянникова, вдобавокъ его-же и высъкъ у себя подъ окошками, да еще поглядываль при этомъ съ балкона вмёстё съ женой. «Много воды утекло, времена подошли другія», —продолжаетъ Овсянниковъ. И въ дворянахъ видитъ онъ перемѣну большую, — а все-же на повърку выходить изъ собственныхъ его словъ, что на самомъ-то деле перемъна лишь кажущаяся. «Вы, можетъ, знаете Королева? обращается онъ къ охотнику. Въ ниверситетахъ обучался, кажись, и за границей побываль, говорить плавно, скромно, всёмъ намъ руки жметъ... Какъ дошло дёло до размежеванія, заговориль, что оть этого крестьянину будеть легче, что помъщику гръшно не заботиться о благосостояніи крестьянъ... Дворяне-то всё носы пов'єсили; я самъ, ей-ей, чуть не прослезился... А чёмъ кончилось? Самъ четырехъ десятинъ мохового болота не уступилъ и продать не захотель». Показывая подобнаго рода примърами, что и въ ближайшее время къ намъ даже самое высшее образование не было въ силахъ, путемъ нравственнаго улучшенія дворянъ, добиться того, чего ндиллически ожидалъ сладкоръчивый Карамзинъ (не только во время «Записокъ Охотника», но еще и очень недавно имъвшій у насъ въ этомъ отношеніи единомышленниковъ); нашъ трезвый, неумолимо правдивый писатель показываетъ вследъ затемъ, многаго-ли можно было дождаться также и отъ тёхъ хлыщей народнаго направленія, полагавшихъ его исключительно въ однѣхъ фразахъ, отъ тъхъ, какъ онъ прозвалъ ихъ, Пустозвоновыхъ, которые действительно только звонили себе о народе и вовсе не умъли или даже не хотъли върно служить ему на самомъ дълъ. «Смотрятъ мужики: что за диво! Ходитъ баринъ въ плисовой поддевкъ, словно кучеръ... Я-де русскій, и вы русскіе... я русское все люблю... ну, дътки, спойте-ка русскую народственную пъсню... А самъ, словно красныя дъвушки, все книги читаетъ али пишетъ... Прежній-то приказчикъ на первыхъ порахъ вовсе перетрусился... А вмёсто того вышло... самъ Господь не разберетъ, что такое вышло. Позвалъ его къ себъ Василій Николаевичь (Пустозвоновъ) и говорить, а самъ краснъетъ: «будь справедливъ у меня — не притъсняй никого». Да съ тъхъ поръ его къ своей особъ и не требовалъ...» Продолжалъ себъ сидъть, уткнувъ носъ въ свои книжки, и предаваться отвлеченнымъ соображеніямъ о народности, а жизни вокругъ себя предоставиль идти своимъ старымъ ходомъ, благо, облекшись въ одежду простонародную, нимало не отведалъ чрезъ это крестьянской доли. Такимъ образомъ, посредствомъ примёровъ, приводимыхъ тёмъ-же Овсянниковымъ, нашъ охотникъ въ корив опровергалъ его мивніе, будто-бы «теперь лучше, а нашимъ дъткамъ и еще лучше будетъ». Нэть, какь-бы хотёль своей книгой сказать охотникь, пока будеть стоять крепостное право, ни намь, ни нашимъ потомкамъ лучше не будетъ!

Нарисовавъ съ поразительной правдой нѣсколько совершенно обыкновенныхъ картинъ изъ жизни простого рус-

скаго человека, нашъ охотникъ срисовалъ вместе съ тёмъ съ натуры и нёсколько чудныхъ картинъ его смерти. «Удивительно умираеть русскій мужикъ! восклицаеть онъ. Состоянье его передъ кончиной нельзя назвать ни равнодушіемъ, ни тупостью; онъ умираетъ, словно обрядъ совершаетъ: холодно и просто». И эта совершенно покойная встрвча смерти вполны понятна послѣ жизни русскаго мужика, какою обрисовалъ ее г. Тургеневъ, жизни, въ которой терять нечего и которая точно такъ-же просто и холодно выполнялась имъ до конца, какъ заданный скучный, но неизбъжный урокъ! Но и туть, какъ вездё у нашего писателя, подъ этимъ равнодушіемъ теплится то тихое любовное чувство, безъ котораго бы рѣшительно невыносимою сдѣлалась жизнь, н которое тутъ сказывается — то въ насущной заботъ объ оставляемой семьъ, то въ потребности попрощаться, т. е., по русскому смыслу слова, попросить прощенья у окружающихъ. Но совершенно такъ-же, какъ русскій мужикъ, умираетъ, по поэтическому свидътельству г. Тургенева, и всякій русскій человікь, въ отношеніи къ которому, по народному выраженію, судьба явилась злою мачихой. Вспомните смерть недоучившагося студента Авенира Сорокоумова, для котораго безотрадная доля домашняго наставника въ домѣ малоразвитыхъ людей оказалась, какъ и оказывается для многихъ, своего рода закръпощениемъ. Вспомните, наконецъ, и смерть старушки помъщицы, которая собиралась сама заплатить за свою отходную, заплатить, съ давнихъ поръ, можеть быть, принасеннымъ на этотъ случай рублемъ. Очевидно, что это одна изъ техъ мелкопоместныхъ, къ которымъ относится въ «Запискахъ Охотника» и мать больной дізвушки, влюбляющейся въ «Увзднаго Лекаря».

Выводя передъ нами такіе, въ свою очередь, возбуждающіе жалость, типы бѣдныхъ помѣщицъ, нашъ писатель доказываетъ этимъ, какъ далекъ онъ былъ отъ того, чтобы выставлять помѣщиковъ исключительно со стороны ихъ отношеній къ крестьянамъ и исключительно въ невыгодномъ свѣтѣ. Напротивъ, даже участіе возбуж-

даютъ у него не только такія, уже самой своею бъдностью располагающія въ свою пользу, личности, но и живущая въ полномъ довольствъ добродушная, со здравымъ умомъ, Татьяна Борисовна, или даже безгласная мать Радилова, да и самъ Радиловъ, котораго охотнику такъ и хотелось бы «получше узнать и полюбить, хотя въ немъ иногда и сказывался помѣщикъ» (между прочимъ, и въ чисто-барскихъ его отношеніяхъ къ прожившемуся и проживающему у него Өедору Михвичу). А вспомните Чертопханова-сына, являющагося такимъ же преемникомъ своего взбалмошно-грознаго отца, какими являлись въ исторіи многіе добродушные государи, смьнявшіе суровыхъ предшественниковъ. «Несправедливости, притесненія онъ вчуже не выносиль; за мужиковъ своихъ стоялъ горою... Какъ, моихъ трогать? Да не будь я Чертопхановъ!..» Вспомните и его заступничество за Недопюскина, и въ своемъ роде трогательную, хотя и не безъ юмористического оттънка, дружбу обоихъ.

При такой способности г. Тургенева подмѣчать и выказывать человъческія черты и въ самыхъ помъщикахъ, его «Записки Охотника» не могли представляться направленными съ огульной враждой противъ нихъ и указывающими только на тѣ стороны общественнаго ихъ положенія, которыми неизбёжнымъ образомъ искажались и самыя сочувственныя между ними натуры. Но и это опять-таки лишь придавало «Запискамъ Охотника» новую, неотразимую силу, наглядно указывая на то, что туть дело было не въ зверской грубости нашихъ помещиковъ (которой, пожалуй, могло бы оказываться и больше при всъхъ соблазнахъ неограниченнаго права), не въ недостаткъ между помъщиками тъхъ добродушныхъ личностей, которыя могуть являться и независимо отъ образованія съ его смягчающими вліяніями, а дъло было въ неестественности самыхъ отношеній, самой этой неразрывной связи между людьми съ неограниченными правами и людьми совершенно безправными. И хотя бы И. С. Тургеневъ не написалъ ничего послъ «Записокъ

Охотника», все бы имя его осталось навсегда незабвеннымъ въ исторін нашей литературы. Между тімь, передъ нами еще цільній рядь его общественныхъ типовъ.

Иепосредственно за появившимися въ «Запискахъ Охотника» следують и въ продолжении несколькихъ лътъ тянутся, однако-же, такіе, которые не представляютъ особенной содержательности, а потому и могутъ быть нами обойдены. Быть можеть сознание неудобствь постояннаго затрогиванья въ ту пору живыхъ вопросовъ общественныхъ заставляло нашего писателя ограничиться на извъстное время старою темой — той или иной любеи. Между тёмъ, јуже въ 1852 г., несмотря на то, что обстоятельства еще далеко не измѣнились къ лучшему, онъ не выдерживаетъ своей невольной роли молчальника въ самомъ разгарѣ творческихъ силъ, и какъ бы отзвукомъ, притомъ же раздавшимся очень громко и смёло, «Записокъ Охотника» являются у него «Муму» и «Постоялый Дворъ». Особенно первая изъ этихъ повъстей поражаетъ въ высшей степени сочувственной личностью этого получеловъка — нъмого дворника съ его глубокой любовью къ единственному, привязавшемуся къ нему существу, собачкъ, и съ его величавымъ уходомъ отъ своей безсердечно-нервозной барыни. Но вотъ наступаетъ служившій переломомъ въ нашей жизни 1855 г., и нашъ писатель выводитъ передъ нами совершенно особый и глубоко-задуманный типъ-Рудина.

Типъ этотъ, существующій въ русскомъ обществъ въ самыхъ многочисленныхъ видоизмѣненіяхъ, въ извѣстномъ смыслѣ, надо замѣтить, успѣлъ проявиться у нашего сочинителя еще въ «Запискахъ Охотника», а именно въ лицѣ «Гамлета Щигровскаго уѣзда», который одною своею стороною—озлобленностью (а въ частности — озлобленностью противъ женщинъ) является какъ-бы первымъ наброскомъ другого лица — Пигасова, занимающаго, какъ извѣстно, въ своемъ родѣ видное мѣсто въ повѣсти «Рудинъ». Но самое существенное въ уѣздномъ «Гамлетѣ» — это даромъ пропадающая жизнь

въ сущности умнаго человъка, — черта совершенно Рудинская. Разница собственно вт томъ, что Тургеневскій «Гамлетъ», какъ и подобаетъ Гамлету, съ самаго начала уже выводится передъ читателемъ вполив сознающимъ свою, такъ сказать, тщету и самолюбиво страдающимъ отъ такого сознанія. Въ немъ не видать того перевъса воображения, которое на долгое время обольщаеть, какъ извъстно, на счеть его собственныхъ силь слишкомъ поздно доходящаго до самосознанія Рудина. Въ щигровскомъ Гамлетъ, напротивъ того, мы замъчаемъ лишь умъ, неумолимо разлагающий собственную природу, умъ, который и даетъ ему со всею ясностью видеть, что разгадка его пустоты-это недостатокъ самородной, творческой силы, того, что называють оригинальностью. «Что мив въ томъ, говорить онъ, что у тебя голова велика, умёстительна, и что понимаешь ты все, много знаешь, за векомъ следишь, -- да своего-то, особеннаго, собственнаго у тебя ничего нъту! Однимъ складочнымъ мъстомъ общихъ мъстъ на свътъ больше,да какое кому отъ этого удовольствие? Нътъ, ты будь хоть глупъ, да по своему». Но тотъ же далеко не дюжинный умъ выясняеть ему и причину такой пустоцветности. «Какую, скажите на милость, спрашиваеть онъ, какую пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Тегеля? Что общаго, скажите, между этой энциклопедіей и русской жизнью?» Но онъ идетъ далье, онъ съ самой тдкой ироніей дълаеть изъ этого жизненный выводъ, выражающийся въ видѣ вопроса: «Такъ зачѣмъ же ты таскался за границу? Зачёмъ не сидёлъ дома да не изучаль окружающей тебя жизни на мъстъ?... Да помилуйте... гдъ же нашему брату изучать то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ! Я бы и радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то, — да молчить она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, такъ, а мнъ это не подъ силу, мит вы подайте выводъ, заключенъе мнъ представьте»... Такая привычка пользоваться уже готовымъ, чужою умственною работою «жаръ загребать», сложилась въ нашемъ Гамлетъ уже издавна. Еще

въ университетъ попалъ онъ въ такъ-называемый «кружокъ», а это, по его признанію, «гибель всякаго самобытнаго развитія»... «Кружокъ пріучаеть къ безплодной болтовив, отвлекаетъ васъ отъ уединенной благодатной работы, прививаетъ вамъ литературную чесотку, лишаетъ васъ, наконецъ, свѣжести и дѣвственной крѣпости души... Въ кружке поклоняются пустому краснобаю... въ кружкъ наблюдаютъ другъ за другомъ не хуже полицейскихъ чиновниковъ... о, кружокъ!... ты заколдованный кругь, въ которомъ погибъ не одинъ порядочный человъкъ!»... Чтобы понять все жизненное значеніе этихъ словъ Тургеневскаго «Гамлета», стоить только вспомнить тогдашнее значение кружковъ-хотя бы того, въ которомъ Бълинскій набрался Гегеля и, на нъсколько льть своей кратковременной жизни сбившись, вследствие этого, съ настоящаго своего пути, только высокой своей даровитостью снова былъ выведенъ на свободу, снова сталь говорить-не съ чужого голоса. Надо, однако-жъ, замътить, что коренная причина того забиванія личности, какое происходило, а отчасти и происходитъ въ нашихъ кружкахъ, осталась не вполнъ разъясненною для нашего «Гамлета». Дъло въ томъ, что горланы или умственные «міровды» кружка подвергають другихъ тому же самому гнету, который вынесли на самихъ себь, но который представляется имъ не гнетомъ, а чъмъ-то скоръе освободительнымъ или просвътительнымъ. Если своими «готовыми взглядами» они забивали и забиваютъ умственную самодъятельность новобранцевъ своего кружка, то потому лишь, что, сами получивъ эти взгляды үже совершенно готовыми изъ какихъ-нибудь книгъ, привыкли принимать подобный «заемъ» за собственный, добытый трудомъ, капиталъ. Все это развъ смутно представлялось Щигровскому Гамлету, когда онъ ръшился отправиться лично туда, гдъ совершались

> interest to be to see [JREALING A

наши умственные займы — въ Германію: вѣдь если ужь занимать, то изъ первыхъ рукъ. И что же? «Нечего и говорить, -- сознается онъ, -- что собственно Европы, евро-

12661

мецкихъ профессоровъ и читалъ нъмецкія книги на самомъ мѣстѣ рожденія ихъ... вотъ въ чемъ состояла вся разница». Дома пріученный, подъ вліяніемъ своего кружка, читать эти немецкія книжки помимо жизни, т.-е. окружавшей его, родной русской жизни (которая уже въ самомъ дътствъ была отъ него заслонена «французскимъ его гувернеромъ — нѣмцемъ Филипповичемъ изъ Нъжинскихъ грековъ» и развъ украдкой проглядывала передъ нимъ въ тогдашнихъ университетскихъ, по большей части, вполнъ отвлеченных в лекціяхъ); привыкнувъ мыслить только по книгамъ, совершенно помимо жизни, онъ и въ Германіи также мало былъ склоненъ къ тому, чтобы непосредственно вглядеться въ самую жизнь, ту жизнь, на почет которой родились эти книжки. Разсудивъ, при отправленіи за границу, и даже основательно разсудивъ, что «наука-то, кажись, вездѣ одна», онъ не зналъ, какъ не знаютъ еще и теперь очень многіе, что наука съ ея цёлью — истиной не въ однёхъ книжкахъ, что овладъть ею — значитъ умъть сознавать непосредственное возникновение ея изъ жизни, стать способнымъ и собственной смъткой выводить ее изъ всего. что насъ окружаетъ, особливо-же изъ того, что еще не почато. Не достигнувъ этого и за границей, Щигровскій Гамлеть, по собственному его сознанію, «остался тімьже неоригинальнымъ существомъ» и только испыталъ въ этомъ отношении участь цёлаго множества нашихъ соотечественниковъ, отличансь отъ нихъ однако-же тъмъ, что имъ отъ подобной неоригинальности, повидимому, и горя мало, онъ-же постоянно томился ея сознаніемъ.

Разъясненіе Щигровскаго Гамлета необходимо для настоящаго пониманія Рудина, какъ съ другой стороны полный свѣтъ на этотъ послѣдній типъ кидается только позднѣйшими Тургеневскими типами. Какъ представитель нашего дѣйствительно образованнаго (а не только свѣтски-натертаго люда) «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» ярко выдается изъ ряда другихъ «охотничьихъ» типовъ нашего писателя (такіе, тоже образованные люди, какъ

Королевь и т. п., только слегка обрисовываются однодворцемь Овсянниковымь, а не выступають передь читателемь сами, какъ непосредственно дъйствующія лица). А между тъмъ, если вдуматься, то и Щигровскій Гамлеть окажется тъсно связаннымь съ тою барской средой, которая раскрывается передь нами въ «Запискахъ Охотника». Въдь самое это отвлеченное направленіе мысли, самое это ученье помимо жизни возможно только въ барской средь, той средь, гдъ не имълось живой, насущной потребности дала, а потому-то все, даже самое знаніе, могло обращаться въ бездалье, въ какой-то возвышенный способъ коротать время.

Такимъ-же созданіемъ барской среды является передъ нами и Рудинъ — человѣкъ, хотя и бѣдный, но, благодаря вредному самоотвержению своей матери, воспитанный все-таки барчукомъ. Мъсто дъйствія, гдь знакомится съ нимъ читатель, это одинъ изъ тъхъ барскихъ салоновъ, въ которыхъ у насъ умудрялись сооружать посреди деревни столицу, или даже своего рода Парижъ эпохи энциклопедистовъ съ ея дамами ésprit fort (извъстно, что мы постоянно проходимъ «зады» европейской жизни). Надо замётить, что міръ, окружающій эту доморощенную столицу съ ея салономъ, какъ-бы совершенно не существуеть для проживающихъ въ ней и даже для ея просвѣтительнаго оратора и трибуна Рудина. Только самъ сочинитель въ началѣ даетъ намъ заглянуть мелькомъ въ этотъ окружающій міръ, вводя насъ въ душную избу крестьянки, больной горячкой, вводя съ одною изъ менъе развитыхъ личностей повъсти, сестрою также простодушнаго Волынцева; другимъ, болъе развитымъ, личностямъ повъсти некогда оглядываться вокругъ себяонъ слишкомъ погружены въ свои мысли. Вспомните тотъ объдъ у меценатствующей помъщицы-генеральши, къ которому ожидають проважаго барона для слушанія его политико-экономической статьи, и первое появление посланнаго имъ за себя Рудина. Несмотря на нерасполагающую роль подставного лица, Рудинъ, однако-же, сразу производить впечатление обаятельное и совершенно,

повидимому, уничтожаетъ долго игравшаго у Ласунской чуть-ли не первую роль ядовитаго отрицателя и ненавистника человъческаго рода, Пигасова. «Стало быть, по вашему, убъжденій нътъ?» — спрашиваетъ его. Рудинъ. — «Нъть и не существуеть». — «Это ваше убъждение?» — «Да».—«Какъ-же вы говорите, что ихъ нътъ? Вотъ вамъ уже одно на первый случай». При такихъ и подобныхъ тому пріемахъ, и самъ читатель на первыхъ порахъ готовъ удивляться совершенно, повидимому, ясному и здравому уму Рудина. Но вскорт уже ему-то-есть только читателю, а не окружающимъ-приходится немного разочароваться. На различныя отрицательныя выходки со стороны Пигасова Рудинъ отвъчаетъ уже совершенно неопредъленною фразой, что надо желать «быть и жить въ истинъ». Онъ думаетъ выяснить свою мысль наглядно, приводя скандинавскую легенду о птичкъ, которая влетёла во время ужина въ царскую палату и, тотчасъ-же изъ нея вылеттвъ, пропала въ ночной темнотъ и возбудила заботливое внимание царя. «Царь, птичка и въ темнотъ не пропадетъ и свое гнъздо сыщетъ», успокаиваютъ царя его собестдники. Самъ-же Рудинъ дълаетъ изъ этого слъдующее заключеніе: «наша жизнь быстра и ничтожна, но все великое делается черезъ людей. Сознаніе быть орудіемь тёхъ высшихъ силь должно замёнить человеку всё другія радости; въ самой смерти найдеть онь свою жизнь, свое гнёздо». Туть, какъ не трудно замѣтить, вполнѣ үже сказывается тотъ туманный идеализмъ, которымъ такъ долго у насъ пробавлялись и въ разговорахъ, и въ книгахъ. И извъстная доля такого пдеализма въ свое время не только не отталкивала, но даже отчасти могла привлекать не однёхъ, едва разцвётающихъ и ищущихъ хоть какой-нибудь теплоты и свъта, впечатлительныхъ девушекъ, какова Наташа, но даже и вкусившихъ уже университетской науки юношей — въ родъ Басистова (въ настоящее время, конечно, — и это весьма ощутительный признакъ нашего умственнаго успеха — ни одного изъ нихъ уже не пленить какиминибудь фразами). Въ пылу овладъвшаго ими очарованія,

не только Наташа, но и Басистовъ, слушаютъ — не наслушаются Рудина, и даже студенту нисколько не представляется страннымъ, какъ это, случайно явившись съ чужимъ порученіемъ у Ласунской, Рудинъ заживается у нея на нъсколько мъсяцевъ и ораторствуетъ себъ да ораторствуеть о различнаго рода высшихъ вопросахъ, иногда ниспускаясь на землю къ вопросамъ хозяйственнымь, предлагая Ласунской различнаго рода нововведенія (все, кром' освобожденія крестьянь о чемь, разум'єтся, нодобнаго рода идеалистамъ никогда и не снилось), предлагая ихъ такъ, безъ малъйшей надежды на осуществленіе пли, лучше сказать, безъ малійшей заботы о томъ. И не только Наташъ, но и Басистову не навертывается на умъ вопросъ: неужели умному человѣку нечего болѣе делать, какъ только рисоваться передъ этой мишурной царицей салона? Между тъмъ самъ Рудинъ, очевидно, воображаеть, что онь дёлаеть дёло: онь привыкъ видеть дело въ безплодномъ ораторствовании, онъ успель уже на это убить значительную часть своей жизни. Онъ, очевидно, и изъ этой пустъйшей Ласунской создаетъ себъ, силой воображенія, такую почву, которая способна воспринимать обильное съмя его ръчей, и такимъ образомъ разыгрывающееся воображение доставляетъ богатую пищу его самолюбію: изв'єстно, что оно особенно развито у людей, съ избыткомъ одаренныхъ воображениемъ, этою волшебною силой, умѣющей создавать что угодно почти что изъ ничего, а потому и поднимать одареннаго имъ на любую, хотя-бы и неподобающую ему высоту. Но если питавшее его самолюбіе, свётски-холодное благоговёніе передъ нимъ Ласунской тѣмъ болѣе заставляло его окружать эту барыню какимъ-то особымъ, отъ него-же въ главибищей мъръ и падавшимъ на нее сіяніемъ, то что-же должно было въ немъ возбуждать то настоящее, горячее чувство безграничной привязанности, которое онъ замьчаль въ Наташе? Въ летахъ, уже вовсе немолодыхъ, сдёлаться вдругь предметомъ страсти девушки, не успевшей еще никого полюбить, — не значило-ли это увидать свое самолюбіе до того польщеннымъ, что тёмъ самымъ

вызывалась невольно отвётная страсть, которая и не замедлила, повидимому, развиться—но исключительно подъвліяніемъ того-же, царившаго въ немъ, воображенія. И вотъ любовь къ Наташѣ представилась ему новымъ дилому,

задерживающимъ его у Ласунской.

Чъмъ, однако-же, сильнъе привязывается Наташа къ Рудину, чёмъ выше становится онъ въ ея мнёніи, тёмъ рѣшительнѣе дѣйствуетъ на нее съ его стороны всякая такая обмолвка, которая попадаеть въ противоръчие съ идеаломъ, составленнымъ ея свътлымъ воображениемъ. Между тъмъ, уже въ первомъ откровенномъ своемъ разговоръ съ нею, упомянувъ о своей деревенькъ, онъ выражаеть намерение остаться въ ней, потому что ему «пора отдохнуть». Это сразу поражаетъ Наташу, то-есть ее поражаетъ не то, что мъстомъ для отдыха онъ почитаеть деревию: въ ту пору это никого не могло поразить, потому что въ деревит именно только отдыхали, въ ней почти не видъли возможности дъла, и различныя тяжелыя ея впечатленія не мешали нравственно сибаритствовать никакому идеалисту. Наташу собственно поражаеть самое стремленіе къ отдыху, преждевременное, на ея взглядъ, для ея героя, прекрасныя ръчи котораго принимала она за чистыя деньги. «Отдыхать, —говорить она, могутъ другіе, а вы... вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ... Кому-же какъ не вамъ!» — И, сразу понявъ, что онъ вышелъ изъ своей, хотя-бы и безъ всякой умышленной фальши разыгрываемой роли, Рудинъ спѣшитъ поправиться: «ваше слово напомнило мнѣ мой долгъ, указало мнъ мою дорогу... Да, я долженъ дъйствовать... Я не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, безполезную болтовню, на одни слова». Но тутъ-же опять слова, тѣ-же, какъ-бы сдѣлавшіяся его второю натурой, слова опять полились у него ракою, поташая по-прежнему его самолюбіе, попрежнему заставляя его видёть въ нихъ какъ будто-бы дѣло, какъ будто-бы силу!

Но не только влюбленная и дѣтски впечатлительная Наташа,—и гораздо менѣе ея даровитая, за то гораздо болье спокойная, трезвая духомъ вдовушка, сестра Волынцева, въ сильной степени увлечена Рудинымъ. И воть, въ ея-то глазахъ старается разоблачить его Лежневъ, его товарищъ по университету. Въ весьма несочувственной оцънкъ имъ Рудина кое-что, конечно, должно быть объяснено тамъ, что онъ ревнуеть ее къ нему,обстоятельство, разумбется, не служащее къ чести Лежнева, который, однако-же, миритъ насъ съ собою впослъдствии, когда самъ совершенно чистосердечно кается въ этомъ. Но такъ какъ господствующею чертою Лежнева, тъмъ не менъе, остается прямота и правдивость, нерасположенье ко всякой рисовкѣ или риторикѣ, то мы вполнъ можемъ понять, что, и помимо всякихъ постороннихъ соображеній, весьма многое не могло его не отталкивать въ Рудинъ. Между тъмъ, въ юности самъ онъ, вмѣстѣ съ другими, увлекался Рудинымъ и разочаровался въ немъ такъ-же точно, какъ впоследстви, прямо уже на глазахъ у читателя, разочаровывается Наташа. И вообще изъ того, что непосредственно происходитъ передъ читателемъ, можно, мнѣ кажется, заключить о возможности большей части того, что узнаемъ мы о Рудинъ изъ словъ Лежнева. Единственный сынъ у матери и съ самаго нъжнаго дътства предметъ ея обожанія, которому она постоянно приносила жертвы, лишая себя всего, чтобы не дать ему и почуять, что значать лишенья, —Рудинъ, какъ и всѣ любимцы, уже съ дътства пріучился считать самого себя какимъ-то центромъ всего окружающаго, т.-е. безсознательно сделался себялюбцемъ. Принимая все, что делала для него мать, за какую-то должную ему дань, съ другой-же стороны, чувствуя свое умственное передъ ней превосходство и при этомъ самолюбиво не сознавая, что онъ ей-же быль имъ обязанъ, Рудинъ проживая впоследствии за границей, не чувствоваль даже влеченія особенно часто писать къ матери. До поъздки своей за границу, еще студентомъ университета, енъ, благодаря своимъ блестящимъ способностямъ, сдълался такимъ-же собирателемъ дани съ товарищей, какимъ былъ прежде въ отношении къ матери. И дань эта

была не только духовная—дань удивленья—но иной разъ и матеріальная: онъ, какъ будущій геній, не видёль ничего предосудительнаго въ томъ, чтобы содержаться на средства богатаго князька, своего товарища (какъ внослъдствіи, на глазахъ у читателя, не считаетъ предосудительнымъ-кромъ дани удивленья съ Ласунской, получить и денежную, — въ видъ займа). Виъстъ съ тъмъ, какъ настоящій божокъ, онъ быль для своихъ товарищей и истолкователемъ ихъ сокровеннъйшихъ чувствъ и посредникомъ-разрѣшителемъ ихъ сердечныхъ дѣлъ. Такъ, узнавъ о любви Лежнева къ одной девушке, онъ, «вследствіе своей проклятой привычки каждое движеніе жизни, своей и чужой, пришниливать словомъ, какъ бабочку булавкой», пустился обоимъ имъ объяснять ихъ самихъ, ихъ отношенія, вступиль даже въ переписку съ нимии сбилъ ихъ совершенно съ толку. Понятно послъ всего этого, что Лежневъ его называетъ деспотоми (который, какъ и многіе деспоты, силенъ только слабостью друтихъ); онъ считаетъ его холодными каки леди (то-есть, не признаетъ въ немъ настоящаго чувства, которое замъняется въ немъ вображениемъ). «Никто такъ легко не увлекается, какъ безстрастные люди», замъчаеть Лежневъ, и онъ совершенно правъ, потому что они увлекаются собственно своимъ разыгрывающимся, все для нихъ замъняющимъ, воображениемъ. Наконецъ, какъ извъ стно. Лежневъ его называетъ кокемкой, —а на бъду онъ кокетничаетъ, то-есть кокетничаетъ своимъ умомъ не передъ одной пожилой Ласунской, но и передъ ея дът ски-довърчивой, чистой, отзывчивой дочерью.

Сильнымъ подтвержденіемъ вѣрности большей части того, что говоритъ о немъ Лежневъ, является странное посѣщеніе Рудинымъ Волынцева. Онъ считаетъ какъ-бы священнымъ долгомъ посвятить своего неудачливаго соперника въ тайну своей счастливой любви къ общему ихъ предмету—Наташъ. Волынцевъ—человъкъ простой, привыкшій, какъ самъ говоритъ, «ѣсть пряники неписанные»,—и взбѣшенъ, и поставленъ въ тупикъ этимъ, совершенно для него непонятнымъ поступкомъ, но для

Лежнева дёло ясно. «Оно, вишь ты, и благородно, и откровенно, ну да и поговорить представляется случай,

красноречіе въ ходъ пустить»...

Я не стану следить за известной исторіей любви Рудина къ Наташъ, то-есть постепеннаго самолюбиваго влюбленія имъ ея въ себя. Но вотъ цёль достигнута: она не можетъ жить безъ него, но мать не согласится на ея бракъ съ нимъ, и ей остается только бъжать съ Рудинымъ. Она готова на все, но онъ? Въ решительную минуту ему сразу становится ясно, что онъ никогда ее не любиль «настоящей любовью, любовью сердца, а не воображенія» (собственныя его слова). Изъ того, какъ онъ отвъчаетъ на ея готовность бъжать, и ей становится сразу ясно, что онъ никогда ее не любилъ. Потому-то и было ему «далеко отъ слова до дъла», потому-то онъ, по ея словамъ, и «струсилъ» передъ рѣшительнымъ шагомъ. И что-же? Слова ея только задѣвають въ немъ самолюбіе; оно и въ эту минуту говорить въ немъ сильнъе совъсти, такъ что у него достаетъ духу обратить ка ней ея упрекъ. « $B \omega$ трусите, а не я!» говоритъ онъ бѣдной Наташѣ, когда она, наконецъ, вспоминаетъ о томъ, какимъ нареканьямъ подвергаетъ она себя этимъ напраснымъ свиданіемъ съ нимъ.

Съ отношеніями къ Наташѣ Рудина въ эту минуту не лишнее будетъ сопоставить въ «Запискахъ Охотника» отношенія къ Петру Петровичу Каратаеву страстно имъ любимой Матрены. И эта крестьянская дѣвушка «трусила» какъ и Рудинъ, но причины ихъ трусости совершенно различны. Матрена боялась, что за побѣгъ ея поплатятся ея родные, и, чтобъ спасти ихъ, отказалась отъ Каратаева, котораго страстно любила. Напротивъ того, Рудинъ, какъ самъ онъ сознается въ письмѣ къ Наташѣ, «просто испугался отвѣтственности, которая на него падала»,—испугался потому, что въ сущности никогда не любилъ Наташи!

Но и при всей непривлекательности той роли, какая досталась ему при свидании съ Наташей, Рудинъ сейчасъ же опять находитъ возможность порисоваться въ письмѣ

къ Вольпиеву. Самъ великодушно извъщая его, что онъ уже больше ему не соперникъ, Рудинъ ублажаетъ свое самолюбіе фразами объ исполненномъ долгь. Не менъе рисуется онъ при прощаніи съ добродушнымъ Басистовымъ. Въ сущности, разставаясь совсѣмъ не охотно со своимъ положеньемъ божка у Ласунской, онъ воображаетъ себя въ положеніи Донъ-Кихота, уѣзжающаго отъ герцогини, и приводитъ Басистову извѣстныя слова его въ эту минуту: «свобода, другъ мой Санчо, одно изъ самыхъ драгоцѣннъйшихъ достояній человѣка... Счастливъ тотъ, кому небо даровало кусокъ хлъба, кому не нужно

за него быть обязаннымъ другимъ».

И туть опять невольно навертывается сопоставление съ однимъ изъ крестьянскихъ типовъ въ «Запискахъ Охотника». Вспомните «Бирюка», который, состоя сторожемъ барскаго лъса, поймалъ въ немъ вора и сперва ему связаль руки, но потомъ, разжалобленный его бъдностью, выпустиль его на волю. «Ну, Бирюкъ, ты, я вижу, славный малый», замёчаеть на это охотникъ. «Э, полноте, баринъ, не извольте только сказывать» — вотъ простой отвътъ Бирюка, сдълавшаго, и не безъ опасности для себя, действительно доброе дело, но далекаго отъ того, чтобъ имъ рисоваться. А Рудинъ, совершенно наоборотъ, рисуется, разыгрываетъ героя, только-что успъвъ разыграть весьма незавидную роль. Въ суровомъ, повидимому, Бирюкъ, совершенно невольно, какъ-бы на зло ему самому, вдругъ сказывается мягкая человъческая натура; что же касается Рудина, то, по крайней мірь на этотъ разъ, несомнінно правъ Лежневъ, когда на слова Басистова, что Рудинъ — «натура славная», замівчаеть: «нівть, именно натуры въ немъ и не видно!» И дъйствительно она въ немъ совершенно заслонена всякими искусственными наслоеніями, и въ этомъ онъ опять — настоящій тепличный продукть чисто барской среды.

Есть, однако же, минуты, когда Рудинъ не играетъ роли, а говоритъ отъ души и клеймитъ совершенно искренно самого себя,—и вотъ тутъ-то онъ особенно на-

поминаетъ Щигровскаго «Гамлета». Таковъ онъ въ своемъ прощальномъ письмъ къ Наташъ. «Природа мнъ много дала, но я умру, не сдёлавъ ничего, достойнаго силъ моихъ... Странная, почти комическая моя судьба: я отдаюсь весь, съ жадностью, вполнё — и не могу отдаться» (потому что отдается только въ воображеніи). «Я кончу тёмъ, что пожертвую собою за какой-нибудь вздоръ, въ который даже върить не буду (но который вдругъ очаруетъ его, всъмъ пресытившееся, ищущее необычайностей, воображение). Боже мой! Въ 35 лътъ все еще собираться что-нибудь сдёлать!.. Еслибъ я могъ... побъдить, наконецъ, свою лѣнь... Но нътъ, я останусь тёмъ же неоконченнымъ существомъ... первое препятствіе—и я весь разсыпался!»... Переходя затымъ прямо къ своимъ отношеніямъ къ самой Йаташъ, онъ и въ этомъ нисколько не хочетъ обманывать ни себя, ни ее. На этотъ разъ совъсть говорить въ немъ громче, чёмъ самолюбіе: онъ не пускаеть въ дёло нетрудной, повидимому, фразы, что онъ не можетъ себя связывать бракомъ, соединеннымъ съ препятствіями, потому что это могло бы служить пом' со общественному служенію. Напротивъ, онъ съ неумолимою откровенностью говоритъ: «еслибъ я, по крайней мѣрѣ, принесъ мою любовь въ жертву моему будущему дёлу, моему призванію, но я просто испугался ответственности»...

Нельзя не замѣтить, что эта способность хотя-бы и въ такую только минуту стать совершенно искреннимъ, искреннимъ даже на счетъ самолюбія, заставляетъ насъ видѣть въ Рудинѣ, не дурного, въ сущности, человѣка. Извѣстно, что самъ Лежневъ, кромѣ первой, вполнѣ несочувственной его обрисовки, прибѣгаетъ подъ-конецъ къ совершенно другой, при чемъ Рудину отдается полнѣйшее предпочтеніе предъ Пигасовымъ. Что касается послѣдняго, то хотя мы при этомъ и узнаемъ, что онъ бралъ въ свое время взятки и, при всемъ своемъ отрицательномъ направленіп, льнетъ, несмотря на положительное свое состояніе, къ богатымъ и знатнымъ, всетаки намъ не слѣдуетъ, съ другой стороны, забывать,

что, собственными усиліями выйдя въ люди, онъ не пересталь понимать нужду, и крестьяне у него не бъдствовали. Прямое указаніе на эту черту въ безсердечномъ на видь, отрицающемъ все, Пигасовъ, и полнъйшее умолчаніе о чемъ-либо подобномъ въ идеалистѣ Рудинѣ, —такое обстоятельство не можетъ не уменьшить въ глазахъ читателя тёхъ сочувственныхъ сторонъ Рудина, ради которыхъ пьетъ за его здоровье Лежневъ. Йослѣ этого менте цены получаеть для нась то, что «если онъ живеть на чужой счеть, то единственно какъ ребенокъ, привыкшій, чтобъ его кормили, а не какъ пролазъ, составляющій себѣ состояніе». Но все-же и для читателя невольно оказывается даже весьма сочувственнымъ Рудинъ, когда онъ, уже постаръвшій, накрънившійся, чуть не нищимъ встръчается съ Лежневымъ и окончательно располагаетъ его въ свою пользу разсказомъ о своихъ незадачахъ. Попалъ онъ было къ богачу-помещику компаньономъ, но, знать, зависимость подобнаго положенія не довольно замаскировывалась благоговеніемъ патрона къ уму своего кліснта, и Рудина, на этотъ разъ совершенно искренно, предпочелъ, вмъсть съ Донъ-Кихотомъ, нравственную независимость привольному житью на всемъ на готовомъ. Не выдержалъ онъ и положенія секретаря у благонамъреннаго сановника, — опять-таки потому, надо думать, что уму его приходилось туть быть не владыкою, а слугою. Не удалось оказаться зачинщикомъ широко-хватающихъ государственныхъ перестроекъ (а предвкушеніемъ ихъ уже были нововводительскія затви его у Ласунской, которыя если и не осуществлялись, то, по крайней мёрё, благоговёйно ею выслушивались), —и вотъ отъ своего, неподдавшагося его руководству, сановника Рудинъ вдругъ перешелъ къ какому-то, подобно ему самому, фантазеру, захотвышему, въ пылу разыгравшагося воображенія, сдёлать судоходною рёку — безъ капитала. Предпріятіе, конечно, лопнуло и тогда-то, проученный столько разъ, Рудинъ, наконецъ, принялся за дело, уже совершенно, повидимому, осуществимое, скромное, даже, можетъ быть, слишкомъ скромное, на его взглядъ, для его необыкновенных способностей. Онт сдёлался учителемъ словесности въ провинціальной гимназіи, и его дъйствительно ръдкій даръ слова, такимъ образомъ, получилъ, наконецъ, вмъстъ съ его свъдъніями настоящее жизненное примъненіе. Понятно, что къ нему кръпко привязались ученики, и онъ привязался къ нимъ — насколько вообще въ состояніи привязываться люди воображенія. Настоящей, сердечной привязанности и тутъ, какъ въ отношеніяхъ его къ Наташъ, не было. Это я позволяю себъ усматривать изъ того, что Рудинъ не выдержалъ столкновеній съ гимназическимъ начальствомъ, что самолюбіе не позволило ему сдёлать въ этомъ отношеніи какія-нибудь уступки — ради гимназической молодежи, чтобы не заставить ее такъ скоро лишиться одушевлявшаго ее учителя.

Не трудно послѣ всего этого заключить, что Рудинъ, согласно его собственному предсказанію, долженъ былъ кончить совершенно особеннымъ, изъ ряду выдающимся образомъ. И въ самомъ дѣлѣ, онъ погибаетъ въ 1848 г., сражаясь на баррикадахъ въ Парижѣ. Точно будто и безъ него не нашлось бы тамъ достаточно дѣятелей, или будто бы у насъ на Руси ихъ черезчуръ уже много.

Но что же, наконецъ, такое этотъ загадочный Рудинъ? Самъ онъ, при последнемъ своемъ свидании съ Лежневымъ, вполнъ откровенно, повидимому, высказываетъ свой взглядъ на себя. «Фраза меня сгубила, -- говорить Рудинъ. - Строить я никогда ничего не умълъ; да и мудрено, братъ, строить, когда и почвы-то подъ ногами нътъ». Такому самоосуждению вполнъ соотвътствуеть и следующий отзывь Лежнева: «несчастие Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это точно-большое несчастие. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можеть, но никто изъ насъ безъ нея не можеть обойтись». Тотъ же Лежневъ вмёстё съ тёмъ заявляетъ, что Рудинъ у насъ не одинъ, что онъ-вполнъ типическое явленіе. «Насъ бы очень далеко повело, -говорить онъ, если бы мы хотъли разобрать, отчего у насъ являются Рудины». Въ другомъ мѣстѣ, выражаясь очень рѣзко и

строго, Лежневъ находитъ, что «Рудинъ, въ сущности пустой человъкъ, но въдь и всъ мы-чустые люди».

Есть ли это только взглядъ самого Лежнева, служащій къ тому, чтобы ярче обрисовать особенныя свойства его ума, или же къ этому именно взгляду невольно приводить читателя самъ сочинитель? Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, я долженъ сперва разсмотрѣть другіе Тургеневскіе типы, слѣдовавшіе за Рудинымъ и служившіе, такъ сказать, его продолженіемъ или же разъясненіемъ. Но это составитъ уже предметъ двухъ остальныхъ моихъ лекцій 1).

II.

«Дворянское гнѣздо» и «Нананунѣ».

Несмотря на порядочный рядъ годовъ, отдъляющихъ «Рудина» отъ «Записокъ Охотника», этотъ типъ неудавшейся «высшей натуры» находится въ тъснъйшей связи
не только съ «Гамлетомъ Щигровскаго Уъзда», но и съ
цълымъ и основнымъ содержаніемъ «Записокъ». Отличаясь отъ большей части выведенныхъ въ нихъ дворянскихъ типовъ своею образованностью, Рудинъ сходится
съ ними со всёми въ той чисто барской подкладкъ, какая
оказывается, какъ мы видъли, подъ этой его образованностью. Но ту-же самую барскую подкладку увидимъ мы
и въ тъхъ Тургеневскихъ типахъ, которые служатъ
какъ-бы продолженіемъ Рудина. Нъсколько такихъ ти-

¹⁾ Въ «Невскомъ Сборникъ», изданномъ въ 1867 году г. Курочкинымъ, помъщена была статън молодого критика, скрывшаго свое имя подъ псевдонимомъ Алкайдрова: «о воспитательномъ значени произведений гг. Тургенева и Говчарова». При всъхъ достоинствахъ автора (въ настоящее время пишущаго уже подъ своимъ настоящимъ именемъ), трудно согласиться съ его ратованемъ противъ г. Тургенева за Рудина, какъ за какую-то высшую не оцѣненвую имъ натуру. Смъю думать, что это окончательно выяснится у меня далѣе.

повъ представляетъ намъ, во-первыхъ, «Дворянское гнѣздо»: весьма знаменательное заглавіе, самымъ непосредственнымъ образомъ соотвѣтствующее содержанію новѣсти.

Между выведенными въ немъ типами одинъ, надо замётить, является, повидимому, прямо противоположнымь Рудину. Не даромъ не только въ немъ самомъ незамътно барства, но и друга своего Лаврецкаго онъ заставляеть благодарить Бога за то, что въ жилахъ его течетъ (отъ матери) честная плебейская кровь 1). Какъ мало, однако-же, она помогла Лаврецкому при той барской крови, которая наследована имъ отъ отца, и, главное, при томъ чисто барскомъ воспитании, какое онъ получилъ, -- это видно изъ самыхъ упрековъ ему Михалевича. Видя, что Лаврецкій совершенно раскисъ, опустился отъ своихъ семейныхъ невзгодъ, Михалевичъ напрасно ему говорить: «Ты себя вправь,—на то ты человъкъ, мужчина!.. Развъ позволительно чистый, такъ сказать, фактъ возводить въ общій законъ, въ непреложное правило» (т.-е. вследствие того, что пришлось обмануться въ женъ, становиться равнодушнымъ и безучастнымъ ко всему человъческому роду). «Ты эгоистъвотъ что!.. Въ тебъ нътъ теплоты сердечной; умъ, --все одинъ только копъечный умъ; ты просто жалкій, отсталый волтеріанецъ» (намекъ на воспитаніе Лаврецкаго). «Нътъ, ты байбакъ, и злостный байбакъ, байбакъ съ сознаніемъ, а не наивный»... Это последнее обстоятельство особенно возмущаетъ Михалевича, являющагося такимъ образомъ человъкомъ дъла. «И гдъ вздумали люди обайбачиться? продолжаеть онь, — у нась!... теперь!... въ Россіи! Когда на каждой отдёльной личности лежитъ долгъ, отвътственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой!»... А что это у Михалевича не просто громкое общее мъсто, — несомнънно изъ того, что слъдуетъ далъе. Уже совершенно опредъ-

¹⁾ На происхождение самого Михалевича нътъ пикакихъ прявыхъ указаний у сочинителя:

ленная, точно выраженная задача представляется въ совъть его Лаврецкому заняться бытомъ своихъ крестьянъ. И воть именно тутъ-то, какъ-бы съ тъмъ, чтобы хорошенько пронять своего «злостнаго байбака», Михалевичъ напоминаетъ ему о томъ, что самая кровь, текущая въ его жилахъ, должна бы заставить его всъмъ сердцемъ

отдаться заботамъ о своихъ крестьянахъ.

А между тёмъ, съ другой стороны, тотъ же самый Михалевичь не даромь учился вмёстё съ баричами, не даромъ хлебнулъ вмёстё съ ними той отвлеченной, кажущей жизнь черезъ дымку, отуманивающей образованности, какою вскормлено было у насъ на Руси столько покольній; въ силу этой-то образованности и сталь онь такимъ стихотворцемъ-энтузіастомъ, что пустейшая и бездушныйшая Варвара Павловна могла ему представиться изумительнымъ, геніальнымъ и притомъ предобрымъ существомъ, такъ что именно онъ-то и влюбилъ въ нее того самаго Лаврецкаго, котораго несчастие она составила и которому онъ, однако-же, какъ видели мы, читаетъ безпощадныя наставленія. Замъчательно, что при всемъ этомъ онъ не сознаетъ и тени какой-либо вины за самимъ собой, и что у него станетъ духу, при свиданіи съ Лаврецкимъ, послі всего другого, на цілую ночь завязать съ нимъ «одинъ изъ тъхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди» 1), споровъ о «самыхъ отвлеченныхъ предметахъ», но ведомыхъ такъ горячо, какъ будто бы «дёло тутъ шло о жизни и смерти». Если обратить внимание на это, то Михалевичъ станетъ далеко не такъ непохожъ на Рудина, какъ оно можетъ показаться съ перваго раза. Точно также походить онь на него въту минуту, когда, уже садясь въ тарантасъ, все еще развиваетъ свои возэрѣнія на судьбы Россіи, припутывая туть «религію, прогресъ, человѣчность», а самъ, между тѣмъ, всѣ надежды свои возлагаеть на откупщика (идеализируя, по

¹⁾ Т.-е. люди, получивше русское отвлеченное, а не непосредственно изъ самой жизни вытеклющее, образование.

всей въроятности, и его, какъ Варвару Павловну), который взялъ Михалевича единственно для того, чтобы имъть у себя въ конторъ образованнаго человъка. Правда, кончаетъ Михалевичъ не такъ, какъ Рудинъ. Послъ долгихъ странствованій, онъ не только попадаетъ на настоящее свое дъло, но и умъетъ удержать его за собой. Получивъ мъсто старшаго надзирателя въ казенномъ заведеніи, онъ совершенно доволенъ своей судьбой, а воспитанники его обожаютъ, хоть и передразниваютъ.

Переходъ отъ Михалевича къ Паншину, повидимому, не переходъ, а скачокъ. Если Паншинъ вообще даровитъ, если въ немъ замътна своего рода художническая струя, то она въдь остается совсемъ не согретою хотя бы чёмъ-нибудь похожимъ на увлечение. Другая, ръшительно перевъшивающая сторона Паншина, сторона чиновническая, способность его являться исполнителемъ при надеждъ современемъ стать министромъ, окончательно отличаетъ его какъ отъ Михалевича, такъ и отъ Рудина. За то уже ръшительное сходство съ послъднимъ обнаруживается въ немъ въ то время, когда онъ услаждаеть себя ораторствованіемь. И при этомъ подъ нимъ точно также не оказывается почвы, онъ точно также не знаетъ Россіи, хотя, на беду, онъ не ограничивается однимъ составлениемъ плановъ, но, какъ чиновникъ, имъетъ или будетъ имъть возможность и на самомъ дълъ мудрить, производить опыты надъ живымъ тъломъ народа русскаго. Если върно Лёжневское объясненіе «пустоты» Рудина тѣмъ, что онъ космополитъ, а «космополитизмъ-нуль или хуже нуля» 1), то тъмъ же самымъ космополитизмомъ одержимъ и Паншинъ; только онь, какъ космополитъ-чиновникъ, къ сожалѣнію, не нуль, а скорте тотъ Пушкинскій живописецъ-варваръ, который чертить свой беззаконный рисунокъ поверхъ самородныхъ созданій народнаго творчества, и чертитъ

¹⁾ Т.-е. космополитизмъ не въ смыслѣ братской общительности со всѣин народами, а въ смыслѣ народной безхарактерности, незнавія собственной почвы, неимѣнія. въ нравственномъ смыслѣ, ни кола, ни двора.

его такъ безцеремонно, что понадобилось бы немало усилій, чтобы стереть всю эту мазню. «Россія отстала отъ Европы, — говоритъ Паншинъ, — нужно подогнать ее... Мы больны отъ того, что только на половину сдълались европейцами; чъмъ мы ушиблись, тъмъ и лъчиться должны...» И вотъ онъ, съ цълой стаей другихъ, намъренъ приняться за такое лъченіе — изъ, конечно, даже не прекраснаго «далека» своей канцеляріи. Чисто чиновничій характеръ предполагаемаго Паншинымъ лъченія сказывается въ слъдующихъ его словахъ: «Всъ народы въ сущности одинаковы, вводите только хорошія учрежденія, и дъло съ концомъ!...» «Пожалуй, —дълаетъ онъ уступку, — можно приноравливаться къ существующему народному быту»; но кто не знаетъ, какъ мало можно полагаться на эту бюрократическую

готовность только приноравливаться?...

Противъ канцелярски-просвътительныхъ затъй Паншина возсталь, какъ извъстно, Лаврецкій. Онъ «отстанвалъ молодость и самостоятельность Россіи... доказаль невозможность скачковъ и надменныхъ передълокъ съ высоты чиновничьяго самосознанія, - переділокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дійствительной върой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе...» На основаніи этого м'єста н'єкоторые критики признали въ Лаврецкомъ славянофила, почувствовавшаго, какъ и многіе, на собственномъ примъръ всю пагубу такъ-называемой «безпочвенности». Но не надо забывать, что выходка Лаврецкаго противъ Паншина вызвана, главнымъ образомъ, желаніемъ уничтожить его въ глазахъ Лизы, инстинктивно сочувствующей всему народному. Въ сущности Лаврецкій довольно далекъ отъ того, чтобы сділаться настоящимъ славянофиломъ; напротивъ, въ немъ до конца-сохраняется отпечатокъ чего-то Рудинскаго (хотя не надобно забывать, что есть и между такъ-называемыми славянофилами своего рода Рудины: стоитъ только вспомнить въ «Запискахъ Охотника» Любозвонова). Во всякомъ случав, воспитание Лаврецкаго было,

какъ онъ самъ сознается, совершенно безпочвенно. Хотя и плебей по матери, онъ былъ пскусственно высиженъ въ «дворянскомъ гнъздъ».

Нашъ писатель, какъ извъстно, разсказываетъ намъ самую исторію этого «гнізда». Родъ Лаврецкихъ, какъ и многіе изъ нашихъ дворянскихъ родовъ, происходилъ изъ чужой земли, а именно изъ Пруссіи. Отличался онъ, какъ и многіе, тъмъ, что совершенно вошелъ во вкусъ крѣпостного права. Прадъдъ героя повъсти, Андрей Лаврецкій, быль такимь типомь барина, какіе, какъ видъли мы, словно умышленно не обличались г. Тургеневымъ въ «Запискахъ Охотника», — типомъ, болье или менье исключительным но своей жестокости. По свидътельству собственнаго правнука, онъ «мужиковъ за ребра въщалъ». «Баринъ быль, что и говорить, отзывается о немъ старикъ Антонъ, — и старшого надъ собой не зналъ». Сложилось въ народе и особое, съ примѣсью чудеснаго, сказаніе въ объясненіе его безнаказанности: будто монахъ съ Авонской горы далъ ему ладонку и сказалъ: «Носи и суда не бойся». Сынъ этого обладателя такого страшнаго талисмана, Петръ Андресвичь, представляль въ отношени къ нему такую-же противоположность, какъ Чертопхановъ-сынъ въ отношеніп къ Чертопханову-отцу (вспомните «Записки Охотника»). Петръ Андреевичъ Лаврецкій быль простой степной баринъ, крикунъ, но не злой, хлъбосолъ. Оба, и онъ, и отецъ, во всякомъ случак, были натуры цёльныя, чуждыя и мальйшей тыни той раздвоенности, которая доставила Щигровскому чудаку прозвание Гамлета и въ сущности могла-бы доставить то-же самое Рудину. Раздвоенность, а съ нею и своего рода Рудинство, начинается долько съ Ивана Петровича Лаврецкаго, отца героя повъсти. Дъло въ томъ, что онъ получилъ воспитаніе въ столиць у богатой тетки и старой девушки, княжны Кубенской, приставившей къ нему гувернера, бывшаго аббата. Казалось-бы, ужь и этого довольно, но бывшій аббать сверхь того оказался ученикомь Ж. Ж. Руссо. Понятно, что по перевздв ва деревню кътотцу,

Ивану Лаврецкому мудрено было съ нимъ ужиться. Но зависёло это, главнымъ образомъ, отъ французски-великосвътской обстановки тетки. «За столомъ привередничаетъ, жалуется на него отецъ, не встъ, людского занаху, духоты переносить не можеть...» Впрочемъ, жалобы этимъ не огранцчивались. «Драться при немъ тоже не смей, служить не хочеть... а все оттого, что Вольтеръ въ головъ сидитъ». На самомъ-же дълъ не одинъ Вольтеръ, но и всё энциклопедисты (конечно, купно и съ Ж. Ж. Руссо) сидели у него въ голове, но, по прямому свидетельству нашего сочинителя, во одной только иоловъ. Въ этомъ отношении онъ уже совершенио подходить къ Рудину, всё «убёжденія» котораго имёли также характеръ по преимуществу головной, т.-е. вычитанный изъ книгъ. Впрочемъ, былъ одинъ случай, въ которомъ Иванъ Лаврецкій, повидимому, показаль себя съ другой стороны. Дёло въ томъ, что онъ не въ воображеніи только, какъ Рудинъ, но и на самомъ дёлё влюбился въ горничную Маланью, и вотъ это-то дало ему возможность «пустить въ ходъ, оправдать на дёлё Руссо, Дидерота и la déclaration des droits de l'homme». Къ неописанному ужасу своего отца, онъ женился на его кръпостной. Но этимъ однимъ поступкомъ и ограничилось все его действительное служение великимъ идеямъ французскихъ мыслителей. Да и туть, разумьется, онъ не выдержаль до конца. Жениться-то онъ женился, но ужиться съ плебейской женой было ему не по силамъ. Въ самомъ скоромъ времени увхалъ онъ къ русской миссіи въ Лондонъ, оставивъ на жертву своей барской родив жену, которой приходилось уже безъ него стать матерью. Только неожиданно разразившаяся надъ Русской землей гроза двинадцатаго года напомнила ему, какъ и многимъ изъ нашего дворянскаго класса, что все-же они какъ будто-бы русскіе. Онъ вернулся на родину, быль свидетелемъ патріотическаго поступка своего отца, который снарядиль на свой счеть цёлый полкъ ратниковъ, и, когда гроза была отведена (конечно, не такого лишь рода патріотизмомъ, а иною, гораздо глубже, въ самомъ

сердцѣ всего народа лежавшею силою), тогда Иванъ Петровичъ съ спокойнымъ сердцемъ опять укатилъ за границу. Только смерть отца окончательно его воротила на родину — уже англоманомъ (не даромъ-же жилъ онъ въ Лондонъ). Это, конечно, не мъшало ему считать себя патріотомъ, подобно многимъ и въ наше время, не короче его знакомымъ съ отечествомъ. Да онъ и имълъ на то право, вывезши изъ чужихъ краевъ нѣсколько плановъ улучшенія государства, новый фасонъ для лакейскихъ ливрей (которымъ и въ самомъ дълъ воспользовался) и классическую надпись для вящшаго облагораживанія своего герба: in recto virtus. Такъ какъ улучшительные планы были широки, касались всего государства, то въ тъсномъ кругу ближайшей къ нему деревенской жизни обошлось безъ малъйшихъ улучшеній. Хозяйство по прежнему лежало на сестрицѣ Ивана Петровича, и единственная перемъна заключалась въ томъ, что оброкъ кое-гдъ прибавился, да барщина стала потяжелъе: не даромъ-же онъ привыкъ въ странѣ лордовъ къ комфорту... Ради того-же комфорта, надо думать, мужикамъ запрещено было прямо обращаться къ Ивану Петровичу: «патріотъ очень ужь презиралъ своихъ согражданъ» (запаха которыхъ къ тому-же не могъ онъ сносить еще въ молодости).

Но если хозяйство по прежнему оставалось на рукахъ у Глафиры Петровны, то не такъ оно вышло съ сыномъ Ивана Петровича, Федоромъ, который еще и при жизни матери (довольно рано умершей) воспитывался подъ надзоромъ тетки и нанятой ею гувернантки-шведки. Хотя и подъ ихъ обоюднымъ кровомъ сму не было особенно тепло, такъ что единственные свътлые лучи въ его дътской жизни составляли его временныя свиданія съ матерью (временныя — потому что нельзя-же было его ввърить ей, мужичкъ), а потомъ, послъ ея смерти, воспоминанія о ней да, можетъ быть, живые разсказы старой сънной дъвушки,—все-же Федъ Лаврецкому стало еще непривольнъе, когда въ воспитаніе его вмъщался отецъ. Ивану Петровичу захотълось сдълать изъ него

человька, ил homme—впрочемь, не только человька, но и спартанца, и воть для этой-то выдылки быль къ нему приставлень ивейцарецт. Учебными средствами для того служили: естественныя науки, международное право, математика, столярное ремесло—это послыднее по совыту Ж. Ж. Руссо— наконець геральдика— для поддержания рыцарскихъ чувствъ (а можетъ быть и способности оцынить усовершенствованіе, произведенное отцомъ въ фамильномъ теров; удивительно только, какъ не быль притянутъ и латинскій языкъ—для умёнья понять и оцёнить

составлявшую это усовершенствование надпись).

Начертавь такой планъ воспитания и поручивъ выполнение его своему швейцарцу, Иванъ Истровичъ могъ преспокойно убажать по зимамъ въ Москву и такъ-же непроизводительно ораторствовать въ тамошнихъ гостиныхъ, какъ Рудинъ ораторствовалъ у Ласунской. Между пріятелями Ивана Петровича не всѣ однако-же были только ораторами изъ любви къ искусству. Многіе изъ нихъ, поживъ за границей, вывезли оттуда не широковъщательныя затън въ духъ рабскаго подражания чужому быту, а живое сознание того, что пораже и намъ, по крайней мере после той торжественной роли, какую Россіи довелось разыграть въ 1812, 13 и 14-мъ годахъ, быть признанными совершеннольтними... Но этимъ людямъ, не удовлетворившимся однъми ръчами, не повезло, какъ извъстно, въ 1825 г. Неудача ихъ испугала Ивана Петровича, такъ какъ онъ кое въ чемъ сходился съ ними на словахъ 1), но именно потому, что съ его стороны это были одни слова, что все это было только навыно, а вовсе не становилось задушевнымъ его убъжденіемъ, онъ разомъ сжегъ свои планы, сталъ трепетать передъ губернаторомъ, егозить передъ исправникомъ. Точно также только навъяннымъ, не пустившимъ корней, оказалось и его, въ энциклопедическомъ вкусъ, религіозное вольнодумство: онъ вдругъ началъ ходить въ церковь и заказывать молебны. Сыну было мудрено не

¹⁾ Онъ этимъ походилъ на Репетилова, они-же на Чацкаго.

замътить разладицы между словами и дълами отца. Понятно, что после этого онъ не могь питать особеннаго доверія и къ установленнымъ этимъ отцомъ руководящимъ началамъ воспитанія, а равно и къ выбранному имъ воспитателю. Оедору Лаврецкому понятнымъ образомъ захотълось самому стать на ноги. Онъ собрался поступить въ университетъ, какъ вдругъ постигшая Ивана Петровича слепота на несколько леть обратила юношу въ няньку своего отца, становившагося темъ более своенравнымъ, чёмъ болве имъ сознавалась вся окончательная безприкладность его существованія. Когда-же отца не стало, сыну минуло двадцать четыре года. Это не удержало его отъ исполненія давнишняго желанія — стать студентомъ; но оказалось, что по понятіямъ, по знанію жизни, онъ былъ въ такомъ возрастъ даже вовсе не юношей, а ребенкомъ. «Ему-бы следовало, поясняетъ нашъ сочинитель, -- съ раннихъ лътъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его продержали въ искусственномъ уединеніи» з Затеявь выделать изъ него вообще человека, на самомъ дълъ ему помъшали развить въ себъ то, что составляеть коренную особенность человъческой природыспособность не оставаться чёмъ-то лишь общимъ и родовымъ, а становиться настоящею особью, определенною, мѣстомъ и временемъ обусловленною личностью. Понятно, что, не ставъ такою личностью, Оедоръ Лаврецкій долженъ былъ представлять лишь открытое поле для всякихъ наносныхъ въяній, и на Руси оказалось только однимъ кандидатомъ болъе въ классъ тъхъ безпочвенныхъ, лишнихъ, при всемъ своемъ умъ, и неудавшихся, при всей своей даровитости, многочисленныхъ смертныхъ, къ которымъ принадлежалъ и Рудинъ. Разница только въ томъ, что въ основу Рудинскаго нрава легла его избалованность съ дътства, привычка къ принятію поклоненій и жертвъ, вслъдствіе чего, куда-бы ни кидала его судьба, онь воображаль себя какимъ-то заправщикомъ, тогда какъ тепличная замкнутость воспитания не дала ему научиться толково заправлять и самимъ собою; напротивъ того Лаврецкій, съ дътства муштруемый и выдерживаемый подъ началомъ, и впоследствии постоянно попадаетъ въ положение зависимое-и въ дружбъ съ Михалевичемъ разыгрываетъ вполнѣ страдательную, въ самомъ широкомъ смыслъ этого слова, роль. Даже и влюбившійся-то не самъ, а скорте влюбленный своимъ энтузіастомъ-товарищемъ, онъ попадаетъ затёмъ подъ ферулу жены, для нея оставляеть университеть, наконець за нею плетется туда-же, куда каждогодно плетутся лишніе русскіе люди—на заграничныя воды. Въ одномъ только отношенін спаслось въ немъ столь свойственное человѣческой природѣ чувство независимости: онъ не захотёль служить, не захотёль чиновнически дёлать видь, что дёлаеть дёло, а предпочель откровенно и просто ничего не дёлать. Но «жизнь становилась подъ часъ тяжела у него на плечахъ, — тяжела, потому что пуста». Вотъ въ этомъ опять онъ значительно отличается отъ Рудина, который, за множествомъ словъ, принимаемыхъ за дела, такъ долго не сознавалъ своей пустоты. Въ этомъ случав Лаврецкому, можетъ быть, помогла та честная плебейская его кровь, на которую указываль ему Михалевичъ, т.-е. помогло, надо полагать, участіе, которое онъ, ради матери, долженъ былъ съ дътства интать къ народу въ трудовой его доль, участіе, невольно растворявшееся тъмъ уважениемъ къ труду, которое должно было его заставлять красийть при мысли о собственномъ ничегонедѣланіи. Съ другой, уже чисто физической стороны, честная плебейская кровь сказалась у Лаврецкаго тою здоровой натурой, въ силу которой онъ нимало не измѣнился, несмотря на невзгоды, чѣмъ, какъ извъстно, просто оскорбилась нервозная его родственница Марья Дмитріевна, привътствовавшая его, разъъхавшагося съ женой, словами: «Видно тебъ все какъ съ гуся вода; иной-бы съ горя зачахъ, а тебя еще разнесло». Но Лаврецкаго постигають новыя испытанія. Полюбивъ Лизу, онъ, прочитавъ въ газетахъ о смерти жены, начинаетъ считать возможнымъ соединить свою участь съ участью этой девушки, но сперва встречаеть отпоръ въ ея собственной, болезненно-чуткой совести, а потомъ попадаетъ въ положение, уже совершенно безвыходное, узнавъ, что слухъ о смерти жены былъ ложенъ. Но и въ этомъ безвыходномъ положении нравственною опорою служить ему — опять-таки мысль о плебейской его роднъ. «Предъяви-же, -- говоритъ онъ самому себъ, -свои права на полное истинное счастье! Оглянись, --- кто вокругъ тебя блаженствуетъ, кто наслаждается? Вонъ мужикъ вдетъ на косьбу. Можетъ, онъ наслаждается своею судьбою?» Или вспомните о томъ, какъ отправляется Лаврецкій туда, гдв находить укрвиленіе Лиза-въ церковь, и какъ въ той-же церкви его поражаетъ крестьянинъ, молящійся съ невыразимымъ усердіемъ; припомните и вопросъ Лаврецкаго: что съ нимъ? и данный скороговоркою отвётъ пугливо и сурово отшатнувшагося мужика: «сынъ померъ», вслъдъ-же затъмъ и попытку молиться самого Лаврецкаго. Во всемъ этомъ онъ, разумъется, нимало уже не походить на Рудина: Лаврецкій не только не рисуется своимъ горемъ, не только не ублажаетъ себя воображениемъ, что я-де стоически твердъ, но, напротивъ, коритъ себя въ малодушіи. При этомъ онъ доходитъ даже до того, что, взглянувъ на портретъ свиръпаго прадъда своего Андрея, читаетъ въ его взглядъ какъ-бы презрѣніе къ хилому своему потомку. Но всетаки, въ самыхъ этихъ укоризнахъ себъ, въ самой этой готовности оглянуться вокругь, на народь, на самомъ дълъ не оказывается какого-либо зародыща настоящей мужской силы, такой силы, которая-бы сдёлала его наконецъ человъкомъ не слова, а дъла. Въ сущности онъ и тутъ попадаетъ въ Рудинство въ томъ смыслъ, что только говорить и, ножалуй, думаеть о народь, но, чтобъ отделаться отъ жены, не задумывается снабжать се трудовыми крестьянскими деньгами для веселаго проживанія въ Парижъ. Точно также совершенно по-Рудински, избъгая тяжелыхъ впечатльній и постоянныхъ, опредъленныхъ (а не измышляемыхъ только) заботъ, онъ не ръшается отнять у жены своей дочери, съ тъмъ, чтобы самому ее воспитать, а оставляеть ес на жертву подобной матери!

Во многихъ отношенияхъ, повидимому, вполнъ возрожденнымъ представляется намъ Лаврецкій въ эпилогъ. «Въ теченіе восьми лѣтъ совершился наконецъ переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытывають, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымь человъкомъ до конца: онъ пересталъ думать о собственномъ счастьи, о своекорыстныхъ цёляхъ». При этомъвъ немъ какъ-бы окончательно восторжествовала его честная плебейская кровь, восторжествовала надъ барствомъ, эгои+ стичнымъ по самой своей природъ. «Лаврецкій имълъ право быть довольнымъ... онъ действительно выучился (о чемъ уже давно мечталъ) пахать землю и трудился не для одного себя: онъ, насколько могъ, обезпечиль и упрочиль быть свеихъ крестьянъ». То, что никогда и не снилось Рудину, сдёлалось главнейшею жизненною отрадой Лаврецкаго. Но, если вглядаться поглубже, то онъ не вполнъ удовольствованъ этимъ, нисколько уже не своекорыстнымь доломо. Жажда личнаго счастыя далеко не заглохла въ Лаврецкомъ и, считая свое личное счастье навсегда разбитымъ, онъ въ какихъ-нибудь 45 лътъ навываеть себя старикомъ, у котораго есть особаго рода занятія — воспоминанія. Въ нихъ-то главнымъ образомъ ногруженъ онъ сердцемъ; къ настоящему, которое не сулить ему никакого личнаго наслажденія, онъ относится; въ сущности, холодно, сухо. Такимъ образомъ, возрожденіе далеко не охватило собою всего существа Лаврецкаго; въ сущности, въ немъ уцелель еще «ветхій человъкъ». Обращаясь къ веселящемуся вокругъ него юному поколенію, онъ съ грустью говорить: «Вамъ легче будеть жить; вамь не придется, какъ намъ, бороться, падать и вставать среди мрака (туть уже является и постановка себя на подмостки-какъ будто они въ самомъ дъль боролись); мы хлопотали о томъ, какъ-бы уцъльтьи сколько чизъ насъ не уцелело! А вамъ надобно дело делать, работать! Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!»

Какъ? Посреди многолюднаго Божьяго міра онъ считаєть себя одинокимь; думаєть только о догораній жизни,

большая часть которой осталась дійствительно вполні безполезной, такъ что слідовало-бы наверстывать, а онъ уже усталь, охладіть къ труду, еще такъ недавно принявшись за трудь! Вотъ и опять туть сказалось барство со всімь его сибаритствомь и пустоцвітствомь!

Нъть, Лаврецкій не есть еще настоящій человъкъ дъла и почвы; въ немъ нътъ еще настоящей силы. Но не должны-ли мы ее искать въ той, ради кого онъ нацалъ на Паншина, въ Лизъ, которой, несмотря на ея уже ни съ какой стороны не плебейское происхождение, «было по душъ съ русскими людьми», въ Лизъ, которая, «не чинясь, по цёлымъ часамъ бесёдовала со старостой, какъ съ ровней?» Не нашла-ли, по крайней мъръ, Лиза, такъ рѣшительно отказавшаяся, въ силу своихъ убѣжденій, отъ личнаго счастья, не нашла-ли она настоящей отрады въ любви къ народу, въ ревностной дъятельности на его пользу? Лиза, такъ мило признающаяся Лаврецкому, что у нея «словъ нътъ», тъмъ самымъ уже прямо выдъляетъ себя изъ разряда людей, зараженныхъ Рудинствомъ: Но если у Лизы нътъ словъ, которыми всякаго рода Рудины замвняють, по большей части, дила, то водятся-ли за Лизой эти последнія? Лиза благочестива; но есть-ли въ ея благочестін настоящая, діятельная христіанская нравственность? «Зачемъ оскорблять?...» «Если мы не будемъ покоряться»—вотъ тѣ коротенькія изреченія, въ которыхъ высказывается, конечно, скорее страдательный, чёмъ дёйствительный складъ ея міросозерцанія. Не сходясь съ умозрительнымъ, въ своемъ родъ, пониманіемъ христіанства Лаврецкимъ, Лиза находитъ, что «христіаниномъ надобно быть не для того, чтобы познавать небесное тамъ, земное, а для того, что каждый человъкъ долженъ умереть». Тутъ уже прямо звучитъ даже себялюбивая струнка въ ея благочестін: христіанство оцънивается лишь какъ средство спастись, приотить за гробомъ свою душу, собственную свою душу. Такимъ образомъ, если тутъ приносятся жертвы; то вовсе не ради другихъ людей, а просто земными низшими выгодами жертвуется туть высшимъ - небеснымъ, но все-же своимъ личнымъ выгодамъ. Послѣ этого совершенно особый смысль получаеть и то, что Лиза любила всёхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога—восторженно, робко, нѣжно, т.-е. она любила Его какъ виновника ея будущаго блаженства на небъ. Ръшившись идти въ монастырь, она лишь вполнъ отдавалась предмету своей высшей страсти. Только повидимому примъшивалась туть забота и о другихъ, о земной братіи, безъ любви къ которой, по ученію настоящаго, д'ятельнаго христіанства, мы не можемъ любить и Бога. «Я все знаю, говоритъ она, -- и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство наше нажиль...» Но напрасно ждешь послѣ этого, что она захочеть употребить это, такъ неправо нажитое богатство на пользу ближнимъ и такимъ образомъ на дълъ загладить гръхи отца... Эти послъдние тревожатъ ее не потому, что отъ нихъ приходилось, а отъ последствій ихъ еще и теперь приходится плохо очень и очень многимъ людямъ; грахи отца тревожатъ ее потому, что отъ нихъ можетъ сделаться плохо его душт. «Все это отмолить, отмолить надо», — говорить Лиза; и такъ, только отмолить-ради его самого, а не залёчить сколько возможно своею братолюбивою деятельностью тѣ глубокія раны, которыя онъ наносиль другимъ. Такимъ образомъ и въ Лизѣ не видимъ мы силы дъятельной, какъ не видимъ и настоящей любви, и, при неимѣніи «словъ», она все-таки въ своемъ родѣ рудинствуетъ.

Но откуда-же этотъ особый видъ Рудинства? Неужели возможно оно и при той близости къ простымъ русскимъ людямъ, къ почеть, какою отличается Лиза? Или Рудинство составляетъ у насъ принадлежность не только европейски-цивилизованнаго, но и народнаго міросозерцанія?

Вспомните, что у Лизы были двѣ воспитательницы. Одна, повидимому, на первомъ планѣ — гувернантка дѣвица Моро, обыкновенно отзывавшаяся обо всемъ, что только принадлежало къ области вѣрованій: tout ça c'est des bêtises. Но она не имѣла никакого вліянія на Лизу. Другая, настоящая ея воспитательница, — это была ея

няня Агафья, кающаяся грашница, съ увлеченьемъ разсказывавшая Лизь о томъ, какъ жили святые въ пустынь, какъ спасались... Такъ какъ обо всемъ этомъ говорила она съ действительнымъ увлечениемъ, то вліяние ея не могло не подъйствовать на воспріимчиваго ребенка и подействовать темъ сильнее, чемъ менее действовала сухая разсудочность и безсердечье Моро. Такимъ образомъ, мимо Лизы безследно прошелъ тотъ отблескъ французской образованности во вкусѣ энциклопедистовъ, который отразился на ея гувернанткъ, тогда какъ няня Агафья глубоко ее завела въ тотъ міръ отвлеченно-подвижническихъ идеаловъ, съ которымъ уже съ самыхъ отдаленныхъ временъ познакомился русскій народъ. Но міръ этотъ, въ свою очередь, возникъ подъ вліяніемъ особой образованности, которая, хотя и пустила у насъ корни во всемъ народѣ, но все-же не возникла первоначально на нашей почев, а была только занесена къ намъ изъ Византіи. При томъ множествъ монастырей—«этихъ университетовъ своего времени»—которыми усѣяна была земля Русская, эта византійская образованность распространялась быстро и, при извъстной воспріимчивости русскаго народа, надолго сроднилась съ нимъ. А между тъмъ, въдь она была совершенно ему не по возрасту. Явленье вполнѣ понятное въ дряхлой и развратившейся Византіи, гдѣ лучшимъ людямъ дѣйствительно не оставалось иной разъ ничего более, какъ заключиться въ самомъ себъ, аскетизмъ, напротивъ того, являлся ръшительно напускнымъ среди такого молодого, непочатаго народа, какимъ былъ тогда народъ русскій, и своимъ отвлеченно-созерцательнымъ направлениемъ преждевременно подрываль въ немъ дъятельную силу. Но это быль только первый изъ тёхъ наносныхъ слоевъ, которые одинъ за другимъ налегали на самородный набросокъ картины, начатой было народомъ русскимъ, -я возвращаюсь къ сравненію, заимствованному изъ стиховъ Пушкина. За этимъ первымъ византійскимъ слоемъ, выразившимся въ нашей литературъ аскетическо-автократическимъ риторизмомъ, начавщимъ раздаваться еще при звукахъ въчевого колокола, послъдовалъ новый, уже западно-европейскій слой сходастической образованности,
прививавшейся къ намъ именно въ такую пору, когда
она вырождалась на самомъ Западъ. Затъмъ послъдовали, какъ извъстно, разные, но все уже западные слон:
псевдо-классицизма съ его воспъваньемъ свътлыхъ дней
даже въ самую пасмурную годину Бирона; сентиментализма съ его обращеніемъ кръпостного русскаго люда въ
аркадскихъ пастушковъ и пастушекъ; романтизма со
всей его рыцарской чертовщиной и бъгствомъ отъ настоящаго въ смутную даль временъ, въ міръ печальноотрадныхъ воспоминаній или заоблачно-свътлыхъ надеждъ;
наконецъ, художническаго квістизма съ его гордымъ незнаніемъ «злобы дня», съ его себялюбивою проповъдью
свободы «себъ лишь одному служить и угождать».

Неоднократно видоизмѣняясь, наша образованность оставалась неизмѣнною только въ томъ, что постоянно оставалась наносною, чуждою нашей жизни. Не оттого-ли и люди, вкушавшее отъ ея плодовъ, постоянно жили въ какомъ-то дѣланномъ мірѣ, не имѣвшемъ почти ничего общаго съ міромъ дѣйствительнымъ, жили какъ-бы помимо настоящей жизни и такимъ образомъ, даже при отмѣнныхъ способностяхъ, оставались какими-то лишними, неудавшимися людьми? Не отъ того-ли уже съ самыхъ давнишнихъ поръ водились у насъ, да и теперь

еще, можетъ быть, водятся Рудины?

Какъ-бы уже прямо съ тѣмъ, чтобы показать, что настоящихъ людей дѣла у насъ еще нѣтъ и не можетъ быть, нашъ сочинитель, не болѣе, какъ черезъ годъ послѣ «Дворянскаго Гнѣзда», подарилъ насъ повѣстью «Наканунѣ» (1859 г.). Если въ лицѣ Инсарова видимъ мы тутъ человѣка, уже прямо противоположнаго Рудину, то человѣкъ этотъ не русскій, а болгаринъ. Между тѣмъ Елена, отдающаяся Инсарову, именно какъ человѣку дѣла, Елена русская, она какъ-бы первая изъ новаго поколѣнія русскихъ женщинъ, далеко опередившаго русскихъ мужчинъ. Какимъ путемъ, подъ какими впечатлѣніями и вліяніями, въ силу какой внутренней, самородной работы

могла сложиться эта удивительная натура, этого, къ сожальнію, не касается нашь сочинитель. Онъ просто говорить, что Елена уже съ самаго дътства «жаждала дъятельности, дъятельнаго добра. Нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили, она видёла ихъ во снъ... Всъ притъсненныя животныя находили въ Еленъ покровительство и защиту...» Вспомните ея нѣжную дружбу съ нищей дъвочкой Катей. При такомъ направленіи совершенно понятно, что «одно чтеніе не удовлетворяло Елену». Между тъмъ, самые умные люди вокругъ нея не забудьте, что это было въ самомъ началъ иятидесятыхъ годовъ-еще вполнѣ удовлетворялись чтеніемъ. Не отъ того-ли Еленъ и приходило иногдальъ голову, что она «желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслить въ целой России?..» И воть вдругъ она встръчается съ личностью, живущею не для однёхъ книжекъ, думающею, что «не человекъ созданъ для субботы, а суббота для человека». Принадлежа народу, когда-то обладавшему зачатками образованности, но утратившему ихъ впоследстви, и при этомъ стремясь содъйствовать его возрожденію, Инсаровъ старается выбрать изъ круга знаній, раскрытыхъ передъ нимъ Московскимъ университетомъ, собственно то, что есть самаго существеннаго и наиболъе примънимаго къ занимающему его дълу. Онъ учится русской исторіи, праву, политической экономіи, переводить болгарскія пъсни и лѣтописи, собираетъ матеріалы о восточномъ вопросѣ, составляетъ русскую грамматику для болгаръ, болгарскую для русскихъ... Онъ старается дать себь отчетъ въ томъ, нужно-ли ему заняться Фейербахомъ, или-же можно обойтись безъ него... Вспомнимъ, что на вопросъ Берсеневу Шубина:—«Что Инсаровъ? умный, даровитый?»—Берсеневъ, не задумавшись, отвъчаетъ:—«Умный, да; даровитый — не знаю, не думаю». Въ этомъ онъ, стало быть, уступаетъ Рудину, который несомивно даровить; но Инсаровъ беретъ совершенно не тъмъ, а дъятельнымъ началомъ, волей... Въ немъ нътъ ничего похожаго на художническую, рисующуюся, ставящую себя въ эффектныя положенія, натуру — ему не до этого. На шет у Инсарова Берсеневъ замѣчалъ рубецъ, должно быть, слёдъ раны (нанесенной ему, вёроятно, какимъ-нибудь туркомъ); но онъ объ этомъ говорить не любилъ. «Онъ въ своемъ родъ молчальникъ». Но вмъстъ съ тъмъ въ немъ, по словамъ Берсенева, ръдкая искренность — «не наша дрянная искренность, искренность людей, которымъ скрывать рѣшительно нечего...»—«Онъ не застѣнчивъ одни самолюбивые люди застънчивы...» Инсаровъ-же, напротивъ того, постоянно забываетъ самого себя. Онъ даже не останавливается на мысли о мести за своихъ родителей, павшихъ жертвою турокъ. Месть все-же личное дёло, а имъ руководить не то, имъ руководить мысль «освободить свою родину». Вотъ, что особенно дъйствуетъ на Елену.—«Эти слова, -- говорить она, -- даже выговорить страшно, такъ они велики!» Точно также смотритъ на Инсарова и самъ добродушный его соперникъ Шубинъ, когда говоритъ Еленъ: - «Онъ съ своею землею связанъне то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: лейся, молъ, въ насъ живая вода!» Прямое указанье на тъхъ изъ нашихъ людей народнаго направленія, въ которыхъ скрываются только особаго рода Рудины. По всего лучше понимаетъ себя, свое положение самъ Инсаровъ, говоря Еленъ: -«Послъдній мужикъ, послъдній нищій въ Болгаріи и я-мы желаемъ одного и того-же. У всёхъ у насъ одна цёль. Поймите, какую это даетъ увъренность и кръпость».

Воть въ этомъ-то человеке Елена, наконецъ, нашла то, чего такъ давно искала, но проблескъ чего уже представился ей однажды въ почти-безсознательномъ подвиге русскаго, т.-е. простою русскаго человека.—«Разговаривая съ Инсаровымъ,—говоритъ Елена въ своемъ дневникъ,—я вдругъ вспомнила нашего буфетчика Василія, который вытащилъ изъ горевшей избы безногаго старика и самъ чутъ не погибъ; мнё хотелось ему въ ноги поклониться». А между темъ, она сама сознается, что у него было самое глупое лицо и что потомъ онъ спился съ кругу. Что касается ума и образованности Инсарова, то Елена

ни мало не ослѣплена въ этомъ отношении. Въ томъ-же своемъ дневникъ она прямо сознается, что «Берсеневъ можетъ быть ученве, даже умиве... но онъ передъ нимъ такой маленький». Дёло въ томъ, что Инсаровъ «не только говорить, онъ дёлаль и будеть дёлать». Воть въ этомъ-то смыслѣ, надобно думать, она и находитъ, что «это первый человъкъ, который не лжетъ», т.-е., который на дёлё тотъ-же, что и на словахъ. До нёкоторой степени въ связи съ этимъ должно быть и следующее признаніе Елены: «Мы оба стиховъ не любимъ, оба не знаемъ толка въ художестве...» Но, совпадая съ нимъ въ этомъ, она сознаетъ, что ей далеко до него въ другихъ отношеніяхъ: «У него есть дорога, — говоритъ Елена, — а гдъ мое гнъздо?...» «Отчего онъ не русскій?» спрашиваеть она далье, и съ полною увьренностью отвѣчаетъ: «Нѣтъ, онъ не могъ-бы быть русскимъ».

Если-же теперь мы вспомнимъ опять про Рудина, приведемъ его знаменательное признаніе: «Я хочу отдаться, но не могу», то тѣмъ болѣе вѣса получатъ слова Елены, относящіяся, конечно, опять къ Инсарову: «Кто отдался весь... весь... тому горя мало, тотъ уже ни за что не

отвѣчаетъ. Не я хочу, то хочетъ...»

Самъ соперникъ Инсарова въ любви къ Еленѣ — въ высшей степени правдивый, открытый и тѣмъ самымъ привлекательный, при всей своей художнической пустоватости, Шубинъ приводитъ замѣчательное сопоставленіе русскихъ людей съ Инсаровымъ, находя весьма грустнымъ, но совершенно понятнымъ, что Елена пошла съ этимъ болгаромъ. «Кого-же она здѣсь оставляетъ? — спрашиваетъ Шубинъ, — Курнатовскихъ, да Берсеневыхъ, да нашего брата; а это еще лучшіе... Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушъ подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели, да палки барабанныя!.. Нѣтъ, кабы были между нами путные люди, не ушла-бы отъ насъ эта дѣвушка!..» Какъ не сознаться, что въ сущности это со-

вершенно то-же, что и знаменитый приговоръ Лежнева:

«всѣ мы пустые люди!»

Но такого-же точно мнѣнія и самъ Инсаровъ, которому, уже и для пользы его родной Болгаріи, нужно-бы было, конечно, чтобы дѣло обстояло иначе. Уже незадолго до смерти, въ Венеціи, послѣ посѣщенія либеральнаго болтуна Лупоярова, Инсаровъ съ грустью приходитъ къ обобщенію такого рода: «Вотъ, вотъ ваше молодое поколѣніе! Иной и важничаетъ, и рисуется, а въ душѣ такой-же свистунъ, какъ и этотъ господинъ». Понятно послѣ этого, что Елена, и лишившись Инсарова, предпочитаетъ Россіи Болгарію. «Тамъ готовится возстаніе, собираются на войну; я пойду въ сестры милосердія... останусь вѣрна его памяти, дѣлу всей его жизни... А вернуться въ Россію, — зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?»

Когда цёлый рядь дёйствующихъ лицъ, и лицъ довольно разнообразныхъ, высказываютъ одинъ и тотъ-же взглядъ, то невольно приходишь къ заключенію, что взглядъ этотъ, по мижнію сочинителя, такая всеобщая истина, къ признанию которой онъ хочетъ привесть и своего читателя. А вспомните, наконецъ, обращение Шубина къ въчно лежащему Увару Ивановичу, этой черноземной силь, какъ онъ его-называеть, обращенье съ вопросомъ: «Будутъ-ли у насъ люди?» Если Уваръ Ивановичь и отвёчаеть на это въ тоть разъ, что «будуть», то когда Шубинъ вторично, уже послъ смерти Инсарова, въ письмъ изъ прекраснаго своего далека (Италіи), обратился къ «черноземной силь» съ тымъ-же вопросомъ, тогда «черноземная сила» только «понграла перстами и устремила въ отдаление свой загадочный взоръ». Этимъ, какъ извѣстно, и кончается «Наканунѣ».

Но что означаетъ это заглавіе? Если оно дано такъже соотвѣтственно содержанію, какъ и «Дворянское Гнѣздо», то не заключается-ли въ немъ намека на то, что мы живемъ какъ-бы наканунѣ появленія у насъ «людей?» Въ самомъ дѣлѣ, не появляются-ли эти русскіе «люди» въ одной изъ слѣдующихъ знаменитыхъ повѣстей Тургенева, въ «Отцахъ и дѣтяхъ?» Не должны-ли мы видѣть въ Базаровѣ, этомъ крупнѣйшемъ явленіи изъ «дѣтей», такъ-же преждевременно погибающемъ, какъ и Инсаровъ, нашего русскаго человпка дпла, сильнаго тѣмъ, что «не л хочу, а то хочетъ?» Но таковъ-ли Базаровъ, чтобы обладать силой привлечь къ себѣ и удержать у себя въ Россіи такихъ женщинъ, какова Елена? Или и онъ еще не изъ тѣхъ людей, которыми могъ-бы дѣйствительно обновиться наличный запасъ нашихъ нравственныхъ силъ, а только одинъ изъ выдающихся представителей переходнаго поколѣнія?

Я опять кончаю вопросомъ, разрѣшить который можно будетъ только внимательнымъ разборомъ «Отцовъ и дѣтей», чему и будетъ посвящена моя послѣдияя лекція.

HI.

«Отцы и дѣти» и «Дымъ».

Видоизмѣняющееся въ различныхъ типахъ Рудинство, какъ видели мы, оказалось совершенно понятнымъ плодомъ нашей барской среды съ ея сибаритскимъ незнаньемъ дыйствительной жизни, непривычкою къ настоящему производительному труду и полнъйшею оторванностью отъ своей почвы. Вмёстё-же съ тёмъ туть оказался особый, опять-таки чисто барскій складъ въ самомъ историческомъ ходъ нашей образованности, не вырабатывавшейся нами самими изъ собственныхъ нашихъ данныхъ (при только лишь пособляющемъ свёточё и чужого ума, и чужого опыта), а, такъ сказать, подававшейся намъ совершенно готовою, чужими услужливыми руками, и остававшейся, большею частью, безъ приложенія въ нашихъ собственныхъ, не искушенныхъ работой рукахъ. Совершенно не бариномъ является у Тургенева, кромъ его не-дворянскихъ типовъ (въ «Запискахъ Охотника»),

только болгаръ Инсаровъ, чуть-ли не въ детстве еще перевёдавшійся съ туркомъ (какъ крестьянскій мальчикъ Павлуша съ волкомъ),--Инсаровъ, для котораго важно лишь то, что можеть служить подспорьемъ для его дъла, -- а оно-же и общее дѣло болгаръ. Но вотъ года черезъ два нашъ сочинитель въ «Отцахъ и Дътяхъ» старому нашему покольню противопоставляеть покольніе молодое. Главный представитель послёдняго — Базаровъ, повидимому, уже совершенно далекъ отъ Рудинства и вполнъ сознательно стремится къ тому, чтобы быть челов комъ дпла. Не значить ли это, что болгарт Инсаровъ пророчески промелькнулъ наканунъ появленья тёхъ русских людей, которыхъ почти безнадежно доискивался Шубинъ, и что въ «Отцахъ и дътяхъ» мы видимъ уже наставшимъ у насъ на Руси настоящий день? 1). Вглядимся поближе въ знаменитъйшую изъ повъстей Тургенева, возбудившую, какъ извъстно, и толки, и споры, и чуть не гоненія противъ сочинителя 2).

Самое время, къ которому относится дъйствіе этой повъсти, въ высшей степени знаменательно: дъло происходить въ 1859 г., т.-е. чуть не накануню освобожденія крестьянъ. Чувствуещь съ самыхъ первыхъ страницъ, что нашей застоявшейся жизни данъ уже сильный толчокъ, что отъ него встрепенулись и стали оглядываться, да одумываться «отцы», вдругъ почувствовавшіе боязнь, какъ-бы «дъти» ихъ не застали врасплохъ, совершенно неподготовленными къ новой жизни, заторопившіеся сдълать различнаго рода уступки, чтобы не показаться

2) Какъ яркое исключеніе изъ ряда своихъ, вылается, однакожъ, покойный Писаревъ, съ совершеннъйшею терпимостью и даже сочувственно отнесшійся къ Тур-

геневу въ своей стать о Базаровь (Собр. соч., ч. І).

¹⁾ Напоминаю читателю про блистательную статью о повъсти «Наканунъ» покойнаго Добролюбова: «Когда-же, наконецъ, наступить настоящій день!» (Собр. соч., ч. III). Статью эту любопытно сопоставить съ совершенно несочувственныхъ отношеніемь къ Инсарову покойнаго Писарова (Собр. соч., ч. I, стр. 121—123). Впрочемь, со стороны худомсественной, Инсаровь, быть можеть, дъйствительно не безъ недостатковъ. Но читатель замътить, что я вообще устраниль разсмотръніе Тургеневскихъ типовъ со стороны художественной ихъ выполненности. Инсаровъ важень по замыслу и по отношеніямъ къ нему Елены.

отсталыми,—и все-же, несмотря на свои старанія, вызывающіе со стороны дётей разв'є только снисходительное пожиманье плечами. И зам'єчательно, что какъ въ «Запискахъ Охотника» выведены Тургеневымъ, по крайней м'єріє, не худшіе изъ пом'єщиковъ, такъ и въ пов'єсти, насъ теперь занимающей, выведены положительно хорошіе изъ «отцовъ», а все-же, при всемъ ихъ желаніи отд'єлаться отъ старой своей закваски или, такъ сказать, произвести въ ней усовершенствованія, приспособить ее къ новому, изм'єнившемуся вкусу, все-таки эта закваска такъ и сказывается на каждомъ шагу, такъ и обнаруживаетъ свое происхожденіе съ доморощенной барской

кухни.

У нашего сочинителя, какъ извёстно, выведены двё группы «отцовъ». По преимуществу сочувственною изъ нихъ является Василій Ивановичъ Базаровъ съ добрѣйшею своею женой. И все-таки, несмотря на то, что старикъ Базаровъ самъ называетъ себя плебеемъ, не изъ столбовыхъ, и онъ далеко не свободенъ отъ барскихъ привычекъ-въ родъ, напримъръ, мальчика, отгонявшаго въткою мухъ за его столомъ, но усланнаго ради боязни насмѣшекъ при прівздв Базарова-сына (изъ-за котораго старикъ также велѣлъ спороть красную орденскую ленточку, служившую до тёхъ поръ придачей достоинства его сюртуку). Что-же касается Арины Васильевны, то она, какъ настоящая столбовая дворянка, не переставала знать, «что есть на свътъ господа, которые должны приказывать, и простой народъ, который долженъ служить, а потому не гнушалась ни подобострастіемъ, ни земными ноклонами», хотя, съ другой стороны, и «обходилась съ подчиненными ласково и кротко». По такой-то природной своей доброть, она и не воспротивилась, какъ видно, тому, что мужъ ея, не безъ чувствительныхъ для себя пожертвованій, посадиль мужиковь на оброкь и отдаль имъ свою землю изъ-полу. Между темъ, тотъ-же ея благовърный не задумался, даже несмотря на присутствіе своего сына, высжчь одного своего оброчнаго мужика-за то, что онъ воръ и пьяница.

Другая пара «отцовъ», состоящая изъ братьевъ Николая и Павла Петровичей Кирсановыхъ, свою дань духу новаго времени уплатила тёмъ, что первый, заблаговременно допустивъ у себя вольнонаемный трудъ 1), самъ себя величаль фермеромъ, и могъ-бы также гордиться образованіемъ молодого усовершенствованнаго слуги, не подходящаго къ ручкъ; второй-же, посъщая дворянскіе выборы, дразниль и пугаль помещиковь стараго покроя либеральными выходками, да и на самомъ дёлё былъ склоненъ вступиться за крестьянъ, хотя, говоря съ ними, морщился и нюхаль одеколонъ. Если въ этой последней чертъ сказывалось въ немъ барство, то, конечно, не меньше барства и въ томъ, что «хозяйственныя дрязги наводили на него тоску» и что вся помощь, какую могъ онъ подать въ этомъ отношении Николею Петровичу, заключалась въ неоднократномъ: «mais je puis vous donner de l'argent». Что-же касается Николая Петровича, то хотя ему и приписывается нашимъ сочинителемъ, кромѣ выниманія денегь изъ кошелька, и рвеніе, и трудолюбіе, все-же онъ, по собственному сознанию Павла Петровича, быль человъкъ не довольно практичный. Самъ-же Навель Петровичь только казался практичнымъ въ глазахъ своего брата и не выводиль его изъ такого пріятнаго заблужденія, на самомъ-же діль и онъ не могъ быть практиченъ, какъ истый баринг.

Это названіе, надо зам'єтить, по пренмуществу подобаеть Павлу Петровичу. Онъ даже выд'єляется изъ ряда прочихъ «отцовъ» нашей пов'єсти именно тіємь, что, хотя и ділаеть своего рода уступки духу времени, но, съ другой стороны, не стыдится своего барства, а, напротивь, даже возводить его въ изв'єстномъ смысліє— въ ргіпсіре, какъ онъ выражается, не только выговаривая это слово на иностранный манеръ, но и утончая и облагораживая самое барство по иностранному. Діло въ томъ, что умінье читать по-англійски— въ своемъ родів барскій-же видъ умственной моды— дало ему возможность

¹⁾ Хотя не отмѣниль и оброка.

возвести наше барство (какъ выражались, бывало, наши эстетики) въ «перлъ созданія» à l'anglaise. И не напрасно, казалось, Павелъ Петровичъ, отчасти подобясь въ этомъ отношении отцу Лаврецкаго, старался навести на наше домашнее барство яркій отблескъ отъ англійскаго аристократизма (одареннаго извъстнымъ умъньемъ отливать первостатейною либеральностью и своего рода щегольствомъ почина въ прогресивныхъ дёлахъ); -- этотъ заимствованный блескъ à l'anglaise давалъ своего рода возможность примирять наше старое барство съ уступками духу времени. И вотъ, Павелъ Петровичъ простодушно хвалится: «Меня всѣ знаютъ за человъка либеральнаго и любящаго прогрессъ, но именно потому я уважаю аристократовъ настоящихъ... Безъ чувства собственнаго достоинства, а въ аристократъ это чувство развито, -- нътъ прочнаго основанія общественному... bien public»... Но вотъ тутъ-то неумолимый Базаровъ и ловить Павла Петровича на словъ, какъ-бы растолковывая сму тёмъ самымъ, какъ далеко нашему отечественному барству отъ англійской, во всякомъ случат, не праздно сидящей, или не безплодно дъятельной аристократіи. «Вы, воть уважаете себя, - говорить онь, - и сидите, сложа руки; какая-же отъ этого польза для bien public? Вы-бы не уважали себя и то же бы делали...»

Но не могъ-ли бы Павелъ Петровичъ въ извинение себъ привесть то, что его жизнь разбита, разбита вслъдствие несчастной любви, для которой онъ пожертвовалъ даже службою этимъ, въ былое блаженное время, чутъли не единственнымъ родомъ дъятельности или, по крайней мъръ, кажущейся дъятельности для большей части нашихъ дворянъ? И въ самомъ дълъ, такая жертва была принесена; въ любви-же выпала на долю ее принесшему совершенная незадача; между тъмъ, изъ чисто барскаго мъста своего образованія, пажескаго корпуса, вынесъ нашъ Павелъ Петровичъ, конечно не слишкомъ-то грузный для его барскихъ мозговъ запасъ умственный. Такъ что-же мудренаго, если, послъ любовной его незадачи, цълыхъ десять лътъ уплыло у него безцвътно, безплодно

и быстро, страшно быстро? «Нигдѣ время такъ не бѣжитъ, какъ въ Россіи», замѣчаетъ Тургеневъ. И точно, оно бѣжитъ, потому что мы имъ совершенно не дорожимъ, потому что оно у насъ дешево и мы тратимъ его безъ оглядки, какъ богачъ-мотыга свои шальныя деньги! Но нашъ сочинитель прибавляетъ: — «Въ тюрьмѣ, говорятъ, оно (т.-е. время) бѣжитъ еще скорѣй». — Бѣжитъ оно такимъ образомъ и у окончательно промотавшагося, засаженнаго въ тюрьму, бѣжитъ, потому, что обращается уже просто въ спанье, а что-же летитъ такъ быстро, какъ сонъ, т.-е., разумѣется, крѣпкій сонъ! И лихо, дѣйствительно, спятъ въ Россіи — кто отъ нечего дѣлать, кто съ горя, а кто и просто отъ того, что спится?

Между тъмъ, для такихъ людей, какъ Базаровъ, время становится дорогимъ, и ничъмъ не оправдаться въ глазахъ ихъ какому-нибудь Павлу Петровичу, хотя-бы и гордящемуся своею вёрой въ ргіпсір'ы и тупо острящему надъ тъмъ, что Базаровъ не въ нихъ, а въ лягушеко въритъ. Дъло въ томъ, что пока нашъ баринъ лишь праздно созерцаетъ свои, доставшиеся ему совершенно готовыми, усладительные принципы, Базаровъ собственноручно работаетъ для науки, носитъ камни для новаго зданія храма вновь созидаемой въры сознательной въры въ положительный, точный научный выводь. И уже не разсаривается, а бережно, экономно затрачивается имъ занасъ времени, и представляется оно, иной разъ, слишкомъ тихо движущимся—потому что страстно хотълось-бы поскорте дойти до вывода, а остается еще неосиленнымъ цёлый длиннёйшій рядъ данныхъ. И воть, страстность заставляеть иной разъ незамётно перескочить, невольно позволить себъ сокращение въ этомъ медленномъ добываніи истины. Но скачки эти (за смілость которых приходится нередко платиться тёмъ, что споткнешься и долженъ опять подниматься на ноги), скачки эти совершаются не для того, чтобы, поскорже достигнувъ цёли, почить у нея; напротивъ, за нею сейчасъ-же является новая, а тамъ опять новая, и нётъ окончательнаго предёла на этомъ необозримомъ полъ, а при медленности движенія на немъ, и самая долгая жизнь оказывается туть коротка, такъ что нечего туть терять и минуты, ни ради какого горя или утраты, ни ради какихъ наслажденій и

личныхъ радостей!

Понятно, что при подобныхъ стремленіяхъ Базаровъ можеть только свысока смотръть на Навла Петровича; понятно, что онъ говоритъ про него:-«Человѣкъ, который всю жизнь свою поставиль на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, эдакой человъкъ не мужчина...» — (въ настоящее время мы-бы сказали, что онъ и вообще не человък, потому что, по современнымъ понятіямъ, и въ женщинѣ высшая натура не ограничивается одною областью личной любви). Между тёмъ подобные люди были совершенно въ духё своего времени, и Павелъ Петровичъ является только однимъ изъ последнихъ Могиканъ той поры, когда литература заставляла насъ умиляться передъ какимъ-нибудь «рыцаремъ Тогенбургомъ», цёлые годы только вздыхавшимъ по дамѣ сердца, и когда Жуковскій (умѣвшій заимствоваться лишь съ извъстной стороны у богатаго и совершенно другими, неизмъримо высшими идеалами, Шиллера) ту-же идею беззавѣтнаго погруженія въ одно прошедшее, съ примѣсью сладкой надежды на загробное будущее, при полной почти оторванности отъ настоящаго, выразиль такъ-же и въ своей знаменитой балладъ «Теонъ и Эсхинъ».

Но вёдь и въ этомъ, и въ самой этой способности праздно замкнуться на цёлые годы въ одно только личное горе (напоминающей настроеніе духа Лаврецкаго въ ту минуту, какъ онъ, преждевременный старецъ, весь отдается воспоминаніямъ среди рёзвящейся молодежи) и въ этомъ—опять-таки то-же барство: простолюдину вёдь просто некогда убивать свое время на непроизводительную тоску со столько-же непроизводительной усладой воспоминаній (баринъ, конечно, сошлется на то, что чувства у простолюдина не такъ глубоки). Тотъ мужикъ, котораго видёлъ Лаврецкій молящимся въ церкви послё

смерти сына, прямо изъ-за молитвы, конечно, возвратился къ обычному своему труду, какъ привыкъ возвращаться къ нему и прямо изъ-за стола, тогда какъ барину. нуженъ послъобъденный кейфъ-для самаго процесса пищеваренія. И не замічательно-ли, что самь Павель Петровичь, обыкновенно нисколько не скрывающій своего аристократизма и даже видящій въ немъ заслугу, способенъ, однако-жъ, подумать, что Базаровъ быль правъ, когда упрекаль его въ аристократизмъ. Но это сознание сказалось въ такую минуту, когда Павелъ Петровичъ выказаль, наконець, способность на дёло: я разумёю его настоятельный совъть брату—жениться на Өеничкъ, несмотря на ея далеко не аристократическое происхождение. Въ этомъ случав самыя воспоминанія о предметв его старой любви, походившей отчасти на Өеничку, утратили обычный свой праздный характеръ, получили вдругъ силу дъятельную, побудившую Павла Петровича не только къ дуэли за Өеничку (это-бы еще не диво: онъ въдь дрался при этомъ и за своего брата, да и дуэль вообще въ благородных в нравахъ), но заставившую его даже поступиться своими понятіями, самымъ чувствомъ аристократическаго достоинства, которое вдругъ уступило м'єсто достоинству человъческому. — «Братъ, —говоритъ онъ, исполни обязанность честнаго и благороднаго человѣка... женись на Оеничкъ... она любитъ тебя, она мать твоего сына». Когда-же, неожиданно обрадованный этимъ совътомъ, братъ простодушно ему сознается, что собственно ради его, Павла Петровича, онъ до сихъ поръ не рѣшался на это, преобразившійся Павель Петровичь продолжаеть: — «Полно намъ ломаться и думать о свъть (т.-е. объ его мненіи)... станемъ исполнять нашъ долгъ и, посмотри, мы еще и счастье получимъ въ придачу». Наконецъ, онъ успокаиваетъ Николая Петровича и-насчетъ того впечатленія, какое можеть это произвести на его законнаго сына-Аркадія:--«чувство равенства будеть въ немъ польщено. Да и дъйствительно, что за касты ац dixneuvième siècle».

А между темъ ведь съ другой стороны въ самомъ

вызовѣ Павломъ Петровичемъ на дуэль Базарова принимало участіе и то, что этотъ наглецъ, посягнувшій на честь женщины, напоминавшей ему его возлюбленную княгиню, давно уже съ неменьшею наглостью посягалъ на его аристократическіе princip'ы. По собственному признанію Базарова, онъ вовсе не баловалъ «этихъ уѣздныхъ аристократовъ», видя въ нихъ одно «самолюбіе, львиныя привычки, фатство». Понятно, что Павелъ Петровичъ рѣшительно сходился въ чувствѣ ненависти къ Базарову со старымъ дворецкимъ Прокофычемъ, постоянно величавшимъ его «прощелыгой», потому что «Прокофычъ по своему аристократъ не хуже Павла Петровича».

Кромѣ одного этого старика, всѣ прочіе, не обарившісся слуги привязались, какъ извѣстно, къ Базарову:— «они чувствовали, что онъ все-таки свой братъ, не баринъ». Отъ этого-то Базаровъ и «владѣлъ особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ, хотя онъ никогда не потакалъ имъ и обращался съ ними небрежно». Въ этомъ послѣднемъ случаѣ въ немъ выказывалась неспособность поддѣлываться къ кому-бы то ни было, какъ и самъ онъ, не будучи бариномъ, не искалъ и не могъ терпѣть никакого въ себъ

запскиванія.

Не будучи бариномъ, Базаровъ также терпѣть не могъ ничего существующаго только для вида, не приносящаго прямой пользы, и этимъ онъ опять бралъ во мнѣнін простыхъ людей. — «Важно только то, что дважды два—четыре, а остальное все пустяки», —говорилъ онъ. — «И природа пустяки?» —спрашиваетъ съ удивленіемъ Аркадій. — «И природа пустяки въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее теперь понимаешь». (Аркадій при этомъ залюбовался картиной вечера). «Природа не храмъ, а мастерская, и человькъ въ ней работникъ». Понятно, что, отвертая подобнымъ образомъ художественное начало въ природъ, Базаровъ тѣмъ болѣе долженъ былъ отвергать искусство, въ томъ числѣ и поэзію. Понятно, что ему, а подъ вліяніемъ его и Аркадію, должно было казаться

дикимъ, какъ это Николай Петровичъ перечитываетъ, Богъ въсть въ который разъ, Пушкина, и что подъ вліяніемъ своего пріятеля Аркадій взамѣнъ такого чтенія могъ подсунуть отцу-на первый разъ Бюхнера. Но особенно замѣчательно, что въ нелюбви къ стихамъ и незнанін толка въ некусствѣ Базаровъ рѣшительно сходится какъ съ Инсаровымъ, такъ и съ Еленой. Ясно, что они сходятся въ этомъ, какъ люди дъла, люди, въ которыхъ окончательно простылъ следъ долговременнаго Рудинствованія, нашей долговременной призрачной жизни въ дъланном мірь, рышительно вны предыловь міра дыйствительнаго. Въ этомъ совсемъ далекій отъ Рудинства Базаровъ-отъявленный врагъ всякой фразы, ьсякихъ лишнихъ затъй и ненадежныхъ предположений. Вспомните. его отвътъ на вопросъ Одинцовой:--къ чему онъ себя готовить? — «Я уже говориль вамь: —я будущій увздный лѣкарь». — «Вы, съ вашимъ самолюбіемъ?» — «Что за охота говорить и думать о будущемъ, которое большею частью не отъ насъ зависить? Выйдеть случай что-нибудь сдёлать-прекрасно; а не выйдеть-по крайней мфрф тфмъ будешь доволень, что заранье напрасно не болталь». При такомъ направлении, Базаровъ не можетъ придавать никакой цёны и всёмъ громкимъ словамъ, щедро расточаемымъ передъ нимъ расходившимся Павломъ Петровичемъ. «Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы-подумаешь, сколько иностранных и безполезных в словь? Русскому человьку они даромь не нужны». Но Павель Петровичь, какъ и многіе въ нашемъ отечествь, оскорбляется такою прямою уликою пустозвонности всёхъ этихъ фразъ, которыя мы такъ охотно и часто беремъ на прокать, оскорбляется, въ качествъ патріота, за русскій народъ. «Какъ можно, —говорить онъ, —не признавать ргіпсір'овъ?-отчасти напоминая Рудина въ стычкъ его съ Пигасовымъ. — Въ силу чего-же вы дъйствуете?» Но Базаровъ не то, что Пигасовъ; онъ не даетъ себя сбить и отвѣчаетъ совершенно слокойно:-«Въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ... Въ теперешнее время полезние всего отрицание-мы отрицаемъ... Сперва нужно

мѣсто расчистить...» Между тѣмъ Павелъ Петровичъ, вспомнивъ, что Базаровъ сосладся на русскаю человъка, думаетъ поймать его на словъ, указывая на этотъ, какъ онъ полагаетъ, авторитетъ для Базарова:-«Русскій народъ не такой, какимъ вы его воображаете. Онъ свято чтитъ преданія...» — «Я не стану противъ этого спорить», — опять-таки невозмутимо отвъчаетъ Базаровъ, и отвёчаетъ невозмутимо не потому, что преданія народа русскаго, конечно, не выражаются непонятными народу словами: аристократизмъ, либерализмъ и т. д., а потому, что и эти преданія, въ его глазахъ, совершенно излишни и безполезны, а иногда и вредны самому народу. - «Стало быть, вы идете противъ своего народа?» --- думаетъ сразить его Павелъ Петровичъ. — «А хоть-бы такъ? — по прежнему невозмутимо отвъчаеть Базаровъ. — Народъ полагаеть, что когда громъ гремить, это Илья пророкъ въ колесницѣ по небу разъѣзжаетъ. Что-жъ? Мнѣ соглашаться съ нимъ? Да притомъ, -- многознаменательно прибавляеть Базаровъ, — онъ русскій, а разві я самъ не русскій?» И пускай себъ Павелъ Петровичь говорить патетически: — «Я васъ за русскаго признать не могу», — Базаровъ съ гордостью ему отвъчаетъ: — «Мой дъдъ землю пахаль... 1) Спросите любого изъ вашихъ-же мужиковъ, въ комъ изъ насъ-въ васъ или во мит-онъ скорте признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умъте» — «А вы и говорите съ нимъ, и презираете его въ то-же время».--«Что-жь, коли онъ заслуживаетъ презрѣнія? Вы порицаете мое направленіе, а кто вамъ сказаль, что оно во мив случайно, что оно не вызвано тёмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы такъ ратуете?»

И Базаровъ несомивнно правъ. Мивніе, будто-бы его направленіе такое-же напускное, какъ всв многоразличные виды нашего Рудинства, рвшительно не выдерживаеть критики. Если Базаровъ совътуетъ другу своему Аркадію подсунуть Николаю Петровичу Kraft und Stoff,

¹⁾ А въ другомъ мъстъ: «я лъкарскій сынъ и дьячковскій внукъ».

то, конечно, не потому, чтобы самъ онъ почерпнуль свое направление изъ Бюхнеровой популярной книжки. Направление Базарова несомижно выработано имъ самимъ только при некоторомъ пособіи со стороны известнаго рода книгъ-извъстнаго, по преимуществу естествоиспытательнаго, разряда знаній. Въ немъ, при свѣточѣ этихъ знаній, сміло выразился отпоръ, наконецъ-то данный здоровой русской натурой всему напускному, а въ пылу совершенно естественнаго увлеченія, иной разъ, какъ дальше увидимъ, и не напускному, а только представляющемуся такимъ. Возможность такого отпора объясняется самой средой, изъ которой вышель Базаровъ, тѣмъ, что онь дьячковскій внукъ, что отецъ его только слегка усвоиль себъ кое-какіе пріемы барина... Въ средъ этой, уже вследствіе ея бедности, не могло быть кабинетной отчужденности отъ дъйствительной жизни и зависящей отъ того легковъсности, остающихся безъ ощутительнаго приложенія, преданій. Горечь знакомства съ дъйствительною жизнью рано даетъ себя чувствовать, какъ извъстно, въ нашей духовной средъ, и, чрезъ повърку на діль, въ ней воочію обнаруживается весь перевісь угнетающаго начала въ нашихъ преданіяхъ, невольно вызывающій противъ нихъ отпоръ, и отпоръ озлобленный. Правда, Базаровъ-отецъ остался решительно чуждъ чего-либо подобнаго; но нельзя не признать въ нашей повъсти основнымъ недостаткомъ того, что она оставляетъ безъ психологическаго разъясненія, какимъ образомъ нѣкоторыя натуры остаются рёшительно не озлобленными н въ такой средѣ, тогда какъ другія, въ родѣ Базаровасына, доводять до самыхъ крайнихъ предёловъ тотъ хищный типъ, который подмечаеть въ последнемъ Катерина Сергвевна Одинцова. Нашъ сочинитель даже умалчиваеть о томъ, каково было первоначальное воспитание Базарова-сына, не побываль-ли онь, до университета, въ какой-нибудь провинціальной семинарін. А между тёмъ разъяснить это было-бы довольно важно уже для того, чтобы выказалось, только-ли отъ особенности своихъ природныхъ основъ, или-же и отъ особенности первоначальнаго, до-университетскаго образованія, Базаровъ становится рёшительно хищнымъ, тогда какъ товарищъ сго, Аркадій Кирсановъ, по выраженію той-же Катеньки Одинцовой, долженъ быть отнесенъ къ ручнымъ (все Базаровское въ Аркадії является напускнымъ, и, какъ можно

догадываться, не прочнымъ).

Несомнънно, что очень многіе люди изъ круга Базаровыхъ, уже съ малолътства извъдавъ, такъ-сказать, на собственной кожв, среди ближайшей своей обстановки, все гнетущее въ прадъдовскихъ преданіяхъ, становятся склонны подозрѣвать, что въ сущности эти преданія въ такой-же мъръ гнетутъ и народъ, безсознательно, тупо, исключительно по привычкѣ, не только ихъ выносящій, но и защищающій, и что следуеть поскорее открыть народу глаза, чтобы возстановить его противъ этихъ преданій. Но тотъ-же убійственный стукъ налагаемыхъ ими цёпей чутко слышать эти люди и всюду — по всёмь закоулкамъ общественной нашей, и не только нашей, но и обще-европейской среды, и съ неумолимою проницательностью указывають они на то, что повсемёстно, гдё въ большей, гдф въ меньшей степени, прадфдовскія преданія служать въ рукахъ одной части общества однимъ изъ върнъйшихъ средствъ держать другую на привязи держать во имя того, что будто-бы равно ограничиваеть всёхъ, но что на самомъ дёлё ограничиваетъ лишь слабыхъ, и только внёшнимъ, чисто лицемёрнымъ образомъ признается сильными. И въ самомъ деле вспомнимъ, чтобы не ходить далеко, хотя-бы общензвёстные Гоголевскіе типы (не забывая при томъ и указаннаго самимъ Гоголемъ обобщающаго начала въ его сатиръ, въ силу котораго всв эти Сквозники-Дмухановскіе, Чичиковы и Хлестаковы заключають въ себъ и черты людей изъ другихъ круговъ, съ другихъ ступеней, но, въ сущности, той-же пробы, того-же закала). Развъ какой-нибудь городничій или Иванъ Никифоровичъ, даже по свидътельству духовныхъ лицъ, не самые примерные христіане, строжайшимъ образомъ соблюдающие всѣ наружныя требованія віры и даже неукоснительно подающіе и въ

церквахъ, и на улицахъ милостыню? Развъ Павелъ Ивановичь Чичиковъ, по свидътельству самого губернатора, не самый благонамъренный человъкъ, съ жаромъ и краснорѣчіемъ ратующій за нравственность, правду и благо отечества (въ наше время, конечно, онъ стоялъ-бы, во имя цивилизаціи, за «священныя права собственности», возставаль-бы противъ варварства, оживающаго въ видъ «соціальнаго бреда» и т. п.). Но кто-же не знаетъ, что подо всей этой благонам ренностью, подо всёмъ этимъ благочестіемъ скрывалось ў почтеннъйшихъ Гоголевскихъ сановниковъ рѣшительное отсутстве всякихъ, на самомъ дёлё, руководящихъ высшихъ началъ, кромё одного грубъйшаго, чисто животнаго начала своекорыстія — скрывалось только голое, грязное я и кром того решительно ничего. Да, если глубже вдуматься въ знаменитые Гоголевскіе типы, то основнымъ ихъ началомъ окажется не что иное, какъ нашъ издавній практическій, только ловко замаскированный, нишлизмъ.

Какъ, неужели это явление существовало и до собственно такъ-называемыхъ теперешнихъ «нигилистовъ»? Да, хотя съ этимъ, конечно, не захотятъ согласиться тъ, кто такъ усердно нападаетъ на этихъ послъднихъ, вовсе не чуя ни въ людяхъ своей среды, ни въ самихъ себъ, прямыхъ представителей нашего издавняго практическаю нигилизма. А между тъмъ, въдь и самое слово нигилист было употреблено у насъ еще до Тургенева, а именно, въ тридцатыхъ годахъ, въ «Телескопѣ», гдѣ, подъ заглавіемъ «Сонмище нигилистовъ», покойный Надеждинъ помъстиль статью, въ которой обрисованы люди, не признающіе никакихъ руководящихъ началъ въ искусствъ и въ литературъ. Если-же мы обратимся на Западъ, то тамъ нигилизмъ и нигилисты упоминались еще въ XII в. Названія эти усвоены были за ересью Петра Ломбардскаго, который утверждаль, «que Jésus Christ en tant qu'homme n'est point quelque chose, ou, ce qui revient au même — n'est rien (nihil) 1). Ясно, что съ этими ста-

¹⁾ Crevier, Histoire de l'université de Paris, 1761, t. 1, p. 25. «Cette proposition, говорится туть далье, est scandaleuse, et néanmoins quelques uns de ses

рыми западно-европейскими нигилистами, какъ у нашихъ издавнихъ практическихъ, такъ и у теперешнихъ теоретическихъ нигилистовъ-общаго всего одно имя, и я привелъ это свёдёніе собственно для того, чтобы показать, что имя это не только не явилось впервые у Тургенева, но даже не впервые явилось и у насъ вообще. Откуда-же взяль это слово нашъ сочинитель (а раньше его Надеждинъ), остается мит неизвъстнымъ. Вычитано-ли оно гдънибудь нашими изобразителями того и другого нигилизма, или-же оно употреблялось и самими изображенными и только у нихъ подслушано — остается вопросомъ. Но хотя, какъ видно, название нишлист и не новость, въ ходъ оно у насъ пошло лишь съ тёхъ поръ, какъ было употреблено Тургеневымъ, вовсе, однако, не думавшимъ наложить этимъ словомъ клеймо на цёлое направленіе. Оно было сочтено за клеймо лишь другими, прежде всего, можеть быть, редакцією того журнала, въ которомъ появились «Отцы и Дети»; но нашему сочинителю, конечно, тогда и не снилось, какое направление приметъ современемъ эта редакція, съ которою онъ затёмъ и внолив разошелся і). У Тургенева, какъ изв'ястно, Аркадій думаеть лишь превознесть своего товарища, говоря про него:—«Хотите и вамъ скажу, что онъ такое? Онъ нигилистъ». На соображение-же Николая Петровича: «это отъ латинскаго nihil, ничего... Стало быть, это слово означаетъ человъка, который... который ничего не признаетъ», и на поправку Павла Петровича:--«скажи, который ничего не уважаеть», Аркадій отвічаеть такимъ толкованіемъ: — «который ко всему относится съ критической точки зрѣнія...» По собственному своему сознанію, нигилисты критически отнеслись ко всему, даже къ

disciples la soutinrent et fondèrent l'hérésie, comme on l'appela des nihilistes. Le pape Alexandre III, à qui elle fut déférée, écrivit vers l'an 1173 à Guillaume de Champagne, alors archevêque de Sens, pour lui ordonner d'assembler les prélats et les théologiens de la mé ropole et de proscrire avec eux ce langage, comme contraire à la sainte doctrine». Выписка эта обязательно доставлена миз Н. И. Стороженкомъ.

¹⁾ Она-же не помирилась съ нимъ и послѣ его смерти.

самымъ завътнымъ неприкосновеннымъ преданіямъ, а въ силу этихъ критическихъ отношеній они обличили всю лживость тёхъ, кто подъ лицемерною верою въ нихъ тантъ лишь заботу о самомъ себъ, такъ что и самая религіозность туть обращается въ какое-то запскиваніе у Бога. Глубоко возненавидъвъ всякую фальшь и всякое лицемъріе, нигилисты съ глубокимъ отвращеніемъ сбросили всѣ эти обманчивые покровы и открыто и честно выставили своекорыстіе, какъ главный рычагъ человіка. Но, поступивъ такимъ образомъ, они не замътили, что матеріаломъ для такого общаго вывода послужила имъ лишь извъстная часть людей, тогда какъ на самомъ дъль, чтобы не ходить далеко, - въ нихъ самихъ, въ этихъ «нигилистахъ», если вглядъться внимательные, дъло далеко не ограничивается однимъ только голымъ своекорыстіемъ. Напрасно Базаровъ насъ увѣряетъ, будто когда, напримъръ, понравится женщина, слъдуетъ лишь поскорже «добиться отъ нея толку», будто первая мысль при этомъ-мысль о томъ, что тутъ «пожива есть». Напрасно, при встръчь съ Анной Сергьевной Одинцовой, онъ умышленно-цинически говоритъ Аркадію:-«Эдакое богатое тѣло». На самомъ дѣлѣ, любовь его къ ней далеко не такого исключительно-матеріальнаго свойства: онъ любитъ ее постоянно, хотя и не достигаетъ удовлетворенія, и, вполик совпадая въ этомъ отношеніи съ Павломъ Петровичемъ, отличается отъ него только тъмъ, что сохраняеть способность трудиться. Если на завтракъ у т-те Кукшиной Базаровъ всего больше занимался шампанскимъ и держалъ при этомъ ръчь въ пользу сибаритства, на томъ основании, что «кусокъ мяса лучше куска хльба — даже съ химической точки зрвнія», — то вёдь у такой особы, какъ Кукшина и не стоило говорить о чемъ-либо лучшемъ, а можно было просто отъ скуки объбсться или напиться пьянымъ. Тотъ-же самый Базаровъ, по свидътельству своего отца, когда нужно, оказывался способнымъ переносить лишенія: онъ отъ роду лишней контики не бралъ у своихъ родителей. Такъ поступаль нигилисть, тогда какъ нашъ старый знакомый,

идеалистъ Рудинъ, преспокойно тянулъ послѣднее съ

матери.

Конечно, еслибы указать на это самому Базарову, то онъ-бы первый сталь объяснять это только неохотой быть обязаннымъ кому-бы то ни было, т.-е. только однимъ самолюбіемъ (хотя вѣдь и самолюбіе не есть уже просто себялюбіе). Опъ никогда-бы не сознался, что туть участвовала и жалость къ положению родителей, какъ неохотно сознавался въ томъ, что въ отношеніяхъ его къ Одинцовой быль не одинь только грубый расчеть на поживу. Дело въ томъ, что боязнь всего напускного, всего извращающаго и ломающаго природу доводила его до того, что онъ, вмёстё съ напускнымъ, подавляль и природное, т.-е. впадалъ неумышленно въ ту-же ломкуломку наклонностей самыхъ естественныхъ, но не признанныхъ имъ за такія. «Оставаясь наединѣ послѣ свиданія съ Одинцовой, Базаровъ съ негодованіемъ сознавадъ романтика въ самомъ себъ... Онъ ловилъ самого себя на всякаго рода постыдныхъ мысляхъ...» Онъ навърное счель-бы постыднымъ и то, еслибъ ему вдругъ захотьлось затянуть ивсню, хотя это столько-же естественно, какъ захотъть поъсть или поработать; неестественными такія наклонности могли показаться только у насъ, въ образованной нашей средь, вследствие того, что мы слишкомъ долгое время исключительно «пѣли» и видѣли въ этомъ «дёло», никакого другого дёла не дёлая. При этомъ, какъ извъстно, мы особенно усердно тянули безконечную ноту «любви»; оттого-то и стали потомъ убъгать отъ нея, какъ отъ какого-нибудь дурмана, всё люди дъльные. — «Любовь, — говоритъ Одинцовой Базаровъ, въдь это чувство напускное...» — «Въ самомъ дълъ? -подтягиваетъ (изъ самолюбія) она, — мий очень пріятно это слышать». — «Они оба думали, — поясняетъ нашъ сочинитель, — что говорили правду. Базаровъ при этомъ смѣялся, хотя ему вовсе не хотѣлось смѣяться».

Точно также Базаровъ прикидывался, и опять-таки неумышленно, совершенно свободнымъ и отъ другой постыдной слабости—нъжничанья (выражаясь во вкусъ его)

съ родителями. Ему, можетъ быть, и давно хотълось своихъ «стариковъ потёшить», а между тёмъ онъ не торопится къ нимъ и живетъ себъ да живетъ - сперва у Кирсановыхъ, потомъ у Одинцовой. Только «постыдная слабость» къ этой последней (постыдная потому, что пожива туть не давалась-по крайней мъръ, сразу) заставляеть его, наконець, какь-бы въ виде отвода, поехать къ своимъ старикамъ, о которыхъ онъ ужь давно говорилъ Аркадію: — «Они у меня люди хорошіе. Я-же у нихъ одинъ». Ему, можетъ быть, не на шутку взгрустнулось по нихъ еще въ день его именинъ; онъ, по крайней мъръ, не постыдился вспомнить о подобномъ вздоръ, говоря Аркадію: — «Сегодня меня дома ждуть»; но сейчась-же при этомъ понизила голоса, и, какъ-бы для того, чтобъ поправиться, вдругь прибавиль:-«Ну, подождуть, что ва важность!» — А вспомните, какъ, уже гостя у нихъ съ Аркадіемъ, онъ, словно хвалясь, говоритъ ему:—«Ты видишь, какіе у меня родители — народъ не строгій». — «Ты ихъ любишь, Евгеній?» — «Люблю, Аркадій», — и это даже безъ пониженія голоса, хотя любовь — чувство напускное... А между темъ ведь известно, что онъ не зажился у нихъ.—«Работать хочется, а здёсь нельзя,—не замедлиль заговорить Евгеній. — У вась (т.-е. у Кирсановыхъ) по крайней мъръ запереться можно. А то здъсь отецъ мнъ твердитъ: «мой кабинетъ къ твоимъ услугамъ...» а самъ отъ меня ни на шагъ. Да и совестно какъ-то отъ него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, какъ она вздыхаеть за стіной, а выйдешь къ ней — и сказать ей нечего». Ясно, что его тяготить не одна невозможность заняться порядочно (это-бы можно еще устроить), но сознаніе извёстной фальши въ отношеніяхъ его къ родителямъ, фальши, заключающейся въ томъ, что иной разъ сидишь съ ними, хотя и скучно... А все-же, какъ ни сильно действуеть на людей Базаровскаго закала такое сознаніе, цёлый день прошель прежде, чёмь онъ рёшился увъдомить Василія Ивановича о своемъ отъвздь. Да и по отъёздё чувство жалости, надо думать, не сразу успоконлось въ немъ, потому что онъ «былъ не совсвиъ собою доволенъ. Аркадій быль не доволенъ имъ». Ясно, что мнимо лишь напускное, природное и не въ конецъ забитое довольно громко говорило въ обоихъ. Но съ ръшительной силой заговорило оно только въ ту минуту, когда Базарову пришлось не на время, а навсегда распрощаться съ родителями. Тутъ чувство жалости дошло до того, что, для утвшенія ихъ, онъ сталь вдругь способенъ указывать даже на то, отъ чего навсегда отказался. — «Вы оба съ матерью, — говорить онъ отцу, - должны теперь воспользоваться тёмъ, что въ васъ религія сильна; вотъ вамъ случай поставить ее на пробу...» Онъ доходитъ даже до того, что уже не боится впасть въ фальшь, говоря о предсмертныхъ предписаніяхъ религіп: — «Я не отказываюсь, если это можеть вась утъшить...» То-же, ръшительно пересилившее чувство любви заставляетъ его просить Одинцову. — «Не разувъряйте старика, что Россія ничего во мий не теряетъ... Й мать приласкайте... вёдь такихъ людей, какъ они, въ вашемъ большомъ свътъ днемъ съ огнемъ не сыскать»...

Базарову такимъ образомъ не удается вполнѣ отдѣлаться отъ мнимо-напускныхъ чувствъ. «Гони природу въ дверь, она войдетъ въ окно» — можно бы примѣнить

и къ нему.

И тотъ-же самый Базаровъ съ другой стороны дълаетъ рѣшительную уступку уже положительно напускнымъ—и даже не чувствамъ, а жизненнымъ правиламъ. «Съ теоретической точки зрѣнія,—говоритъ онъ,—дуэль нелѣпость; ну, а съ практической точки зрѣнія — это другое дѣло». Павлу Петровичу Кирсанову, по выраженію Базарова, захотѣлось испытать на немъ свой рыцарскій духъ. «Я бы могъ отказать вамъ въ этомъ удовольствін,—поясняетъ Базаровъ,—да ужь куда ни шло»! Откуда же такая вдругъ снисходительность къ чужимъ удовольствіямъ и фантазіямъ, снисходительность, доводящая до того, о чемъ впослѣдствіи отзывается самъ Базаровъ: «Экую мы комедію отломали! Ученыя собаки такъ на заднихъ лапахъ танцуютъ. А отказать было не-

возможно: вёдь онъ меня, чего добраго, удариль-бы, и тогда»... Что тогда?...

А шопоть, хохотня глупцовъ? И воть общественное мильне! Пружина чести—нашь кумирь! И воть на чемь вертится мірь!

Выходить, что эти знаменитые Пушкинскіе стихи не утрачиваютъ своей силы и въ примѣненіи къ Базарову? И Базаровъ, какъ более или менее все мы, побаивается такого старья, какъ Грибовдовская «княгиня Марья Алексвевна», побанвается мивнія нимало не уважаемаго имъ свъта, мнънія, въ силу котораго незаслуженное насиліе позорить не того, кто его наносить, а того, кто становится его жертвою? Или, можеть быть, Базаровъ сознаетъ, хотя бы и смутно, что насиліе, какимъ угрожаетъ ему Кирсановъ, было-бы не совсемъ незаслуженно (потому что онъ дъйствительно поступиль но крайней муру легкомысленно въ отношении къ Өеничкв) и, сознавая это, боится попасть въ окончательно незавидную роль, показавшись еще и трусомъ Кирсанову? Да и наконець, чтобы, отказываясь отъ дуэли, выдержать цёлый, неизбёжный рядь оскорбленій, выдержать страшную пытку для самолюбія (котораго нужно-ли повторять?—Базарову не занимать-стать), для этого надо вёдь опираться на какіе-нибудь принципы, не допускающіе дуэли, - ну, а что до принциповъ, то въдь это по части Кирсановыхъ, а не его, Базарова! Однако-же, невольно доводимый подобнымъ образомъ до противоестественной роли рыцаря, все же онъ остается довольно вёрнымъ природё, чтобы не считать долгомъ чести навести свой курокъ на Павла Петровича: извъстно, что онъ стръляеть, не иплясь... Но и обратя, сколько отъ него зависитъ, всю эту сцену въ «собачью комедію», онъ однако-же чувствуеть всю ея фальшь и съ досадою говорить впоследствии: «Воть что значить съ феодалами пожить»! Онъ, очевидно, чувствуетъ, что пришлось таки заразиться, живя въ ихъ средв...

А между темь Базаровь далекь оть того, чтобы извинять человъка средою. Вспомните, что говоритъ онъ на тъ извиненія, которыя приводить Аркадій въ защиту своего отца и дяди. «Всякій человікь самь себя воспитать должень, — утверждаеть Базаровъ. — А что касается до времени, отчего я отъ него зависъть буду? Пускай же лучше оно зависить отъ меня. Это все распущенность». Но вёдь это, согласитесь, уже очень похоже на правило, на нравственное требование, на principe, какъ бы выразился Павелъ Петровичъ. Да и требуя отъ человъка работы надъ самимъ собой, Базаровъ требуетъ еще и другого. «Ага! — обращается онъ однажды къ Аркадію, родственное чувство заговорило!... Ото всего готовъ отказаться человёкъ, со всякимъ предразсудкомъ разстанется, но сознаться, что, напримірь, брать, который чужіе платки крадеть, ворь, это свыше его силь. Да и въ самомъ дѣлѣ мой братъ, мой — и не геній, возможно ли это»? Противъ чего-же ратуетъ тутъ Базаровъ, какъ не противъ крайностей личнаю начала; но вёдь ратовать противъ него можно только во имя другого начала, начала противоположнаго, за которое съ неменьшимъ жаромъ (не считая этотъ жаръ напускнымъ) ополчается тотъ-же Базаровъ, когда говоритъ: «Человѣкъ все въ состоянін понять—и какъ трепещетъ эфиръ, и что на солнцѣ происходитъ; а какъ другой человъкъ можетъ иначе сморкаться, чъмъ онъ самъ сморкается, этого онъ понять не въ состоянии». Но развъ такое требование терпимости, простора не мню одному, а каждому, уравнительнаго простора встьмъ — не есть настоящій принципъ самый любвеобильный?

Не слѣдуетъ-ли изо всего этого, что если идеальные наши фразеры, представители различныхъ родовъ нашего Рудинства, на самомъ дѣлѣ оказывались нерѣдко своекорыстными, или, по крайней мѣрѣ, руководимыми исключительно самолюбіемъ, то нигилистъ Базаровъ, этотъ пенавистникъ фразы, этотъ врагъ всего напускного, только обманываетъ себя, когда думаетъ, будто бы собственное наше л ссть единственный не напускной нашъ двига-

тель, будто бы это я въ немъ самомъ остается свободнымъ отъ того тяготънія къ общему, къ цълому, которое, совершенно помимо фразы, зовется любовью?

Но если такъ, то не есть-ли Базаровъ — нашъ, не любящій только болтать о «высокихъ предметахъ», Инсаровъ, такъ же могущій сказать про себя, что не я хочу, а то хочетъ? И если-бы нашъ сочинитель свелъ своего Базарова не съ Одинцовою, а съ Еленой, то не пошла-ли бы она за нимъ, какъ пошла за болгаромъ, и, благодаря такому русскому человѣку, не пропала-бы для Россіи!

Вспомнимъ, какъ судитъ о Базаровъ Одинцова — эта «женщина съ мозгами», какъ онъ о ней выражается. Сама «чистая и холодная», она полагаетъ, что онъ ей сродни по природъ, потому что не въ силахъ вполиъ полюбить, вполнъ отдаться... И она ошибается только въ томъ, что считаетъ его отъ природы неспособнымъ на это, тогда какъ на самомъ дълъ онъ, постоянно избъгавшій стать «самоломаннымъ», незамътнымъ образомъ изломалъ въ себъ эту способность... Онъ такимъ образомъ довелъ себя до того, что въ этомъ отношеніи сталъ походить на Рудина, который тоже, едва ли отъ природы, а скоръе отъ сцъпленія разныхъ причинъ, не могъ «весь отдаться», хотя, повидимому, и хотъль-бы...

Въ самомъ дёль, если нашъ Базаровъ также преждевременно гаснетъ, какъ болгаръ Инсаровъ, то гаснетъ не отъ того, что слишкомъ скоро, какъ тотъ, сгораетъ отъ объявшаго его жара. Замѣтъте, что тотъ, при всемъ избыткѣ личнаго счастъя, не выноситъ своихъ страстныхъ порывовъ къ удовлетворенію другой любви—любви къ родинѣ, тогда какъ для Базарова этой послѣдней, какъ и самыхъ воспоминаній дѣтства, какъ будто не существуетъ, и тѣмъ сильнѣе, съ другой стороны, дѣйствуетъ на него, даже просто на его самолюбіе, незадача въ дѣлѣ личной любви. Какъ бы глубоко ни презиралъ онъ Павла Петровича за то, что тотъ сталъ живымъ мертвецомъ отъ своей незадачи, — вѣдъ и собственная его жизнь не была-бы настоящею жизнью (не положи ей

предъла несчастный случай), потому что въдь и трудомъ, собственно какъ трудомъ, не наполнишь жизни, если трудъ этотъ не согрътъ, не подъятъ во имя чего-то высшаго, во имя «того», какъ выразилась Елена, а Базаровъ намъренно забивалъ въ себъ всякое «то», намъренно суживалъ и сушилъ отъ природы широкую область своего духа. Инсаровъ и при меньшемъ, говоря по-Базаровски, развити мозгост, справедливо представлялся Еленъ такимъ, что всъ передъ нимъ были маленькіе... Онъ всёхъ переросъ отъ того, что человёкъ, по прекрасному выражению Шиллера, ростеть по мара того, какъ расширяются его цёли... Цёлью же Инсарова было-страшно сказать, -- говорила Елена, -- счастье его милой, ждавшей себѣ свободы, родины, счастье того народа, съ которымъ неразрывно слидась вся духовная жизнь Инсарова. Но, можеть быть, разница между нимъ и Базаровымъ только въ томъ, что последнему нечего было освобождать; что дёло готово было совершиться само собою, помимо его-при наступавшей крестьянской реформъ — тогда какъ и онъ, въ свою очередь, любитъ народъ, горько чувствуетъ всё его нужды и даже гибнетъ, заражаясь болъзнью отъ больного крестьянина? Но онъ заражается отъ него уже мертваго, заражается не отъ того, что ходилъ за больнымъ съ самоотверженной къ нему любовью, а отъ того, что вскрылъ его трупъ - конечно, не ради его, а единственно ради науки!

Выше мы видёли, что Базаровъ умёлъ простотою своихъ пріемовъ располагать къ себё народъ, хотя и обращался съ нимъ небрежно. И дёйствительно, онъ преспокойно говориль слугѣ. «Өедька! набей мнё трубку», или же кричаль ямщику: «Ну, поворачивайся, толстобородый»! Мало того, узнавъ, что отецъ его велёлъ высёчь оброчнаго мужика, онъ хотя подразнилъ отца этимъ, но самъ, несмотря на ужасъ Аркадія, находиль, что отецъ очень хорошо сдёлаль, потому что мужикъ этотъ—страшный воръ и пьяница. Кромё того, онъ не безъ нёкоторой ироніи отозвался о томъ, что тотъ-же самый отецъ съ другой стороны «великодушничаетъ съ крестьинами, -- кутить, однимь словомъ». Вмъстъ же съ тъмъ туть какъ будто сказывается и некоторая зависть къ тому, что отець въ этомъ видить дёло, тогда какъ самъ онъ, лежа въ это время подъ стогомъ, думаетъ: «Узенькое мъстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравнении съ остальнымъ пространствомъ, гдф меня нфтъ и гдф дфла до меня нътъ, и часть времени, которую мит удастся прожить, такъ ничтожна передъ въчностью, гдъ меня не было и не будетъ»... Но не впадаетъ-ли онъ въ это время въ своего рода Рудинство, презрительно отзываясь о крохотномъ мъстъ и крохотномъ срокъ дъятельности, оскорбительномъ для его самолюбія?.. Разница только въ томъ, что Рудинъ, увлекаясь воображениемъ, постоянно задавался задачами самыхъ широкихъ размфровъ, а Базаровъ, трезво сознавая ихъ непосильность, пронически назидается приміромъ муравья, который тащить полумертвую муху: «Тащи ее, брать, тащи... Пользуйся тѣмъ, что ты, въ качествъ животнаго, имъещь право не признавать чувства состраданія, не то, что нашъ брать, самоломанный!» И эта практическая философія животныхъ представляется ему болбе откровенною и последовательною, чёмъ слова Аркадія, проходящаго мимо старостиной избы: «Россія тогда достигнеть совершенства, когда у последняго мужика будеть такое-же помещение, и всякий изъ насъ долженъ этому способствовать»... Болъзненно сознавая всю дальность достиженія такой задачи и всю оскорбительную для самолюбія слабость своихъ личныхъ силь и средствъ, Базаровъ со всею рѣзкостью прямоты говорить: «А я и возненавидёль этого послёдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лёзть и который мит даже спасибо не скажеть... да и на что мив его спасибо?». Когда однажды Базаровъотецъ, по поводу приближавшагося освобожденья крестьянъ, заговорилъ съ сыномъ о прогрессъ, тотъ равнодушно промолвиль: «Вчера я прохожу мимо забора и слышуэдешніе крестьянскіе мальчики, вмёсто какой-нибудь старой пъсни, горданятъ: «Время върное приходитъ, сердце

чувствуеть любовь»... воть тебь и прогрессь!» Такое глубокое равнодушие объясняется, надо думать, полнъйшимъ невтріемъ въ то, чтобы и черезъ великую мъру, о которой говориль отець, но которой предстояло быть выполненною помимо Базарова, и, такъ сказать, помимо самого народа, - чтобъ и чрезъ такую мъру народъ дъйствительно быстро и върно пошелъ впередъ. Въ сущности же скрывается туть, можеть быть, и неверіе въ самыя свойства народа, столь выносливаго у насъ на Руси, или столь гибкаго, какъ говорилъ Ломоносовъ. Загадочнымъ, до нельзя вагадочнымъ, представляется онъ Базарову. «Русскій мужикъ, -- говоритъ онъ, -- да это тотъ таинственный незнакомець, о которомъ нѣкогда такъ много толковала г-жа Ратклиффъ. Кто его пойметъ? Онъ самъ себя не понимаетъ». Въ другой разъ, презрительно дълая намекъ на большія надежды, возлагаемыя на этого «незнакомца» славянофилами, Базаровъ обращается къ мужику: «Излагай мий свои воззриныя на жизнь, братець. Видь въ васъ, говорять, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи, -- вы дадите намъ и языкъ настоящій, и законы... Ты мий растолкуй, что такое есть вашъ міръ... и тотъ ли это самый міръ, что на трехъ рыбахъ стонтъ?»--«Это, батюшка, земля на трехъ рыбахъ стоить, а противъ нашего-то есть міру, извістно, господская воля—потому вы наши отцы»... И между тёмъ какъ Базаровъ, выслушавъ подобную рѣчь, только презрительно пожалъ плечами и удалился, другой мужикъ, издали присутствовавшій при бесёдё своего собрата съ Базаровымъ, полюбопытствовалъ узнать: «О чемъ толковалъ?... О недоимкъ, что-ль?» — «Какое о недоимкъ, братецъ ты мой!-отвѣчалъ первый мужикъ, и въ голосѣ его уже не было следа патріархальной певучести (въ которой Базаровъ, при всей своей проницательности, не разглядёль чисто русской, лукаво-изворотливой ироніи мужика), а, напротивъ, слышалась какая-то небрежная суровость: «такъ, болталь кое-что: языкъ почесать захотелось. Извистнобаринг; развъ онг ито понимаетт?» Развъ, какъ бы хочеть опъ этимъ сказать, понимаеть онъ нашу нужду,

развѣ обращается къ намъ съ настоящимъ сердечнымъ участіемъ?.. Но мужикъ, въ свою очередь, не понялъ, что Базаровъ хотѣлъ тутъ даже поглумиться надъ мужикомъ и самъ, какъ-бы въ наказаніе, сдѣлался предметомъ презрительной выходки мужика.—«Увы,—замѣчаетъ въ заключеніе всей этой сцены сочинитель,—презрительно пожимавшій плечомъ, умѣвшій говорить съ мужиками Базаровъ и не подозрѣвалъ, что онъ въ ихъ глазахъ былъ все-таки что-то въ родѣ шута гороховаго».

Послѣ этого совершенно ясно, въ какой мѣрѣ былъ правъ Инколай Петровичъ Кирсановъ, когда говорилъ про преимущество, какимъ отличался отъ него Базаровъ: «Не въ томъ-ли оно состоитъ, что въ немъ меньше слѣдовъ барства, чѣмъ въ насъ». Ихъ дѣйствительно только

меньше, но они еще замётны и у Базарова.

А между тёмъ, не будь ихъ, и мёсто, имъ занимаемое, не показалось-бы ему такимъ крохотнымъ, и средства бы его выросли отъ сродства, отъ союза съ той силой народной, о которой далеко не всегда только принижающійся народъ говорить въ своей крынкой пословиць: «Соборомъ и чорта поборешь». Какъ бы ни быль для насъ загадоченъ русскій мужикъ, а надо намъ наконець разгадать его. Пока же мы не вглядимся въ лицо этого «таинственнаго незнакомца», пока не узнаемъ его, а онъ насъ, пока онъ не перестанетъ считать насъ, при всёхъ нашихъ хитростяхъ-мудростяхъ, «шутами гороховыми», пока не увидитъ въ насъ наконецъ плоть отъ своей-же плоти и кость отъ своихъ-же костей, -- до тъхъ поръ останутся суетными и все наше знанье, и вся наша дъятельность, до тёхъ поръ мы, по Лежневскому выражение про Рудина, попрежнему будемъ пустыми людьми... Вив народности ивть настоящей силы!

Да, и если именно въ своей способности отдаться вполнѣ своему народу почеринулъ свою силу болгаринъ Инсаровъ, если сила эта заключалась въ томъ, что онъ могъ сказать: «Послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я—мы желаемъ одного и того же», тогда какъ нашъ Базаровъ не можетъ сказать этого—стало

быть, этотъ послѣдній еще не наъ тѣхъ людей, при существованіи которыхъ такая женщина, какъ Елена, не пропала-бы для своего отечества. Стало быть, мы все еще живемъ наканунѣ ихъ появленія, и нашихъ передовыхъ женщинъ все еще не догнали наши мужчины!

Но не заключается-ли хоть слабый проблескъ настоящаго дня въ другомъ изъ «детей» — въ Аркадів, сочувственно разнящемся кое въ чемъ отъ несочувственныхъ, нездоровыхъ сторонъ Базарова? Мы видъли, что Аркадій считаетъ долгомъ всякаго содъйствовать тому, чтобы последній мужикъ могь иметь светлую, чистую избу. По его же мненію, мы не имеемъ права предаваться удовлетворению личнаго эгоизма, что не совсёмъ-то понравилось Базарову, можетъ быть, потому, что это, какъ и другія такія же проявленія у Аркадія, таки отзывается фразою. Да и по всему видно, что въ Аркадів слишкомъ мало действительной, способной выдерживать и бороться, мужеской силы. Онъ, при всемъ томъ, что долго и съ такимъ увлеченіемъ умственно терся около Базарова, по природѣ своей совершенно ручной, способный, по выраженію своего пріятеля, «разсыропиться», и невольно върится, что Базаровъ правъ, величая его просто «мякенькимъ либеральнымъ баричемъ», и невольно подозрѣвается, что онъ способень уйти весь въ семью, такъ сказать, сократиться въ одно только чувство домашняго счастья,-«э вола ту», какъ любилъ выражаться родитель База-

Но если и Аркадій не является даже и слабымъ проблескомъ занимающагося дня, то нельзя ли найти такой проблескъ въ «Дымѣ»! Заглавіе новой Тургеневской повъсти не подаетъ на это надежды. А между тѣмъ, вѣдъ дѣйствіе въ ней происходитъ уже немного спустя послѣ знаменательнаго 19 февраля 1861 г. Но великое дѣло освобожденія крестьянъ еще не успѣло, какъ видно изъ повъсти, вызвать на нашей нравственной почвѣ сколько нибудь утѣщительные всходы новых людей. Мы видимъ, съ одной стороны; только прямыхъ продолжателей либеральничающихъ болтуновъ въ родѣ Полуярова въ «На-

канунѣ»), или (съ оттѣнкомъ пародированнаго Слявянофильства) въ родъ Любозвонова (въ «Запискахъ Охотника») и Ситникова (въ «Отцахъ и дътяхъ»). Изъ такихъ-то продолжателей этихъ въ свою очередь продолжателей до сихъ поръ неизсякшей у насъ на Руси «Репетиловщины» составляется въ «Дымѣ» заграничный кружокъ Губарева, въ которомъ только тупоуміе или злоумышленность могуть находить что-нибудь похожее на нашу заграничную эмиграцію первой поры. Губаревъ со своимъ кружкомъ (въ немъ имъется, какъ извъстно, и дамавторое изданіе Кукшиной, у которой умёль только найдаться Базаровъ) — совершенно такая-же пустельга, какъ, съ другой стороны, генераль Ратмировъ, этотъ воинственный противень Паншина (въ «Дворянскомъ гизэдв»). Совершенно какъ Паншинъ, последний уметъ быть либеральнымъ на столько, на сколько это нужно для составленія карьеры. При томъ-же этотъ либерализмъ нимало не помѣшаль ему перепороть пятьдесять человѣкь крестьянъ въ взбунтовавшемся (т.-е. такъ-называемомъ взбунтовавшемся). Бълорусскомъ селеніи, куда его послали для усмиренія... Совершеніе подобнаго подвига на первыхъ порахъ по освобождении крестьянъ составляетъ уже характерную сторону генерала Ратмирова... Не менте характернымъ представителемъ наставшей у насъ новой эры является князь Коко съ своею глубокомысленной пропов'ядью: «Madame, le principe de la propriété est profondément ébranlé en Russie». Нъсколько другое направленіе приняль князь У., являющійся другомъ религін и народа, но потому лишь, разумъется, и этого последняго, что успель составить себе во время оно, въ блаженную эпоху сткупа, громадное состояние продажей сивухи, подмѣшанной дурманомъ.

Вотъ такіе-то люди являются представителями нашей Баденъ-Баденской интеллигенціи послѣ наставшей для русской земли новой эры, — и «нѣтъ словъ, — говоритъ Тургеневъ, — чтобы выразить важность, съ которою они сдавали, брали взятки, ходили съ трефъ, ходили съ бу-

бенъ... ужь точно государственные люди!..»

«А еслибъ Литвиновъ обращалъ даже больше вниманія на то, что говорилось вокругь него, онъ все-таки не вынесъ-бы ни одной дѣльной мысли, ни одного новаго факта изо всей этой безсвязной и безжизненной болтовни. Въ самыхъ крикахъ и возгласахъ не чувствовалось страсти: лишь изръдка изъ-подъ личины мнимо гражданскаго негодованія, мнимо презрительнаго равнодушія, плаксивымъ пискомъ пищала боязнь возможныхъ убытковъ, да нѣсколько именъ, которыхъ потомство не забудеть, произносилось со скрипѣніемь зубовь... И хотя-бы кандя живой струи подо всёмъ этимъ хламомъ и соромъ! Какое старье, какой ненужный вздоръ, какіе плохіе пустячки занимали всё эти головы, эти души, и не въ одинъ только этотъ вечеръ занимали ихъ они, не только въ свътъ, но и дома, во всъ часы и дни, во всю ширину и глубину ихъ существованія! И какое невѣжество въ концѣ концовъ! Какое непонимание всего, на чемъ виждется, чёмъ украшается человъческая жизнь!..»

Это-ли не нигилизмъ — въ прямъйшемъ, буквальнъйшемъ смыслъ слова? невольно спрашиваешь по прочтении этой мастерской страницы, одной изъ лучшихъ страницъ у нашего сочинителя. А между тъмъ, заговорите только съ любымъ изъ этихъ господъ о такъ-называемыхъ «нигилистахъ»—и они сейчасъ-же придутъ отъ нихъ въ не-

выразимый ужасъ.

Наблюдателемъ нравовъ этого Баденъ-Баденскаго нигилизма du grand mondе — наблюдателемъ, въ свою очередь, приходящимъ въ ужасъ, является, какъ видно изъ приведеннаго мѣста, Литвиновъ. Но что-же такое онъ самъ—не новый ли человѣкъ? Литвиновъ, несомнѣнно, со стремленіями къ дѣльности, къ производительному труду въ духѣ новыхъ потребностей, и даже къ народности—не въ Любозвоновскомъ или Сатниковскомъ, не въ пустозвонномъ, а въ дѣльномъ смыслѣ. Но все-же онъ — слабая личность, человѣкъ, чутъ не поставившій жизни на карту женской любви, слишкомъ долго служившій игрушкою какой-нибудь великосвѣтской Иринѣ...

Самая сильная личность въ «Дымъ», это, конечно,

Потугинъ; но онъ рѣшительно далекъ отъ того, чтобы быть человѣкомъ новымъ. Это скорѣе одинъ изъ послѣднихъ могиканъ того безшабашнаго западничества, которое въ сущности вытекаетъ изъ пренохвальнаго свойства нашей натуры, но свойства, способнаго вырождаться въ чортъ знаетъ что,—того свойства, которое очень мѣтко опредѣляетъ Базаровъ, говоря, съ обычной своей угловатостью:—«Русскій человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что самъ о себѣ пресквернаго мнѣнія». Потугинъ—человѣкъ «священническаго поколѣнія», которое, при всей чистотѣ своей русской крови, издавна искусилось въ водвореніи у насъ чужого — византійскаго образца, только сильною волей Петра Великаго окончательно замѣненнаго дру-

гимъ-западно-европейскимъ.

Воть съ этихъ-то поръ и пошло наше западничество. На его, такъ сказать, народность у насъ на Руси указываль нашь сочинитель еще въ «Запискахъ Охотника», передавая зам'єчанія, вызванныя у Хоря разсказами о заграничной жизни: «Это у насъ не шло-бы, а вотъ это хорошо, это порядокъ». Изъ подобныхъ беседъ съ Хоремъ охотникъ вынесъ убъждение, что «Петръ Великій быль по преимуществу русскій человікь, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ». Чисто русскимъ человѣкомъ является и Потугинъ, когда говоритъ: — «Я и люблю, и ненавижу свою Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину». (Почти то-же, какъ извъстно, говорили иной разъ и сами славянофилы). Чисто русская откровенность съ ироніею выражается и въ словахъ: -«Экая притча, подумаениь! Бьеть онъ насъ на всёхъ пунктахъ, этотъ Западъ, а гнилъ!» Это, пожалуй, умно н върно, но при этомъ мы забываемъ одно, что многое у себя самъ-же Западъ считаетъ гнилымъ, и не следъ намъ заимствоваться, между прочимъ, и этою гнилью, хотя она и можеть носить на себъ внъшній лоскъ и штемпель цивилизаціи. Въ Потугинскихъ увлеченіяхъ пивилизаціей также замѣтна наша русская безоглядная впечатлительность. - «Слово цивилизація, - говорить онъ, и понятно, и чисто, и свято; а другія всѣ, народность

тамъ, что-ли, слава, кровью пахнутъ». Но, говоря это, мы забываемъ, что и во имя «цивилизации» иной разъ предпринимались войны, а съ «народностью» представляются онъ навсегда неразрывными только въ томъ случаъ, если вообразить, будто-бы два характерныхъ народа, какъ и два характерныхъ лица, непремънно дой-

дутъ, и не могутъ не дойти, до драки.

Крѣпко въря въ цивилизацію, Потугинъ словно служить передь нею молебны, какъ привыкъ ихъ служить его батюшка передъ чудотворными образами. Онъ простодушно ждетъ отъ цивилизаціи исцеленія всяческихъ золъ, н такимъ образомъ далеко отсталъ отъ Базарова, который, при встръчь съ нимъ, непремънно-бы посмъялся надъ этимъ волшебнымъ словцомъ, какъ смѣялся надъ «прогрессомъ» и т. п. Но Потугинъ въ этомъ отношеніи отсталь и отъ своихъ нелюбезныхъ славянофиловъ, которые, видя въ народности силу, никогда не считали ее талисманомъ отъ всякихъ бъдъ, съ другой-же стороны никогда не отрицали цивилизаціи. Выражаясь про славянофиловъ, что они «живутъ буквой буки: все молъ будеть, будеть...» онь, можеть быть, и остроумень, но далеко не правъ, потому что именно славянофилы-то и заговорили у насъ (върно-ли, не върно-ли — это особый вопросъ), что быль положительный смысль и въ нашемъ прошедшемъ... Именно оттуда-то, изъ коренныхъ основъ исторической нашей жизни, выводили они и тотъ «доморощенный хвостикъ», которымъ, по мненію Потугина, попорчено у насъ крестьянское дело, тогда какъ многіе и очень многіе на самомъ Западъ совершенно иначе смотрять на этоть хвостикь — общинное землевладъніе...

Впрочемъ, Потугинъ со всѣми его народными нашими странностями, со всѣмъ его яркимъ самоуничиженіемъ расходившагося въ этомъ направленіи русскаго человѣка, справедливо включенъ самимъ сочинителемъ въ ту неутѣшительную картину, на которую намекается у него самымъ заглавіемъ повѣсти. Вспомнимъ слова уѣзжающаго и глядящаго въ окно вагона Литвинова:—«Дымъ, дымъ,—

повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, собственная жизнь, русская жизнь — все людское, особенно все русское... все торопится, спѣшитъ куда-то—и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая; другой вѣтеръ подулъ—и бросплось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та-же безустанная, тревожная и—ненужная игра... Дымъ,—шепталъ онъ,—дымъ;—и вспомнились ему горячіе споры, крики и толки у Губарева, у другихъ, высоко и низко поставленныхъ, передовыхъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей... Дымъ,—повторялъ онъ,—дымъ и паръ—и даже все то, что проповѣдывалъ Потугинъ... дымъ, дымъ и больше ничего...»

У насъ, какъ извъстно, обидълись этой печальной картиной, а между тъмъ въдь Тургеневъ, рисуя ее, только оставался въренъ самому себъ. Не онъ-ли еще устами Лежнева говорилъ, что всъ мы — пустые люди? Не тоже-ли, въ сущности, повторяли Инсаровъ и Шубинъ, не того-ли-же мнънія наконецъ была и Елена?

Но въ повъсти, занимающей насъ теперь, и какъ-то особенно разсердившей нашихъ читателей, — въ ней-то именно тяжелое впечатлъніе и изглаживается къ концу чертою отрадною. Вспомните, что говорится о томъ, въ какомъ положеніи засталь Россію вернувшійся во свояси Литвиновъ. «Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумълый сталкивался съ недобросовъстнымъ; весь поколебленный бытъ ходилъ ходуномъ, какъ трясина болотная, и только одно великое слово: «свобода» носилось, какъ Божій духъ, надъ водами. Терпъніе требовалось прежде всего и терпъніе не страдательное, а дъятельное, настойчивое...»

«Но минулъ годъ, за нимъ минулъ другой, начинался третій. Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила въ плоть и кровь: выступилъ ростокъ изъ брошеннаго сѣмени, и уже не растоптать его врагамъ, ни

явнымъ, ни тайнымъ...»

Превосходная эта страница находится въ самой строгой связи со всею предыдущею дъятельностью г. Турге-

нева. Въ самомъ ея началѣ, въ «Запискахъ Охотника», выставилъ онъ на показъ и позоръ всю язву крѣпостного права. Повидимому, почти не затрогивая его въ дальнѣйшихъ своихъ повѣстяхъ, на самомъ дѣлѣ онъ продолжалъ рисовать все такіе типы, нездоровость которыхъ зависѣла въ главной мѣрѣ отъ барства, этого явленія крѣпостной почвы. Обрисовавъ вслѣдъ за тѣмъ ея предсмертную пору въ «Отцахъ и дѣтяхъ», онъ наконецъ заключаетъ свой «Дымъ» успокоительнымъ указаніемъ на то, что одно — не дымъ: это воскрешающее значеніе дѣла освобожденія, воскрешающее значеніе его какъ для самого народа, такъ и для насъ всѣхъ, чающихъ появле-

нія новых подей...

Такимъ человъкомъ, мы видъли, не могъ еще быть Базаровъ, человъкъ переходной поры. Такихъ людей еще не представила намъ и пора, непосредственно следующая за освобождениемъ и выведенная передъ нами въ «Дымѣ»... На будущій характеръ этихъ чаемыхъ нами людей все еще продолжаетъ только указывать намъ Инсаровъ. Должны наконецъ и у насъ появиться такіе люди, которые могли-бы сказать, что «послъдній мужикъ въ Россіи хочетъ того-же, что и они», люди, которые, несмотря на всегда возможныя, частныя разногласія, силотились-бы въ тъсный и дружный кругъ, чтобы общими нравственными усиліями постоянно противодействовать темь, кто не знаетъ никакихъ убъжденій, хотя и скрываетъ отсутствіе ихъ подъ личиною Гоголевской «благонамѣренности». Должны наконець и у насъ появиться люди, которые могли-бы отдаться вполнъ, съ горячею любовью отдаться народу, уже не считая такой любви напускною; люди, которые готовы-бы были отдать свои лучшія силыкто на скромный уходъ за безпомощнымъ, мрущимъ порою, какъ мухи, крестьянскимъ людомъ, кто на столько-же скромный уходъ за его подростающимъ поколеніемъ, кто на скромную долю писателя для народа, которая положительно становится въ наше время выше, важнъе другого писательства; кто на ратованье за всевозможные виды подобныхъ мъръ, на поднятіе въ этомъ направленіи

земскихъ силъ, на изыскание въ помощь народу земскихъ-же общихъ средствъ, кто наконецъ-если туго набита мошна — на собственныя пожертвованія въ пользу народнаго дёла, на довершение великаго дёла освобождения, на выводъ всего народа изъподъ ига невёжества, безпомощности, нужды! Тогда только усиліями самого общества довершится то, что было и начато при его участін. Да, при участін лучшихъ людей общества быль рашаемъ у насъ крестьянскій вопросъ, поднятый нашей литературой еще въ XVIII в., ею-же, правда, нъсколько поотсроченный въ началѣ нынѣшняго, но снова блистательно поднятый въ пору, ближайшую къ намъ, при значительномъ, какъ видели мы, участи нашего писателя 1), и окончательно разръшенный опять-таки при самомъ усердномъ содъйствии нашей литературы, разръ-шенный въ духъ и на началахъ тъхъ самыхъ людей, которыхъ величаетъ Потугинъ людьми буквы буки. Да, имъ дъйствительно принадлежитъ эта буква, потому что по крайней мара тама ихъ началамъ, которыя положены въ основу этого дела, принадлежитъ будущее, т.-е. дальнъйшее развитие въ немъ, открыты-же ими эти начала въ нашемъ прошедшемъ, открыты и выставлены, какъ нѣчто такое, что изстари принадлежало народу и что подлежить возвращенію, возстановленію и обновленію.

Но если такъ, то у насъ и есть уже люди, эти искомые люди, остающіеся однако-же, съ прямой настоящей своей стороны, совсёмъ не затронутыми Тургеневымъ. Дѣло въ томъ, что пока это только отдёльныя, поименно извѣстныя личности, личности, замкнутыя въ своемъ тѣсномъ кружкѣ, а до сихъ поръ еще не сложился общій, живущій въ массахъ, распространенный типъ такого закала. Мы ждемъ еще появленія его, ждемъ, чтобы, освободившись отъ той узкости и односторонности, ка-

¹⁾ Ему такимъ образомъ досталась завидная доля продолженія отстанванія, съ благопріятнымъ успѣхомъ, того славнаго дѣла, которое поддерживалъ, составляя въ этомъ случаѣ одно изъ исключеній изъ господствующаго тона нашей литературы начала текущаго вѣка, почившій Н. И. Тургеневъ (см. его некрологъ, такъ тепло написанныл И. С. Тургеневымъ въ «Вѣстиккѣ Европы» за декабрь 1871 г.).

кая выносится всегда изъ кружковъ, первоначальный складъ этого типа свободно развился во множествѣ живыхъ, многоразличныхъ видоизмѣненій, ясно намѣтивъ во всѣхъ нихъ свое типовое единство. Только когда это совершится, будемъ мы въ правѣ ожидать этого новаго типа и отъ нашего сочинителя. Творческая сила его едва-ли ослабла—полосы относительно слабыхъ произведеній бывали у него и прежде; болѣе постоянное его присутствіе у себя на родинѣ, на необходимость котораго такъ настоятельно и даже такъ нескромно указываютъ у насъ многіе, конечно, было-бы важно, но и оно не поможетъ, если мы не представимъ ему новыхъ данныхъ, новыхъ типовъ для его творчества. Дѣло, стало быть, прежде всего за нами!

ТУРГЕНЕВЪ, КАКЪ ХУДОЖНИКЪ-ГРАЖДАНИНЪ.

читано въ СПБ. университетъ 3 сентября 1883 г. 1).

О Тургеневѣ обыкновенно говорятъ, что онъ прежде всего художникъ. Но художники, если они живые люди, неразрывно связанные съ родною землею, являются не-

премѣнно и гражданами.

Первый рядъ произведеній Тургенева, сразу обратившихъ на себя общественное вниманіе, едва-ли не останется навсегда и лучшимъ въ числѣ его произведеній. Таково, по крайней мѣрѣ, мое мнѣніе. «Записки Охотника»—рядъ очерковъ въ высшей степени художественныхъ и въ самомъ чистомъ, самомъ святомъ смыслѣ слова гражданственныхъ. И. С. Тургеневъ принадлежалъ къ тому славному меньшинству русскаго дворянства, которое никогда не могло помириться съ крѣпостнымъ правомъ. Это достославное меньшинство (очень немногочисленное) имѣло всегда своихъ представителей и въ нашей литературѣ. Ихъ громкій и честный голосъ раздавался еще въ XVIII столѣтіи. Тургеневъ, вслѣдъ за своими предшественниками, по справедливости можетъ

¹⁾ Помъщено было въ журналѣ «Искусство» 1883 г. № 39.

быть названь однимь изъ глубоко убѣжденныхъ провозвѣстниковъ великой не только въ нашей, но и въ міровой исторіи, крестьянской реформы. Когда пришло извѣстіе объ его смерти, на страницахъ «Русской Старины» появилось его дотолѣ незнакомое обществу не художественное, а публицистическое произведеніе: записка, составленная въ 1858 г. въ Римѣ, послѣ неоднократныхъ бесѣдъ о крестьянскомъ вопросѣ съ кн. В. А. Черкасскимъ, В. П. Боткинымъ и другими соотечественниками.

Не впадая во вредную идеализацію, Ив. Серг. прямо признаетъ здѣсь, что великое дѣло освобожденія крестьянъ будетъ принято съ сочувствіемъ лишь меньшинствомъ дворянства; большинство же будетъ противъ освобожденія: «одно лишь привычное нежеланіе смотрѣть правдѣ въ глаза, — говоритъ онъ, — можетъ сомнѣваться въ истинѣ этого сопротивленія». Причину его авторъ видитъ въ низкомъ уровнѣ деорянства. «Малая образованность нашего дворянскаго сословія, — говоритъ онъ, — будетъ едва ли не главнымъ препятствіемъ къ приведенію въ исполненіе предполагаемыхъ мѣръ». Это заявленіе заслуживаетъ особеннаго вниманія, какъ заявленіе дѣйствительно просвѣщеннаго дворянина о своемъ классѣ.

А намъ такъ громко и усиленно твердятъ о великихъ заслугахъ въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ дворянскаго класса, какъ самаго образованнаго и передового, тогда какъ народу такъ бы и не дождаться свободы, если-бы верховная воля Государя Александра Николаевича не согласилась съ меньшинствомъ. Но при всемъ своемъ гражданскомъ духѣ, «Записка» Тургенева стоитъ ниже «Записокъ охотника». Въ своемъ публицистическомъ произведеніи Тургеневъ сводитъ все къ изданію журнала, гдѣ бы можно было безпрепятственно печатать заявленія и мнѣнія по крестьянскому вопросу. «Правительство,—говоритъ авторъ,—не рѣшаетъ этого вопроса указомъ или манифестомъ: оно обращается къ самой землѣ, къ русскому дворянству». Здѣсь не совсѣмъ вѣрная тавтологія: земля и дворянство—не одно и то же.

Тургеневъ видимо былъ тутъ озабоченъ именно дворянствомъ. Оно, по его справедливымъ словамъ, «не подготовлено, недоброжелательно, предубѣждено, запугано; оно понесеть свои предубъжденія, свой страхъ въ самые комитеты; оно воспользуется всёми средствами, которыя найдеть подъ рукою, для того, чтобы затруднить и замедлить дёло. А между тёмь не разоренія же дворянства ищетъ правительство, не зла оно ему желаетъ; напротивъ, - оно желаетъ предотвратить возможность будущихъ бъдствій; упрочить, увъковъчить его благосостояніе; въ то же время правительство чувствуетъ государственную необходимость, неотлагаемость начатой реформы, слъдовательно-въ упорствъ дворянъ есть или недоразумѣніе, или незнаніе, непониманіе своего собственнаго положенія. Для устраненія этого недоразумінія, для того, чтобы показать дворянамъ, что правительство не рановременно подняло вопросъ объ освобождении крестьянь, существуеть только одинь способь - глас-HOCTL».

Такимъ образомъ, предполагаемый журналъ долженъ имъть цълью растолкование дворянамъ цълесообразности и своевременности предстоящей реформы. Но авторъ забываетъ, что дъло въдь не въ одномъ дворянствъ, что не мѣшало-бы обратиться къ землѣ, къ міру — народу. Впрочемъ Тургеневъ здёсь раздёляетъ прадёдовскую ошноку; со временъ Посошкова не вспоминали у насъ о томъ, что Богъ не обиделъ разсудкомъ и простого мужика, что онъ лучше всёхъ знаетъ свои нужды, а тутъ дъло было именно въ его нуждахъ. Но недостатки публицистического произведения съ избыткомъ восполнены въ томъ рядѣ художественныхъ очерковъ, который называется «Записками охотника». Здёсь мы становимся лицомъ къ лицу съ самимъ народомъ. Передъ нами проходить цёлый рядь типовь, выхваченных изъ крестьянской жизни. Тургеневъ является здёсь безпощаднымъ прокуроромъ кръпостного права, вдохновеннымъ адвокатомъ народныхъ нуждъ и - не скажу панегиристомъ, это было-бы не върно, — а смёлымъ провозвъстникомъ народныхъ доблестей. Въ этомъ его незабвенная гражданская заслуга! Онъ представилъ намъ въ лицѣ нашихъ крестьянъ людей въ истинномъ смыслѣ слова. Въ каждомъ выведенномъ имъ типѣ — живая человѣческая душа, сознающая, чувствующая, мыслящая. Грязь, накопившаяся на народномъ тѣлѣ отъ крѣпостного права, не скрыта, а выставлена на показъ, но при этомъ такъ и сквозитъ неизглаженная красота народной души! Конечно, Тургеневъ имѣлъ тутъ предшественника въ своемъ учителѣ — Пушкинѣ, но въ этомъ онъ опередилъ

учителя.

Между тёмъ нёкоторые поклонники Тургенева, ставшіе съ извъстныхъ поръ и поклонниками Йушкина, слишкомъ часто еще готовы видъть въ народъ то, что называють «святою скотиной». Они забывають, что совстмъ не такъ отнесся къ народу Тургеневъ въ «Запискахъ охотника». Трудно было пожелать лучшей защитительной ръчи въ лицахъ. Здъсь ни къ чему нельзя было придраться. Нельзя было попрекнуть автора въ дёланности, предвзятости, какъ когда-то упрекали Радищева. Дворяне въ разсказахъ являли изъ себя вовсе не изверговъ или злодбевъ; Тургеневъ и не думалъ нагромождать только «ужасы» крепостной поры, — онъ выставиль ея ординарную, заурядную сторону, но читателю тымъ болье лишь приходится удивляться, какъ при такой заурядности уцёлёла въ народё душа, и невольно возникаетъ вопросъ, до какого высокаго подъема она могла-бы достигнуть при иныхъ условіяхъ?

Къ цѣлой серіи разсказовъ изъ крестьянской жизни прибавилось впослѣдствіи еще нѣсколько; одинъ изъ нихъ,—едва ли не самый чудный изъ всѣхъ, способный уже самъ по себѣ обезсмертить имя Тургенева, если бы онъ даже ничего больше не написалъ. Я разумѣю «Живыя мощи» (по прежнимъ условіямъ цензуры самое

заглавіе могло показаться неподходящимъ).

Дѣло, какъ извѣстно, тутъ въ томъ, что молодая крестьянка вдругъ слегла и уже всю жизнь не могла подняться съ одра болѣзни. Была она дѣвушкой кра-

сивой, веселой, первой затъйницей на все село, а теперь лежить себъ «живыми мощами». «Привыкла, -- говоритъ она, -обтерпилась-ничего; инымъ еще хуже бываеть...» Въ своей простотъ она, конечно, не можетъ сама объяснить, почему ей лучше. Казалось-бы, какъ бъденъ долженъ быть внутренній міръ этой крестьянки, которая хотя и училась когда-то грамоть, но теперь и книгь-то почти не имъетъ (развъ иногда дастъ священникъ). Но оказывается, что ея внутренній міръ широко и глубоко развивался помимо книгъ. Даже то, что вынесено ею изъ молитвъ, крайне скудно. «Да и на что я стану Господу Богу наскучать?—говорить она. — Послаль Онъ миъ крестъ, -- значитъ меня Онъ любитъ». Это смиреніе, это умаленіе себя доведено до того, что, когда передъ смертью ей въ воображении чудится звонъ колоколовъ отъ далекой церкви, она говоритъ, что звонъ идетъ не отъ церкви, а «сверху». «Въроятно, она не посмъла сказать — съ неба» — замъчаетъ Тургеневъ. Она ставитъ себя почти ни во что среди этого безпредильного міра, который чутко сознаеть вокругь себя, сознаеть въ безчисленномъ множествъ жизней, ее окружающихъ.

Иногда ее навъщаютъ: то дъвушка изъ деревни забъжить провъдать, что творится у нихъ, то странница забредеть, разскажеть ей про Кіевъ, про Герусалимъ, про то, что терпятъ христіане на Востокъ, про безчисленныя человіческія біды, разсіянныя по матери сырой земль. Когда охотникъ удивлялся ея терпънію, она отвѣчала: «Вотъ Симеона столиника териѣніе было точно великое: 30 лътъ на столбу простоялъ!... А вотъ еще мив сказываль одинь начетчикь: была ивкая страна и ту страну Агаряне завоевали... и что ни делали жители, освободить себя никакъ не могли. И проявилась туть между теми жителями святая девственница; взяла она мечъ великій, латы на себя возложила двухнудовыя, пошла на Агарянъ и всёхъ ихъ прогнала за море. И Агаряне ее взяли и сожгли, а народъ съ той поры на всегда освободился! Вотъ это подвигъ, — а я что!» Дивится охотникъ, какъ зашла въ эту глушь чужеземная

повъсть, но еще дивнъе, конечно, какъ воспринята она и пересоздана этимъ живымъ мертвецомъ, въ устахъ котораго самая смерть Орлеанской дъвы обратилась въ излюбленный ею и вънчающій ея дъло подвигъ. Она окончательно умаляетъ себя передъ этой невъдомой ей по имени дъвой и, такъ сказатъ, окончательно заражается

отъ нея жаждою жертвы и подвига.

Но если народъ такъ хорошъ, то отчего-бы не жить съ нимъ вѣчно, не любоваться всю жизнь его душевной красотой? Отвать, конечно, возможный, что народъ-то везди хорошъ въ своихъ основныхъ чертахъ, хотя и много на немъ внашней грязи, и хорошъ именно потому, что остался чуждъ привилени, которой глубокій развращающій отпечатокъ не сглаживается никакою цивилизаціею. Говорять, что Жоржь Зандь восхищалась «Живыми мощами». Тургеневъ могъ точно также, конечно, восхищаться ея народными типами, могь и въ натуръ восхищаться народомъ во Франціи. Но къ чему-же было уходить къ народу за море, если онъ такъ хорошъ и у себя дома? Да въдь Тургеневъ ушелъ за море не къ народу, а къ интеллигенціи, т.-е. къ тому, что именно и отравлено привилегіей, но за то обладаеть такою богатой культурой. Я вовсе не собираюсь свести все сказанное на попрекъ покойному. Мнъ, напротивъ, припоминаются слова Пушкина о другомъ совершенно лицъ:

Да будеть омрачень позоромь Тоть малодушный, кто въ сей день Везумнымь возмутить укоромь Его... тоскующую тель!

Я позволяю себѣ замѣнить словомъ «тоскующая» слово «развѣнчанная». Тѣнь Тургенева никогда не будеть развънчана, но я думаю, что она не можеть не тосковать. Не будемъ тенденціозно истолковывать то, что онъ въ 1852 году за статью о Гоголѣ посидѣлъ подъ арестомъ и былъ высланъ въ деревню. Это, конечно, не имѣло вліянія на его удаленіе изъ Россіи. При Государѣ-освободителѣ онъ смѣло могъ жить на родинѣ и писать без-

препятственно. Чисто частныя, сердечныя отношенія, своего рода узель такихъ отношеній, распутать который бываетъ иногда не по силамъ и людямъ съ могучей волей, вотъ что увлекло нашего поэта на чужбину. Входить въ объясненія этихъ обстоятельствъ мы пока не имъемъ права. Конечно, тутъ помогло и отвлеченное тяготъніе къ «странъ святыхъ чудесъ» (какъ величается Западъ у самого Хомякова). Но какъ-бы то ни было, а сдается, что это внесло разладъ въ душу Тургенева, что съ тѣхъ поръ зазвучала трагическая нота въ его жизни 1). Это видно даже изъ техъ, такъ сказать, извинительныхъ объясненій, которыя приводиль онъ по поводу «Записокъ Охотника» (такъ посмотрълъ на положение Тургенева и иностранецъ-Юліанъ Шмидтъ). «Я не думаю,говориль Тургеневъ, — чтобы мое западничество лишило меня всякаго сочувствія къ русской жизни, всякаго пониманія ея особенностей и нуждъ. «Записки Охотника» были написаны мною за границей; некоторыя изъ нихъ въ тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться-ли мнъ на родину или нътъ? Мнъ могутъ возразить, что та частичка русскаго духа, которая въ нихъ замъчается, уцълёла не по милости моихъ западныхъ убёжденій, но несмотря на эти убъжденія и помимо моей воли. Трудно спорить о подобномъ предметъ; знаю только, что я, конечно, не написалъ-бы «Записокъ Охотника», если-бы остался въ Россіи». Авторъ воспоминаній о Тургеневъ въ «Daily News» увъряетъ, будто Тургеневъ ему говорилъ: «Вѣроятно, что если-бы М. Эджворсъ не написала о бъдныхъ ирландцахъ, то я бы не нашелъ образчика литературной формы для своихъ впечатльній, вынесенныхъ мною изъ наблюдения аналогического быта въ Россіи». Но въдь тотъ-же Тургеневъ въ тъхъ-же своихъ воспоминаніяхъ говорить: «Все къ лучшему! Пребыва-

¹⁾ Какъ послѣ этого странно читать у одного изъ иностранных в поклонниковъ Тургенева о томъ хранительномъ геніи, какой быль пославъ ему судьбою въ лицъ «одной изъ величайшихъ артистокъ нашего времени». (Eugen Zabel, Literarische Streifzüge durch Russland, Berlin, 1885, р. 112).

ніе подъ арестомъ, а потомъ въ деревнѣ, принесло мнѣ несомнѣнную пользу: оно сблизило меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули-бы отъ моего вниманія».

И всв его последующія произведенія могли явиться только вследствие непосредственнаго соприкосновения съ родной вемлей, которую онъ все-таки-же посёщаль, за которою внимательно слёдиль издали. Чутье художникагражданина нередко заставляло его воспроизводить то, что въ силу своихъ отвлеченныхъ убъжденій онъ долженъ-бы былъ отрицать. Возьмемъ-ли Рудина, — развъ это не обличение въ лицахъ нашего безпочвеннаго, не органически развившагося образованія? Возьмемъ-ли «Дворянское гивадо», —туть въ первыхъ главахъ цвлая исторія нашего просвътительного въка, - исторія, какой до сихъ поръ не дають намъ историки. Туть весь, какъ на ладони, нашъ XVIII вѣкъ, со всею его мишурою, со всею его безплодностью для народнаго блага 1). Йо тутъ-же, въ лицѣ Лизы, этой не даромъ, конечно, прославленной Лизы, Тургеневъ указалъ на тлетворность более старой прививки изчужа къ нашей исторической жизни. Лизаэто точно едва распустившаяся роза, благоухание которой пропадаеть для Божьяго міра, потому что на нее вдругъ пахнуло «мертвымъ духомъ» съ византійскаго кладбища.

Въ «Наканунъ», опять таки помимо своихъ собственныхъ взглядовъ, Тургеневъ какъ-бы заранъе угадалъ— предсказалъ то стремление на помощь—къ совсъмъ его не занимавшему славянскому міру, которое создало у насъ потомъ на самомъ дълъ цълое множество Еленъ, ушедшихъ къ болгарамъ уже безъ Инсаровыхъ. А «Отцы и дъти!» По поводу этого романа Тургеневъ намъ по-

¹⁾ На это чрезвычайно мётко указано было еще въ 1869 г. въ «Зарѣ» Н. Н. Страховымъ. «Какъ не поднвиться, —говорить онъ, —тому, что сдѣлано Тургеневымъ Если повѣрить его словамъ, то онъ все время былъ искрениимъ западникомъ; а между тѣмъ, чему онъ послужилъ своими произведеніями? Онъ безпрестанно казнилъ и развѣнчивалъ западничество». (См. Критич. статъи Н. Н. Страхова сбъ Н. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ, Спб. 1885 г., стр. 120).

ясняль: «Я браль морскія ванны въ Вентноръ (на о. Уайтъ) — дъло было въ августъ 1860 г., когда мнъ пришла въ голову первая мысль «Отцовъ и дѣтей». Въ основание главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинціальнаго врача; онъ умеръ не задолго до 1860 г. Въ этомъ замъчательномъ человъкъ воплотилось — на мон глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило название нигилизма... Ни въ одномъ произведении нашей литературы я даже намека не встръчаль на то, что мнъ чудилось повсюду...» Дъло въ томъ, что и на англійскомъ островъ онъ жилъ душою въ Россіи — чуткимъ окомъ художника-гражданина следилъ за нею. И сколькобы озлобленныя нападки на Базарова ни вызвали у него потомъ извиненій за этотъ типъ, — онъ несокрушимо пзваянъ художникомъ какъ новый видь того-же, противнаго Базарову, рудинства—какъ новый видъ той-же безпочвенности, при которой мужикъ нашъ остается для Базарова «таинственнымъ незнакомцемъ», а самъ Базаровъ остается для народа «чёмъ-то въ родё шута гороховаго».

Въ «Дымъ», слъдующемъ крупномъ произведении Тургенева, выставлена другая сторона «нигилизма». Эту повъсть онъ могъ, конечно, написать и не заглядывая въ Россію, а наблюдая въ Баденъ-Баденъ за тъми болъе или менте крупными особами, которыя тогда фрондировали изъ-за отмѣны крѣпостного права и которыхъ Ю. Самаринъ считалъ представителями «генеральскаго нигилизма». Наконецъ въ последнемъ художественно-гражданскомъ произведении Тургенева—въ «Нови» — ему пришлось имъть дъто съ переходнымъ типомъ, типомъ, явившимся на смёну Базарову въ видё своеобразно возродившагося романтизма съ его самоотверженными, но безплодными порывами. Върно подмътилъ Тургеневъ появление этого типа, уже не высокомърно холоднаго къ мужику, какъ базаровщина, а страстно порывающагося на грудь къ этому самому мужику, съ своей стороны остающемуся недовърчивымъ и отталкивающимъ. Но Тургеневъ не выясниль дёла окончательно, не проникъ въ самую душу этого, опять народившагося, молодого поколенія. А причина ваключается въ томъ, что авторъ быль уже слишкомъ далекъ отъ родной почвы. «Одного таланта, недостаточно. Нужно постоянное общение съ средой, которую берешься воспроизводить» — заявиль самь Тургеневь. И онь же сказаль: «Литературные ветераны, подобно военнымъ, почти всегда инвалиды-и благо тъмъ, которые вовремя умёють сами подать въ отставку». Какъ грустны эти слова, сказанныя конечно про себя! А вёдь тамъ, на Западъ, люди не считаютъ себя ветеранами, не подаютъ въ отставку, когда имъ перевалитъ за шестъдесятъ! Они сильны темъ, что постоянно набираются новыхъ силь отъ родной своей почвы. Если же посмотръть въ самомъ дѣлѣ на произведенія, писанныя послѣ «Нови», то невольно увидишь туть уже перо ветерана. Можеть быть это обычное свойство моей природы, что я не могу понять и оцёнить такія отвлеченно-художественныя вещи, какъ «Пъснь торжествующей любви», какъ «Клара Миличъ». Но всякій, я думаю, согласится, что эти произведенія-все же не то, что прежнія.

Влестящій періодъ заканчивается если еще не «Дымомъ», то «Новыю», а тамъ... тамъ слышится утомленіе—вслѣдствіе той давящей тоски, которой Тургеневъ не могъ не носитъ въ себѣ, все болѣе и болѣе удаляясь отъ пониманія своей родины. «Странное дѣло!—говоритъ онъ, — Бѣлинскій изнывалъ за границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ Россію. Ужь очень онъ былъ русскій человѣкъ и внѣ Россіи замиралъ, какъ рыба на воздухѣ!» И такая участь, я думаю, выпадаетъ на долю всякаго, кто только не рѣшается громко повторить съ

Некрасовымъ:

Какъ ни тепло чужое море, Какъ ни красна чужая даль, Не-ей поправить наше гере, Размыкать русскую печаль!

Вей наши двятели за предвлами родной земли, одни явно, сознательно, другие затаенно отъ другихъ и даже

отъ самихъ себя, тосковали. Далеко не счастливою, думается, была также и жизнь въ «прекрасномъ далекѣ» Ив. Серг. Тургенева. Послѣднее время онъ часто помышлялъ о Россіи, рвался на родину. Но его желанію не суждено было осуществиться. И вотъ, чувствуя близкую кончину, онъ пожелалъ хотъ мертвымъ возвратиться къ намъ. И родная земля его приметъ съ любовью! 1)

^{1) «}Мудрено винить такихъ людей, какъ Тургеневъ,—замѣтилъ и Н. Н. Страховъ въ своихъ «Поминкахъ по Тургеневъ»,— они дѣти своего времени, но, очевидно, нзъ тѣхъ дѣтей, которым способны были бы примкнуть къ самымъ высокимъ стремлениямъ времени». Но въ началѣ той же статьи онъ замѣтилъ, что «надъ гробомъ покойнаго очевидно разыгралась какая-то борьба, и насколько съ одной стороны похороны были непомѣрно раздуты, настолько съ другой они были непомѣрно оборваны (Критическія статьи, стр. 167 и 182).

ЖЕНСКІЕ ОБРАЗЫ У ТУРГЕНЕВА.

(читано на актъ высшихъ женскихъ курсовъ 20-го сентября 1883 г.) ¹)

Тургеневъ, какъ и всѣ наши писатели послѣ Гоголя, стоить на почвъ дъйствительности, т.-е. онъ реалистъ, до того реалистъ, что былъ способенъ сочувственно отозваться даже на «трезвую», по его выражению, правду Ръшетникова. Но Тургеневъ всегда благоговълъ передъ тъмъ учителемъ, въ зависимости отъ котораго оставался и Гоголь. Только скромность заставила Тургенева поставить на второй планъ свое желаніе покоиться рядомъ съ Пушкинымъ: онъ какъ-будто бы не решался прямо мечтать объ этомъ. Духъ Пушкина всегда оставался съ нимъ, хотя другого рода скромность, скромность народнаго самосознанія, не позволила ему на Пушкинскомъ праздникъ открыто признать Пушкина міровымъ поэтомъ. Смѣлѣе и рѣшительнѣе высказался тогда Достоевскій, расходившійся съ Тургеневымъ именно въ оцѣнкѣ нашей народности передъ лицомъ Запада.

Такъ высоко поставивъ въ своей рѣчи Пушкинскую Татьяну, Достоевскій тутъ же поставилъ съ ней рядомъ, какъ новое проявленіе міровыхъ достоинствъ нашей литературы, Тургеневскую Лизу. И въ самомъ дѣлѣ, обѣ

¹⁾ Напечатано въ журналѣ «Русское Богатство» 1882 г. (Декабрь).

одинаково стоять на почет дъйствительности, т.-е. вполнт реальны, и въ то же время въ нихъ столько возвышающагося надъ земнымъ прахомъ, надъ пошлостью обыденной жизни, — столько высшаго, идеальнаго! Въ объихъ такъ просто, такъ, не зная себъ цъны, совершается подвигъ самоотверженія. Лиза останавливается передъ чужимъ правомъ, — передъ правомъ этой, хоть и неправой, вдругъ оказывающейся живою, жены Лаврецкаго, какъ и Пушкинская Татьяна останавливается передъ правомъ своего, хотя и стараго, только уважаемаго, но не любимаго мужа. Лиза, которой, въ пылу страсти, жена Лаврецкаго можетъ представляться только разлучницей, во имя долга не хочетъ сама стать разлучницею между нею и ея мужемъ. «Развѣ можетъ человѣкъ основать свое счастье на несчастьи другого?» — могла бы она повторить устами Достоевскаго вмёстё съ Пушкинскою Татьяной. Въ этомъ неоспоримая идеальная красота ихъ объихъ. Но Татьяна выказываеть слабость своей воли тъмъ, что заурядно позволяетъ себъ выйти съ горя замужъ за нелюбимаго человъка. Лиза, также съ горя, окончательно предается своему религіозному чувству, и оно такъ-же заурядно принимаетъ у нея нъсколько своекорыстный оттънокъ. «Христіаниномъ, — говоритъ она, -- надобно быть не для того, чтобы познавать небесное тамъ, земное, а для того, что каждый человекъ долженъ умереть». Съ этой точки зрѣнія, земными, низшими выгодами жертвуется туть высшимь, небеснымь, -- но все же своимъ личнымъ. Лиза, какъ впоследствии княжна Марья у Л. Толстого, довела себя до того, что «любила всёхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога-восторженно, робко, нѣжно», любила, какъ виновника ея будущаго блаженства на небъ. Ръшившись идти въ монастырь, она лишь вполнѣ отдавалась своей высшей страсти. Для нея, какъ и для Татьяны, нътъ еще выхода изъ узкаго круга личныхъ привязанностей въ широкую область той братской любви, безъ которой, по Апостолу, можно и творить чудеса, и стать мученикомъ, оставаясь только мёдью звенящею или кимваломъ звяцающимъ!

Въ этой слабой сторонъ Лизы и сказался тотъ реализмъ, который, вмъстъ съ идеализмомъ, наслъдованъ Тургеневымъ отъ учителя Пушкина. Дъло въ томъ, что не только въ двадцатыхъ и тридцатыхъ, но и въ пятидесятыхъ годахъ наша женщина, при самыхъ лучшихъ природныхъ задаткахъ, оставалась еще заключенною въ заколдованный кругъ исключительно частныхъ отношеній. Но Тургеневъ зорко подмътилъ первые признаки пробужденія въ ней у насъ, порываній въ ширь и въ даль, при чемъ самое чувство личной любви обратилось у нея въ какое-то исканіе твердой мужской опоры на будущемъ расширенномъ поприщъ. Не того, далеко не того только, чего искала Татьяна въ Онъгинъ, ищутъ въ своихъ герояхъ Тургеневскія, далеко ушедшія впередъ, женщины, но почти всѣ онъ испытываютъ, подобно ей, горькое разочарованіе.

«Пойти куда-нибудь на молитву, на трудный подвигъ», говоритъ Ася, эта только-что расцвътшая Ася. «А то дни уходятъ», —заботливо прибавляетъ она со своими «почти дътскими щечками», физически какъ-будто бы не вполнъ еще развитая; жизнь уйдетъ, а что мы сдълали?...» «Крылья у меня выросли, да летъть некуда», —говоритъ она другой разъ тому, отъ кого ждетъ, чтобы онъ указалъ ей, куда летъть. Но увы! онъ вовсе и не способенъ летать, онъ способенъ только убъжать отъ нея, и мы такъ и не узнаемъ, что сталось далъе съ ней въ дальнъйшей ея жизни съ братомъ, просто художникомъ въ заурядномъ

смыслѣ этого слова.

Но въ Асѣ, по матери, «течетъ честная плебейская кровь» 1)—и отсюда-то, можетъ-быть, ея жажда дѣлъ, дѣятельнаго добра. Но никакой другой крови, кромѣ барской, повидимому, не течетъ въ жилахъ у Марьи Павловны (въ «Затишьи»). Между тѣмъ, она дѣловито чуждается стиховъ, какъ бы боясь отъ нихъ «разсыропиться», подобно «дьячковскому внуку—работнику въ мастерской природы»—Базарову. Но достаточно было разъ проде-

¹⁾ По выражению Тургенева о Лаврецкомъ.

кламировать передъ Марьей Павловной—хотя бы даже напыщенно—Пушкинскаго «Анчара», чтобы она такъ навсегда и осталась подъ неотразимымъ, вовсе «не разсыропливающимъ» вліяніемъ мысли о томъ, какъ

...Человѣка человѣкъ Послалъ къ анчару властнымъ взглядомъ.

Нежданно-негаданно, какъ-разъ въ этихъ плодахъ бездълья стихахъ и нашла она какъ бы формулу того, что давно уже озадачивало ее въ жизни, чему она смутно хотъла помочь, нуждаясь при этомъ сама въ чьей-нибудь руководящей помощи. Но тотъ, кого полюбила она своей первою любовью—увы!.. онъ только недоумъваетъ: «Вы такъ много заботитесь о другихъ, и такъ мало о себъ самой. Въ васъ эгоизма совсемъ нетъ, право... Я решительно не стою вашей привязанности; это я говорю не шутя». И туть онь, въ самомъ дѣлѣ, не шутить, онь, которому она говоритъ: «Вы все смъетесь да шутите и прошутите такъ всю вашу жизнь». Ей самой за то такъ и не пришлось «просерьезничать», какъ онъ ей предсказывалъ. всю жизнь, —она разомъ покончила съ этою жизнью. Она покончила съ нею не отъ того, отъ чего, въ предсмертномъ произведеніи Тургенева, Клара Миличъ. «Не могу жить, какъ хочу, такъ и не надо», была поговорка Клары. Она хотела жить съ человекомъ, котораго даже не знала, къ которому привязалась сразу со всёмъ своенравіемъ стихійной страсти. Ей не въ чемъ было и разочаровываться: человёкъ этотъ просто ей не дался. Въ Кларъ скорте особый, съ трагическимъ пошибомъ, видъ тъхъ страстныхъ и властныхъ женщинъ, которыя ранте были выведены Тургеневымъ въ «Дымѣ» и въ «Вешнихъ водахъ». Марья Павловна въ «Затишьи» кончаетъ съ собою, но потому, что онъ не поддался ничему высшему. Ея слабость въ томъ, что, заживо схоронивъ его, она не сумвла одна, сама по себв, видвть въ жизни серьезный смысль и жить, хотя бы и одиноко, ради этого смысла.

Выхода, опять непремённо выхода въ ширь и даль, выхода вследъ за давно ожиданнымъ путеводителемъ ждала у Тургенева и Наташа. И она, наконецъ, дождалась такого свътила, какъ Рудинъ. Но, между тъмъ какъ другіе остаются еще ослъпленными его блескомъ, она уже начинаетъ распознавать, что онъ не грветъ, а только светить, да и то что-то тускло. Достаточно ему проронить въ разговоръ, что «пора отдохнуть», отдохнуть, не доживъ и до сорока лътъ, при столь, повидимому, восторженномъ проповъдывании имъ добра и правды, чтобы она въ недоумѣніи сказала: — «Отдыхать могутъ другіе, а вы... вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ... кому-же, какъ не вамъ?» Дъло въ томъ, что ея натура исполнена жажды труда, постоянной широкой деятельности, а въ немъ, какъ выражается Лежневъ, «именно натуры-то и не видно», онъ всего только пустоцевтъ изъ барской теплицы. Когда-же, спасовавъ даже передъ решительнымъ шагомъ относительно ея, Наташи, онъ со стыдомъ исповъдуется передъ ней, что въ свои 35 лътъ онъ все еще только «собирается чтонибудь сдёлать» и, вёроятно, навсегда останется «тёмъже неоконченнымъ существомъ», --ей становится совершенно ясно, что ея воображаемаго вождя просто «сгубила фраза». Но сумбеть-ли она послъ такого разочарованія удовольствоваться простымъ и неотдаленнымъ дъломъ, которымъ давно занялась гораздо менъе ея развитая, за то болже спокойная и трезвая духомъ сестра Волынцева, или-же будеть по-прежнему рваться непремѣнно въ широкій и отдаленный кругъ дѣятельности, по-прежнему тщетно ища героя-путеводителя?

Тургеневъ оставляетъ насъ въ неизвъстности относительно дальнъйшей судьбы Наташи—того, нашла-ли она себъ скромное счастье въ замужествъ съ обыкновеннымъ смертнымъ. По Тургеневъ даетъ намъ за то прослъдить до конца за судьбою единственной изъ его женщинъ, нашедшей своего героя—нашедшей затъмъ, чтобы преждевременно его схоронить, но жить послъ того въ общени съ его духомъ, жить неустанною службою его дълу.

Елена, уже съ самаго дътства, «жаждала дъятельности, дъятельнаго добра. Нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили, она видъла ихъ во снъ...» Если Марья Павловна не любила стиховъ, потому что не предполагала въ нихъ дъла, то Елену не удовлетворяли не только стихи, но и чтеніе вообще; оно ей, должно быть, казалось, и далеко не безъ основанія, довольно у насъ непроизводительнымъ. И вотъ, она вдругъ встръчается съ человъкомъ, который, родившись въ совершенно непросвъщенной странъ, пріъхалъ учиться къ намъ, но готовъ при этомъ повторить съ Некрасовымъ:

Въ наши великіе, трудные дни Книги не шутка; укажутъ они Все недостойное, дикое, злое, Но не дадутъ онѣ силъ на благое, Но не научатъ любить глубоко!.. Дѣло вѣковъ поправлять не легко...

Для Инсарова поправить дёло вёковъ значить освободить свою родную Болгарію. Учиться любви къ ней ему не приходится: онъ всосалъ эту любовь съ молокомъ своей, истерзанной турками, матери. Вотъ что и привлекаетъ къ нему Елену: - «Освободить свою родину! - повторяетъ она про себя. — Эти слова даже выговаривать страшно-такъ они велики!..» - «У него есть дорога, продолжаеть она, — а гдѣ мое гнѣздо? Отчего онъ не русскій? Нѣтъ, онъ не могъ-бы быть русскимъ». Но Елена забыла, что выше, въ тотъ-же самый дневникъ, она занесла: — «Разговаривая съ Инсаровымъ, я вдругъ вспомнила нашего буфетчика Василія, который вытащиль изъ горъвшей избы безногаго старика и самъ чуть не погибъ; миѣ хотелось ему въ ноги поклониться». Между тъмъ, «у него было самое глупое лицо и потомъ онъ спился съ кругу». Его подвигъ былъ, стало быть, только стихійный подвигь; но гдё-же у насъ люди сознательнаго подвига, дъйствующие въ духъ народа и заодно съ народомъ? Инсаровъ тёмъ окончательно для нея великъ, что можетъ сказать: — «Последній мужикъ, последній нищій въ Болгаріи и я-мы желаемъ одного и того-же. У всёхъ у насъ одна цёль. Поймите, какую это даетъ увъренность и кръпость». Только при такой увъренности и крѣпости, понимаетъ Елена, можно «вполнѣ отдаться» (Рудинъ не даромъ-же говоритъ:-«Я хочу отдаться, но не могу», т.-е. ему отдаться нечему).—«Кто отдался весь... весь... — разсуждаетъ Елена, — тому горя мало, тотъ уже ни за что не отвъчаетъ. Не я хочу, то хочетъ». И вотъ — ей и самой уже горя мало, она ни за что не отвъчаетъ, восторженно говоря этому человъку:-«Возьми меня всю». Въ этомъ опять-таки реализмъ при величайшемъ размахъ идеализма, такъ-же какъ самый правдивый реализмъ въ томъ, что Елена бросаетъ безъ оглядки свою семью, бросаетъ родину, съ которою и связывала ее только одна семья. Такъ оно и въ самомъ дълъ бываетъ у насъ, и Тургеневъ вполнъ обнаружилъ и тутъ свою зоркую вдумчивость. Долго оставаясь заключенною въ семъв и только въ семъв, наша женщина, вырвавшись изъ нея на широкій просторъ, не могла на первыхъ порахъ не дойти до упоенія чувствомъ этого простора, не могла на время не отвернуться отъ прежняго тъснаго круга—съ тъмъ, чтобы впослъдствии снова вернуться въ него и расширить его изнутри, одухотворить его глубиною новаго содержанія. Но Елень еще не пришлось вернуться. Если преждевременно умираеть онъ, то вёдь остается его дёло и она продолжаетъ служить безъ него этому дълу, такъ какъ на родинъ никто въдь не сумълъ указать ей какое-нибудь дъло! Она, не любящая стиховъ, могла-бы къ себъ примънить стихи, да еще поэта-романтика:

> По той же дорогѣ стремлюся одна И къ той же возвышенной цѣли, Къ которой такъ бодро стремилась вдвоемъ,— Сикъ узъ не разрушитъ могила.

— «Тамъ готовится возстаніе, собираются на войну,— говорила Елена. Я пойду въ сестры милосердія... останусь върна его памяти, дълу всей его жизни... А вернуться въ Россію? Зачъмъ? Что дълать въ Россіи?»

Основаніемъ, говорятъ, послужило Тургеневу нѣчто дѣйствительное. Художническая отзывчивость заставила его обобщить такой фактъ, который даже вовсе не соотвѣтствовалъ его отвлеченному направленію. И это обобще-

ніе оказалось предугадываніемъ, пророчествомъ.

Странно слышать продолжающиеся и до сихъ поръ застарѣлые толки о неестественности, о дѣланности, хотя и весьма искусной дёланности, Елены, тогда какъ въ последніе годы, казалось-бы, у всёхъ у насъ на глазахъ отправилось къ темъ-же южнымъ славянамъ столько другихъ Еленъ — и уже безъ Инсаровыхъ, отправилось туда потому, что имъ непременно хотелось большого подвига, а такого подвига онъ не находили дома 1). «Пускай меня турки изжарять, а я все-таки хочу туда ходить за ранеными», -- приходилось слышать отъ чуть лишь расцвътшихъ почти еще дъвочекъ, напоминавшихъ всего более Асю, и слезы катились у нихъ изъ глазъ, когда онв умоляли, чтобы ихъ непременно туда отправили 2). Онъ, вмъстъ съ русскими добровольными воинами, предвозв'ящали движение туда русскихъ войскъ. Когда-же наши войска туда двинулись съ ними вмъстъ, опять безъ Инсарова — дъйствительность и тутъ превзошла пророческую поэзію — отправилась туда женщина, образъ которой Тургеневъ воспроизвелъ уже не въ романъ, а въ одномъ, едва-ли не лучшемъ изъ своихъ «стихотвореній въ прозѣ». Многіе помнять, конечно, этотъ чудный лирическій аккордъ въ потрясающемъ чтеніи г-жи Стрепетовой на одномъ изъ литературныхъ вечеровъ еще при жизни Тургенева. Мнв остается воспроизвести здёсь вполнё это «стихотвореніе въ прозё», посвященное той-же, кому посвятиль одно изъ своихъ стихотвореній и другъ Тургенева—Я. П. Полонскій 3).

«На грязи, на вонючей сырой соломъ, подъ навъсомъ

2) Передаю то, чего самъ былъ свидѣтелемъ въ 1876 г.
 3) Баронессѣ Вревской (см. сочвиенія Я. П. Полонскаго, т. І, стр. 427—430).

Вполиф върную, не шаблопную характеристику Елены представляетъ статья
 П. Карпова въ № 39 «Искусства». 1882 г.

ветхаго сарая, на скорую руку превращеннаго въ походный военный госпиталь, въ разоренной болгарской деревушкъ, — слишкомъ двъ недъли умирала она отъ тифа.

Она была въ безпамятствъ, и ни одинъ врачъ даже не взглянулъ на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногахъ— по-очередно поднимались съ своихъ зараженныхъ логовищъ, чтобы поднести къ ея запекшимся губамъ нъсколько капель воды въ черенкъ разбитаго горшка.

Она была молода, красива; высшій свѣтъ ее зналъ; о ней освѣдомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человѣка тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась, но

бывали улыбки хуже слезъ.

Нѣжное, кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы помогать нуждающимся въ помощи... Она не вѣдала другого счастья, не вѣдала—и не извѣдала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она съ этимъ давно помирилась, и, вся пылая огнемъ неугасимой вѣры, отдалась на служеніе ближнимъ.

Какіе завѣтные клады схоронила она тамъ въ глубинѣ души, въ самомъ ел тайникѣ — никто не зналъ ни-

когда, -а теперь, конечно, не узнаетъ.

Да и къ чему? Жертва принесена... дѣло сдѣлано. Но горестно думать, что никто не сказаль спасибо даже ея трупу — хоть она сама и стыдилась, и чужда-

лась всякаго спасибо.

Пусть же не оскорбится ея милая тёнь этимъ позднимъ цвёткомъ, который я осмёливаюсь возложить на ея

могилу».

Но поэтъ, только преклоняющийся тутъ предъ прекрасной дъйствительностью, конечно, преувеличенно усиливаетъ ея тъни, утверждая, будто никто даже не сказалъ спасибо умершей. А тъ солдаты, которые вставали съ своихъ зараженныхъ логовищъ, чтобы подать ей воды изъ черепка? Они, конечно, говорили спасибо передъ ея трупомъ, а оставшиеся изъ нихъ въ живыхъ, конечно, и теперь еще поминають ея душу въ своихъ задушевныхъ молитвахъ!

Сама же она, если-бы осталась въ живыхъ и вернулась въ Россію, конечно, не повторила-бы вслѣдъ за Еленой, что въ Россіи ей нечего дѣлать! Какому-нибудь Соломину незачѣмъ было-бы напоминать ей о томъ, о чемъ онъ напоминаетъ Маріаннѣ: «шелудивому мальчику волосы расчесать—жертва, и большая жертва, на которую не многіе способны». Но о томъ же самомъ напоминаль самъ Тургеневъ въ своихъ письмахъ къ одной русской дамѣ, недавно напечатанныхъ въ «Русской Старинѣ» ¹): «Нужно умѣть жертвовать собою безъ всякаго блеску и треску—нужно умѣть смириться и не гнушаться мелкой и темной даже жизненной работой (я беру слово: жизненной—въ смыслѣ простоты, безкорыстности, «terre à terr'а»).

Та дъйствительная однако-же женщина, которой Тургеневъ посвятилъ свой «поздній цвътокъ» (какъ назвалъ онъ свое «стихотвореніе въ прозъ»), должно быть, еще не составляетъ у насъ выдающагося типа, а потому и

не отразилась въ произведеніяхъ его творчества.

Въ «Нови» мы опять встръчаемъ его излюбленный типъ—типъ русской женщины, рвущейся въ широкій и дальній кругъ дъятельности, видимъ новую Елену, какъ-

будто бы отыскавшую себь русскаго Инсарова.

Этотъ Неждановъ, въ котораго увъровала Маріанна, и еще раньше, а, можетъ быть, и кръпче ея увъровала болье простая, пожалуй, даже ограниченная, но за то никогда не барствовавшая Машурина, — этотъ Неждановъ—одинъ изъ тъхъ, по словамъ Паклина, «внезапныхъ исцълителей общественныхъ ранъ», одинъ изъ тъхъ «родящихся, чай, готовыми», какъ выражается о Маркеловъ Соломинъ, «освободителей» русскаго народа, которые на дълъ оказываются все тъми же Щигровскими Гамлетами, т.-е. продуктами тепличной среды, вообразившими чисто

¹⁾ Октябрь, 1883 г., стр. 225.

по книжному, будто «дёло вёковъ поправляется такъ легко».

Онъ уже не относится къ народу высокомфрно, холодно, какъ когда-то Базаровъ, говорившій Аркадію: «Я возненавиделъ этого последняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лъзть и который мив даже спасибо не скажетъ». Тотъ, по словамъ Базарова, «романтивмъ», который уцёлёль въ молодомъ Кирсановъ, составляетъ, должно быть, одну изъ существенныхъ сторонъ природы, гонимой въ окно и входящей въ дверь. Романтизмъ этотъ ожилъ въ томъ поколъніи, которое явилось такъ скоро на смѣну Базаровымъ, явилось со своими Неждановыми. Но отношенія народа и къ этимъ, простирающимъ ему объятья, новымъ романтикамъ-все тѣ же старыя, недовѣрчиво сторонящіяся и отнѣкивающіяся. «Ты, восклицаеть Неждановъ, невѣдомый намъ, но любимый нами всёмъ нашимъ существомъ, всею кровью нашего сердца, русскій народъ, прими насъ не слишкомъ безучастно и научи насъ, чего мы должны ждать отъ тебя!»

Тщетная, безотзывная мольба! То-то и есть, что онъ нашъ невъдомый, и мы въ нашей новой роли ему невъдомы, и поздно, слишкомъ поздно вдругъ догадались,

что надобно отъ него самого научиться...

Маріанна вмёстё съ Неждановымъ надъваетъ народное платье, чтобы въ самомъ дёль совсемъ опроститься,— а этотъ неблагодарный народъ видитъ въ нихъ только ряженыхъ! Остается лишь ожесточиться противъ этого тупого народа вмёсть съ «великимъ» Губаревымъ, вмёсть съ нимъ завопить: «мужичье поганое!... бить ихъ надо!»— Да, надо бить, тузить—за то, что они осмёливаются не идти за нами! Но на это, разумёется, неспособна Маріанна, неспособенъ и ея бёдный радикальный Гамлетъ. Напрасно онъ увёряетъ ее, что «ложь была въ немъ (въ его, какъ выражается онъ, эстетикъ), а не въ томъ, чему она въритъ». Нътъ, ложь и въ томъ, во что въритъ она, во что въритъ и онъ—во всей постановкъ ихъ отношеній къ народу. А

вѣрить онъ пересталь потому, что это ихъ то—не Инсаровское. Оно не придаетъ крѣпости, почерпнутой Инсаровымъ лишь въ увѣренности, что «послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и онъ желаетъ одного и того же».

Со смертью Нежданова Маріаннѣ остается Соломинъ,—указавшій ей на «шелудиваго мальчика». Самъ же онъ—артельный дѣятель на фабрикѣ, т.-е. своего рода, только съ русской фамиліей, Гончаровскій Штольцъ, въ то-же время однако заигрывающій съ «пропагандою».

Но если онъ все же Штольцъ,—т.-е. въ немъ слишкомъ уже выдается практическая жилка, то не должна-ли Маріанна оказаться новою, цёлою головою его переросшею, Ольгою? Не даромъ же самъ Соломинъ говоритъ Маріаннъ: «Всъ вы, русскія женщины, дёльнъе и выше

насъ, мужчинъ».

Въ этомъ случав устами его говоритъ, конечно, самъ Тургеневъ. Но-странное дело-онъ постоянно заставляетъ русскую женщину искать себѣ опоры въ какомънибудь Онъгинъ! Правда, Одинцова въ «Отцахъ и дътяхъ» слишкомъ горда, что бы искать себѣ въ комъ-нибудь опоры, но за то въдь у нея, по ея словамъ, и «цъли ньть»; ей за то «и не хочется идти», въ ней «ньть желанія, охоты жить», до того она «себя-заморозила», по словамъ Базарова. Не такова та-чистая, но не холодная женщина, которой посвятиль Тургеневъ свой «поздній цвьтокъ»: являясь у него не типомъ, а примо портретомъ, она не нуждается ни въ какой опоръ, сама же-опора всемъ. Но есть у него и еще-не портретъ, а типъ, опережающій всь его остальные женскіе типы. Этопростая крестьянка, которой предшественницы намъ уже не найти у Пушкина. Если въ умѣніи вообще почувствовать въ народъ живую душу и выставить всемъ на видъ ея уцѣлѣвшую, несмотря ни на что, природную красоту, Тургеневъ — прямой ученикъ Пушкина, — то, создавъ Лукерью въ «Живыхъ мощахъ», онъ сдёлалъ ръшительный шагъ впередъ противъ Пушкина, а если правда, что Жоржъ Зандъ восхищалась этимъ образомъ, то воть и свидътельство въ пользу его міровой

красоты.

Еще недавно живая, веселая хороводница, невъста Лукерья, по несчастному случаю, навсегда привязана къ одру бользни. Бывшимъ подружкамъ не до нея, женихъ; разумбется, сталь чужимъ женихомъ, чужимъ мужемъ, а она лежитъ себъ да лежитъ безъ движенья; но народъ не даромъ призналъ ее не живымъ трупомъ, а «живыми мощами». Дело не въ ся, немыслимой у живого существа, худобъ, сухотъ, но и въ той особаго рода святости, какою запечатлёлась она въ своемъ невольномъ отшельничествъ. Дъло въ томъ, что въ этомъ отшельничествъ она не уединена, а тутъ-то у нея и завязались темь более крепкія связи со всёмь міромь Божіимь. Если она только созерцаеть его душой, а не действуеть въ немъ, то виною тутъ не она, а ел неподвижное тъло. Запаса діятельной любви въ ней такъ много, такъ неизміримо много! Она грамотна, но не въ силахъ держать книжку, а читать ей вслухъ - некому. Порою она читаетъ наизусть молитвы. «Только не много я знаю ихъ, этихъ самыхъ молитвъ, -- говоритъ она. -- Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чемъ я его просить могу? Онъ знаетъ лучше меня, что мив надобно». Къ положенью своему она уже «привыкла, обтерпълась»; она съ нимъ помирилась на томъ, что «инымъ еще хуже бываетъ». Она вознаграждена своимъ внутреннимъ міромъ, онъ же въ ней не отъ книгъ, а отъ того, что, неподвижная на своей постели, она можеть за то на досугѣ вчитываться въ великую книгу Божью-ту книгу жизни, въ которой она-буква, что-нибудь значащая лишь въ связи со всвиъ остальнымъ. «Кротъ подъ землею роется, я и то слышу. Пчелы на пасъкъ жужжать да гудять; голубь на крышу сядеть и заворкуетъ... Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ въ угду гиводо тебв свили и двтей вывели. Ужь какъ же оно было занятно! Одна влетитъ къ гназдышкуприпадетъ, дътокъ покормитъ-и вонъ... Иногда не влетить, только мимо раскрытой двери пронесется, а дътки тотчасъ-ну пищать, да клевы раскрывать... Я ихъ на

слѣдующій годъ поджидала, да ихъ, говорять, одинъ здѣшній охотникъ изъ ружья застрѣлилъ. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука».

Общенье этой крестьянки съ природой въ своемъ родъ не уступитъ тому, о которомъ говорилъ Баратын-

скій, поминая германскаго мірового поэта:

Съ природой одною онъ жизнью лышалъ, Ручья разумёлъ лепетанье, И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, И чувствовалъ травъ прозябанье.

Но мірового генія не даромъ попрекали тімъ, что онъ подчасъ относился къ сознательной человъческой жизни какъ къ той-же природъ, слишкомъ мало участвовалъ своимъ олимпійски-спокойнымъ сердцемъ въ человіческой злобъ дня. Не то, совершенно не то въ міросозерцаны нашей крестьянки. Самый недостатокъ умственнаго развитія сділаль ее неспособной философски уйти въ безмятежную даль Олимпійскихъ высотъ. Въ самой природѣ особенно ее привлекаетъ то, что въ самомъ дель одущевлено. Она сердцемъ участвуетъ въ семейномъ житъъбыть в птички, чисто по-челов чески чуя въ ней то, чего не удалось ей испытать на себь самой. Но, при всемъ одиночествъ, по преимуществу связанною оказывается она съ человъческимъ міромъ-съ его, разсъянною по лицу всей земли, нуждой и бъдой, но за то и съ его духовными радостями. «Странница забредеть, — говорить она, станеть про Герусалимъ разсказывать, про Кіевъ, про святые города». А мы знаемъ отъ недавняго, также покинувшаго насъ, поэта-«печальника народнаго горя», какъ его называли, что значитъ въ народной жизни странничество. Имъ поддерживается связь между народной душой и безпредъльнымъ человъческимъ міромъ. Разсказывать о Іерусалимъ — значить разсказывать о христіанахъ на востокъ, о томъ, что терпъли и терпятъ они отъ агарянъ. Говорить о Іерусалимъ-значитъ говорить и о Цареградь, обо всемь томъ, отъ чего еще такъ недавно всколебался у насъ народъ при слухъ, что «нашихъ быютъ». Тургеневъ не быль свидѣтелемъ, какъ отозвался у насъ этотъ слухъ, и потому, надо думать, въ первомъ изъ своихъ «стихотвореній въ прозѣ», рисуя «довольство, покой, избытокъ русской вольной деревни, ея тишь и благодать», спросилъ: «Къ чему намъ тутъ и крестъ на куполѣ святой Софіи въ Царьградѣ, и все, чего такъ добиваемся мы, городскіе люди?» (въ этомъ, впрочемъ, онъ сошелся съ гр. Л. Н. Толстымъ) 1). Нѣтъ, отвѣтимъ мы Тургеневу-публицисту отъ лица Тургенева-художника во имя широкой души его-же крестьянскихъ типовъ, нѣтъ, тутъ дѣло не въ городскихъ людяхъ. Дѣло, между прочимъ, тутъ въ томъ, что «довольство, покой, избытокъ» и теперь еще далеко не такъ идутъ къ нашей русской деревнѣ, какъ тѣ два стиха Тютчева, которые выбралъ Тургеневъ эпиграфомъ къ «Живымъ мощамъ»:

Край родной долготеривныя, Край ты русскаго народа!

Во имя своего собственнаго долготерпвныя, народь посвоему разумветь и принимаеть къ сердцу и долготерпвливый восточный вопросъ. По-своему и Тургеневская Лукерья должна-бы была откликнуться на него. Не даромъ она подставила агарянъ въ переданный ей какимъ-то начетчикомъ разсказъ о стародавнемъ событіи изъ жизни чужого, вполнѣ ей невѣдомаго народа—въ эту пору, по крайней мърѣ, не имѣвшаго столкновеній съ агарянами. «Была нѣкая страна, —перезсказываетъ она, —и ту страну агаряне завоевали, и всѣхъ жителевъ они мучили и убивали. И проявись тутъ между тѣми жителями святая дѣвственница; взяла она мечъ великій, латы на себя возложила двухпудовыя, пошла на агарянъ и всѣхъ ихъ прогнала за море. А только, прогнавши ихъ, говоритъ имъ: теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое

¹⁾ Къ чему? А стихотвореніе самого Тургенева «Крокеть», гдѣ къ ногамъ королевы англійской катятся окровавленныя головки болгарскихъ малютокъ? Тутъ опять, какъ и очень часто у Тургенева, художникъ энергически возражаль публицисту.

объщание, чтобы мнъ огненною смертью за свой народъ помереть. И агаряне ее взяли и сожгли, а народъ съ той норы навсегда освободился». Вотъ въ какомъ преображенномъ видъ отразился въ ея сознании подвигъ Орлеанской девы-отразился такъ, что и самая смерть Жанны д'Аркъ представляется добровольною жертвою. Отдаленное и чужое, какъ человъческое, становится тутъ своимъи еще доводится до особой, скажу-чисто деревенской, идеализаціи 1). Это увлеченье русской крестьянки Жанною д'Аркъ представлялось бы фальшью, чёмъ-то дёланнымъ, городскимъ, если-бы оставалось отвлеченнымъ, еслибы изъ-за увлеченія прошлымъ и отдаленнымъ позабывалось то, что совершается на глазахъ. Тогда-бы тутъ выходило своего рода Рудинство, неизгладившееся, пожалуй, въ нъкоторыхъ изъ тъхъ городских людей, которые, не умъя жить дома, уходили умирать въ Сербію-потому что она тогда подвернулась (какъ Рудину подвернулись парижскія баррикады). Не то, совершенно не то въ Тургеневской крестьянкъ. Увлечение чужимъ и отдаленнымъ подвигомъ только усиливаетъ въ ней способность совсемъ позабыть себя-зорче видя все то, что вокругъ: «Ничего мнъ не нужно, -- говоритъ она, -- всемъ довольна, слава Богу... А вотъ вамъ-бы, баринъ, матушку вашу уговорить крестьяне здёшніе бёдные-хоть-бы малость оброку съ нихъ сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они-бы за васъ Богу помолились», - прибавляеть она, не рѣшаясь, повидимому, разсчитывать въ своемъ обращеніи къ господамъ на то поливищее безкорыстие христіанскаго чувства, до какого дошло оно въ ней самой...

Этого безкорыстія въ религіозности, какъ видѣли мы, нѣтъ даже въ самоотверженной Тургеневской Лизѣ, нѣтъ, несмотря на многопрославленную народность Лизы. Насъ и до сихъ поръ еще увѣряютъ, будто-бы

¹⁾ Тургеневь, такимь образомь, опять какь *жудоожникь* точно будто заранье взялся изобразить въ лицахь то наше «всечеловьчество», которое впоследстви провозглашено было Достоевскимь въ его Пушкинской речи и на которое особенно напали въ ней именно паши космополиты.

личная, очень и очень заинтересованная любовь къ Богу есть существенная черта народнаго религіознаго чувства. Самъ Тургеневъ своими «Живыми мощами» вовсе не утверждаетъ этого: его Лукерья не думаетъ о наградѣ на небѣ и даже не намѣрена наскучать Господу своими молитвами. И она у Тургенева не одна—ей по самоотверженности совершенно чета и его Касьянъ, и его Калинычъ. Но ей же чета и Платонъ Каратаевъ у Л. Н. Толстого и наконецъ самъ любимый герой нашего народнаго эпоса, и церкви-то строющій на поминъ— не своей души.

Все это въ самомъ дѣлѣ сложилось на народной почвѣ—на почвѣ бытовой общины, благодатно озаренной

лучами чистаго, безпримѣснаго христіанства.

Если же намъ указываютъ на то, что Лиза въ своей религіозности многимъ позаимствовалась у своей русской няни, что и княжна Марья у гр. Л. Н. Толстого тою же точно религіозностью заразилась отъ своихъ «Божыхъ людей», а они же вѣдь—изъ народа,—то мы скажемъ, что и на самый народъ, черезъ заносную книжность, отчасти повѣяло у насъ мертвымъ духомъ съ византійскаго кладбища 1). Тлетворномъ вѣяніемъ отъ заживо разлагавшейся Византіи мъстами пришиблены были тѣ всходы, какими обязаны мы родной почвѣ и непосредственному христіанскому на нее посѣву. Этими благодатными всходами и объясняются у Тургенева его «Живыя мощи»; но ихъ, именно этихъ всходовъ, не замѣтно въ его культурныхъ женщинахъ, а потому онѣ, при всей своей жаждъ подвига, постоянно нуждаются

¹⁾ Сама Лукеры упоминаеть о терпини Симеона Столиника, а это, конечно, терпине ради терпина, т.-е. и ради небесной выслуги! Но примиры этоть поменяется у нея мимоходомы, онь останся у нея оть той ен книжности, которая только скользнула по ней съ византійскимы своимы отпечаткомы. Само заносное кы намы монашество кое вы чемы у насы передылалосы и такимы образомы вернулось кы тому гуманному древнему типу, сы какимы являлось оно вы поученияхы Златоуста. Старецы Зосима у Достоевскаго, при всей своей книжности, совсимы ужы не византійскій, а русскій старець. До конца ему дёло до всего міра до всёхы его нужды и бёды, а Алешы Карамазову оны велить: «вернись вы міры и вы міры пребудь какы инокъ».

въ той опоръ, какую даетъ личная любовь и широкая, непремънно широкая арена—у всъхъ на виду, съ лестнымъ для самолюбія занесеньемъ въ исторію! Потомуто Соломины совершенно напрасно указываютъ имъ на «шелудиваго мальчика»; всъ онъ—имя же имъ легіонъ, почему Тургеневъ и воспроизвелъ ихъ, какъ типъ, въ своемъ творчествъ—проходятъ мимо, не замъчая этого мальчика. Но уже замътила его та, передъ которою Тургеневъ преклонился, какъ передъ чуднымъ явленіемъ самой дъйствительности,благоговъйно посвятивъ ему «поздній цвътокъ».

А другія? Долго-ли будуть он'т все искать и не находить того, кто-бы въ свою очередь нашелъ и указаль

имъ дѣло-настоящее дѣло?

Но если дѣйствительно дѣльныхъ мужей, по-инсаровски дѣльныхъ, тѣмъ, что ихъ опора въ самомъ народѣ, у насъ все еще нѣтъ какъ нѣтъ, то ихъ вѣдь надо создать; да, создать! А вѣдь это зависитъ отъ тойже женщины; ей остается только не забывать о своемъ воспитательномъ назначении.

Тому родному народу, къ которому Неждановы слишкомъ поздно стучатся со своимъ: «научи насъ, чего мы должны ждать отъ тебя», —слъдуетъ съ дътства бесъдовать съ нами устами матери и вмъстъ съ нею или со старшей сестрой не отступать отъ насъ и въ учебные

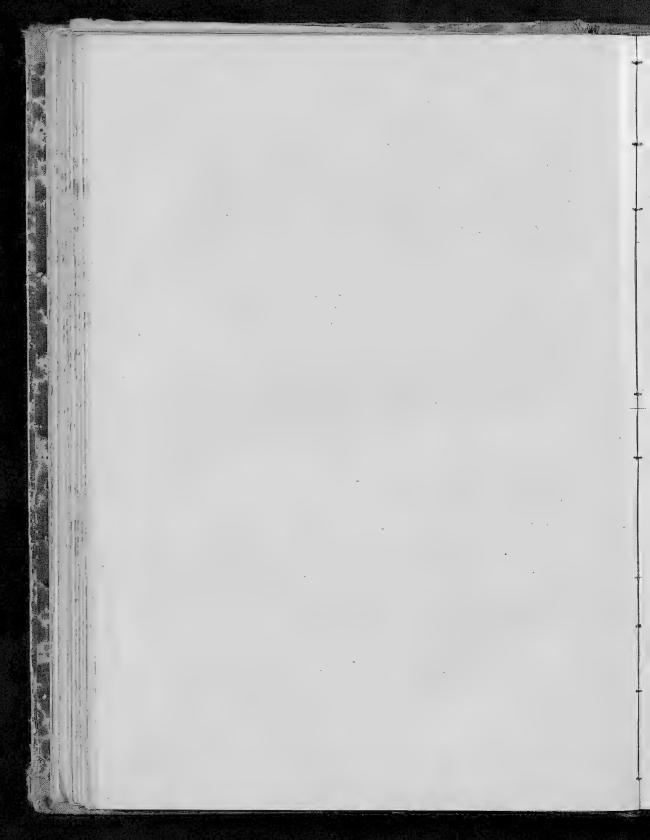
оношескіе годы.
Для этого же она, наша мать, или старшая наша сестра заранье должны сблизиться съ нашей крестьянской женщиной, той, къ кому слишкомъ односторонне обращался поэть:

Ты вся — воплощенный испугъ, Ты вся — въкован истома!

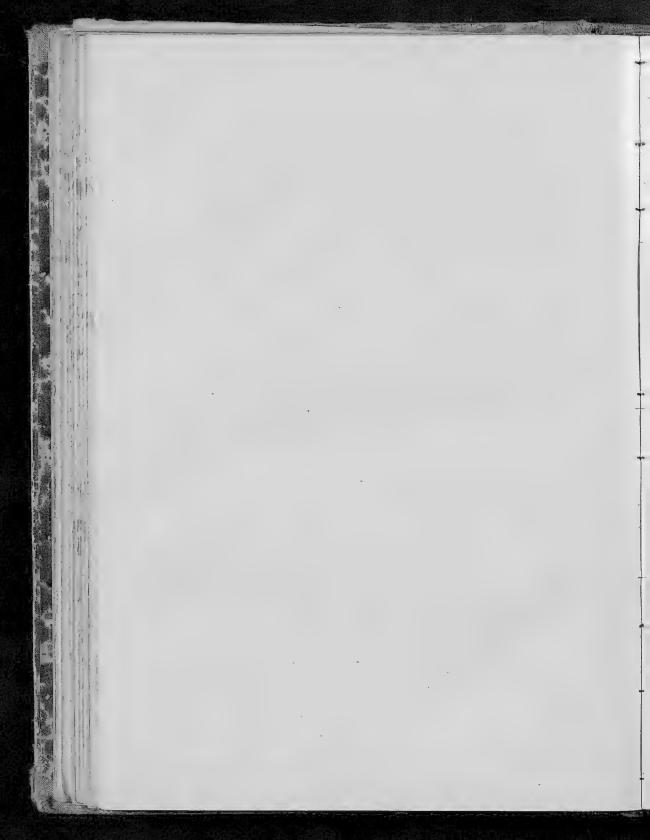
Но вёдь тотъ же самый поэтъ тутъ же и поправилъ себя, показавъ на своей Даръѣ, что «типъ величавой славянки возможно и нынѣ сыскать». Съ ней, съ этой Дарьей, про которую всѣ говорятъ:

Пройдетъ — словно солице освътитъ, Посмотритъ — рублемъ подаритъ,

должна быть рядомъ поставлена Тургеневская Лукерья, окруженная на своемъ страдальческомъ одрѣ постояннымъ сіяніемъ духа, способная всякаго, подошедшаго къ ней, надёлить отъ сокровищъ своей внутренней жизни. Передъ нашей женщиной изъ народа культурная русская женщина должна наконець въ самомъ дёлё оставить все свое «лишнее и ненужное», все то барское, что ярко сказывается и въ самой ея культурь; къ женщинт изъ народа должна она поспъшить не только затёмъ, чтобы надёлить ее своимъ хлёбомъ и своимъ свётомъ, но и затёмъ, чтобы братски позаимствоваться и отъ нея, въ ея скудной хатъ, чъмъ Богъ посладъ. Вотъ что значить-въ полномъ смыслѣ слова пойти въ народъ, вотъ что значитъ въ самомъ деле «опроститься». Безъ этого не будетъ у насъ конца томительному наканунь, безъ этого не настать наконець и у насъ настоящему дню!



О. М. Достоевскій



ОБРАЗЫ И ИДЕИ ВЪ СОЧИНЕНІЯХЪ Θ. М. ДОСТОЕВСКАГО ¹).

Τ.

«Бъдные люди» и другія произведенія первой поры.—«Село Степанчиково».— «Униженные и оскорбленные».

Съ первыхъ же своихъ шаговъ на литературномъ поприщъ Достоевскій обращается къ людямъ бъднымъ, загнаннымъ, хотя и изъ класса чиновничьяго, къ тъмъ изъ
этого класса, для которыхъ, конечно, вовсе не «благодать»
ихъ кличка: ииновникъ. Въ этомъ отношеніи Достоевскій
является прямымъ продолжателемъ того направленія, которое выразилось въ повъсти Гоголя «Шинель». Но въ
романъ «Бъдные люди», сразу доставившемъ Достоевскому
такую извъстность, нельзя не признать значительнаго
шага впередъ противъ «Шинели». Гуманное отношеніе
къ бъднымъ, забитымъ людямъ тутъ проведено гораздо
далъе, чъмъ у Гоголя. Не даромъ Бълинскій обратился
къ Достоевскому съ такими сочувственными словами:

^{1).} Изъ публичныхъ лекцій, читанныхъ въ 1874 г. Дополнено на основаніи пе напечатанныхъ лекцій 1882 г.

«Честь и слава молодому поэту, муза котораго любить людей на чердакахъ и въ подвалахъ и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: вёдь это тоже люди,

ваши братья!»

Конечно, уже и Гоголь сказаль это психологическою постановкою героя «Шинели», который хотя и смёшонъ, но такъ живо трогаетъ каждаго, сколько-нибудь по-человъчески чувствующаго, читателя. Тъмъ не менъе, герой Гоголя, такъ сказать, весь ушелъ самъ въ себя, въ продолжительныя ваботы о томъ, для него значительномъ комфорть, какой онъ доставляеть себь новой шинелью: сочувствие къ нему читателя возбуждается собственно тёмъ, что авторъ даетъ понять, какъ дорого, цёною какихъ долгихъ лишеній, достается маленькому человѣку и какое событие въ его приниженной жизни составляетъ то, что является у другого само собой въ ряду множества другихъ вещей, безъ которыхъ и обойтись нельзя, а маленькій человѣкъ обходится! Все то, что предпринимаетъ Акакій Акакіевичъ для доставленія себ'є новой шинели-своего рода нравственный подвигь, но подвигь, который ведеть къ его личному удовольствію и удобству. Гораздо болье представляють намь «Бъдные люди» Достоевскаго. Не даромъ главное лицо этой повъсти, Макаръ Алексвевичъ Дввушкинъ, такъ обижается твмъ, что Варенька прислала ему «Шинель» Гоголя. «Дурно, маточка, дурно, --пишетъ онъ ей, -- что вы меня въ такую крайность поставили... Всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человъческую. Тому опредълено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совътникомъ... Все это вы по совъсти должны бы были знать, маточка, и онъ (т.-е. сочинитель) долженъ бы быль знать... Такъ послѣ этого и жить себѣ смирно нельзя, въ уголочкѣ своемъ — каковъ ужь онъ тамъ ни есть... чтобъ и тебя не затронули... Зачёмъ писать про другого, что воть де онь нуждается, что чаю не пьетъ? А точно всв и должны ужь такъ непремѣнно чай пить». Дѣвушкинъ, очевидно, обижается тѣмъ, что Гоголь, какъ будто, только и разглядель въ бедномъ

чиновникт эту одну потребность, -- подвергаясь разнымъ лишеніямъ, сшить себѣ новую шинель. Между тъмъ, Макаръ Алексвевичъ знаетъ по себъ, что есть у бъднаго человѣка и другая потребность-откладывать изъ послѣдняго не для себя, а для другихъ. Онъ вёдь привыкъ жить не только, какъ выражается самъ про себя, вдвойню (потому что живетъ заботой о Варенькѣ), а даже до того въ ширь, что прямо ей сознается: «Не люблю я, маточка Варенька, когда ребенокъ задумывается; смотръть непріятно». — Ему вёдь ужасно тяжело пройти, такъ и не давъ ничего, мимо мальчика съ просительною записочкой. Но онъ, по крайней мере, только мимо прошель (потому что дать было нечего), а не сказалъ, какъ обыкновенно бываетъ: «прочь, убирайся! шалишь!...» «Вотъ, что слышитъ онъ отъ всѣхъ, —разсуждаетъ Макаръ Алексвевичъ, -- и ожесточается сердце ребенка, и дрожить напрасно на холодъ бъдненькій, запуганный мальчикъ, словно итенчикъ, изъ разбитаго гнъздушка выпавшій...» Відь, заглядівшись сперва на роскошные дома, а потомъ пораздумавшись о томъ, какъ въ нихъ живуть, Дъвушкинъ не даромъ же разсуждаеть: «То дурно, что нътъ никого подлъ этого богатъйшаго лица, ньтъ человька, который бы шепнулъ ему на ухо-«что полно, дескать, о себъ одномъ думать, для себя одного жить; ты, дескать, не сапожникъ, у тебя дъти здоровы, жена ъсть не просить, оглянись кругомъ, не увидишь ли для ваботь своихъ предмета более благороднаго, чемъ свои сапоги» (т.-е. сапоги въ иносказательномъ смыслъвсе эгонстически-житейское). А, почуявь въ себъ такія «вольныя мысли», онъ съ полнотою самосознанія говоритъ, что «не отъ чего было въ грошъ себя опънять, испугавшись одного шума да грома», —т.-е. поразившись столичнымъ блескомъ и сустою. А все дело въ томъ, что онъ имфетъ право сказать про себя: «я всегда делаль такъ, какъ будто-бы меня и на свътъ не было», т.-е. думаль о себъ всего менле, а тъ, что живутъ тамъ въ высокихъ да просторныхъ хоромахъ, думаютъ о себъ всего болье, а иные, пожалуй, только о себь вёдь и думають.

Не даромъ уже Бѣлинскій 1) призналъ въ Достоевскомъ талантъ «не сатприческій, не описательный, но въ высокой степени творческій... талантъ необыкновенный, самобытный, который сразу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, рѣзко отдѣлился отъ всей толпы нанашихъ писателей, болѣе или менѣе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ». Не даромъ далѣе предсказывалъ Бѣлинскій: «много въ продолженіе его поприща явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы».

Къ такому заключенію критикъ былъ приведенъ не только главною личностью «Бёдныхъ людей», но и такимъ эпизодическимъ лицомъ, какъ старикъ Покровскій. Вспомнимъ, что о немъ говоритъ Бълинскій. «Подставной мужъ обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шуть и пьяница — и онь человъкь!» Да, и онъ человъкъ, даже въ лучшемъ смыслъ слова, потому что онъ въ состояніи любить до самоотверженія. «Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну, —продолжаетъ Бѣлинскій, — напоминающею робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображение Покровского съ книгами въ карманъ и подъ мышками, безъ шапки на головъ, въ дождь и холодъ бътущаго за гробомъ смъшно-любимаго имъ сына, не производить на вась трагического внечатленія, не говорите объ этомъ никому, чтобы какой-нибудь Покровскій, шуть и пьяница, не покраснёль за вась, какъ за человѣка».

Бълинскій находиля даже, чего посль него не находили другіе критики, что Достоевскій «вовсе не хотъля изобразить людей, у которых умя и способности придавлены, приплюснуты жизнью». И въ нихъ дъйствительно не за-

¹⁾ Въ своей большой статъй о «Петербургскомъ сборникъ», гдъ появились, какъ извъстио, «Въдиме люди».

бито то, что симпатически связываетъ человека съ человѣкомъ. Добролюбовъ въ своей статьѣ «Забитые люди» налегаеть на другую сторону произведеній Достоевскаго, — на общественную приниженность главныхъ его героевъ со всёми ея послёдствіями. Къ числу ихъ Добролюбовь относить то, что Девушкинь съ какимъ-то особеннымъ умиленіемъ умаляется передъ своимъ начальствомъ: «я вёдь человёкъ маленькій», -- говорить онъ, основывая на такомъ сознаніи всю свою практическую философію. Но, уживаясь самъ съ такой скромной долей, онъ не мирится съ мыслыю, чтобы она могла удовлетворять и ту девушку, къ которой онъ такъ привязанъ. Ел бедное, загнанное положение хотель-бы онь усладить, удучшить; и воть онъ отдаеть последние гроши, чтобы доставить ей какое-нибудь удовольствие или хоть лакомство. Правда, нъкоторые «забитые люди» Достоевскаго, подобно Гоголевскому Акакію Акакіевичу, действительно загнаны во самихо себя и такимъ образомъ окончательно являются жертвами своего положенія. Таковъ герой повъсти того-же названія, г. Прохарчинъ, котораго одна ошеломляющая мысль о томъ, что онъ можетъ быть выгнанъ изъ сдужбы, доводитъ до пьянства и преждевременной смерти.

Но и въ немъ есть черта, которая помирила-бы съ нимъ самого М. А. Дѣвушкина: въ разговорахъ съ свонии сожителями онъ даетъ понять, что посылаетъ часть своего жалованья золовкѣ, проживающей гдѣ-то въ Твери. Послѣ смерти Прохарчина, эти самые сожители находятъ у него въ тютякѣ 2000 ассигнаціями, но, не вѣря или не желая вѣрить существованію его золовки, дѣлятся

между собою его наслёдствомъ.

Печально кончаетъ личность, поставленная, повидимому, у Достоевскаго въ болѣе благопріятное положеніе, но, при большей развитости въ ней требованій отъ жизни, не уживающаяся съ мыслыю, что ей никогда не достанется многое, такъ легко достающееся другимъ, — я разумѣю героя «Двойника», г. Голядкина. Если «Бѣдные люди» связаны съ Гоголевской «Шинелью», то «Двой-

никъ» не менъе тъсно связанъ съ «Записками сумасшелшаго», только разница въ томъ, что Гоголь набросалъ свой психологический очеркъ немногими мастерскими чертами, съ сжатостью, свойственною художнику; у Достоевскаго-же замътна крайняя расплывчивость и растянутость. За то, съ другой стороны, если Добролюбовымъ върно истолкованъ смыслъ, вложенный Достоевскимъ въ своего «Двойника», то произведение это, по глубинъ мысли, превосходить «Записки сумасшедшаго». Этотъ фантастическій двойникъ, по толкованію Добролюбова, есть не что иное, какъ внутреннее раздвоение одной и той-же личности. Голядкинъ сознаетъ, что для успъха въ жизни ему нужно уменье заискивать въ людяхъ, нужны такія качества, какихъ въ немъ нѣтъ, -- и вотъ эта-то практическая, недостающая ему способность подслуживанія и олицетворяется имъ въ лиць г. Голядкина младшаго, который своею пронырливостью постоянно перебиваеть дорогу г. Голядкину старшему.

Но Добролюбовъ ошибался, признавая въ Голядкинъ только «остатокъ гдё-то въ далекихъ складкахъ скрытаго нравственнаго чувства». Что въ немъ этого чувства гораздо болье, чемъ одинъ «остатокъ», это видно изъ того отвращенія, какое въ немъ возбуждають продълки его двойника, который «чуть успаеть, напримарь, полизаться съ однимъ, заслужить благорасположение его, -и глазкомъ не мигнешь, какъ ужь у другого». Между темъ. Голядкинъ такъ сострадателенъ, что, принимая у себя того-же, перебъгающаго ему дорогу, двойника, прикидывающагося туть такимъ жалкимъ, начинаетъ винить себя въ томъ, что сначала такъ не взлюбилъ его. Обращение Голядкина со своимъ слугою самое мягкое. Наконецъ, когда его воображаемая невъста обращается къ нему съ просьбою о защить, онъ сразу вырастаеть въ своихъ глазахъ отъ достающейся ему благородной роли.

Симпатическая струна звучить болье или менье у всъхъ «забитыхъ» героевъ Достоевскаго. Ею въ сильной степени обладаетъ Вася Шумковъ, у котораго, по замъчанію Добролюбова, уже слишкомъ «слабое сердце» (см.

повъсть подъ этимъ названіемъ). «Плакала, плакала она, бъдная, —говорить онъ про свою невъсту, —а я и влюбись въ нее... да я и давно, всегда былъ влюбленъ», — поясняетъ — извиняется онъ. — «Я — бъдная дъвушка, не насмъйтесь надо мной, —говорила ему она, —я и любить то никого не смъю...» — «Ну, братъ, понимаешь? понимаешь? — спрашиваетъ онъ своего друга Аркашу, —мы

туть съ ней на словѣ и помолвились».

Но и другъ его совершенно по немъ. «Въ Аркашъ извъстный тълесный недостатокъ Васи (кривобокость) вызываль всегда глубоко-любящее чувство состраданія...» Счастью Васи онъ радуется какъ своему собственному. Когда Вася вдругъ задумывается, другъ его объясняетъ это тёмъ, что ему «больно, тяжело одному быть счастливымъ...» И онъ, въ сущности, върно понимаетъ своего друга. «Никому-то я не дёлаль добра на свёте, - сознается ему Вася, --потому что сдёлать не могъ, даже п видомъ-то я непріятенъ... А всякій-то мнѣ дѣлалъ добро»,--воображаеть онь себъ въ силу своей особенной отъ себя требовательности. Когда онъ приходить въ такое отчаяніе отъ того, что, увлекшись своею невъстою, не успъль къ сроку окончить работу, порученную ему начальникомъ, то это вовсе не изъ болзни потерять его милость, какъ, повидимому, понялъ Добролюбовъ, а потому, что хотъль-бы «быть достойнымъ своего счастыя», какъ толкуетъ его настроение Аркаша. Не исполнивъ своей обязанности, онъ считаетъ себя не только неблагодарнымъ относительно начальника (человъка добраго), но и неспособнымъ къ дълу, виноватымъ передъ самимъ собой... Избытокъ нравственной мнительности, а вовсе не начальническій гнеть доводить его до помішательства.

Но нравственная мнительность Васи, конечно, явленіе бользненное. Когда онъ окончательно погибаетъ, стали разсказывать, какъ онъ старался учиться, быль любознателенъ... «Собственными силами вышелъ изъ низкаго состоянія»,—замѣтилъ кто-то, т.-е. съ дѣтскихъ лѣтъ пробивалъ себѣ дорогу при всевозможныхъ лишеніяхъ. Тутъ, какъ и вообще у Достоевскаго, выставляется вся эта

тяжелая обстановка, доводящая до нервнаго разстройства, тотъ рядъ самыхъ неблагопріятныхъ условій съ дітства, который мёшаеть здоровому развитию человёка. Во всемъ этомъ несомнѣнно есть протисть, но не противъ какихънибудь тамъ канцелярскихъ прижимокъ, а противъ всего того, съ чъмъ соединяется и что ведетъ за собой бъднота въ человъческомъ міръ. Достоевскій шире, гораздо шире, чёмъ критика его «забитыхъ людей», которая утверждала, будто-бы онъ, «оглядываясь вокругъ себя, видитъ, что исканія челов'єка сохранить свою личность никогда не удаются. Кто изъ ищущихъ, --продолжала критика, --не успъетъ умереть въ чахоткъ, тотъ въ результать доходить только или до ожесточенія, нелюдимства, сумасшествія, или до простого тихаго отупенія, заглушенія въ себѣ человѣческой природы, до искренняго привнанія себя чёмъ-то гораздо ниже человёка». Далее критика спрашивала: «что за причина такого перерожденія?» «Разрѣшенія у Достоевскаго нѣтъ», —отвѣчала она, объясняя это темь, что у него будто-бы «не достало на это силы дарованія».

Далеко расходясь въ этомъ отношении съ Бълинскимъ, Добролюбовъ старался вліяніемъ жизненныхъ идей знаменитаго критика и лучшихъ сторонъ Гоголя объяснить идеалъ Достоевскаго. Впрочемъ, онъ находилъ даже, «будто идеалъ этотъ проявляется уже въ нашей литературѣ конца прошлаго столѣтія—вслѣдствіе распространенія у насъ въ то время идей и сочиненій Руссо» 1).

Между тёмъ, передъ Добролюбовымъ были не только первыя произведения Достоевскаго, но и такія изъ дальнѣйшихъ, какъ, напримъръ: «Неточка Незванова» (оставшаяся неоконченною вслѣдствіе постигшей Достоевскаго катастрофы 1849 г.). Тутъ мы видимъ уже не чиновничій міръ, а міръ художниковъ, и типы Достоевскаго изъ этого послѣдняго совершенно уже независимы отъ соотвѣтственныхъ Гоголевскихъ типовъ. Тутъ-же встрѣчаемся мы и съ крестьянской средой — въ лицѣ вышед-

¹⁾ См. статью «Забитые люди» въ III-мъ т. сочиненій Добролюбова.

шаго изъ нея художника Ефимова. Какъ своихъ чиновниковъ Достоевскій большею частью надъляеть добрыми начальниками, такъ и своего крѣпостного художника надёлиль онъ помёщикомъ, любящимъ искусство и доставляющимъ Ефимову вполнъ благопріятную обстановку. Но Ефимовъ становится несчастнымъ потому, что его стремленія идуть гораздо далье его способностей. Онъ жаждетъ извъстности, и она-бы, пожалуй, досталась ему, если-бы онъ былъ способенъ къ упорному труду. По онъ добивается извъстности сразу и, не достигая ее, носится съ мыслыю, что его не хотятъ признать. Тутъ, конечно, сказалась въ болёзненномъ видё такъ называемая широкая натура русскаго человѣка. Достоевскій противопоставляеть ей скромнаго и усидчиваго художника, ивмца Б. «Ты нетеривливъ, — говоритъ онъ Ефимову, ты боленъ своимъ нетерпъніемъ, у тебя мало простоты... ты самолюбивъ и въ тебѣ мало смѣлости». Но Ефимовъ остается при своемъ самообманѣ, что не собственный нравъ, а другіе портять ему жизнь. Видя причину своихъ слабыхъ усивховъ также и въ своей недостаточности, онъ хватается за случай поправить свои обстоятельства при помощи женитьбы изъ-за 1000 р. приданаго. При широкой его натурѣ это, конечно, не поправляетъ его положенія. Тогда по старой привычкі винить лишь другихъ, онъ начинаетъ пить и обращается въ нравственнаго мучителя своей труженицы жены. Озлобляясь, она въ свою очередь начинаетъ его преследовать. У нея отъ нерваго брака есть дочь, и вотъ ею-то, какъ извъстно, и ведется разсказъ въ романъ. «Помню, —говоритъ она, что были сумерки; все было въ безпорядкъ и разбросано: щетки, какія-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и, не знаю, что такое еще. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и отчего-то плакала. Отчимъ сидълъ въ углу въ своемъ всегдашнемъ изодранномъ сюртукъ. Онъ отвъчалъ ей что-то съ усмъщкой, что разсердило ее еще болье, и тогда опять полетъли на полъ щетки и посуда. Я заплакала и бросилась къ нимъ обоимъ. Я была въ ужасномъ испугъ и крѣпко обняла батюшку, чтобы заслонить его собою. Богъ знаетъ, отчего показалось мнѣ, что матушка на него напрасно сердится, что онъ не виноватъ; мнѣ хотълось просить за него прощенія, вынесть за него какое угодно наказаніе. Я ужасно боялась матушки и пред-

полагала, что и вск также боятся ея».

Дѣвочка еще не въ состояніи понять, что если мать вообще такъ сурова, сурова даже въ обращении съ ней, своей родной дочерью, то это не потому, чтобы она не была добра, а потому, что она-то и есть настоящая страдалица въ домѣ. Издавній трагизмъ положеній разыгрывается катастрофой, которая тёмъ ужаснёе, что наступаетъ сразу. Возвратившись съ концерта знаменитагомузыканта, Ефимовъ, взявшій себѣ, такъ сказать, съ бою присутствіе на этомъ концертъ, совершенно подавленъ сознаніемъ того, что въ самомъ діль есть у этой знаменитости и чего, должно быть, такъ-таки и нътъ у него, Ефимова. Съ горя, какъ-бы въ видѣ какого-то нравственнаго запол, онъ хватается за свою заброшенную скрипку и начинаетъ играть и играть, самъ чувствуя, что никогда еще такъ не игралъ. Но жена тутъ-же спитъ на постели; что если она проснется отъ его игры? Онъ вовсене бережетъ ея сна, но онъ никогда не играетъ при ней, считая ее, свою «гонительницу», недостойною его слушать. Вотъ онъ и наваливаетъ на нее груду платья и всякаго трянья. Но она уже такъ и не подымается изъподъ этой груды. Онъ въ отчанни бъжить и погибаетъ, а осиротъвшая Неточка попадаетъ на руки къ чужимъ людямъ.

Еслибъ Достоевскій имѣлъ въ виду тотъ соціальный протестъ зауряднаго свойства, какого добивалась отънего критика, то онъ выставиль-бы тѣхъ благодѣтелейаристократовъ, къ которымъ попадаетъ дѣвочка, настоящими благодѣтелями-мучителями. Но какъ его «начальники» и его «помѣщикъ», такъ и пріютившій Неточку князь оказывается очень добрымъ человѣкомъ. А Неточкѣ тѣмъ не менѣе живется тяжело, по болѣе глубокимъ основаніямъ, чѣмъ тѣ, какія надобны были критикѣ. Самъ

киязь оказывается въ семейномъ своемъ положени далеко не благополучнымъ. Нервозность Неточки, причиненная тѣмъ, что испытала она съ ранняго дѣтства, вскорѣ вызываетъ со стороны княгини опасеніе, какъ-бы она не подѣйствовала болѣзненно на ея дочь. Неточка попадаетъ въ новую обстановку—столь-же благопріятную въ смыслѣ жизненныхъ удобствъ и хорошаго обращенія, но не менѣе тяжелую потому, что она становится опять, поневолѣ, участницею въ чужой семейной драмѣ. На этомъ и обрывается романъ, несомнѣнно заслуживавшій и въ своемъ неполномъ видѣ болѣе вдумчиваго отношенія

со стороны критики.

Но передъ Добролюбовымъ было и написанное уже въ Сибири «Село Степанчиково». Добролюбовъ упоминаеть только мимоходомь о той странной, душевно, конечно, далеко не здоровой личности, которая является тутъ подъ именемъ Оомы Оомича. Самъ Достоевскій въ одномъ изъ своихъ писемъ называетъ эту повъсть своимъ «лучшимъ произведеніемъ, а два главныхъ ея характера (Оомы Оомича и полковника Ростанева) — не бывалыми ни въ одной литературъ». Это, конечно, преувеличено, но повъсть дъйствительно была оцънена у насъ инже своего достоинства. Личность Оомы Оомича представляеть замічательный, психологически вполнів выясненный, переходъ изъ положения человъка оскорбленнаго, униженнаго — въ положение человъка оскорбляющаго, при представившейся возможности забрать власть въ свои руки.

Оома Оомичъ, долго бывшій приживальщикомъ въ домѣ стараго самодура генерала, вдругъ переходитъ къ человѣку, который отличается самымъ кроткимъ, гуманнымъ характеромъ. Пользуясь этимъ, приживальщикъ забираетъ въ руки не только хозяина, но и весь домъ Онъ съ какимъ-то наслажденіемъ продѣлываетъ надъ другими то, что самъ вынесъ: загнанность его прежняго положенія развила въ немъ эгоизмъ до послѣднихъ предѣловъ. Впрочемъ, въ концѣ повѣсти ему представляется возможность подняться нравственно: отъ него зависитъ

разстроить бракъ полковника съ нѣжно привязавшейся къ нему гувернанткой и такимъ образомъ отомстить полковнику за то, что онъ было попытался нѣсколько пообуздать самоуправство Өомы Өомича; но Өома Өомичъ вдругъ отказывается отъ мести, онъ великодушно содъйствуетъ этому браку и такимъ образомъ изъ маленькаго тирана подчинившагося ему дома неожиданно превра-

щается въ благодътеля.

Передъ Добролюбовымъ были, наконецъ, и «Униженные и оскорбленные» -- романъ, написанный уже по возвращении Достоевского изъ Сибири и, при всёх своихъ недостаткахъ, громко свидътельствовавшій о томъ, что ссылка не подорвала въ немъ творческой силы. Къ недостаткамъ романа принадлежитъ, кромъ однообразія въ языкъ дъйствующихъ лицъ, могущее представиться неестественнымъ постоянство любви Наташи къ отвратительному барченку-вертопраху-плаксѣ Алешѣ. Но Добролюбовъ считалъ недостаткомъ и то, что, ведущій въ романъ разсказъ, Иванъ Петровичъ такъ снисходительно переносить измёну Наташи, измёну ему — ради такой дрянной личности, какъ Алеша. Въ этомъ отношеніи, надо замътить, Иванъ Петровичъ напоминаетъ собою героя «Бѣлыхъ ночей», — романа, написаннаго Достоевскимъ еще до ссылки. Тотъ также точно уступаетъ другому, принятому сперва за обманщика самою его невъстой, съ горя готовой согласиться на предложение неожиданнаго утвшителя, героя романа, который, при возвращеніи прежняго жениха, готовъ удовольствоваться своимъ кратковременнымъ счастьемъ. Дело въ томъ, что въ «Бѣлыхъ ночахъ» Достоевскій, какъ глубокій уже съ начала своей дъятельности психологъ, предугадалъ возможность такихъ отношеній, которыя оказались потомъ въ его собственной жизни (стоитъ только перечитать тъ письма его изъ Сибири, которыя предшествовали его первой женитьбь). Въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» онъ воспроизвелъ эти самыя отношенія, наделивъ Ивана Петровича и вообще очень многимъ изъ своей собственной жизни. Добролюбову, между тёмъ, показалось, что

«Иванъ Петровичъ униженъ и оскорбленъ едва-ли не болье всехъ въ романе», что, снисходительно относясь къ своему положению и его виновницѣ, онъ вполнѣ неестественъ. Но въ чемъ-же виновата передъ нимъ Наташа? Въ томъ, что она ему предпочла другого, да еще недостойнаго. Но онъ съ своей стороны видить въ этомъ скоръе ея несчастье, ея биду, чёмъ ея вину. Непремённо требовать отъ нея любви можно только при совершенно ему недостающей деспотической стрункѣ въ характерѣ. Потому-то онъ и не чувствуеть себя, при всемъ своемъ горъ, «униженнымъ и оскорбленнымъ», а если-бы даже и чувствоваль, то все-же-бы понималь, что гораздо болье его «унижены и оскорблены»: старый отецъ Наташи, брошенный ею ради дрянного сына того ужаснаго человъка, который, разоривъ его, противъ него-же еще и ведетъ процессъ; маленькая Нелли, брошенная роднымъ отцомъ и нищенствующая; мать этой Пелли, увлеченная и брошенная человъкомъ, навлекшимъ на нее, въ довершение всего, проклятие ея отца, наконецъ этотъ старый ея отецъ, ею когда-то брошенный и теперь нищенствующій. Въ Иванъ Петровичь дъйствительно вовсе нътъ ревности потому, что онъ занятъ не собою, заботится не о своихъ невзгодахъ, а о чужихъ, отовсюду его окружившихъ, страданіяхъ.

О виновникъ столькихъ страданій, князъ Вальковскомъ, критика отозвалась, какъ о какомъ-то мелодраматическомъ влодѣѣ. Князь, дъйствительно, въ разговорѣ съ Иваномъ Петровичемъ, какъ-бы рисуется своею безнравственностью; но на это есть въ романѣ настоящая исихологическая подкладка. Когда нужно, князь умѣетъ самымъ благовоспитаннымъ образомъ скрывать свои мерзости подъ приличной личиной, но, обращаясь къ Ивану Петровичу, онъ прямо хочетъ озадачить бѣдняка своимъ аристократическимъ правомъ явиться передъ нимъ въ натурѣ. «Есть,—говоритъ онъ,—особое сладострастіе въ этомъ внезапномъ срывѣ маски, въ этомъ цинизмѣ, съ которымъ человѣкъ вдругъ высказывается передъ другимъ въ такомъ родѣ, что даже не удостанваетъ и постыдиться

передъ нимъ». «Правственность, — цинически утверждаетъ князь, -- въ сущности есть комфортъ и имфетъ значеніе только въ предохранительномъ смыслъ», — въ предохранительном для него, относительно-же другихъ онъ и ему подобные пользуются «разръшеніемъ на вся...» «Послушайте, мой другъ, -- продолжаетъ онъ цинически откровенничать, -я върую въ то, что на свътъ можно хорошо пожить, а это самая лучшая віра, потому что безъ нея даже и худо-то пожить нельзя: пришлось-бы отравиться... Я считаю себя обязаннымъ только тогда, когда это мит принесеть какую-нибудь пользу. Вы, разумжется, не можете такъ смотръть на вещи: у васъ ноги спутаны и вкусъ больной. Вы тоскуете по идеаламъ, по добродътелямъ». Это, какъ-бы хочетъ онъ сказать, ваше мъщанское дёло, одуряющій обмань всёхь маленькихь людей. «Я навърное знаю, — говорить онъ про себя и своихъ, — что въ основъ всъхъ человъческихъ добродътелей лежитъ эгонзмъ... Я на все согласенъ, было-бы мив хорошо, и насъ такихъ легіонъ, и намъ дъйствительно хорошо». Это со стороны князя — цёлое исповёдание вёры, то исповеданіе, которое впослёдствій пришлось подслушать Достоевскому у другихъ, у тѣхъ, которые захотѣли, такъ сказать, демократизировать это исповъдание, т.-е. распространить на всёхъ-это барское «разрёшеніе на BCH».

Самъ Достоевскій всегда держался другого совсімь исповіданія, того, которое у его простодушнаго Макара Алексівнича сказалось въ словахъ, что «совістно табакъ курить, когда другой и послідняго-то лишается».

Но въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» есть еще одно чисто эпизодическое лицо, которое со своимъ исповъданиемъ заслуживало-бы вниманія критики. Это — тотъ дипломатъ, который говоритъ тутъ, какъ «власть имѣющій». — «Онъ рисуетъ свою идею, —по словамъ Достоевскаго, —тонко и умно, только идея его — отвратительная». Онъ настаиваетъ на томъ, что весь этотъ духъ реформъ, имѣющихъ ограничить одностороннія привилегіи съ ихъ развращающими послъдствіями, что всѣ эти исправленія

вскорѣ станутъ приносить свои плоды, и тогда «съ удвоенной энергіей начнутъ поддерживать старое...» «Безъ насъ нельзя,—заключаеть онъ,—безъ насъ ни одно общество еще никогда не стояло... Мы всплывемъ, всплывемъ, и девизъ нашъ въ настоящую минуту долженъ быть: «Ріге ça va, mieux ça est». И вотъ опять Достоевскому впослѣдствіи приходилось подслушать и изъ другихъ совершенно устъ: «Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше», подслушать съ тѣмъ, чтобъ сказать, что какъ въ тѣхъ, такъ и въ

другихъ устахъ, — это одного поля ягода.

Дипломать, провозглашающій такую теорію, конечно, одинъ изъ баричей, недовольныхъ 19-мъ февраля. Другіе, видя, что дёлать нечего, находили болье целесообразнымъ faire bonne mine à mauvais jeu. Отсюда тѣ служилые представители реформъ, тѣ патентованные либералы, которые, par le temps qui court, разсчитывали тъмъ успъшнъе сдълать карьеру. Достоевский выставиль одного изъ нихъ-болье мелкой сошкой-выставиль въ своемъ «Скверномъ анекдотв», въ лицв действительнаго статскаго совътника Пралинскаго, которому «обновляющаяся Россія подала вдругъ большія надежды». На вечеръ у Степана Никифоровича, гораздо ранъе его понавшаго въ «штатские генералы», онъ громко проповъдуеть свои либеральныя идеи. Старшій «генераль» и другой, также съ ними объдающий-оба скорье «консерваторы» — подсминваются надъ Пралинскимъ, что онъ «не выдержить». Вотъ тутъ-то, послѣ ужина, онъ и попадаетъ совершенно случайно на свадебную пирушку къ тому самому маленькому своему чиновнику Пселдонимову, которому хотъль было дать 10 рублей награды къ празднику, но такъ и не далъ, ради «потнаго лица и крайне несимпатичнаго взгляда этого Иселдонимова». Очутившись въ средъ, для него слишкомъ низкой, и не зная какъ-бы такъ, спустившись до нея, не утратить своего достоинства, онъ избираетъ благую часть - продолжаетъ и тутъ угощаться, но, хвативъ, наконецъ, черезъ край, попадаетъ въ положение, вовсе невыгодное для его «достоинства» и еще менже выгодное для подчи-

неннаго, котораго вздумаль онъ «осчастливить». Свадебный пиръ кончается въ высшей степени неудобною бользнью его превосходительства и необходимостью тщательнаго ухода за его высокой персоной — туть-же, въ квартирѣ «осчастливленныхъ» молодыхъ. Но что составляеть уже ръшительно печальную сторону «сквернаго анекдота» — это дальнъйшія послёдствія конфуза его превосходительства для подчиненнаго, у котораго сей конфузь приключился. Печальна та логика, которая сейчасьже заставляеть подчиненнаго понять, что, сделавшись ближайшимъ свидетелемъ критическаго положения своего начальника, онъ уже не долженъ и думать показываться ему на глаза; и воть подъ вліяніемъ этой логики подчиненный спѣшитъ заглазно подать прошеніе о переводѣ въ другое мѣсто. Прошеніе принято, потому что генераль вы самомы дёлё «не выдержаль». Вы развязкв, такимъ образомъ, этотъ «анекдотъ»—по мижнію ижкоторыхъ, просто пустая, даже плоская, грязная шутка, -полонъ серьезнаго смысла и находится, по последствіямъ его для маленькаго человёка, въ самой близкой связи съ другими картинами галлерен настоящихъ «забитыхъ людей» Достоевскаго 1).

Къ этой галлерев отчасти должны быть отнесены и учительские типы въ «Дядюшкиномъ снв» и въ «Игрокв». Въ первомъ мы видимъ бъднаго учителя увзднаго училища, забракованнаго въ качествъ жениха именно изъ-за бъдности. Между тъмъ та, которую онъ любитъ и которая платитъ ему тъмъ-же въ душъ, сдается на постыдную торговую сдълку своей матери съ дряхлымъ сіятельнымъ богачомъ, успъвшимъ, отъ слишкомъ весело проведенной жизни, потерятъ сознаніе и память. И этотъто живой мертвецъ долженъ повести ее къ налою, между тъмъ какъ отвергнутый ею молодой, честный труженикъ съ горя чахнетъ и умираетъ отъ чахотки. Въ «Игрокв» обрисовано подначальное положеніе учителя

¹⁾ Мы видёли, ч о Добролюбову нёкоторые изъ пихъ только казались забитыми.

въ домѣ человѣка, который смотритъ на него, какъ на какую-то, почему-то необходимую, мебель. Не что иное, какъ желаніе выйти изъ этого подначальнаго положенія, заставляетъ его рискнуть попытать счастіе въ соблазняющей его игрѣ на рулеткѣ. И какую яркую противоположность представляетъ при этомъ азартная пра старухи тетки генерала съ игрою учителя. Старуха пускается на краю могилы въ игру-по барской прихоти и изъ желанія показать племяннику, разсчитывающему на ея наслъдство, что она не только еще въ живыхъ, но и полна жизни и страсти, а главное, что она полновластная владычица своего богатства: захочеть и спуститъ все въ одинъ день у него на глазахъ, не оставивъ ему ни копъйки. Это совсъмъ не то, что отчаянное «авось и я выйду въ люди» учителя, убъдившагося въ томъ, какъ тяжелъ трудовой хлібъ. Къ тому-же у него туть примъшивается и желаніе поправить своимъ выигрышемъ положение любимой имъ девушки, падчерицы генерала. Не отнесись она къ нему такъ гордо, не оттолкни она протянутую къ ней руку, и онъ сумълъ-бы остановиться во-время, не втянулся-бы окончательно въ грязный омуть игры. Униженіе, испытываемое имъ, бъднякомъ, отъ Полины, -- очень тяжелое унижение, потому что оно дается отъ существа любимаго-доводитъ его до потери въры въ себя и въ другихъ, до совершеннаго нравственнаго паденія. А если мы, наконецъ, вспомнимъ последнюю встречу его съ англичаниномъ, достающіеся отъ него упреки въ пустоть, въ отсутствіи характера, обобщеніе, ділаемое англичаниномъ-«что всіто вы, русскіе, пустые, безхарактерные люди», — то нетрудно будетъ понять, что, послѣ всего предшествующаго, такое окончательное унижение могло только нравственно доконать несчастнаго молодого челов ка. Повъсть остается какъ-бы оборванной, но можно предвидъть, что героя ея ожидаетъ впереди-едва-ли не самоубійство...

II

«Записки изъ мертваго дома». — «Записки изъ подполья». — «Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ».

Сама судьба, какъ извъстно, свела Достоевскаго, и надолго свела, съ людьми, являющимися окончательными жертвами общества, не только «униженными и оскорбленными,» обездоленными, доведенными до чахотки или забитыми, не только запивающими съ горя, сходящими съ ума или лишающими себя жизни, но и втягивающимися въ преступленія. Литературнымъ результатомъ непосредственнаго знакомства съ этими жертвами общества являются у Достоевскаго «Записки изъ мертваго дома»—произведеніе единственное въ своемъ родъ. Что подъ вымышленнымъ именемъ «уголовнаго преступника» Александра Петровича, ведущаго эти записки, скрывается самъ Достоевскій, не подлежитъ никакому сомивнію 1).

Первое внечативніе, испытанное составителемъ этихъ записокъ при поступленіи въ «мертвый домъ», было самое безотрадное. Это множество людей, собравшихся, не по доброй волѣ, съ разныхъ концовъ общирной земли русской въ одно разношерстное общество, трудящихся не по свободному выбору, не по собственному хотѣнію, — это общество и на читателя производитъ сначала такое мрачное впечатлѣніе, что онъ готовъ повторить стихи Пушкина:

«Опасность, кровь, разврать, обмань Суть узы страшнаго семейства;

¹⁾ Это стало окончательно ясно изъ письма Федора Михайловича къ брату своему Михаилу Михайловичу отъ 22-го февраля 1854, появившатося въ сентябръской книжкъ «Русской Старины» 1885 г. Если это драгоцънъйшее письмо не вошло въ полное собране сочиненій Достоевскаго, то виновна въ томъ не издательница, а то лицо или тъ лица, которыя не захотъли во-время сообщить ей эту, конечно, общественную, а не ихъ-же личную собственность.

Тоть ихь, кто съ каменной душой Прошель все степени злодъйства; Кто режеть хладною рукой Вдовицу съ бъдной сиротой, Кому смешно детей стенанье, Кто не прощаеть, не щадить, Кого убійство веселить Какъ юношу любви свиданье...»

Но, приглядываясь къ людямъ, которые его окружаютъ, составитель записокъ мало-по-малу различаетъ между ними натуры, мало испорченныя или даже исполненныя самыхъ мягкихъ, самыхъ симпатическихъ качествъ. Такими чертами отличается, напримъръ, Сушиловъ, когда-то дворовый человѣкъ, Богъ вѣсть за что попавшій въ ссылку въ безотчетно-безправныя времена крѣпостничества, а въ самомъ ужасномъ отдѣленіи «мертваго дома» очутившійся по простодушію, заставившему его «сміниться» съ другимъ арестантомъ. Не менте сочувственнаго представляеть и этотъ красивый мальчикъ Сироткинъ, любимецъ своей крестьянки-матери, прямо изъ-подъ ея, по крайней муру, теплаго крова попавшій въ рекруты, да еще-этого не надо забывать-въ рекруты той поры, когда никому и не снилось о преобразованіяхъ Александра II. Не помирившись съ своей новой долей, онъ попытался сперва застрёлиться, потомъ, съ отчаянія, что это не удалось, вдругь, въ порывѣ какого-то нравственнаго опьяненія, убиль своего командира н послѣ этого мгновеннаго взрыва снова обратился въ кроткаго, тихонькаго ребенка. Другого рода оттёнокъ представляетъ Акимъ Акимычъ, человъкъ, постоянно съ величайшимъ усердіемъ исполнявшій всѣ обязанности службы, но разъ, по глупости, хватившій въ своемъ усердін черезъ край. Разстрілявъ мирнаго кавказскаго князька, стрълявшаго по русскимъ кръпостямъ, онъ безсознательно дошель до жестокости, поставленной ему въ вину и самимъ начальствомъ, въ сущности-же остался предобродушнымъ малымъ. А кавказецъ Нурра, котораго вина заключалась въ томъ, что, принадлежа къ числу «мирныхъ», онъ переходилъ къ «немирнымъ» и дъйствоваль противъ русскихъ! Несмотря на этотъ горскій натріотизмъ, онъ въ острогъ предобродушно относился къ своимъ русскимъ товарищамъ, а автора записокъ привътствовалъ дружескимъ ударомъ по плечу, которымъ хотёль, очевидно, выказать свое сердечное участіе къ «новичку». Или этотъ милый, кроткій Алей, о которомъ говорить авторъ, что «никогда его не забудетъ», -этотъ младшій брать въ семьй горцевь, напавшій вмисти со старшими на караванъ съ цёлью грабежа, но даже не знавшій при этомъ, куда и зачёмь его ведуть, а слідовавшій за братьями потому, что младшему, по понятіямъ горцевъ, нельзя разсуждать, когда велять старшіе 1). Самъ по себѣ Алей—мягкій, добрый юноша. Онъ зачитывается въ острогъ евангеліемъ и съ особеннымъ наслаждениемъ думаетъ угодить христіанину тъмъ, что говоритъ ему: «Иса былъ великій пророкъ!» А величавая фигура старика раскольника, сосланнаго за то, что, съ его точки зрвнія, представляется религіознымъ подвигомъ, и свое пребывание въ одномъ мъстъ съ каторжниками считающаго за спасительное мученичество! Понятна послѣ этого сила его нравственнаго вліянія на остальныхъ каторжныхъ, которые такъ ему довъряютъ, что вск отдають ему на сохранение свои деньги.

Мало-по-малу вглядываясь и въ другія острожныя личности, авторъ и въ нихъ понемногу отыскиваетъ человъческія черты. Такъ онъ замъчаетъ въ нихъ жажду полезной работы, работы съ цълью, со смысломъ, и ту готовность, съ которой они принимаются за работу такого рода и стараются окончить ее непремънно къ сроку, потому что это даетъ имъ возможность выказать себя съ доброй стороны. А усердное справленіе ими праздниковъ, чъмъ арестанты какъ бы хотятъ сказать: «въдь и мы тоже люди, тоже христіане!» Или эта почти дътская радость, что имъ разръшили театръ, что даетъ

¹⁾ О немъ-то, должно быть, Достоевскій говорить въ своемь письмѣ: «Я училь одного молодого черкеса (присланнаго въ каторгу за разбои) русскому языку и грамотѣ. Какою же благодарностью окружилъ онь меня!»

имъ возможность обнаружить свои способности и внести хотя нѣкоторое разнообразіе въ ихъ однозвучную жизнь; или то, что пожертвованные калачи дѣлятся у нихъ постоянно поровну; или мягкія отношенія каторжниковъ къ ссыльнымъ изъ иноземцевъ, чуждыя всякой исключительности и нетерпимости.

Но вспомнимъ наконецъ и сцену выпуска на волю орла съ подстръленнымъ крыломъ, котораго никакъ не удалось жителямъ «мертваго дома» сдълать ручнымъ и который, быть можетъ, именно этимъ и вызываетъ ихъ особенное сочувствие.

— Пусть хоть окольеть, да не въ острогь, — го-

ворили одни.

— Въстимо, птица вольная, суровая, не пріучишь къ острогу-то, — поддакивали другіе.

— Знать онъ не такъ, какъ мы, —прибавилъ кто-то.
— Вишь сморозилъ: то птица, а мы, значитъ, чело-

вѣки.

— Орелъ, братцы, есть царь лѣсовъ, и т. д.

И вотъ, несвободные сами, они, по крайней мъръ, отпускаютъ на волю этого неподдавшагося острогу царя лъсовъ и любуются, какъ онъ улетаетъ, несмотря на свое больное крыло.

— Вишь его! — задумчиво проговорилъ одинъ:

— И не оглянется!-прибавиль другой.

— A ты думалъ, благодарить воротится?—замѣтилъ третій:

— Знамо дёло, воля. Волю почуяль.

— Слобода, значитъ:

— И не видать уже, братцы...

Нельзя наконецъ не привести и слъдующаго общаго замъчанія составителя саписокъ: «Въ острогъ было иногда такъ, что знаешь человъка нъсколько лътъ и думаешь про него, что это звърь, а не человъкъ, презира́ешь его. И вдругъ приходитъ случайно минута, въ которую душа его невольнымъ порывомъ открывается наружу, и вы видите въ немъ такое богатство чувства, сердца, такое яркое пониманіе и собственнаго и чужого страданія, что у

васъ какъ бы глаза открываются и въ первую минуту даже не върится тому, что вы сами увидъли и услы-

шали...» 1)

Лостоевскій вийсти съ тимь показываеть, до какой степени сколько-нибудь мягкое отношение начальства къ этимъ людямъ, малъйшее выражение съ его стороны довърія къ нимъ способно укрыплять въ нихъ человъческія чувства. «Съ этими несчастными, — утверждаетъ онъ, и надобно обращаться наиболье по-человьчески». Говоря объ одномъ изъ острожныхъ добрыхъ начальниковъ, онъ утверждаеть: «потеряй онь тысячу рублей, я думаю, первый воръ изъ нашихъ, если-бы нашелъ ихъ, отнесъ-бы къ нему». За то всякое выражение въ родъ: «ты знаешь, я могу съ тобой все сдёлать», «я тебя въ бараній рогь согну», а тымь болье: «я твой Богь, я твой царь» доводить этихъ людей до совершеннаго ожесточенія. Въ отпоръ тъмъ, кто способенъ такъ выражаться, а равно и дъйствовать въ соотвътственномъ духъ, острожники противопоставляють гордую терийливость при самыхъ даже ужасныхъ наказаніяхъ. Но та-же особаго рода гордость не позволяеть имъ и сознаваться въ своей преступности. Такая гордость является со стороны арестантовъ мстительнымъ отпоромъ всему обществу, изъза котораго ихъ, какъ грозящихъ его безопасности, засадили въ острогъ. «Большинство совсемъ не винило себя; врядъ-ли кто изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности». Между тъмъ, авторъ представляеть намъ и говъне арестантовъ, показываетъ, какъ они, при выходъ священника съ чашей и произнесении имъ словъ: «помяни мя, яко разбойника», всѣ вдругъ, гремя цёнями, надають на землю, съ чувствомъ несомнённаго, искренияго раскаянія. Откуда же вдругъ такое

¹⁾ А въ письмѣ своемъ Достоевскій говорить: «Люди вездѣ люди. И въ каторгѣ между разбойниками и отличилъ наконецъ людей. Повѣришь-ли, єсть характеры глубокіе, сильные, прекрасные, и какъ весело было подъ грубой корой отыскать золото. И не одинъ, не два, а пѣсколько. Ичыхъ пельзя не уважать, другіе рѣшительно прекрасны».

пробужденіе чувства виновности? Но вѣдь тутъ ихъ зовутъ словами, одинаковыми для вспхъ (съ разбойникомъ сравниваются тутъ всть люди), ихъ зовутъ къ пролившему свою кровь за встхъ безъ изъятія; тутъ, передъ этой единой чашей, они чувствуютъ себя дѣйствительно равными со вспли людьми, тутъ и они — не отверженники родной семьи, и вотъ это-то сознаніе размягчаетъ ихъ ожесточившіяся сердца, и они готовы признать себя виноватыми, потому что тутъ оказываются, въ той или другой мѣрѣ, виноватыми всть вообще.

Въ самомъ концѣ «Записокъ изъ мертваго дома» Достоевскій спрашиваетъ: «...И сколько въ этихъ стѣнахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ! Вѣдь надо ужь все сказать, вѣдь этотъ народъ — необыкновенный былъ народъ, вѣдь это, можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего ¹). Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвоз-

вратно. А кто виноватъ? То-то, кто виноватъ?»

И съ этимъ вопросомъ мы должны, къ сожалѣнію, обратиться ко всёмъ странамъ и ко всёмъ народамъ, такъ какъ вёдь вездё преступленія являются, въ большей или меньшей степени, слёдствіемъ несовершенства порядковъ общественныхъ. Многое въ «Запискахъ изъ мертваго дома» отзывается собственно нашей жизнью, связано съ нашими порядками, отчасти теперь уже упраздненными человёколюбивою волею государя Александра II ²). Отжило крѣпостное право — и цѣлый многочисленный разрядъ ссыльныхъ сдѣлался послѣ того невозможнымъ ³). Смягчилась военная дисциплина, и все

¹⁾ Въ своемъ письмѣ онъ говоритъ: «Что за чудный народъ!... Если я узналъ не Россію, такъ пародъ русскій хорошо, и такъ хорошо, какъ, можетъ быть, не многіе знаютъ его».

²⁾ Надо однако же замѣтить, что и при прежнихъ порядкахъ въ нашемъ острогѣ жилось въ извѣстномъ смыслѣ вольготнѣе, чѣмъ гдѣ-либо за моремъ, потому что и туть, какъ вездѣ, мы, по натурѣ своей, менѣе педанты и формълисты (это замѣтили иностранцы).

³⁾ Къ числу ихъ относится крепостной, убившій своего барина за то, что онъ обощелся съ его новобрачною женою на основаніи juris primae noctis и бывшій,

раже и раже должны становиться преступленія, связывавшіяся съ прежнею крайнею строгостью. Ніть уже болье тыхь шпицрутеновь, кровавые слыды которыхь на спинахъ у каторжниковъ наводили такой ужасъ на Достоевского. Новый судь положиль конець тому, что такъ глубоко возмущало составителя «Записокъ изъ мертваго дома», — необращению внимания на побудительныя причины, исключительному приниманію въ расчетъ только самаго факта преступленія. Право присяжныхъдаже и признавая фактъ — оправдывать въ извъстныхъ случаяхъ подсудимаго (право священное, безъ всякаго спора, хотя-бы и случались влоупотребленія), въ свою очередь положило конецъ цёлому разряду прежнихъ каторжниковъ. Подъ вліяніемъ дальнѣйшихъ преобразованій, много должно явиться и другихъ подобнаго рода изъятий и сокращений въ числё преступниковъ. Въ самомъ быту арестантовъ многое можеть улучшиться, при введеніи той или другой нов'єйшей, усовершенствованной пенитенціарной системы. Но впечатлівніе, производимое книгой Достоевскаго, не потеряеть основной своей силы и послѣ самыхъ рѣшительно-гуманныхъ преобразованій по тюремной части.

«Преступникъ,—говоритъ Достоевскій,—кажется, не можетъ быть осмысленъ съ данныхъ, готовыхъ точекъ зрѣнія, и философія его нѣсколько потруднѣе, чѣмъ полагаютъ... Остроги и система насильныхъ работъ не исправляютъ преступника... Я твердо увѣренъ, что знаменитая келейная система достигаетъ только ложно обманчивой, наружной цѣли. Она высасываетъ жизненный сокъ изъ человѣка, и нравственно изсохшую мумію представляетъ какъ образецъ исправленія... Конечно, преступникъ, возставшій на общество, ненавидитъ его,

по замічанію Федора Михайловича, «однимь изъ самыхь смирныхь арестантовь во всемь острогь». Его исторія не вошла вь «Ваписки изъ мертваго дома», по тогдашнимь цензурнымь соображеніямь, но передана была Достоевскимь А. ІІ. Милюкову, который сообщиль ее публикт вь своихь воспоминаніяхь о Ф. М. Достоевскомь въ майской книжкт «Русской Старины» 1881 г. (стр. 36—39).

и почти всегда считаетъ себя правымъ, а не виноватымъ» 1).

Все это придаетъ книгъ Достоевскаго вначение общечеловическое, и оно тимъ болие неотразимо, что авторъ не позволяеть себѣ ни малѣйшей натяжки, ни малѣйшаго преувеличенія, нигд'є не впадаеть въ мелодраматизмъ или фальшивую идеализацію преступленія, а стремится только къ глубинъ психическаго анализа, имъ вполнъ и достигнутой. Это совсемъ не то, что мы видимъ у некоторыхъ французскихъ писателей на ту-же тему, у которыхъ преступники являются неръдко героями, а представители правосудія — какими-то мелодраматическими злодвями. Дило вовсе не въ злодиях, а ег иплом и повсемистном порядки вещей, жертвою котораго оказываются цилые разряды «преступников». О томъ, какъ подчасъ внезапно они являются, Достоевскій говорить, между прочимь, слѣдующее: «У насъ въ простонародьи иныя убійства происходять отъ удивительныхъ причинъ... Живетъ человъкъ тихо и смирно. Доля горькая-терпитъ. Вдругъ что-нибудь у него сорвалось; онъ не выдержалъ и пырнуль ножомь своего врага-притеснителя. Туть-то и начинается странность: на время человька вдруга выскакивает изг мпрки. Перваго онъ заръзалъ притъснителя, врага... Но потомъ онъ рѣжетъ и не враговъ, рѣжетъ... за грубое слово, за взглядъ... или просто: «прочь съ дороги, не попадайся — я иду!» «... Точно, перескочнвъ разъ чрезъ завътную для него черту, онъ уже начинаеть любоваться на то, что нъть для него больше ничего святого... Чёмъ забитёс быль онъ прежде, тёмъ сильнее подмываеть его теперь пощеголять, задать страху»... У Достоевскаго преступники, темъ не мене, вовсе не являются образцами героизма; они у него только остаются людьми, они у него-несчастные. Взглядъ До-

¹⁾ И впоследстви, въ «Дневнике писателя», онъ говорилъ: «никогда никого не исправила каторга». Между темъ Достоевскому нередко припнеывали другой взглядъ, изъ того, что говорилъ онъ объ образовательномъ действи на человека страданія вообще, выводя мнимую апологію острога и острожной системы

стоевскаго на преступника-это нашъ русскій народный взглядь, взглядь той простой дівочки, про которую туть же разсказываеть Достоевскій, какъ она побъжала за нимъ, когда онъ шелъ съ работы, и, суя ему въруку копъечку, закричала: «на, несчастный»! (Эту копъечку онъ долго берегъ). Но взглядъ этотъ, конечно, вынесенъ изъ ученія, столь же хорошо изв'єстнаго и всему христіанскому міру; взглядъ этотъ непосредственно основывается на словахъ: «не судите, да не судимы будете» — или: «кто изъ васъ безъ гръха, тотъ первый подними камень и брось въ нее». Не даромъ Л. Н. Толстой въ своемъ письмъ къ Н. Н. Страхову послъ смерти Достоевскаго говорить о «Мертвомъ домѣ»: «Я не знаю лучше книги изъ всей новой литературы... не тонъ, а точка зрѣнія удивительная — искренняя, естественная и христіанская». Да, но она же и народная, надо прибавить. Немало было говорено о томъ, какъ слабо народъ нашъ усвоилъ себъ столько уже въковъ тому назадъ доставшееся ему просвещение христіанское. И действительно, мы замъчаемъ за нимъ преимущественную наклонность къ обрядности, при несомненныхъ остаткахъ привычекъ и суевърныхъ понятій чисто языческихъ; дъйствительно, ненарушение поста неръдко соединяется у него съ самымъ вопіющимъ нарушеніемъ первыхъ основъ христіанской или даже и всякой нравственности, и вовсе, къ несчастью, невыдуманными оказываются такіе случан, что освняли себя крестомъ, приступая къ совершению преступления 1). Все это такъ, и никакая ложная сентиментальность въ отношеніяхъ нашихъ къ народу не должна намъ мѣшать признаться въ этомъ. Но, съ другой стороны, нельзя не признать, что ивкоторыя стороны христіанскаго нравственнаго учепія запали, должно быть уже очень давно въ глубину души нашего народа и, однажды запавъ, прочно пустили тамъ корни. Вотъ этимъ-то объясняется и тотъ мягкій,

¹⁾ Подобный случай приводится у Ө. М. Достоевскаго въ «Идіоть». (См. Полное собраще сочиненій, т. VII, стр. 219).

сострадательный взглядъ на преступника, который доставилъ ему у насъ, разумѣется, при вліяніи множества даже и очень позднихъ историческихъ обстоятельствъ, нисколько не оскорбительное названіе «несчастнаго».

Извѣстно, что Некрасовъ въ своей поэмѣ «Несчастные» въ лицѣ такъ-называемаго «Крота» думалъ выставить Достоевскаго въ «мертвомъ домѣ» (Онъ самъ въ этомъ сознавался Өедору Михайловичу). Между тѣмъ то очеловѣчивающее вліяніе (въ смыслѣ оцивилизовывающаго) на каторжниковъ, которое приписывается тутъ «Кроту», совершенно не соотвѣтствуетъ тому, что разсказываетъ въ «Запискахъ изъ м. д.» самъ Достоевскій. Такое вліяніе было невозможно уже потому, что Достоевскій, какъ дворянинъ, долго не могъ пріобрѣсти и малѣйшаго даже довѣрія каторжниковъ. Дворянъ величали они «желѣзными носами, которые ихъ заклевали» 1).

Съ другой стороны, Некрасовъ въ своей поэмѣ совершенно вѣрно угадалъ то настроеніе, которое окрѣпло у Достоевскаго именно въ Сибири, настроеніе человѣка, крѣпко вѣрующаго въ свой народъ. Поэтъ говоритъ про

того-же «Крота»:

Опъ не жальль, что мы не ньмцы, Онъ говорилъ: во многомъ насъ Опередили ипоземцы; Но мы догонимь въ добрый часъ! Лишь Богъ помогъ бы русской груди Вздохнуть пошире, повольней,-Покажеть Русь, что есть въ ней люди, Что есть грядущее у ней. Она не знаетъ середины-Черна-куда пи погляди! Но не провлъ до сердцевины Ее порокъ, Въ ея груди Бъжить потокъ живой и чистый Еще ивмыхъ народныхъ силъ: Такъ подъ корой Сибири льдистой Золотоносныхъ много жилъ».

¹⁾ Еъ письмѣ своемь онъ говорить про каторжниковъ: «непависть къ дворянамъ превосходить у пихъ всѣ предѣлы, и потому насъ, дворянъ, встрѣтили они враждебно и съ злобною радостью о нашемъ горѣ. Они-бы насъ съѣли, еслибы имъ дали».

Въ пониманіи этой стороны Достоевскаго Пекрасовъ далеко опередилъ современную критику, которая, благосклонно относясь, разумѣется, къ «Запискамъ изъ мертваго дома», не остановилась, однако, съ должнымъ вниманіемъ на такихъ тутъ мѣстахъ: «стоитъ только снять наружную, наносную кору и посмотрѣть на самое зерно повнимательнѣе, поближе, безъ предразсудковъ,—и иной увидитъ въ народѣ такія вещи, о которыхъ и не предугадывалъ. Немногому могутъ научить народъ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу—напротивъ: сами они

еще должны у него поучиться».

Съ негодованіемъ вспоминалъ Достоевскій (уже въ «Дневникъ писателя» 1876 г.) о тъхъ каторжникахъдворянахъ изъ поляковъ, которые съ такимъ высокомъріемъ относились къ простымъ русскимъ людямъ по случаю пьянства каторжниковъ на святой недёль. «Je hais ces brigands», сказаль одинь изъ этихъ интеллигентовъполяковъ. Тутъ-то и пришла Оедору Михайловичу на память та встреча еще въ детстве съ «мужикомъ Мареемъ», которую онъ и разсказалъ въ «Дневникъ писателя». Съ умиленіемъ вспоминаль онъ про этого мужика, такъ нѣжно старавшагося успокоить ребенка, которому вдругъ почудился въ полѣ волкъ. «Испугался малецъ», говорилъ онъ, - проводя по дрожавшимъ губамъ мальчика своимъ запачканнымъ землею пальцемъ и выказывая при этомъ какую-то даже женскую мягкость и доброту». И воть, Достоевскому пришло въ голову, что, можеть быть, и среди этихъ, въ самомъ деле такъ безобразно разгулявшихся каторжниковъ, находятся люди, по основнымъ задаткамъ своей природы похожіе на «мужика Марея».

Еще прежде своей ссылки, въ «Честномъ воръ», Достоевскій уже предугадаль тѣ черты народнаго «золота» подъ самою густою грязью, которыя онъ окончательно

разглядёль въ «мертвомъ домё».

Но современная критика въ «Запискахъ» о немъ не обратила должнаго вниманія и на кое-что иное, совершенно расходившееся съ господствующими въ ней поня-

тіями. Хотя переходъ «мужиковъ Мареевъ» въ «каторжниковъ» и долженъ, повидимому, объясняться модною въ то время ссылкою на такъ-называемую «заъдающую среду», Достоевскій тутъ-же, по поводу сибирскихъ докторовъ, т.-е. нашей братіи — интеллигентовъ, прямо замъчаетъ: — «пора-бы намъ перестать апатически жало-

ваться на среду, что она насъ завла».

Еще болье загадочнымъ могло-бы представиться тогдашней критикъ то, что сказано у него тутъ-же, нысколько далье: «свойства палача въ зародышъ находятся почти въ каждомъ современномъ человъкъ...» А «добровольный палачъ (прибавляетъ къ этому Достоевскій), во всъхъ отношеніяхъ, ниже подневольнаго». Свойства палача находятся въ несомнънной связи съ исповъданіемъ въры кн. Вальковскаго. Демократизація этого исповъданія, усвоеніе себъ всъми ученія: «я хочу—я могу», должно приводить и къ усвоенію себъ каждымъ способностей «палача». Впослъдствіи Достоевскому пришлось усмотръть уже непосредственно въ дальнъйшемъ ходъ нашей жизни и воплотить передъ нами типъ «добровольнаго палача».

Вскорт послт «Записокт изт мертваго дома» намекомъ на этотъ типъ явился у Достоевскаго герой «Записокъ изъ подполья» — въ тт минуты, когда онъ вымещаетъ свое озлобление на первомъ попавшемся ему существт — на несчастной Лизт: — «Меня унизили, и я, — говорить онъ, — хоттл себя показать, унижая другого». Дъло тутъ еще только въ первой стадии: «отвт наконець, до разбора, кто тутъ дъйствительно виноватъ, тогда въ расправт надъ нимъ, дъйствительно виноватъ, тогда въ расправт надъ нимъ, дъйствительно виноватымъ, уже не будетъ, конечно, несправедливаго произвола, а будетъ только старый законъ: «око за око, зубъ за зубъ»; но, въ примънения этого закона, — тоже страстное упоение: — «ты меня въ бараний рогъ гнулъ, теперь я тебя гну въ тотъ-же бараний рогъ».

Но герой «подполья», въ пылу озлобленія готовый себъ усвоить такую теорію, однако, спасенъ отъ безо-

глядныхъ изъ нея выводовъ несомитно въ немъ существующими симпатическими сторонами природы. «Свое собственное вольное и свободное хоттніе, — говорить онъ, — свой собственный, хотя-бы самый дикій, капризъ, своя фантазія, раздраженнай иногда хоть-бы даже до сумасшествія, -- воть это-то и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни подъ какую классификацію не подходить». Но не надо пугаться этихъ словъ, этого хотпина ради хотпина. Онъ сейчасъ-же оговаривается: «хотьть можно и противъ своей собственной выгоды, а иногда и положительно должно». Только способность и на такое хотёнье доказываеть, что человёкь владъетъ своею личностью, какъ полнымъ своимъ имуществомъ, -- захочетъ, и пожертвуетъ собою для другихъ. Въ сущности герой «подполья» возстаетъ противъ подведенія всего подъ одну такъ-называемую выгоду, которая осёдлываетъ человёка, внушая ему, будто подниматься выше ея—не его ума, т.-е. не его природы дѣло. «Ужь какъ докажутъ тебъ, напримъръ, -- говоритъ онъ, -что отъ обезьяны произошель, такъ ужь и нечего морщиться, принимай какъ есть. Ужь какъ докажутъ тебъ. что въ сущности одна капелька твоего собственнаго жиру тебѣ должна быть дороже ста тысячъ тебѣ подобныхъ и что въ этомъ результатѣ разрѣшаются подъ-конецъ вст такъ-называемыя добродтели и обязанности и прочіе бредни и предразсудки, такъ ужь такъ и принимай, нечего дёлать — потому: -дважды два, математика. Попробуйте возразить!» Но неподавимое въ немъ и рвущееся на свободу начало все-таки возражаетъ:-«да какое мнъ дъло до законовъ природы и ариеметики, когда мнъ почему-нибудь эти законы и дважды два — четыре не нравятся!..» «Да когда-же бывало во всё эти тысячельтія, -- продолжаетъ въ немъ бунтовать душа, -- чтобы человекь действоваль только изъ одной своей собственной выгоды?» 1).

Это напоминаетъ замъчанье Достоевскаго въ «Запискахъ изъ мертваго дома»: «естъ въ Сибири нъсколько лицъ, которыя назначеньемъ жизни своей по-

Вотъ этотъ-то протестъ души съ ея прирожденнымъ идеализмомъ не даетъ ему успоконться на «борьбѣ за существованіе» съ кроющимися въ ея безоглядномъ примѣненіи къ дѣлу всеобщими инстинктами «палача». Доставьте только окончательную побѣду матеріализму, т.-е. всему, что изъ него слѣдуетъ, безъ поправокъ или провѣрокъ со стороны, —и идеалъ «палача» готовъ, какъ, съ другой стороны, готовъ и идеалъ мечтателя о ком-

форту.

Достоевскій, уже по возвращеніи своемъ изъ-за границы, пишетъ свои «Зимнія замътки о лътнихъ впечатльніяхъ». Въ нихъ онъ уже окончательно развиваетъ въ теорін тотъ высокій идеализмъ, то ученіе о любви, какъ единственномъ врачевствѣ, которое съ самаго начала своего литературнаго поприща развиваль онь въ лицахъ. Это должно было окончательно его развести съ господствующей тогда критикой, на языкѣ которой самоотверженіе оказывалось не чёмъ инымъ, какъ «приниженіемъ личности». Достоевскій же говориль: «поймите менясамовольное, совершенно сознательное и никъмъ не принужденное самопожертвование всего себя въ пользу встых есть, по моему, признакт высочайшаго развитія личности, высочайшаго ея могущества, высочайшаго самообладанія, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно пойти за встхъ на крестъ, на костеръ можно только при самомъ сильномъ развитіи личности».

Съ высоты такой, уже чисто христіанской, точки зрѣнія, Достоевскій и разсматриваетъ въ своихъ «Замѣткахъ», представившуюся ему, по его выраженію, съ птичьяго полета, «святую страну чудесъ», какъ называль даже Хомяковъ эту «обѣтованную землю»—Западную Европу. Особенно замѣчательна тутъ глава: «Ваалъ». «Да, Парижъ удивительный городъ,—пишетъ тутъ Өедоръ Михайловичъ,—и что за комфортъ, что за всевозможе.

ставляють себь братскій уходь за «несчастными»... Говорять иные (я слышаль и четаль это), что высочайшая дюбовь къ ближнему есть въ то же время и высочайшій эгонзмь. Ужь вь чемь туть-то быль эгонзмь, — никакь не цойму».

ныя удобства для тьхг, которые импютг право на удобства, и опять-таки-какой порядокъ, какое, такъ сказать, затишье порядка. Я быль въ Лондонъ всего восемь дней и, по крайней мёрё наружно, какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными, нерегулированными подъ одну мёрку планами оттушевался онъ въ моихъ воспоминаніяхъ... А между темъ, и тутъ та же упорная, глухая и уже застарёлая борьба, борьба на смерть вообще западнаго личнаго начала съ необходимостью хоть какъ-нибудь ужиться, хоть какъ-нибудь составить общину и устроиться въ одномъ муравейникѣ; хоть въ муравейникъ обратиться, да только устроиться, не поъдая другъ друга, -- не то грозитъ обращение въ антропофаги». Но въдь, казалось-бы, оберегъ отъ подобнаго обращения данъ давно. Недаромъ-же дама на одной изъ Лондонскихъ улицъ сунула нашему автору въ руку листокъ съ подписью: «crois-tu-cela?», листокъ, на другой сторонъ котораго значилось по-французски-же: «Азъ есмь воскресеніе и животъ, и т. д.». Но дама эта, по его мнѣнію, лучше бы сдѣлала, если-бы во имя Христа входила въ углы, занимаемые Лондонскими «бёлыми неграми». При этомъ онъ замъчаетъ, какъ бы мимоходомъ, что «англиканскій священникъ не пойдетъ къ бѣдному (онъ въ этомъ отношении отдаетъ преимущество католическому); бёдныхъ и въ церковь не пускають, потому что имъ нечёмъ заплатить за мёсто на скамьё... Это религія богатыхъ и уже безъ маски. По крайней мірі, раціонально и безъ обмана. У этихъ, убъжденныхъ до отупѣнія, профессоровъ религіи есть одна своего рода забава: миссіонерство. Исходять всю землю, зайдуть въ глубь Африки, чтобы обратить одного дикаго, и забывають миліоны дикихъ въ Лондонь». Возвратясь къ тому божеству, которое, на самомъ дѣлѣ, одно и польвуется туть культомь, Достоевскій замічаеть: «Вааль царить и даже не требуеть покорности, потому что въ ней убъжденъ... Онъ презрительно и спокойно, чтобы только отвязаться, подаеть организованную милостыню и затемъ поколебать его самоуверенность невозможно.

Ваалъ не прячеть отъ себя, какъ дѣлаютъ, напримѣръ, въ Парижѣ, иныхъ дикихъ, подозрительныхъ и тревожныхъ явленій жизни. Бѣдность, страданіе, ропотъ и отупѣніе массы его не тревожатъ нисколько. Онъ презрительно позволяетъ всѣмъ этимъ подозрительнымъ и зловѣщимъ явленіямъ жить рядомъ съ его жизнію, подлѣ, на яву».

Конечно, Достоевскій не могъ не остановиться тутъ и на томъ, какимъ образомъ дъйствовала Европа на насъ? Она, по словамъ его, «ломилась къ намъ со своею цивилизаціей въ гости»; но важно ръшить; «насколько мы цивилизовались и сколько именно насъ счетомъ до сихъ

поръ отцивилизовалось?».

Лучшимъ отвътомъ служить у него вопросъ о Фонвизинской комедіи: «почему именно не Софьв, представительницѣ благороднаго и гуманнаго Европейскаго развитія, вложиль комикь одну изъ замітательнійшихъ фразъ въ своемъ «Бригадирѣ», а дурѣ бригадиршѣ, которую ужь до того подделаль дурой, что всё нитки наружу вышли». Дело въ томъ, что бригадирша говоритъ Софьъ: «у насъ былъ нашего полку первой роты капитанъ, по прозванью Гвоздиловъ; жена у него была такая изрядная». И вотъ, этотъ капитанъ страшно билъ и бранилъ ее, такъ что «ино наплачешься, на нее глядя».--«Пожалуйста, сударыня, — возражаеть Софья, — перестаньте разсказывать о томъ, что возмущаетъ человъчество» — «Вотъ, матушка, — обижается, съ своей стороны, бригадирша,---ты и слушать объ этомъ не хочешь; каково же было терпъть капитаншъ?». А Достоевскій тутъ замъчаетъ: «такимъ-то образомъ и сбрендила благовоспитанная Софья со своей оранжерейной чувствительностью передъ простой бабой... И сколько у насъ до сихъ поръ такихъ оранжерейныхъ прогрессистовъ, изъ самыхъ передовыхъ нашихъ дъятелей, которые чрезвычайно довольны своей оранжерейностью и ничего не требують большаго. Но замвчательные всего, что Гвоздиловъ до сихъ поръ еще гвоздитъ свою капитаншу и чуть ли еще не съ большимъ комфортомъ, чёмъ прежде».

Наконецъ, Достоевскій не даромъ спрашиваетъ въ этихъ «Замѣткахъ»: «вѣдь не съ неба-же, въ самомъ дѣлѣ, свалилось къ намъ славянофильство... Вѣдь основаніе этой затѣи пошире московской формулы и, можетъ быть, гораздо глубже залегаетъ въ иныхъ серд-

цахъ, чёмъ оно кажется съ перваго взгляда».

«Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ» должны бы были послужить для тогдашней критики объясненіемъ также и прежнихъ произведеній Достоевскаго, понятныхъ, въ большинств случаевъ, только въ заурядномъ обличительномъ смыслѣ. Если бы все дѣло было только въ дурныхъ начальникахъ или вообще въ дурныхъ порядкахъ у насъ, въ нашей общественной и государственной жизни, —то стоить только замёнить ихъ порядками усовершенствованными, въ самомъ дёлё европейскими,и дёло въ шлянё. Но Достоевскому задача представлялась гораздо болье мудреною. Вопросъ о «забитыхъ людяхъ», какъ выражалась критика, объ «униженныхъ и оскорбленныхъ», какъ выражался опъ самъ; вопросъ о преступниках, какъ говорять въ Европъ, о несчастных. какъ говоритъ русскій народъ, ставился у Достоевскаго несравненно шире и глубже. Глупо и безнравственно, разумвется, утвинать себя тымь, что вопрось этоть существуетъ и въ Лондонъ и что это ни мало не мъщаетъ ни политическому величію Англін, ни ся либеральной славѣ. Но вѣдь дѣло въ томъ, что повсемѣстность явленія во всемъ образованномъ мірѣ и не можетъ никого утешать, потому что свидетельствуеть о такой трудности искорененія зла, которая способна довести до отчаянія...

Критика, впрочемъ, готова бы была сойти на подобную точку зрѣнія, но только замѣчая съ своей стороны, что Достоевскій, однако же, предлагалъ свое средство искорененія—практическую философію Макара Алексѣевича Дѣвушкина: «совѣстно табакъ курить, когда у другого недостаетъ и насущнаго хлѣба». Но что же это за средство?!

Да, онъ предлагаль его, истолковывая во всёхъ сво-

ихъ сочиненіяхъ, пожалуй, именно это и одно это средство, какъ основное.

Удивительный, въ самомъ дёлё, чудакъ быль этотъ Достоевскій!

III.

«Преступленіе и наназаніе».

Въ «Запискахъ изъ мертваго дома» Достоевскій показаль намъ немало озлобленныхъ, доведенныхъ тѣмъ самымъ до преступленія и отъ послѣдствій его тѣмъ болѣе озлобившихся. Мы видимъ тутъ рядъ глубокихъ психологическихъ этюдовъ, за которыми поэже послѣдовала большая картина: «Преступленіе и наказаніе». Но предварительнымъ этюдомъ служили и «Записки изъ подполья» со своимъ героемъ, забившимся въ уголъ и выносящимъ въ немъ атаку книжныхъ теорій, обороною отъ которыхъ служатъ ему, однако, живыя струны его

Задача большой картины была чрезвычайно трудна; она могла оказаться по силамъ только такому геніальному писателю, какъ Достоевскій. Изобразить въ 1-й части романа весь процессъ преступленія, затъмъ, въ слѣдующихъ частяхъ, — не что иное, какъ дальиѣйшее психологическое развитие душевнаго состояния преступника, сквозь которое проглядывало-бы и душевное настроеніе, предшествовавшее преступленію и его подготовившее-тема въ высшей степени тяжелая по своему гнетущему однообразію и по ужасному впечатлінію на читателя. И что же? читаешь — и духъ замираетъ; однако же, какъ всемъ хорошо известно, не можешь оторваться отъ книги. Кто-же является тутъ преступникомъ? Личность вполнё развитая — студентъ. Какое преступление совершаеть онь? Пи болье, ни менье, какъ убійство съ грабежомъ. Пельзя не сознаться, какъ и замътила въ свое время критика, что это случай, въ полномъ смыслѣ слова, исключительный, нѣчто совершенно

особенное, выходящее изъ ряда 1); между тымь, читаешьи поневолъ въришь, что все это возможно, до такой степени психологически ясенъ тутъ весь процессъ развитія преступленія и его последствій. Преступникъ бъднякъ, но бъднякъ мыслящій, стало быть, такой, которому несравненно тяжеле всякаго другого бедняка. Онъ долженъ, для того, чтобы только просуществовать въ свое учебное время, заниматься обученьемъ дътей за мёдный грошъ. При томъ усиленномъ умственномъ труде, какого требуеть университетская наука, онъ лишенъ какихъ-бы то ни было удобствъ, лишенъ и высшихъ наслажденій, въ родъ театра — всего, что доставляеть человъку совершенно законный отдыхъ отъ умственнаго труда. Бъдность забила его въ душную кануру, гдъ-то на чердакъ. Правда, онъ самъ говоритъ: «другіе трудятся, другіе выносять все это, и я могь-бы еще трудиться; работаетъ же Разумихинъ, - указываетъ онъ на выносливаго своего товарища, -- да я озлился и не захотъль. Я, какъ паукъ, къ себъ въ уголъ забился».

Забившимся къ себѣ въ уголъ паукомъ является уже и герой «подполья». Но тотъ живетъ такъ лътъ двадцать, а отъ роду ему сорокъ лътъ, тогда какъ Раскольниковъ еще совершенно молодой человъкъ. Онъ сравнительно еще недавно бросиль слушанье лекцій и даванье уроковъ, т.-е. недавно «оздился и не захотълъ». Герой же «подполья» говоритъ про себя: «я прежде служилъ, а теперь не служу. Я быль злой чиновникь. Я быль грубъ и находиль въ этомъ удовольствіе». Но онъ туть же сознается, съ особаго рода сожалъньемъ, что онъ, на самомъ дълъ, «не только не злой, но и не озлобленный человъкъ, что онъ только воробьевъ пугаетъ напрасно и себя этимъ тешитъ». Бросивъ свое прежнее заурядное дёло для книгъ, онъ «не только злымъ, но и ничемъ не сумель сделаться». А все отъ того, что онъ, «какъ говорится, развитой человъкъ нашего 19-го въка и, сверхъ

¹⁾ Хотя начто подобное и случилось, на самомъ дала, почти одновременно съ появлениемъ романа.

того, имѣющій сугубое несчастье обитать въ Петербургѣ, самомъ отвлеченномъ и умышленномъ городѣ на всемъ земномъ шарѣ». Этою отвлеченностью и умышленностью самаго нашего мѣстонахожденія объясняется у него то, «что только между нами самый отъявленный подлецъ можетъ быть совершенно и даже возвышенно честенъ въ душѣ, въ то же время нисколько не переставая быть подлецомъ».

Раскольниковъ, въ свою очередь бросивши свою прежнюю заурядную жизнь студента — для нѣсколькихъ книжекъ, а потомъ и эти книжки — для постояннаго перемалыванія ихъ въ своей головѣ, какъ-бы взялся показать, что, въ силу все той же нашей отвлеченности, у насъ самый добродушный человѣкъ можетъ стать убійцей, не переставая быть самымъ добродушнымъ человѣкомъ.

Углубившись въ себя, герой «подполья» ни до какой особенной дъятельности не дошелъ. «Второстепенной роли я понять не могъ», говоритъ онъ, и вотъ «именно потому-то въ дъйствительности очень спокойно занималъ послъднюю». «Либо герой, либо грязь, — середины не было. Это-то меня и сгубило, —говоритъ онъ, —потому что въ грязи я утъшалъ себя тъмъ, что въ другое время бываю герой, а герой прикрываетъ собою грязь: обыкновенному, дескать, человъку, стыдно грязниться, а герой слишкомъ высокъ, чтобъ совсъмъ загрязниться, слъдственно—можно грязниться».

Раскольниковъ, точно также не понимая «второстепенной роли», постоянно оставался въ сторонѣ отъ грязи—пока не увидалъ на своихъ рукахъ и на своей одеждѣ тѣхъ слѣдовъ крови, которая была пролита имъ ради «геройства», но которою нежданно-негаданно счелъ онъ себя запятнаннымъ, какъ самый обыкновенный смертный.

Раскольниковъ, если угодно, забился въ свой уголь еще задолго до того, какъ пересталъ ходить на лекціи. Онъ «почти не зналъ товарищей, всѣхъ чуждался... Его уважали, но никто его не любилъ... Инымъ товарищамъ казалось, что на ихъ убѣжденія и интересы онъ смо-

тритъ, какъ на что-то низшее... Онъ былъ уже скептикъ, онъ былъ молодъ, отвлечененъ и, стало быть, жестокъ» (въ томъ, разумѣется, смыслѣ, что былъ способенъ съ особеннымъ увлеченіемъ все ломать, все гнуть подъ теорію). Онъ бросилъ науку не только изъ-за своей нищеты, но и потому, что убѣдился въ тщетѣ науки передъ тѣми жизненными задачами, которыхъ простой смыслъ заключенъ, какъ ему показалось, всего въ нѣсколькихъ книжкахъ, призывающихъ прямо къ дѣлу.

По свидѣтельству его матери, она «никогда не могла довѣриться его характеру, даже когда ему было только 15 лѣтъ. Я увѣрена,—говоритъ она,—что онъ и теперь вдругъ что-нибудь можетъ сдѣлать съ собой такое, чего ни одинъ человѣкъ никогда не подумаетъ сдѣлать...» Чуть-ли не единственный близкій товарищъ Раскольникова, Разумихинъ, вотъ какъ о немъ отзывается: «полтора года я Родіона знаю: угрюмъ, мраченъ, надмененъ и гордъ; въ послѣднее время (можетъ бытъ, и гораздо прежде) мнителенъ и ипохондрикъ. Великодушенъ и добръ... Чувствъ своихъ не любитъ выказывать и скорѣе жестокость сдѣлаетъ, чѣмъ словами выскажетъ сердце... Точно въ немъ два противоположные харак-

тера постоянно смѣняются».

Разумихинъ оттъняетъ собою въ романъ Раскольникова. Это «необыкновенно веселый и сообщительный парень, добрый до простоты, подъ которой однако таятся у него «глубина и достоинство». «Никакія неудачи, — говоритъ Достоевскій, — его никогда не смущали и никакія дурный обстоятельства не могли придавить его». Жизненная философія Разумихина близка къ взгляду, выражаемому передъ Раскольниковымъ работницей его хозяйки, Прасковьей. «Ты что, умникъ, лежишь, какъ мъщокъ, ничего отъ тебя не видать...»—говоритъ она ему. «Я дълаю», — нехотя и сурово ей отвъчаетъ Раскольниковъ. — Что дълаешь? — «Работу». — Какую работу? — «Думаю». — Денегъ-то много что-ли надумалъ! — «За дътей мъдью платятъ. Что на конъйки сдълаешь?» — А тебъ бы сразу весь капиталъ, » — твердо отвъ

чаль онь, помолчавь и понявь, должно быть, какой неожиданно глубокій смысль заключается въ этихъ словахъ Прасковьи.

Разумихинъ близокъ къ ея взгляду, потому что близокъ къ народу. По поводу презрительныхъ отношеній Раскольникова къ Заметову изъ-за рода службы послѣдняго онъ говоритъ: «тѣмъ, что оттолкнешь человѣка, не исправишь... Эхъ вы, тупицы прогрессивныя, ничего-то вы не понимаете... Вранье простить можно, вранье дѣло милое, потому что къ правдѣ ведетъ... То досадно, что врутъ, да еще собственному вранью поклоняются... И

хотя бы вради-то они по своему, а то...» Свойства своего товарища Разумихинъ объясняетъ себь тымь же, чымь герой «подполья» свои собственныя свойства-отвлеченностью, книжностью. Онъ оспариваетъ при этомъ мижніе II. II. Лужина, что «нынче больше дёловитости въ молодежи». — «Дёловитости нётъ, — утверждаеть Разумихинъ, — дъловитость пріобрътается трудно, а съ неба даромъ не спадаетъ. А мы чуть не двёсти лёть, какь оть всякаго дёла отучены... Желаніе добра есть, хотя и дётское, и честность даже найдется. несмотря на то, что туть видимо невидимо привадило мошениковъ, а дёловитости все-таки нётъ». Подъ дъловитостью онъ разумьеть, очевидно, близость къ жизни, а мы «двёсти лётъ ничего не дёлали», потому что попали на все на готовое. Другіе до насъ трудились надъ жизнью и выработали изъ нея начала своей высокой цивилизаціи. Мы же сперва застоялись, отстали отъ всіхъ, а потомъ вдругъ вздумали догонять другихъ-да и попали на готовое, вмёсто того, чтобъ начать, наконецъ, въ самомъ дёлё работать умомъ. «Привыкли на чужихъ помочахъ ходить, жеванное всть, товорить Разумихинъ, ну, а пробилъ часъ великій, тутъ всякъ и объявился, чёмъ смотрить». Взглядъ этотъ сродни славянофильству. Оно, конечно, вопросъ, быль-ли такой взглядъ у тогдашней молодежи (что теперь онъ уже начинаетъ у нея проглядывать, едва ли подлежить сомнинію). Какъ бы то ни было, Разумихинъ выражаетъ взглядъ самого автора, служа чёмъ-то въ родё хора въ греческой трагедін. «Объявляю тебѣ,—продолжаетъ онъ пушить Раскольникова,—что всё вы до единаго болтунишки и фанфаронишки. Заведется у васъ страданьице,—вы съ нимъ какъ курица съ яйцомъ носитесь. Даже и тутъ воруете чужихъ авторовъ... Никому-то изъ васъ я не вёрю... Первое дёло у васъ какъ бы на человѣка не походить (на человѣка въ обыкновенномъ смыслѣ—нормальнаго и здороваго)... Если-бъ ты былъ не дуракъ, не пошлый дуракъ, не набитый дуракъ, не переводъ съ иностраннаго»,—обрывается онъ, захлебываясь отъ досады.

Но Достоевскій косвенно характеризуетъ Раскольникова также и словами другихъ лицъ, вовсе не воспроизводящихъ системы его собственныхъ возэрвній. Такъ Порфирій Петровичь, этоть искусный слёдователь, человъкъ положительно умный, отзывается о статьъ Раскольникова вотъ какимъ образомъ: «въ безсонныя ночи и въ изступлени она замышлялась, съ подыманьемъ и стуканьемъ сердца, съ энтузіазмомъ подавленнымъ. А опасень этоть подавленный энтузіазмь въ молодежи... Тутъ дело фантастическое, мрачное...-говоритъ онъ, желая доказать, что не Николка рабочій совершиль преступленіе; нашего времени случай, когда помутилось сердце человъческое, когда цитуется фраза, что кровь освѣжаетъ; когда вся жизнь проповѣдуется въ комфортѣ. Тутъ книжныя мечты-съ, тутъ теоретически-раздраженное сердце... Дверь за собой забыль притворить, а убиль, двухъ убилъ-по теоріи... убиль, да за честнаго человъка себя почитаетъ, людей презираетъ...» «Еще хорошо, -- говорить онъ Раскольникову уже прямо, -- что вы старушонку только убили. А выдумай вы другую теорію, такъ, пожалуй, еще во сто мильоновъ разъ безобразнъе дъло бы сдълали».

А г. Свидригайловъ, этотъ способный на всякую гадость, но также способный и себя уличать, человъкъ; въдь и онъ не даромъ намекаетъ Раскольникову, что не таковы де-ли вы со всъми вашими достоинствами въ теоріи, каковъ я на дълъ со своими мерзостями? «Извергъ я, или жертва?» спрашиваетъ онъ, становясь на точку зрѣнія Раскольникова, что человѣка заѣдаетъ среда. А далѣе онъ даже прямо заявляетъ Раскольникову въ видѣ несомнѣннаго положенія: «мы съ вами одного поля ягода». Не менѣе значительны и слова его о томъ, что котя преступнику и можно бы удрать за границу, но «на родинѣ лучше: можно по крайней мѣрѣ во всемъ другихъ винить, а себя оправдывать». Особенно же замѣчательно то, что говоритъ онъ сестрѣ Раскольникова: «Русскіе люди вообще широкіе люди... и чрезвычайно склонны къ фантастическому, къ безпорядочному, но бѣда быть широкимъ безъ особенной геніальности... У насъ,—прибавляетъ онъ,—въ образованномъ обществѣ особенно священныхъ преданій вѣдь нѣтъ... развѣ кто-

нибудь себѣ по книгамъ составитъ».

Чтобы убъдиться въ проницательности Свидригайлова, стоитъ только проверить его слова тою статьею самого Раскольникова, которую онъ такимъ образомъ толкуетъ Порфирію Петровичу: «я просто запросто намекнуль, что необыкновенный человькь имьеть право... т.-е. не оффиціальное право, а самъ имъетъ право разрѣшить своей совѣсти перешагнуть... черезъ иныя препятствія, и единственно въ томъ только случав, -- какъ бы поправляется онъ, если исполнение его идеи (иногда спасительной, можеть быть, для всего человъчества) того потребуетъ... По моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытія, вследствіе какихъ-нибудь комбинацій, никоимъ образомъ не могли бы стать извѣстны людямъ иначе, какъ съ пожертвованіемъ жизни одного, десятка, ста и т. д. человікь, мішавшихь бы этому открытію... то Пьютонъ имѣлъ бы право и даже былъ бы обязанъ устранить этихъ десять или сто человекъ, чтобы сдёлать извёстными свои открытія всему человічеству... Далье, помнится мнь, я развиваю въ моей статьь, что всв... ну, напримеръ, хоть законодатели и установители человъчества... всъ до единаго были преступники». Раскольниковъ сознается, что это не ново и было высказано не разъ въ извъстныхъ книжкахъ; «но. я, прибавляетъ

онъ, — только въ главную мысль мою върую... Она именно состоить въ томъ, что люди по закону природы раздъляются вообще на два разряда: на низшихъ (обыкновенныхъ), т.-е., такъ сказать, на матерыялъ, служащій единственно для зарожденія себѣ подобныхъ, и собственно на людей, т.-е. имѣющихъ даръ или талантъ сказать въ средѣ своей новое слово». Й такъ, по его понятіямъ, люди дёлятся на толпу, и на умственныхъ апистократовъ. Это, конечно, взято изъ книгъ, проводившихъ такую доктрину еще въ просвѣтительное 18-ое стольтіе. «Но, —продолжаеть онь про своихъ духовныхъ аристократовъ, -- масса никогда почти не признаетъ за ними этого права, казнитъ ихъ и вѣшаетъ».—«Но вѣдь ихъ не всегда же казнятъ, —возражаетъ Порфирій Петровичъ, — иные напротивъ» . — «Торжествуютъ при жизни? спрашиваетъ Раскольниковъ. О да, иные, достигаютъ и при жизни и тогда...»—«И тогда сами начинаютъ казнить?» вторично спрашиваетъ Порфирій, и получаетъ въ отвѣтъ: «если надо, да и, знаете, даже большею частью».

Своимъ умственнымъ аристократизмомъ Раскольниковъ прямо показываетъ, до какой степени правъ Порфирій Петровичъ, замѣчая про угадываемаго имъ преступника: «куда ему убѣжать? въ глубину отечества, что ли? Но вѣдь тамъ мужики живутъ, настоящіе, посконные, русскіе; этакъ-то вѣдь современно развитой человѣкъ скорѣе острогъ предпочтетъ, чѣмъ съ такими пностранцами, какъ мужики наши, житъ».—Да, съ «иностранцами», да къ тому же еще и «таинственными незнаком-

цами», какъ называлъ ихъ Базаровъ.

Свое ученіе о «толпѣ» и о «новомъ словѣ», приводящемъ къ «смѣлому дѣлу» Раскольниковъ изложилъ въ ту пору, когда мысль объ убійствѣ старухи еще прямо не приходила ему въ голову. Мысль эта уже «наклевывалась у него, какъ изъ яйца цыпленокъ», когда онъ зашелъ въ трактиришко и подслушалъ тамъ разговоръ офицера съ студентомъ объ этой самой старухѣ. «Съ одной стороны, —говорилъ студентъ, —глупая, безсмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не-

нужная, напротивъ, встиъ вредная, которая сама не знаеть, для чего живеть... Съ другой стороны, молодыя, свіжія силы, пропадающія даромъ безъ поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрыхъ дълъ и начинаній, которыя можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченныя въ монастырь». Дъло въдь въ томъ, что деньги эти, послъ ея смерти, даже не перейдуть къ ея сестрѣ, этому кроткому и забитому существу, которое она постоянно держала въ черномъ тѣлѣ. Деньги эти пойдутъ въ какой-нибудь богатый монастырь-на поминъ души старухи, думающей, такимъ образомъ, застраховать себя и въ той жизни, несмотря на всѣ свои мерзости въ этой. «Сотни, тысячи, можеть быть, существованій, торячо продолжаль студентъ, - направленныхъ на дорогу; десятки семействъ, спасенныхъ отъ нищеты, отъ разложенія, отъ гибели, отъ разврата... И все это на ея деньги. Убей ее и возьми ея деньги съ тѣмъ, чтобы съ ихъ помощью посвятить потомъ себя на служение всему человъчеству и общему дёлу... За одну жизнь-тысячу жизней, спасенныхъ отъ гніенія и разложенія. Одна смерть, и сто жизней въ замѣнъ — да вѣдь тутъ ариометика». — Одна смерть? Да развъ для того, чтобы, на основании этой теоріи, вышель въ самомъ дёлё прокъ, одной этой смерти достаточно? Развѣ не нужно тутъ множество такихъ смертей-истребление всёхъ подобныхъ гадкихъ старухъ, а за ними, пожалуй, и всёхъ благообразныхъ и благовоспитанныхъ банкировъ? Но такъ вѣдь, пожалуй, потребуется и повальное истребление всёхъ, берущихъ проценты въ различныхъ смыслахъ-всякие въдь бывають проценты! Такимъ образомъ и дойдешь до постоянной, до безконечной практики «палача», и именно «добровольнаго палача», который, на взглядъ Достоевскаго, гораздо еще отвратительнее палача подневольнаго. Или, можетъ быть, достаточно будетъ нъсколькихъ большихъ казней для острастки всёмъ не казнимымъ, этою острасткою направляемымъ на иной, лучшій путь? Но вёдь въ очень хорошихъ книжкахъ доказывается, что

такая острастка не достигаетъ цёли, и не дёлаются ли ссыдки на такія книжки, когда возстають противъ казней правительственныхъ, какъ вполнъ безполезныхъ? Ис не столько-ли же безполезны въ такомъ случав-по крайней мфрф, безполезны—тф казни, которыя стали-бы совершаться съ другого конца-въ видъ террористическаго самосуда? Если терроръ сверху зловреденъ или, по крайней мірі, ни къ чему не ведеть, то почему же онъ будетъ благотворенъ и путенъ, направляемый снизу?—Раскольниковъ, конечно, не останавливается передъ такими вопросами, --потому что теорія подкупила его, подкупила не только его умъ, но и его сердце, именно сердце. Эта теорія заиграла на симпатическихъ струнахъ его души. Въ немъ въдь сильно звучатъ эти струны, которыя такъ дороги и самому Достоевскому. Онъ въ этомъ отношении совсемъ уже не Базаровъ.

Да, Раскольниковъ-одна изг тъхг натург, которыя любить Достоевскій, —одна изв натурь, исполненных участія ка чужому юрю. Во время его процесса оказалось, что онъ, самъ бъднякъ, въ продолжение полугода поддерживалъ своего больного товарища; когда же тотъ умеръ, онъ взялъ на свои руки его больного отца, помъстилъ его въ больницу и похоронилъ на свои трудовыя деньги. При всей своей бъдности, онъ хотъль было жениться на дочери своей квартирной хозяйки, и что-же его привлекло къ ней? «Право не знаю, -- говорилъ онъ впоследстви, уже после ея смерти, право не знаю, за что я къ ней тогда привязался; кажется, за то, что всегда больная... Будь она еще хромая или горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбилъ»... И при этой-то сильно развитой сострадательности, при этой чуткости сердца, онъ долженъ постоянно удерживать руку, которая такъ ч протягивается у него на помощь кому-бы то ни было, онъ долженъ ее удерживать потому, что у него самого ничего нътъ и если онъ станетъ слишкомъ щедро дёлиться своими трудовыми деньгами, то ему придется быть въ тягость своей матери, которая, сама бъдная, готова ему отдать послъднее. А, между тъмъ,

мало-ли видить онъ вокругъ себя такихъ рукъ, которымъ было-бы такъ легко протянуться къ переполненному сундуку, чтобы вынуть оттуда и не малую даже лепту на помощь ближнему, но руки эти преспокойно остаются неподвижными! Между тъмъ, старуха, къ которой онъ идеть заложить часы своего покойнаго отца, съ такимъ хладнокровіемъ оцёниваетъ ихъ въ полтора рубля и при этомъ еще усчитываетъ проценты. У него-же эти полтора рубля изчезають рѣшительно незамѣтно, потому что онъ, по обыкновению, сейчасъ-же дёлится ими съ другими. За посещениемъ ростовщицы, какъ известно, слёдуетъ страшная сцена въ распивочной, где является Мармеладовъ, —одна изъ тъхъ сценъ, въ которыхъ кажущійся комизмъ рѣшительно поглощается самымъ ужаснымъ трагизмомъ. И какими глазами долженъ глядъть Раскольниковъ на этого пьянаго Мармеладова, съ такой откровенностью высказывающаго все, что у него на душъ, нисколько себя не прикрашивая и не извиняя? Ему, конечно, невольно должно приходить въ голову: «не то же ли довело этого человка до пьянства, что меня довело до лежанія въ моей конурѣ?» Какъ не придти къ подобному заключенію посль обращенія Мармеладова къ содержателю распивочной: «Думаешь-ли ты, продавецъ, что этотъ полуштотъ твой мнѣ въ сласть пошелъ? Скорби, скорби искалъ я на днъ его, скорби и слезъ, и вкусилъ, и обрълъ; а пожалъетъ насъ Тотъ, Кто всёхъ пожалёль, и Кто всёхъ и вся понималь, Онъ единый, Онъ и Судія. Пріидеть въ тотъ день и спросить: «А гдъ дщерь, что мачихъ злой и чахоточной, что дътямъ чужимъ малолътнымъ себя предала? Гдъ дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребнаго, не ужасаясь звърства его, пожалъла? Й скажетъ: «Приди! я уже простиль тебя разъ... Простиль тебя разъ-прощаются-же и теперь гръхи твои многи, за то, что возлюбила много»....

Всего болье, конечно, должна поразить Раскольникова участь этой Сони, которая «для мачихи злой, для дътей чужихъ себя предала». Но въдь, возвращаясь до-

мой послѣ этой потрясающей сцены, онъ застаетъ письмо отъ матери, изъ котораго видитъ, что сестра его, проживая гувернанткою у г. Свидригайлова, чуть-чуть не попала въ положение Сони. Ей удалось спастись оттуда, но она рашается схватиться за выгодный бракъ съ г. Лужинымъ, «котораго она, конечно, не любитъ», какъ сознается сама мать въ письмъ, «но который, кажется, человіть хорошій». «Это кажется всего великолітніве, восклицаетъ Раскольниковъ, — и эта-же Дунечка за это-же кажется замужъ идетъ!» Понятно послѣ того дѣлаемое Раскольниковымъ сопоставление: «тутъ мы и отъ Сонечкина жребія пожалуй что не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вѣчная Сонечка, пока міръ стонтъ! Жертву-то, жертву-то объ вы измърили-ли вполнъ? Знаете-ли вы, Дунечка, что Сонечкинъ жребій ничьмъ не сквернье жребія съ г. Лужинымъ? «Любей тут» не может быть, —пишеть мамаша. —Онь человекь достаточный; съ нимъ можно поправить свои обстоятельства, а также и обстоятельства брата... Но вёдь то, что предпринимаетъ Дунечка, продолжаетъ внутренно разсуждать Раскольниковъ, -- можетъ быть хуже, гаже, подлѣе того, что выбрала Сонечка, потому что у васъ, сестрица, все-таки на излишекъ комфорта расчетъ, а тамъ просто о голодной смерти дѣло идетъ... А что ежели этотъ расчетъ-главнымъ образомъ для него, для милаго братца Родіона Романовича? Не бывать тому!ръшаетъ онъ. - А что-же ты сдълаешь, чтобы этому не бывать? Всю судьбу свою, всю будущность свою имъ посвятишь, когда кончишь курсь и мёсто достанешь? Слышали мы это, да въдь это буки, а теперь»?

И послѣ этого письма, обнажившаго передъ нимъ всю отталкивающую некрасоту его положенія—положенія человѣка, для котораго рѣшаются приносить подобнаго рода жертвы — вдругъ эта нечаянная встрѣча на бульварѣ съ дѣвочкой, которую кто-то подноилъ, и съ господиномъ, подстерегающимъ ее издали — конечно, не изъ состраданія. И какая ужасающая иронія сказывается въ разсужденіи Раскольникова о тѣхъ двадцати

копъйкахъ, которыя даль онъ городовому, чтобы нанять извозчика и отвезти девочку: «двадцать копескъ мои унесъ... ну пусть и съ того тоже возьметъ, да и отпустить съ нимъ девочку, темъ и кончится... И чего я взялся туть помогать? Ну, мнь-ли помогать? Имью-ли я право помогать? Да пусть ихъ переглотають другъ друга живьемъ, - мнѣ-то чего! И какъ я смѣлъ отдать эти двадцать копъекъ? Развъ онъ мои?» Дъло въ томъ, что помощь, оказанная имъ, -- «капля въ морѣ;» да и не глупо-ли такъ ребячески протестовать противъ неизбъжнаго порядка вещей?! «Такой процентъ, говорятъ, долженъ уходить всякій годъ куда-то... къ чорту, должно быть, чтобы остальныхъ освёжать и имъ не мёшать. Процентъ! Славныя, право, у нихъ словечки: они такія успокоительныя, научныя. Сказано — проценть, стало быть, и тревожиться нечего... А что, коль и Дунечка какъ-нибудь въ процентъ попадетъ! Не въ тотъ, такъ

въ другой?...»

Вотъ послѣ этого-то и приходится ему случайно подслушать уже упомянутый разговоръ между студентомъ и офицеромъ, одинъ изъ техъ разговоровъ, которые иногда происходять нечаянно и безъ всякихъ дальнъйшихъ последствій; но тутъ, после всего предшествующаго, чужой разговоръ получаетъ для Раскольникова роковое значеніе, хотя на вопросъ, сдёланный студенту офицеромъ: «убилъ-ли-бы онъ самъ старуху?» студентъ и отвъчаетъ: «Разумъется, нътъ.... не во мнъ тутъ дъло». Но Раскольникову, послѣ всего, что онъ перечувствовалъ и передумалъ, невольно представляется мыслы: не онъ-ли на это призванъ? Ему, конечно, случалось и прежде слышать подобные разговоры и никогда они не пропадали для него даромъ. Написалъ же онъ даже, какъ мы знаемъ, цёлую статью о томъ, что многое только принято называть преступленіемъ. Необыкновенные люди — это «власть имущіе»; они имфють право переступать ту черту, которая удерживаетъ другихъ. Вся сила, значить, только въ томь, чтобы умьть «дерзнуть». Статья написана за нѣсколько мѣсяцевъ до пре-

ступленія, подготовлявшагося съ величайшею постепенностью. Долго она имёла для автора только теоретическое значение. Для практического примънения она пригодилась ему лишь тогда, когда накопились новыя впечатленія—впечатленія отъ различных роковых встречь и отъ несчастнаго письма матери. Отъ этихъ встръчъ и этого письма. созрѣвшая въ немъ мысль переходитъ въ жажду дела, которая и обращаетъ его, наконецъ, въ своего раба. Раскольниковъ совершаетъ свое преступленіе, какъ своего рода мономанъ. Оттого и забываетъ онъ о необходимыхъ предосторожностяхъ, - прежде всего о томъ, что надо запереть дверь; въ эту-то дверь и входить несчастная Лизавета, которой приходится стать его второй, уже совершенно нечаянной, жертвой. Съ Раскольниковымъ такимъ образомъ происходитъ то, что часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: за однимъ, предумышленнымъ убійствомъ непосредственно слідуеть другое, случайное; чувство самосохраненія, вдругъ пробудившееся въ Раскольниковъ, заставляетъ его поразить роковымъ топоромъ и эту несчастную, которую самъ онъ всегда такъ жалълъ. Уже этого одного довольно, чтобы не дать ему возможности вообразить себя героемъ..

«О, какъ я ненавижу теперь эту старушонку!—говорить онь впоследстви, - кажется-бы, другой разъ убиль, если-бы очнулась!» Но удивить можеть то, чему удивляется и онъ самъ-почему онг при этом почти не думает о Лизаветь, точно и не убиваль ее. Это у Достоевскаго психологическая тонкость, объясняемая, в роятно, темь, что въ сознании Раскольникова живо собственно то, что входило въ первоначальный, долговременно выношенный, замысель преступленія, а убійство Лизаветы -- случайность, въ него не входившая. Но какъ тяготить его эта случайность въ тѣ минуты, когда она возникаетъ въ его сознаніи, видно изъ следующихъ словъ: «...Бъдная Лизавета! Зачъмъ она тутъ подвернулась!... Лизавета! Соня! бѣдныя, кроткія, съ глазами кроткими, милыя!...»

Совершивъ уже вовсе неразсчитанное второе убійство, невольно вытекшее изъ перваго, онъ не рашается воспользоваться деньгами. Сперва, въ-попыхахъ, онъ себъ набиваетъ карманы, но, даже не глядя, много-ли имъ взято 1), спешитъ поскоре избавиться отъ награбленнаго, поскорве зарыть это все, гдв-то тамъ, подъ камнемъ. Онг даже и не думает о томг, чтобы употребить награбленное съ широкими цълями и этимъ употребленіем возвысить себя в своих собственных глазах. А въдь поводъ къ тому представился очень скоро. За преступленіемъ слъдуеть несчастный случай съ Мармеладовымъ: на него навзжаетъ карета и расшибаетъ его до смерти. Раскольниковъ, какъ извъстно, отвозитъ его домой, гдё онъ и умираетъ, оставляя окончательно нищими жену и дътей. Воть туть-то, казалось-бы, и воспользоваться старухиными деньгами, поспъщить ихъ достать изъ подъ камня и отдать Мармеладовой, чтобы ватемь иметь право сказать: «я-вовсе не преступникъ, я — благодътель человъческаго рода». Ничего подобнаго ивтъ. Раскольниковъ даетъ вдовв лишь тв трудовыя деньги своей матери, которыя она ему только что выслада. Этотъ поступокъ на время доставляетъ отраду Раскольникову. «...Онъ сходилъ тихо, не торопясь (съ лѣстницы дома Мармеладовыхъ), весь въ лихорадкѣ, и не сознавая того, полный одного, новаго, необъятнаго ощущенія вдругь прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговореннаго къ смертной казни, которому вдругъ и неожиданно объявляють прощеніе...» Изъ подъ вліянія страшныхъ ощущеній, соединенныхъ съ убійствомъ, онъ вдругъ попадаеть въ положение иного рода: онъ только-что утеръ другимъ людямъ слезы, утеръ ихъ честными трудовыми деньгами; онъ, стало быть, нужный членъ въ человъческой семьв.

Но душевное счастье, конечно, достается Расколь-

¹⁾ Только на судъ оказывается, что денегь было 317 рублей.

тъмъ преступленія опять полновластно занимаетъ мъсто въ его душъ. Вспомните картину поминокъ по Мармеладовъ, картину, въ которой его вдова разыгрываетъ такую странную роль, кажущуюся сначала чуть не каррикатурною, но вполнъ объясняющуюся дальнъйшимъ помъщательствомъ этой несчастной женщины. Вспомните то унижение, которое приходится тутъ вынести Сонечкъ, заподозрънной въ кражъ г. Лужинымъ, подготовившимъ съ особеннымъ злостнымъ стараніемъ эту ужасную сцену;-между тёмъ вёдь у Раскольникова не хватаетъ тутъ духу выступить защитникомъ Сонечки. Видя, что ея, и безъ того уже горькая, чаша окончательно переполнилась, онъ только удивляется ея терпѣнію и выносливости и думаеть найти въ ней опору самому себѣ. Вмѣсто того, чтобы громко принять ея сторону, онъ только думаетъ про себя: пойду потомъ къ ней, разскажу ей все, ей одной исповъдаю все Эчто я совершиль; она одна это вынесеть, она одна поддержить меня. Прійдя къ ней и ставъ передъ ней на колѣни, онъ цѣлуетъ ея ноги и говоритъ: «я не тебъ поклонился, а всему страданію человьческому поклонился». Черта эта, отдёльно взятая, можетъ показаться нъсколько изысканною, но, въ связи со всёмъ остальнымъ, она является совершенно естественною: поклонъ этотъ усладителенъ для Раскольникова, потому что это поклонъ существу, также заклейменному печатью отверженія, потому что это поклонъ тому, изъ чего вытекаетъ множество преступленій и чёмъ эти преступленія выкупаются. Въ этомъ поклонъ Раскольникова нътъ ни мальйшей рисовки, расчета на эффектъ; это окончательно подтверждается тёмъ, что слёдуетъ далее. Вспоммите всю эту картину: убійца и грашница въ пустой, холодной комнать при догорающемъ огаркъ — какая благодарная почва для мелодрамы! Какъ много они могли-бы сказать громкихъ фразъ, въ родъ, напримъръ, такихъ: «да, мы преступники, но мы выше, мы лучше всёхъ остальныхх!» Но у Достоевскаго ничего этого и въ поминь ньть: онъ заставляетъ Сонечку прочесть Раскольникову главу о воскресеніи Лазаря, по книгѣ, которую не за долго до своей смерти принесла ей бѣдная Лизавета, убитая этимъ самымъ Раскольниковымъ, безотвѣтно слушающимъ теперь чтеніе изъ этой книги, горячее чтеніе глубоко-проникнутой вѣрою грѣшницы.

Но туть онь еще не открывается Сонь; онь къ ней приходить вторично и тогда лишь высказываеть ей все, а она отвѣчаетъ простыми, вырвавшимися изъ сердца словами: «Нътъ, нътъ тебя несчастиве никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ!», т.-е. она сердцемъ усваиваетъ себѣ тотъ взглядъ на преступника, который, какъ видели мы, проведенъ Достоевскимъ въ «Запискахъ изъ мертваго дома». Раскольниковъ, открываясь Сонъ, нисколько не старается прикрасить преступление благовидными побужденіями; напротивъ, онъ производитъ у нея на глазахъ самый страшный разлагающій анализъ самого себя, и все, хотя сколько-нибудь способное благопріятно подъйствовать на нее, положительно въ себъ отрицаетъ. «Не для того,-говорить онъ,-чтобы матери помочь, я убиль—вздоръ!.. Не для того я убиль, чтобы, получивъ средства и власть, сдёлаться благодётелемъ человёчества... другое толкало меня подъ руки: мнв надо было узнать тогда и поскоръй узнать, смогу-ли я переступить, или не смогу? Тварь-ли я дрожащая или право имѣю?»... Вотъ что онъ говоритъ ей, этой рѣшительно чуждой разсудочныхъ измышленій Сонъ; если-бы онъ хотъль оправдаться, то должень бы быль говорить совершенно другое, потому что именно этого «право имфю» она и не въ состояніи понять. «...Право кровь проливать!»---восклицаетъ она съ ужасомъ.

Онъ было приставалъ къ ней съ вопросами, близко касающимися ея собственныхъ обстоятельствъ: «Лужину-ли жить и дѣлать мерзости, или умереть Катеринѣ Ивановнѣ?» Но она вѣдь отвѣчала ему на это вопросомъ-же: «кто меня тутъ судьей поставилъ: кому

жить, кому не жить?»

Она никогда не возьметь въ толкъ той теоріи, въ силу которой являются «добровольные палачи», не за-

думывающіеся надъ предстоящей имъ безконечной работой. Она бы, конечно, остановила казнящую руку, хотя бы рука эта поднялась и надъ тъми особыми взимателями «процентовъ», жертвой которыхъ стала она сама. И рука эта была-бы ею остановлена просто ради того чувства, въ силу котораго всякая кровь представляется «напрасною кровью», а не въ силу логическихъ соображеній въ роді того, что «добровольнымь палачамъ» въ данномъ случав пришлось бы, пожалуй, не пощадить и самихъ себя. Въ самомъ дёль, развъ и они на своемъ вѣку (я не говорю о Раскольниковѣ) не взимали именно этихъ самыхъ процентовъ, потому что это вёдь «освёжаетъ», а на «освёжение» имёютъ тёмъ болѣе права они, неустанно работающіе на все человѣчество? Да и лишать себя такого «освъженія» не значитъ-ли насиловать свою природу, ту владычицу природу, о правахъ которой такъ убъдительно говорится вь тёхъ же умныхъ книжкахъ? Вёдь этакъ, пожалуй, дойдешь до того, что и «табаку не станешь курить, потому что у другихъ нътъ хлъба». Въдь этакъ и до аскетизма дойдешь!

Но Раскольникову не приходится прибъгать къ логическимъ ухищреніямъ, чтобы оправдаться предъ Соней. Оправдываясь, онъ долженъ бы быль подъйствовать на ея сердце. Но онъ и не думаетъ, ему и въ голову не приходить ей говорить о тёхъ симпатическихъ чувствахъ, которыхъ въ немъ дъйствительно много, но которыхъ онъ какъ будто уже и не сознаетъ въ себъ. А онъ знаетъ, что ее привело въ ел унизительное положеніе, что дало ей силу «позоръ принять» и «съ жизнію не покончить»; онъ знаеть, что силу эту дала ей любовь, самоотверженная любовь къ бъднымъ чужимъ дътямъ, къ полусумасшедшей мачихъ. Соня требуетъ отъ него чтобы онъ пошелъ и объявилъ о томъ, что онъ сделаль; съ ея точки зренія иначе онъ поступить не можеть. «Пойди, поцълуй землю, которую ты обагрилъ кровью, и скажи-«я убилъ», -- говоритъ она ему. «Зачемъ пойду, что имъ скажу?» — отвечаетъ онъ, такъ смиренно поклонившійся ей и, въ лиць ея, человьческому страданію, но неспособный, какъ она, совершенно смириться. Діло въ томъ, что къ нему можно-бы было примънить извъстный эпитеть Апп. Григорьева — хищный. Да, онъ хищенъ и гордъ своею хищностью въ томъ-же смыслѣ, въ какомъ горды ею герон «Мертваго дома». «Что имъ скажу? Они сами милліонами людей изводить, да еще за добродетель почитають», -- говорить Раскольниковъ. Но онъ же, «разрѣшающій кровь» на такомъ основаніи, когда Порфирій Петровичь допрашиваеть его объ «угрызеніяхъ совъсти», даеть въдь въ отвътъ: «у кого есть она, тотъ страдай, коль сознаетъ ошибку.» «А геніальные-то, —продолжаеть допытываться Порфирій, — тѣ такъ ужь и не должны страдать совсѣмъ даже за кровь пролитую?»... «Зачёмь туть слово должны», -возражаетъ онъ, прибавляя съ грустью: «Страданье и боль всегда обязательны для широкаго сознанія и глубокаго сердца». Кончается тёмъ, что онъ идетъ и объявляеть о своемь преступленіи, какъ ділаеть это многое множество преступниковъ, въ которыхъ тоже есть, значить, боль отъ совъсти, но остающихся тъмъ не менье и гордыми, и озлобленными въ глубинъ души. Тъ же гордость и озлобление сохраняются и въ Раскольниковъ и во время суда, и долгое время на каторгъ. «Его гордость сильно была уязвлена, онъ судиль себя, и ожесточенная совъсть его не нашла никакой особенно ужасной вины въ его прошедшемъ, кромъ развъ простого промаха».

Только мало-по-малу это озлобление уступаетъ вліянію несчастной многолюбящей Сони, которая слѣдуетъ за нимъ на каторгу, гдѣ она умягчительно дѣйствуетъ и на сердца другихъ, вовсе ей незнакомыхъ, каторжниковъ. «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нѣжная, болѣзная!»—обращались къ ней эти грубые люди, столь чуткіе, какъ мы знаемъ по «мертвому дому», къ малѣй-пему проявленію человѣчности въ обращеніи съ ними. Ел-то беззавѣтная любовь къ людямъ пробуждаетъ, наконецъ, и въ Раскольниковѣ угасшую вѣру въ человѣка;

въ немъ происходитъ то, что онъ самъ какъ-бы предвидѣлъ заранѣе, заставивъ ее прочесть себѣ о воскресеніи Лазаря. То нравственное чудо, которое совершается въ церкви «мертваго дома» высшею христіанскою любовью, призывающею и преступниковъ, наравнѣ съ другими, къ одной, всѣмъ доступной чашѣ,—то-же чудо совершается тутъ надъ Раскольниковымъ неотразимымъ вліяніемъ его спутницы, несмотря ни на что не озлобившейся, не пе-

реставшей «много любить».

Дѣло въ томъ, что душа Раскольникова никогда не была каменистою почвою. Въ ней, какъ мы знаемъ, издавна звучала та симпатическая струна, которая была въ немъ не заглушена, а только подкуплена овладѣвшею имъ теоріею. Прямую противоположность ему представляетъ, не даромъ-же и противный Раскольникову, претендентъ на руку его сестры, Петръ Петровичъ Лужинъ. Человъкъ этотъ въ той-же самой теоріи нашелъ прямое потакательство всёмъ низменнымъ сторонамъ своей крайне невзрачной природы, хотя и ловко прикрытой у него, такъ сказать, лоскомъ «прогрессивной благонамфренности». Вспомнимъ, что, желая щегольнуть ею передъ Раскольниковымъ, онъ ораторствуетъ: «если мнъ до сихъ поръ говорили: «возлюби», и я возлюблялъ, то что изъ того выходило?.. то, что я рваль кафтанъ пополамъ и дёлился съ ближнимъ, и оба мы оставались на-половину голы... Наука-же говорить: «возлюби прежде всёхъ одного себя, ибо все на свёте на личномъ интересѣ основано. Возлюбивъ самого себя, ты и дѣла свои обдёлаешь, какъ слёдуеть, и кафтанъ твой останется цѣлъ». Экономическая-же правда прибавляетъ, что чѣмъ болье въ обществъ устроенныхъ частныхъ дълъ и, такъ сказать, діялыхъ кафтановъ, тімь боліве для него твердыхъ основаній и тёмъ болье устраивается въ немъ и общее дѣло». Вспомнимъ также, что, заводя вслѣдъ затёмъ рёчь о размножившихся въ образованномъ классё преступленіяхъ, онъ замѣчаетъ: «тамъ, слышно, бывшій студенть на большой дорогѣ почту разбиль; тамь передовые, по общественному своему положению, люди

фальшивыя бумажки дёлають; тамъ въ Москвё ловять цёлую компанію поддёлывателей билетовъ послёдняго займа съ лотереей, - и въ главныхъ участникахъ одинъ лекторъ всемірной исторіи; тамъ убивають нашего секретаря за границей, по причинъ денежной и загадочной...» Разумихинъ объясняетъ это «закоренѣлою слишкомъ неделовитостью общества», того самаго передового общества, которое Петръ Петровичъ, желая угодить Раскольникову, назвалъ напротивъ того, «дѣловитымъ». При этомъ Разумихинъ прямо ссылается на слова того-же лектораподдёлывателя бүмажекъ: «всё богатёютъ разными способами, такъ и мнѣ поскорѣй захотѣлось разбогатѣть...» «Точныхъ словъ не помню, прибавляетъ Разумихинъ, но смысль тотъ, что на даровщинку, поскоръй, безъ труда». Когда-же это объяснение насколько удивляеть Петра Петровича, въ разговоръ вдругъ вмѣшивается Раскольниковъ и съ видимымъ отвращениемъ къ нему и къ его рисовкѣ новыми «принципами» говоритъ: «да о чемъ вы хлопочете?.. доведите до последствій, что вы давеча проповъдывали, и выйдеть, что людей можно ръзать». Самъ Петръ Петровичъ ръзать, конечно, не будетъ, потому что это все-таки соединено съ рискомъ, а онъ «теоріями» пользуется лишь настолько, насколько можно «что-нибудь подустроить въ своей карьеръ» именно черезъ ихъ-же посредство. Т.-е. у Достоевскаго это сказано собственно не про самыя теоріи, а про представителей ихъ, «молодыхъ прогрессистовъ», которыхъ Петръ Петровичь таки побаивается въ ихъ качествъ «всъхъ презирающихъ и всёхъ обличающихъ», и въ которыхъ потому заискиваетъ.

Въ романъ выставленъ и одинъ изъ этихъ молодыхъ дъятелей, «прикомандировавшійся къ прогрессу по страсти», — прогрессу, разумъется, наипрогрессивнъйшему, а затъмъ разглагольствуетъ: «мы больше отрицаемъ! Еслибъ всталъ изъ гроба Добролюбовъ, я-бы съ нимъ поспорилъ. А ужъ Бълинскаго закатали-бы. А покамъстъ и продолжаю развивать Софью Семеновну (Соню Мармеладову, которую ему хотълось-бы также обработать во

вкусѣ «протеста»). Это прекрасная, прекрасная натура», утверждаетъ онъ. Къ счастью, и самъ Андрей Семеновичъ Лебезятниковъ—натура прекрасная, т.-е. сердце у него «довольно мягкое», хотя «рѣчь весьма самоувѣренная», притомъ-же онъ и нѣсколько «глуповатъ». Потомуто, т.-е. не вслѣдствіе глупости, а вслѣдствіе прекрасной натуры, онъ, пожалуй, и не дойдетъ до черезъ-чуръ

уже безобразныхъ выводовъ.

Есть въ романѣ лицо, для котораго «теоріи», въ ихъ-же духѣ хотѣлъ-бы Лебезятниковъ обработать Соню, просто-кладъ, тъмъ болъе, что онъ и на всякій рискъ способенъ. Это намъ уже знакомый отчасти г. Свидригайловъ. Жилъ онъ безъ всякихъ теорій, давно и постоянно «дерзалъ», практически предоставивъ себъ свободу, не знающую самоограниченія. Но въ натурѣ этого человъка существуютъ и симпатическія поползновенія: передъ смертью онъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, обезпечиваетъ семейство Мармеладовыхъ. Къ Дунечкъ, какъ мы убъждаемся, онъ питаетъ постоянную, глубокую страсть, такъ что проникается, наконецъ, и уваженіемъ къ ней, заставляющимъ его пощадить свободу ея воли, а потомъ, съ отчаянія въ томъ, что любилъ безотвѣтно, покончить съ самимъ собою. Свидригайловъ служить въ романъ и къ тому, чтобы окончательно не допустить поднять на пьедесталь Раскольникова, и къ тому, чтобы не дать подняться рукт съ побивающимъ камнемъ даже и на самыхъ, повидимому, развращенныхъ людей. И въ нихъ порою оказывается та «искра Божія», которая спасаеть ихъ отъ «теорій», окончательно предоставляющихъ имъ, повидимому, вполнѣ желанное «разрѣшенье на вся».

Въ энилогѣ романа герой видитъ сонъ: «появились какія-то новыя трихины, существа микроскопическія, вселявшіяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные умомъ и волей. Люди, принявшіе ихъ въ себя, становились сейчась-же бѣсноватыми или сумасшедшими». Подъ этими трихинами, очевидно, разумѣются «теоріи», вычитанныя изъ «книжекъ». «Цѣлыя селенія, видѣлъ во

снѣ Раскольниковъ, цѣлые города и народы заражались и сумасшествовали. Всъ были въ тревогъ и не понимали другъ друга, всякій думаль, что въ немъ одномъ и заключается истина... Не знали, кого и какъ судить, не могли согласиться, что считать эломъ, что добромъ... Люди убивали другъ друга въ какой-то безсмысленной внобъ... Въ городахъ цёлый день били въ набатъ: созывали всёхъ, но кто и для чего зоветъ, никто не зналъ того, а всё были въ тревоге. Оставили самыя обыкновенныя ремесла, потому что всякій предлагаль свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледеліе... Начались пожары, начался голодъ. Всѣ и все погибло. Язва росла, и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всемъ міръ могли только нъсколько человъкъ, — это были чистые и избранные, предназначенные начать новый родъ людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигдъ не видаль этихъ людей, никто не слыхаль ихъ слова и голоса» 1).

Сонъ Раскольникова олицетворяетъ передъ нимъ тотъ переворотъ, который мало-по-малу совершился въ его сознании, совершился тамъ, въ Сибири, куда онъ привезъ съ собою свой гордый умъ и сталъ потому ненавистенъ всёмъ каторжникамъ, тёмъ самымъ, которые, однако, такъ нёжно, можно сказать, полюбили Соню. Между нею и ими, оказывалось, вовсе нётъ «той страшной, той непроходимой пропасти», которая, какъ онъ убёдился, лежала между нимъ и всёмъ этимъ людомъ и при которой казалось, что «онъ и они были разныхъ націй»... Тутъ, конечно, Достоевскій имѣлъ въ виду и тотъ личный опытъ, какой достался ему самому въ Сибири. Изъ личныхъ воспоминаній взяты имъ и тѣ «ссыльные поляки, политическіе преступники», которые

¹⁾ Заметимъ, что сонъ Раскольникова представился «холодною аллегорією» Н. Н. Страхову, который, въ своей превосходной стать о «Преступленіи и наказапіи» въ «Отечественныхъ запискахъ», именно и налегаетъ на одержимость Раскольникова «теорією». Можеть быть съ эстетической точки зранія критикъ и правъ, такъ какъ сонъ этотъ только аллегорически доразвиваетъ то, на что уже исно указано самимъ дъйствіемъ романа.

своими презрительнымъ отношениемъ къ «невъждамъ и хлопамъ» столько же открывали Раскольникову глаза, сколько и бывшіе туть русскіе, «тоже слишкомь презиравшіе этотъ народъ, одинъ бывшій офицеръ и два семинариста». Раскольниковъ все болье и болье понималъ не только ихъ ошибку, но и свою собственную. «Ты баринъ, -- говорили ему каторжники изъ простыхъ, -ты безбожникъ, ты въ Бога не въруешь» — кричали ему! И какъ ни были страшны эти люди, какъ ни неразръшимъ былъ для него вопросъ: «почему всв они такъ полюбили Соню?», онъ все болье и болье сознаваль, что «эти невъжды во многомъ гораздо умнъе этихъ самыхъ поляковъ», т.-е. и этихъ офицеровъ, и семинариста, и, наконецъ, и его самого. И вотъ Раскольникова «вдругъ что-то какъ бы подхватило и какъ бы бросило къ ногамъ Сони», той самой Сони, въ лицъ которой онъ когда-то уже поклонился земно «всему человъческому страданію», но съ которой, когда она добровольно последовала за нимъ въ Сибирь, обходился тамъ, какъ и съ другими, сурово и гордо. Теперь только поклонился онъ въ лицѣ ея до матери до сырой земли не одному человѣческому страданію, но и сохраненной въ страданіи «искръ Божіей». Тутъ только окончательно совершилось съ нимъ и «воскресеніе Лазаря». «Они хотѣли было говорить, -- замѣчаетъ Достоевскій о немъ и о Сонѣ, -- но не могли... Въ этихъ больныхъ и блёдныхъ лицахъ уже сіяла варя обновленнаго будущаго... Ихъ воскресила любовь... Вечеромъ того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольниковъ лежалъ на нарахъ и думалъ о ней. Въ этотъ день ему даже показалось, что какъ будто всё каторжные, бывшіе враги его, уже глядёли на него иначе». Но это не казалось только ему, -- оно такъ и было. «Съ этихъ поръ, —заключаетъ Достоевскій, вмѣсто діалектики наступила жизнь».

Таковъ этотъ великій романъ, который смѣло можетъ быть названъ уже и пророческимъ. Да, Достоевскій предугадалъ въ немъ многое. Тогда уже, въ годъ рокового каракозовскаго выстрѣла, онъ отечески вразумлялъ

и предостерегаль. Тогда уже, внимательно вчитываясь въ него, могли-бы приходить къ такимъ заключеніямъ: какъ христіанство, проповъдываемое огнемъ и мечомъ, не оказалось настоящимъ христіанствомъ; какъ цивилизація, насажденная у насъ Петровскимъ терроромъ, не оказалась настоящею цивилизаціею,—такъ и рай земной, насаждаемый тъмъ же терроромъ,—выстрълами и взрывами—никогда не окажется настоящимъ раемъ. Его жителями будутъ только тъ же животныя съ даромъ слова, провозглащающія «борьбу за существованіе», а не люди—съ тъмъ, «чиъмъ только и экивы люди»— съ закономъ любви.

«Идіотъ». — «Бѣсы».

Если во всёхъ произведеніяхъ Достоевскаго сильно развитъ психологическій элементъ, то едва-ли не самымъ глубокомысленнымъ въ этомъ отношеніи является у него романъ, озаглавленный «Идіотъ». 1).

Основной характеръ «Идіота» служить лучшимь до полненіемъ къ прежней галлерев симпатическихъ лицъ Достоевскаго. Что такое этотъ князь Мышкинъ, послъдній потомокъ захудалаго рода, круглый сирота, воспитывающійся въ уединеніи за границей по милости друга своего отца, бользненный мальчикъ, потомъ юноша, ко-

¹⁾ Таковъ онъ, по крайней мърѣ, по замыслу. «Идея романа, — писалъ о немъ Достоевскій г-жѣ Ивановой, — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смѣлъ браться за нее... Главная мысль романа—изобразить положительно прекраснаго человъка. Труднѣе этого нѣтъ ничего на свѣтѣ, а особенно тепејъ... Прекрасное есть идеалъ, а идеалъ — ни нашъ, ни цивнлизованной Европы еще далеко не выработался... Изъ прекрасныхъ лицъ въ литературъ христіанской стоитъ всего законченнѣе. Донъ-Кихотъ. Но снъ прекрасень единственио потому, что въ то же время и смѣшонъ». Выполненіемъ своего замы ла самъ бедоръ Михайловичъ далеко не былъ удовлетворезъ. «Романомъ я недоволенъ,—писалъ опъ той же своей родственницъ,—онъ не выразилъ и 10-й доли того, что я хотѣлъ выразитъ, хотя все-таки я отъ него не отрицаюсь и люблю мою неудагшуюся мысль до сихъ поръ». («Русская старина» 1885 г., йоль, стр. 144, 149).

торый выросталь далеко отъ свъта, котораго такъ поздно начали учить (и тъмъ самымъ ему продлили дътство), котораго всъ считаютъ за идіота, тогда какъ на самомъ дълъ онъ даже очень уменъ, но прямодушенъ и чистъ,

какъ ребенокъ?

Въ немъ доведено до сильнъйшей степени все то, что всегда было особенно дорого Достоевскому; онъ является у него прямымъ представителемъ того «царства не отъ міра сего», оторванность отъ котораго является, по взгляду автора, главнымъ бъдствіемъ нашего міра. Это, можно сказать, художественное воспроизведеніе темы, весьма распространенной въ безыскусственной народной словесности—это тотъ же, любимый народомъ, сказочный Иванушка-дурачокъ, оказывающійся, какъ извъстно, только человъкомъ не «себъ на умъ», человъкомъ не выносящимъ врълища посторонняго горя, постоянно забывающимъ себя для другихъ. Но съ точки зрънія многихъ изъ числа тъхъ свътскихъ людей, въ кругу которыхъ приходится, наконецъ, очутиться князю Мышкину, онъ

дъйствительно представляется идіотомъ.

И какъ же, въ самомъ дълъ, такъ-называемому свёту не признать идіотомъ князя, который, по плохому костюму задержанный камердинеромъ генерала въ цередней, и не думаетъ вламываться въ амбицію, а преспокойно усаживается тутъ-же въ передней, да еще завязываеть самый дружелюбный разговорь съ тъмъ же камердинеромъ. «Казалось-бы, разговоръ князя былъ самый простой, -- говорить Достоевскій, -- но чёмъ онъ быль проще, тёмь и становился въ настоящемъ случав нелѣиѣе, и опытный камердинеръ не могъ не почувствовать что-то, что совершенно прилично человъку съ человъкомъ и совершенно неприлично гостю съ человъкомъ.» «Идіотъ» разсказываетъ камердинеру о Швейцаріи, о томъ, какъ безчеловъчна практикуемая тамъ смертная казнь. Онъ разсуждаетъ: «Что-жъ съ душой въ эту минуту делается, до какихъ судорогъ ее доводятъ. Надругательство надъ душой, больше ничего! Сказано: «не убій!» такъ за то, что онъ убилъ, и его убивать? Нътъ,

это нельзя... Убивать за убійство несоразмірно большее наказаніе, чёмъ самое преступленіе... Тотъ, кого убивають разбойники, ръжуть ночью въ льсу или какъ-нинибудь, непремённо еще надёется, или бёжить, или проситъ. А тутъ приговоръ, и въ томъ, что навърно не избёгнешь, вся ужасная-то мука и сидить, и сильнёе этой муки нътъ на свъть... Нътъ, съ человъкомъ такъ нельзя поступать. «Это-ли—не идіотизмъ!» готовы, конечно, сказать различные политики-консерваторы, особенно-же имъя въ виду то, что кн. Мышкинъ разглагольствуеть на такую тему-съ камердинеромъ. Идіотомъ, конечно, съ общепринятой точки зранія, выказываеть онь себя и въ ту минуту, когда, заслонивъ собою сестру Гани и подхвативъ, такъ сказать, своею щекою назначенный ей ударъ, онъ опять-таки не вломился въ амбицію, не заговориль о дуэли. «Это пусть мив... а все-таки не дамъ», тихо проговорилъ онъ наконецъ, но вдругъ не выдержалъ, бросилъ Ганю, закрыль руками лицо, отошель въ уголь, сталь лицомъ къ стѣнѣ»... По крайней мѣрѣ сконфузился, готовы уже заключить читатели; но авторъ неожиданно поражаетъ ихъ тёмъ, что «идіотъ« прерывающимся голосомъ протовориль: «О, какъ вы будете стыдиться своего поступка!» И что-же? вёдь онъ угадаль. Ганя, каковъ онъ ни есть, а приведенъ въ умиленіе. «И съ чего это я взяль давеча, -- говорить онь, -- что вы идіоть! Вы замѣчаете то, чего другіе никогда не замѣтятъ». Мало того. Немного спустя, Ганя даже говорить ему: «подлецы любятъ честныхъ людей,—вы это не знали?»—«Я васъ подлецомъ никогда уже не буду считать, -- простодушно отвѣчаетъ кн. Мышкинъ, еще простодушнѣе прибавляя къ этому: -- вы, по моему, самый обыкновенный человакъ, какой только можетъ быть... нисколько не оригинальный». Ему совсёмъ не въ догадъ, что этимъ онъ неумышленно наноситъ такому человъку, какъ Ганя, самую убійственную нравственную пощечину. Но она смягчена тою добродушною искренностью, которая служить порукой въ ея неумышленности. Ганя, не обижаясь, отвъ-

чаетъ не безъ находчивости: «деньги тѣмъ всего подлѣе и ненавистите въ наше время, что онт даже таланты дають. И будуть давать до скончанія міра»... Потому-то самолюбіе его и было главнымъ образомъ въ томъ, чтобы про него говорили: «вотъ Иволгинъ, король Іудейскій!» И этотъ-то самый Ганя до того было умилился душой передъ этимъ «ндіотомъ», что готовъ былъ у него руку поцеловать. «А какъ вы думаете, князь, спрашиваетъ онъ Мышкина, --если-бы я давеча вамъ руку поцёловаль, сталь-бы я вамь врагомь за это впослъдствии?» «Непремънно стали-бы, —отвъчаетъ прозорливый «идіотъ», --только не навсегда, потомъ не выдержали-бы и простили»... Въ совершенное недоумъніе поставлено княземъ другое лицо романа, Келлеръ: «то ужь такое простодушіе, -- говорить онь, -- такая невинность, какихъ и въ золотомъ вѣкъ не слыхано, и вдругъ въ то же время насквозь человека произаете, какъ стрела, такою глубочайшею психологіей наблюденія».

Дъло просто. Участіе Мышкина къ каждому было такъ живо, такъ проницательно, что передъ этимъ участіемъ раскрывались невольно самые сокровенные тайники чужой души. Достоевскій только надёлилъ «идіота» своимъ собственнымъ качествомъ—тою прозорливостью сердцевёда, тайна которой въ гуманной, въ симпатиче-

ской или всесочувственной душь его. 1).

«Я люблю ее не любовью, а жалостью», —вотъ какимъ образомъ опредъляетъ «идіотъ» свои отношенія къ несчастной Настасьъ Филипповнъ. Любя ее этою гуманною жалостью, онъ и пытается читать въ ея чертахъ. «Это гордое лицо, —говоритъ онъ, разглядывая ея портретъ, — ужасно гордое, и вотъ не знаю, добра-ли она? Ахъ, кабы добра! Все было-бы спасено!» А при встръчъ съ нею у Гани, вовсе не свидътельствующей, повидимому, объ ея добротъ, онъ тъмъ не менъе ръшается спросить:

¹⁾ На эту сторону Достоевскаго обратиль особенное вниманіе Л. Е. Оболенскій въ своимь превосходныхь статьяхь о немъ въ «Мысли» 1881 г. (журналь, продолженіемъ котораго служить ныпче «Русское богатство»).

«развѣ вы такая, какою теперь представляетесь?» И вотъ въ отвѣтъ ему сейчасъ-же и зазвучали въ ней лучшія, замолкшія только струны ея души: «я вѣдь и въ самомъ дѣлѣ не такая, онъ угадалъ»,—говоритъ она;— «онъ въ меня съ одного взгляда повѣрилъ, и я ему вѣрю»—опредѣляетъ она въ свою очередь свои отношенія къ нему. Въ ея вѣрѣ въ него—и вся ея любовь къ нему. Понятно, что въ ту минуту, когда эта вѣра въ него готова поколебаться при видѣ его колебанья между нею и Аглаей, она въ отчаяньи восклицаетъ: «да будъ же ты проклятъ послѣ того за то, что я въ тебя одного повѣрила»... Понятно и то, что при такихъ ея словахъ ему остается только окончательно отдаться Настасъѣ Филипповнѣ, говоря про нее въ свое оправданье: «вѣдь она такая несчастная!»

Его любовь-жалость къ Настась Филипповив, этой, въ сущности, той-же (только съ роскошною обстановкой) Сонечкъ, напоминаетъ отчасти любовь Раскольникова къ больной дочери квартирной хозяйки. Мышкину жалко ее, потому что она такъ много вынесла, жалко, что ее хотять сбыть на руки человеку, который посредствомъ брака съ ней разсчитываетъ поправить свое состояніе. Й вотъ князь, пользуясь внезапнымъ поправленіемъ своихъ обстоятельствъ, предлагаетъ ей свою руку. Но это не можетъ не вызвать въ ней, продолжающей, какъ всѣ личности Достоевскаго, чувствовать во многихъ отношенияхъ по-человъчески, это не можетъ не вызвать въ ней душевной борьбы, воспроизведенной у нашего автора съ его обычною исихологическою глубиною. Она полюбила князя, потому что въ него она только и вършть, она хватается за него, чтобы поддержать въ себъ въру и вообще въ человъческое достопиство, но она боится его погубить, ей совъстно принять съ его стороны жертву, вмёстё съ тёмъ она и слишкомъ горда для того, чтобы принять жертву, — а ничемъ инымъ, кромѣ жертвы, не можетъ она объяснить его рѣшимость связать съ нею свою участь; - отсюда въ ней безконечныя колебанія. Но возникающее затымь чувство ревности къ Аглав, глубокое сознание унижения, которому та ее подвергаетъ, желание ей отомстить—все это доводитъ Настасью Филипповну до того, что она рѣшается даже сама снова вызвать наружу (чтобы окончательно ею воспользоваться) ту жалость къ себѣ, которая окончательно принимается за любовь «идіотомъ». А тамъ опять мысль, что она его этимъ губитъ, что онъ только собоюжертвуетъ, а на самомъ дѣлѣ ея не любитъ, — и подъ вліяніемъ этой мысли бѣгство изъ подъ вѣнца къ Рогожину, которое, при характерѣ Рогожина, не можетъ не

повлечь за собою трагической развязки.

Эта развязка — смерть Настасын Филипповны — есть вмёстё съ тёмъ и прямо смерть заживо для несчастнаго-«идіота» съ его глубоко прочувствованнымъ исповеданіемъ: «состраданіе есть главнайшій и, можеть быть, единственный законъ бытія всего человъчества». Въ этомъисповъдании — нравственная красота «идіота», но такое: исповъдание вовсе не счастье для него и ему подобныхъ... Достоевскій далекъ отъ той Маниловщины въ морали, на основаніи которой выходить, будто доброд'єтель и счастье одно и то же, будто христіанство самая умная въра, потому-что растолковываетъ человеку, что быть добрымъ, это прямой расчет даже въ смыслѣ блаженства уже здёсь на землё! Романъ Достоевскаго—это побёдоноснёйшая улика такой Маниловщины, такъ не кстати подновляемой однимъ великимъ писателемъ въ наши дни борьбы и всяческихъ испытаній.

Да, «идіотъ» положительно осертва своей сострадательности. Если у Васи Шумкова слабое, слишкомъ слабое сердце, то у кн. Мышкина оно слишкомъ широкое—а такое расширеніе сердца грозитъ преждевременнымъ его разрывомъ. Вёдь тѣ, которыя любуются его душой и поклоняются ей, онѣ вовсе ее не щадятъ, онѣ забываютъ, что душа эта заключена въ скудельномъ сосудѣ. Обѣ эти женщины любятъ его по своему, для себя—каждая для себя одной, стараясь вполнѣ его оттянутъ къ себѣ,—и не видятъ, не чувствуютъ, что онѣ сго нравственно разрываютъ. Но не онѣ однѣ неспособны

понимать любовь въ ея широкомъ, въ ея всесочувственнохристіанскомъ смысль; відь и отчасти также замішанный туть Евгеній Павловичь старается вразумить князя Мышкина, что «Аглая Ивановна любила какъ женщина, какъ человъкъ, а не какъ... отвлеченный духъ. Знаетели что, бъдный мой князь, - увъряеть онъ его, - върнъе всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили». А между темь, ведь та-же Аглая, повидимому, такъ хорошо поняла «идіота», когда толковала ему: — «хоть вы въ самомъ дёлё больны умомъ, за то главный умъ у васъ лучше, чёмъ у нихъ у всёхъ, такой даже, какой имъ не снился; потому что есть два ума: главный и неглавный». Но та же самая Аглая пристаеть къ нему: — «Зачёмь въ васъ гордости нёть?» Дёло въ томъ, что гордости, т.-е. самолюбія, слишкомъ много въ ней, какъ и въ Настасъв Филипповив, а самолюбіе, какъ выставляетъ его Достоевскій, очень недалеко и отъ себялюбія. Все это-именно и есть по части «неглавнаго ума», который у кн. Мышкина вполнѣ заслоненъ умомъ «главнымъ». Аглая върно его поняла; но, сознательно ему поклоняясь, она чувствуеть, что ей не перейти раздёляющаго ихъ разстоянія, и хотіла-бы его перетащить къ себі, въ свой міръ, съ его «неглавнымъ умомъ».

Если она и говорить:— «я не хочу по баламъ ѣздить, я хочу пользу приносить... я не хочу быть генеральской дочкой», то вѣдь въ этомъ гораздо болѣе самолюбиваго оригинальничанья, чѣмъ настоящаго, безпримѣснаго хотѣнія приносить пользу. Такое хотѣніе возможно вѣдъ только при той христіанской любви, которая несовмѣ-

стима ни съ какою гордостью.

Объ этой-то настоящей любви и говоритъ постоянно «идіотъ», выражающійся о себѣ съ нелицемѣрнымъ смиреніемъ: «есть такія идеи, есть высокія идеи, о которыхъ я не долженъ начинать говорить, потому что я непремѣнно всѣхъ насмѣшу... У меня нѣтъ жеста приличнаго, чувства мѣры нѣтъ; у меня слова другія, а не соотвѣтственныя мысли, а это униженіе для этихъ мыслей». Что, если устами «идіота» говоритъ тутъ самъ Достоев-

скій, которому такъ часто приходилось убѣждаться, какъ плохо его понимаютъ и какъ ужасно его перетолковываютъ? Надѣлилъ-же онъ это, очевидно, любимое свое лицо столькимъ своимъ, даже несчастною своею болѣзнью (стоитъ только припомнить припадокъ съ княземъ Мышкинымъ въ концѣ романа и предшествующій ему экстазъ,

что вёдь и бываеть въ падучей).

Въ «идіотѣ» вѣдь сказывается, наконецъ, и то особаго рода вліяніе, какое все болье и болье оказываль Достоевскій на молодежь, на тотъ возрасть, какъ выражается кн. Мышкинъ, «въ которомъ всего легче и беззащитне можно подпасть подъ извращение идей». Настроеніе кн. Мышкина, какъ ѝ настроеніе Достоевскаго, шло во многомъ совершенно въ разрѣзъ съ самыми, какъ говорится, передовыми идеями, а между тёмъ ломавшихъ передъ этими идеями шапку молодыхъ людей невольно что-то тянуло къ этому «мистику» Достоевскому, какъ что-то тянетъ и къ его «идіоту», что-то заставляетъ передъ нимъ преклониться и эту, выведенную въ романъ, по самоновъйшему покрою идействующую молодежь. Часть ея, это правда, окончательно сбившаяся съ толку отъ соединенія своихъ широкихъ инстинктовъ съ вычитанною изъ книжекъ широкою доктриной, льнетъ къ князю потому, что думаетъ просто воспользоваться долей въ его наслъдствъ. При этомъ она считаетъ возможнымъ опереться на какое-то право; когда-же это право оказывается совершенно мнимымъ, но князь и самъ готовъ подёлиться съ ними, -- они съ чувствомъ оскорбленнаго достоинства отвергаютъ то, чего сами-же добивались на основании не настоящаго, а вымышленнаго права. Но вёдь изъ круга этой молодежи, отличающейся дикимъ смѣшеніемъ понятій, выдается, со своими несомнённо сочувственными сторонами, чахоточный юноша Ипполитъ. Вспомните повъсть, которую написалъ онъ на прощанье съ людьми: это, не сразу понятное смѣшеніе человіколюбивых и религіозных чувствъ съ мийніемъ, что человікъ долженъ думать только о себі и что всякая благотворительность глупа и вредна. И эта чудная исповѣдь читается передъ тѣмъ, какъ Ипполитъ, по давно составленному плану, не дожидаясь и безъ того недалекой отъ чахоточнаго естественной смерти, долженъ самъ себя лишить жизни; но самоубійство должно пронзойти отъ пистолета, въ которомъ недостаетъ капсюля!

И этотъ-же самый юноша, въ пылу увлечения тѣмъ, какъ тепло отнесся къ нему кн. Мышкинъ, сдѣлалъ на самомъ дѣлѣ то, чего чуть было не сдѣлалъ пристыженный Ганя: Ипполитъ два раза поцѣловалъ у князя руку, а «идіотъ» объяснилъ это присутствующимъ тѣмъ, что «ему-де хотѣлось... всѣхъ васъ благословить и отъ васъ благословеніе получить,—вотъ и все». Но, очень хорошо усматривая въ Ипполитѣ, при далеко не заглохшей струнѣ симпатическихъ чувствъ, господствующую струну раздутаго самолюбія и казовой гордости, кн. Мышкинъ обрацается къ нему самому со словами: «пройдите мимо насъ и простите намъ наше счастье».

Также точно разгадываеть онъ своимъ любовнымъ чутьемъ и всёхъ остальныхъ, выясняя имъ ихъ самихъ тёмъ, что у нихъ въ головё «разныя идеи сошлись». Прежде, по его замёчанію, «люди были какъ-то объ одной идеё, а теперь нервнёе, развитёе, сенситивнёе, какъ-то о двухъ, о трехъ идеяхъ за разъ... Теперешній человёкъ

шире...»

Наконсцъ, въ своемъ экстазѣ передъ припадкомъ, вникая въ различные виды нашего нравственнаго скитальчества, «идіотъ» съ такою-же любовною прозорливостью замѣчаетъ: «У насъ коль въ католичество перейдетъ, такъ ужь непремѣнно іезуитомъ станетъ... коль атеистомъ станетъ, то непремѣнно станетъ требовать искорененія вѣры въ Бога насиліемъ... Отчего это, отчего разомъ такое изступленіе?.. Оттого, что онъ отечество нашелъ, которое здѣсь просмотрѣлъ, и обрадовался; берегъ, землю нашелъ и бросился цѣловать...»

Во всемъ этомъ прямо сказывается самъ Достоевскій, этотъ, глубоко вдумывающійся своимъ любящимъ сердцемъ во всевозможныхъ больныхъ, душевный врачъ, этотъ въ послъдніе свои годы по преимуществу врачъ

молодого поколѣнія, которое и стало, наконецъ, съ довъріемъ къ нему обращаться, несмотря ни на какія предостереженія: «да вѣдь это не врачъ, а какой-то чудной знахарь, вѣдь это просто мистикъ и изувѣръ!»

Такіе крики про Достоевскаго стали усиленно раздаваться при появленіи его новаго романа: «Бѣсы». Иносказательный смысль этого страннаго заглавія объясняется въ концѣ романа. Степанъ Трофимовичъ Верховенскій положительно лучшая, въ художественномъ отношеніи, личность романа, во время своего бытства велить себы читать евангеліе, и, при чтеніи о бъсахъ, говоритъ, что «эти бѣсы, выходящіе изъ больного и входящіе въ свиней-это всё язвы, всё міазмы, вся нечистота, всё бёсы и бъсенята, накопившіеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россіи, за вѣка и вѣка». Личность самого Степана Трофимовича совершенно ясна. Это человѣкъ, котораго всю жизнь не покидаетъ льстящая ему мысль, что онъ потерпъль за либерализмъ, потому что когда-то нашли что-то предосудительное въ какомъ-то его публичномъ чтеніи, тогда какъ этотъ самый «либералъ» тогда-же упекъ въ рекруты своего крипостного (о чемъ и напоминаютъ ему на публичномъ чтеніи послѣ его словъ о томъ, что искусство выше освобожденія крестьянъ и т. п.). Но Степанъ Трофимовичъ, подъ конецъ, самъ себя върно опредъляеть, говоря, на основании Апокадинсиса, что нужно быть или холоднымъ, или горячимъ, а не только теплымъ. Онъ понимаетъ, что онъ быль только тепель, что онь быль «середка на половинкъ», а потому и вышло отъ него такъ немного проку. Такіе люди действительно были, — это праздные идеалисты сороковыхъ годовъ. Были въ томъ поколеніи, разумѣется, и другіе люди, заслуги которыхъ никогда не будуть забыты. Достоевскій, въ лиць Степана Трофимовича, не польстиль этому поколенію отщов; онь и въ своей записной книжкѣ называль ихъ не иначе, какъ «старыми колпаками сороковыхъ годовъ».

Въ качествъ человъка, которому, ради его направления, не повезло, удалившись въ провинцию и пристроив-

шись на положени «приживалки» у матери своего бывшаго ученика, генеральши Ставрогиной, Степанъ Трофимовичь сталь, повидимому, поддаваться вліянію обыденной провинціальной жизни, но... «посмотрѣли-бы вы на него, когда онъ садился за карты... Весь видъ его говорилъ: я сажусь съ вами въ ералашъ? Кто-жъ отвъчаеть за это? Кто разбиль мою деятельность и обратиль ее въ ералашъ? Э, погибай Россія!-И онъ осанисто козыряль съ червей». Но воть повъяло новымъ воздухомъ; у него-же все сводилось на то, что отечество неблагодарнъйшимъ образомъ о немъ позабыло... Какъ вдругъ о немъ вспомнили гдъ-то въ заграничныхъ изданіяхъ. «Все высокомеріе его взгляда на современниковъ сразу соскочило, и въ немъ загорълась мечта — примкнуть къ движенію и показать свои силы». Онь сталь заявлять о правахъ искусства... Надъ нимъ стали подсмъиваться, такъ какъ современники... опередили его. «Онъ безспорно согласился въ безполезности и комичности слова «отечество», согласился и съ мыслыю о вредъ религи, но громко и твердо заявиль, что «сапоги ниже Пушкина и даже гораздо ниже». Разумъется, такой ереси ему простить не могли.

Какъ подъйствовало на Степана Трофимовича ожиданіе «19 февраля?» «У насъ многіе полагали, —говоритъ лицо, ведущее въ романъ разсказъ, —что въ день манифеста будетъ нѣчто необычайное... И все вѣдь такъназываемые знатоки народа и государства...» И Степанъ Трофимовичъ «почти наканунъ великаго дня сталъ вдругъ проситься у Варвары Петровны (своей генеральши) за границу; однимъ словомъ, сталъ безпокоиться...» «Мы... слишкомъ поспѣшили съ нашими мужичками, —заговорилъ онъ, —мы ихъ ввели въ моду... мы надъвали лавровые вънки на вшивыя головы. Русская деревня за всю тысячу лѣтъ дала намъ лишь одного Камаринскаго... Пора... не смѣшивать нашего родного си-

волапаго деття съ bouquet de l'impératrice».

Одинъ изъ губернскихъ радикаловъ, Липутинъ, замъ-чаетъ ему на это, что похвалить мужичковъ «все-таки

было тогда необходимо — для направленія...» Когда въ сосёдней деревнѣ, по поводу воли, оказались недоразумѣнія, и туда, по мудрости мѣстныхъ властей, сгоряча послали воинскую команду, то либеральный Степанъ Трофимовичъ разглагольствовалъ въ клубѣ о томъ, что войска надо болѣе и предлагалъ даже немедленно передать это заявленіе, кому слѣдуетъ, въ Петербургъ... ¹).

Но, заботясь въ подобномъ смыслъ о возстановлении своей репутаціи, онъ неожиданно теряеть ее въ другомъ смысль, занеся на литературномъ утръ рацею о томъ, что «Шекспиръ и Рафаэль—выше освобожденія крестьянъ, выше народности, выше соціализма, выше юнаго покольнія, выше химіи, выше почти всего человьчества, нбо они уже плодъ, настоящій плодъ всего человічества, и, можеть быть, высшій плодь, какой только можеть быть». Но вёдь это значило зайти въ своей вёрности любимымъ традиціямъ гораздо далье «Пушкина, который выше сапотъ», — и такая смёлость погубила Степана Трофимовича. Послѣ скандала, приключившагося съ нимъ, когда тутъ-же нъкій семинаристь громогласно напомнилъ ему о бывшемъ его крипостномъ-теперь Оедьки Каторжномъ, Степанъ Трофимовичъ беретъ суму, странническій посохъ, надъваетъ высокіе сапоги и идетъ пъшкомъ изъ этого, оказавшагося его недостойнымъ, города — куда глаза глядять. Вотъ тутъ-то, встръчаясь случайно съ книгоношей, онъ хватается вдругъ, какъ за якорь спасенія для себя, за мысль о службі народу посредствомъ свангелія. Авось эти «вшивыя головы» окажутся болье къ нему благодарными! «Народъ религіозенъ, —залепеталъ онъ, — c'est admis, но онъ еще не знаетъ евангелія. Я ему изложу его... Въ изложении устномъ можно исправить ошибки этой замѣчательной книги», - рѣшаетъ онъ, давнымъ-давно, разумфется, и не думавшій открывать эту книгу... Теперь онъ вдругъ начинаетъ доискиваться въ

¹⁾ Между тамъ при первомъ слухъ о крестьянской реформъ тоть же Степанъ Трофимовичъ «не вытерпълъ и крикнулъ: «ура!» и даже сдълалъ рукой какой-то жесть, изображавшій восторгь». Но одно дѣло — слухъ, а другое—осуществленье.

ней разсказа о свиньяхъ, сез cochons... «Это мы, — восклицаетъ онъ въ припадкѣ самоосужденія, — мы, и тѣ, и Петруша (его сынъ...) et les autres avec lui, и я, можетъ бытъ, первый во главѣ, и мы бросимся, безумные и взбѣсившіеся, со скалы въ море, и всѣ потонемъ...» Но вѣдъ такое, неожиданное отъ него, своего рода кликушество—все-же эффектная поза. Стоитъ только вспомнить слова поэта о томъ, что

Съ Ивана, грознаго царя, До переписки Гоголя съ друзьями Самобичующій протестъ Есть русскихъ граждань достояньс...

Но бёдному Степану Трофимовичу, прежде чёмъ самому себя бичевать, пришлось испытать на себѣ действіс чужихъ кнутиковъ... начиная съ Петруши, се cher enfant, обращающагося съ отцомъ довольно таки прошколивающимъ образомъ. «Онъ рубля на меня не истратилъ всю жизнь, — говорить про него Петруша, — до 15-ти лътъ меня не зналь совсёмь, потомъ здёсь ограбиль, а теперь кричитъ, что болёль о мий сердцемъ всю жизнь и ломается передо мной, какъ актеръ». И мы въ самомъ деле узнаемъ изъ романа, что, овдовъвъ въ Парижъ, Степанъ Трофимовичъ переслалъ оттуда единственнаго своего птенца на руки къ какимъ-то теткамъ, куда-то въ глушь. Отецъ, правда, позаботился о томъ, чтобы провести его потомъ чрезъ гимназію въ университеть, но совсёмь не видался съ нимъ, а только патетически восклицалъ иногда: «Гдъ сынъ мой, возлюбленный сынъ мой»! Между тёмъ, живя въ своихъ заоблачныхъ эмпиреяхъ, папаша преисправно проживаль денежки, собранныя со «вшивыхъ головъ», не думая о томъ, что сынокъ, къ тому же и не раздълявшій его взгляда на Пушкина, а предпочитавшій Пушкину «сапоги», когда-нибудь его призоветь къ отвъту за безпорядокъ въ дълахъ. Если Патруша, побывавъ за границей, вернулся оттуда воинствующимъ нигилистомъ, готовымъ на все, то это ни мало не удерживало его отъ денегъ, собранныхъ со «вшивыхъ головъ». Въдь онъ бы

пошли у него, въ концѣ концовъ, на пользу тому же «посконному мужику», что, впрочемъ, не помѣшало Достоевскому спросить: «почему это всѣ эти отчаянные соціалисты и коммунисты въ то же время и такіе неимо-

върные скраги, пріобрътатели, собственники?»

Ясно, что, не польстивь отцами—а въ Степанъ Трофимовичъ выведенъ все же передовой изъ нихъ — Достоевскій столь же мало польстилъ и доттями, начиная съ этого Верховенскаго — сына, который ръжетъ уже не лягушекъ, а... приказываетъ ръзать людей. У него уже нътъ и въ поминъ чего-либо похожаго на тъ симпатическія струны, которыя такъ громко звучатъ у Раскольникова. Отецъ не даромъ отнесъ его къ сез соснопь: онъ по теоріи вполнъ оскотинившійся человъкъ, распложающій «добровольныхъ палачей»; онъ окончательно «перешагнулъ», онъ — нигилистъ буквальный, нигилистъ

чистой крови.

Относительно происхожденія у насъ нигилизма есть замьчательныя строки въ записной книжкъ Оедора Михайловича. «Комическіе были, -- говорить онъ туть, -- переполохъ и заботы мудрецовъ нашихъ отыскать, откуда взялись нигилисты? Да они ни откуда не взялись, а все были съ нами, въ насъ и при насъ». Къ нигилистамъ, въ широкомъ смыслѣ слова, онъ относитъ, конечно, и Верховенскаго-отца. «Нътъ, какъ можно, толкуютъ мудрецы, —читаемъ мы у него далъе, —мы не нигилисты, а мы только на отрицаніи Россін хотимъ спасти ее...» Но въ этомъ, по мнёнію Достоевскаго, и заключается нигилизмъ... Нигилизмъ есть оторванность отъ всякихъ преданій, безпочвенность, и въ этомъ отношеніи русскіе люди давно нигилисты. Не даромъ же Өедоръ Михайловичъ продолжаетъ: «нигилизмъ явился у насъ, потому что мы всё нигилисты, насъ только испугала новая, оригинальная форма его проявленія».

Если смотръть съ этой стороны, то невольно придешь къ тому, что, воспитавшись даже подъ непосредственнымъ воздъйствіемъ отца, Петръ Степановичъ могъ бы выйти такимъ же, какимъ вышелъ помимо его воздъй-

ствія. Захолустныя тетки Петра Степановича были, конечно, благочестивыя въ заурядномъ смыслѣ барыни; но отъ ихъ благочестія на старой византійской подкладкъ исключительной обрядности не было никакого жизненнаго плода. Степанъ Трофимовичъ Верховенскій быль философъ-идеалистъ и эстетикъ, но ото всего этого, благопріобрѣтеннаго изъ книгъ, также не выходило никакого жизненнаго плода, ничего, способнаго поставить человъка на прямую дорогу трезвой и стойкой деятельности. Степанъ Трофимовичъ въ свое время попалъ подъ вліяніе отвлеченных ученій, по самой своей отвлеченности болже или менже безобидныхъ; сынокъ его очутился уже подъ другимъ наноснымъ вліяніемъ, подъ вліяніемъ ученій, служившихъ и тамъ на Западъ реакціею противъ отвлеченности, ученій, непосредственно вторгавшихся въ жизнь съ ножомъ и ломомъ.

Но что же подготовило у насъ почву для успъха подобныхъ ученій какъ разъ въ ту пору, когда совершались у насъ великія преобразованія, долженствовавшія, повидимому, помъщать такому успъху? Достоевскій даеть намъ на это въ своемъ романѣ довольно ясный отвѣтъ. Почва была у насъ подготовлена тою соціальною борьбой, какою, пожалуй, и неизбъжно ознаменовывался переходъ отъ дореформенной поры къ преобразовательной. Нашъ барскій слой если открыто и не протестоваль противъ 19-го февраля, то сталъ къ нему въ замаскированную, но, тъмъ не менъе, дъятельную оппозицію, при чемъ пногда, въ пылу увлеченья, даже и снималась маска. Эту оппозицію, разумбется, нельзя сопоставлять съ оппозиціей южно-американскихъ плантаторовъ, приведшей къ борьбъ Юга съ Съверомъ изъ-за негровъ. Черезъ нашу затаенную оппозицію ясно однако проходитъ намфреніе испортить, что только можно, въ примфненіи великой реформы. Щедринъ въдь прямо подслушалъ у этихъ людей относительно ихъ бывшихъ крестьянъ: «пускай знаютъ поганцы, каково-сладка хваленая ихъ свобода». Но въ то же самое время не надобно забывать, стали кое-гдѣ раздаваться рѣчи съ намеками, что за

утраченныя права должно-бы вознаградить насъ, такъ сказать, à l'Anglaise. Представителемъ такихъ взгляловъ является въ «Бѣсахъ» Гагановъ. Послѣ 19-го февраля. говорить Достоевскій, «онъ вдругь почувствоваль себя какъ-бы лично обиженнымъ... Онъ принадлежалъ къ темъ страннымъ, еще уцелевшимъ на Руси, дворянамъ, которые чрезвычайно дорожать древностью и чистотой своего дворянскаго рода... Вийстй съ этимъ онъ терпить не могъ русской исторіи, да и вообще весь русскій обычай считаль отчасти свинствомъ...» Подъ вліяніемъ своихъ рыцарскихъ идей, онъ вызываетъ на дуэль Ставрегина, который буквально провель за нось его отца черезъ залу клуба, самъ же, что называется, спокойно расписался въ получении пощечины отъ Шатова. Когда, сверхъ всякаго ожиданія, Ставрогинъ принимаетъ вызовъ и держить себя затёмъ вполнё по правиламъ чести, городское дворянство подыскиваетъ объяснение для такой двойственности въ образъ дъйствій Ставрогина. И объяснение вскоръ нашлось самое подходящее, прямо льстившее ихъ барскимъ взглядамъ. «Чему-же тутъ удивляться, -- говорили они, -- что Ставрогинъ дрался съ Гагановымъ и не отвъчалъ студенту (т.-е. на его пощечину?) Не могъ же онъ вызвать на поединокъ бывшаго крѣпостного своего человѣка» (чѣмъ и былъ прежде Шатовъ). Следствіемъ было то, что безпутный Ставрогинъ сделался любимцемъ города. «Объявилось лицо, въ которомъ всв ошиблись, -- лицо, почти съ идеальною строгостью понятій». Что касается опять Гаганова, то съ другой стороны и самъ Петръ Степановичъ не прочь отъ того, чтобы воспользоваться его деревенскимъ гостепріимствомъ. Онъ не брезгаетъ имъ не только ради удобствъ и выгодъ, но, конечно, и ради того, что всякій «оппозиціонный элементь» годень въ дѣло.

Другого рода оппозицію рисуеть намь Достевскій въ лиць своего губернатора, г. фонь Лембке. Это уже оппозиція служилыхъ людей, приказныхъ или бюрократовь, въ числь которыхъ у насъ, какъ извъстно, не мало п представителей барства. Обида приказнымъ заключалась въ томъ, что рядомъ съ ними выросли вдругъ, какъ грибы послѣ дождя, какія-то небывалыя и непрошенныя земскія учрежденія. Подобно тому, какъ поміщики употребляли всё усилія, чтобы сдёлать несостоятельною крестьянскую реформу, администраторы задались стремленіемъ свести на нуль и реформу земскую. «Для уравновъщения и процвътания всъхъ губернскихъ учрежденій, -- разсуждаетъ фонъ Лембке, -- необходимо одно: усиленіе губернаторской власти... Надо, чтобы всѣ эти учрежденія, земскія-ли, судебныя-ли, жили, такъ сказать, двойственною жизнью, т.-е. надобно, чтобъ они были (я согласенъ, что это необходимо), ну, а съ другой стороны, надо, чтобъ ихъ и не было». Слова эти обращены къ Петру Степановичу, который успёль уже по своему обработать какъ губернатора, такъ и его супругу. На этоть разъ одъ не выдерживаеть и радостно проговаривается: «ну, какъ хотите, а все-таки вы намъ прокладываете дорогу и подготовляете намъ успъхъ». Тому-же, конечно, содъйствовали и тъ экзекуции, къ которымъ, благодаря своей административной мудрости, прибъгали городскія власти по поводу такъ-называемыхъ крестьянскихъ бунтовъ.

На эту сторону романа понятнымъ образомъ не обратила вниманія враждебная критика, которой нужно было выставить Достоевского какимъ-то гасильникомъ, чуть не доносчикомъ. Но на этомъ же не менте понятнымъ образомъ не желала остановиться и благопріятная ему критика, критика журнала, въ которомъ онъ тогда участвоваль, и которая желала его выставить вполит своимъ. Могла-ли эта критика останавливаться на дворянской и чиновничьей оппозиціи, подготовившей почву для нигилистовъ, если въ собственномъ умыслѣ представителей этой критики тогда уже было-въ отпоръ нигилизму выставить не что иное, какъ именно «дворянскую эру» и «усиленіе губернаторской власти», т.-е., какъ впоследствін замѣчено было въ Аксаковской «Руси», лѣченіе тёмъ, отъ чего произошла болёзнь. И несочувственная роману критика лицемфрила: одна притворялась, что не

признаетъ въ Петръ Степановичъ и его нигилистической компаніи живыхъ людей, другая зажмуривалась и прищуривалась, чтобы пройти мимо Гагановыхъ, фонъ Лембке и т. п. Объ критики въ сущности были—одного

поля ягода 1).

Случайно ставшій идеаломъ містнаго дворянства, бывшій воспитанникъ Степана Трофимовича, Николай Ставрогинъ, въ свою очередь обрабатывается Петромъ Степановичемъ, давно уже съ нимъ познакомившимся за границей. Петръ Степановичъ имфетъ на даровитаго, хотя и безпутнаго, Ставрогина совершенно особые виды. Онъ разсчитываеть современемъ пустить его въ народъ въ качествъ такъ-называемаго Ивана Царевича. Между ними завязывается по поводу этого откровенный разговоръ. На вопросъ Ставрогина: «какъ вы разбросали столько прокламацій?» Верховенскій отвѣчаеть: «первое, что ужасно дъйствуетъ, это мундиръ. Я нарочно выдумаль чины и должности: у меня секретарь, тайные соглядатаи, казначен. Затьмь-сльдующая сила, разумъется, сентиментальность. Соціализмъ у насъ распространяется преимущественно изъ сентиментальности... Затемъ следують чистые мошенники... иной разъ выгодны очень... но на нихъ... неусыпный надзоръ требуется... Наконецъ самая главная сила-цементъ, все связывающій-это стыду собственнаю миннія!.. И кто,спрашиваеть онь, - этоть миленькій трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого въ головь! За стыдъ почитають!.. Я вамъ говорю онъ у меня въ огонь пойдетъ, стоитъ только прикрикнуть на него, что недостаточно либераленъ». Ставрогинъ же замѣчаетъ на это: «все это-чиновничество и сентиментальность-клейстеръ хорошій, но есть одна штука еще получше: подговорите четырехъ членовъ кружка укокошить пятаго-подъ видомъ того, что тотъ донесетъ, и

¹⁾ Это ясно иза сопоставленія тёхъ противоположныхъ критическихъ отзывовь, которые приведены въ 3-мъ вып. комментарія къ θ . М. Достоевскому г. Зелинскаго.

тотчасъ же вы ихъ всёхъ пролитою кровью, какъ однимъ узломъ, свяжете». Но Ставрогинъ нъсколько запозздаль со своимь советомь: все это уже входило въ рецептъ, вывезенный изъ-за границы Петромъ Степановичемъ. При помощи такого пріема онъ и рѣщаетъ развязаться съ оказавшимся для нихъ неудобнымъ Шатовымъ. Неудобство это въ томъ, что онъ, какъ оказывается, не поддался тому «миленькому», который такъ потрудился никому не оставить ни одной собственной идеи. Шатовъ не способень разъ навсегда отлиться въ готовую форму, способенъ отдать свою волю чужому верховодству. Вотъ Верховенскій и рішаетъ его устранить на томъ основаніи, что онъ можетъ на нихъ донести. «Если-бъ каждый изъ насъ, - предлагаетъ онъ вопросъ своему собранію, -зналъ о замышленномъ политическомъ убійствъ, то пошелъ ли бы онъ донести, предвидя всё послёдствія, или остался бы дома, ожидая событій?» Прямого ответа никто не решился дать, стали говорить обинякомъ. Только Шатовъ въ это время молча всталь и вышель изъ комнаты. Онъ насквозь понимаетъ Петра Степановича и видитъ, къ чему это клонится. Онъ видитъ, что уже обреченъ на смерть, и тутъ ничего не подълаешь. «Въдь это для васъ же невыгодно», -- говорить, какъ бы прямо его тёмъ отмёчая, Верховенскій.—«За то теб'я выгодно, какъ шпіону и подлецу», доканываеть себя такою смёлою прямотою Шатовъ. Это было уже «преступленіе противъ величества» набольшаго—а за такое преступление вездѣ полагается смертная казнь.—«Донесеть онъ, или не донесетъ?» стали спрашивать по уходъ Шатова. «Если-бъ доносчикъ, онъ бы прикинулся, а то онъ наплевалъ да и вышелъ», совершенно резонно замѣтилъ кто-то. Но какіе резоны передъ тою логикою, которая предписывается имъ всёмъ Петромъ Степановичемъ. Кончилось неизбѣжно тѣмъ, что въ доносъ Шатова всѣ повѣрили; «но—прибавляетъ авторъ, и въ то, что Петръ Степановичъ играетъ ими, какъ пѣшками, тоже вѣрили. А затѣмъ вст знали, что завтра все-таки явятся въ комплектъ на

мъсто, и судьба Шатова ръшена. Чувствовали, что вдругь, какъ мухи, попали въ паутину къ огромному науку: злились, но тряслись отъ страху» 1). Исключеніе составляеть Ставрогинъ, котораго онъ припасаетъ, на случай, въ Иваны Царевичи. «Мы проникнемъ въ самый народъ, -- говоритъ онъ Ставрогину. -- Знаете ли, что мы ужь и теперь ужасно сильны?.. Знаете ли, сколько мы однёми готовыми идейками возьмемъ. Я поёхаль-свирѣпствовало ученье Litré, что преступленіе есть помѣшательство, а именно оно здравый-то смыслъ и есть» (развитіе Раскольниковской теоріи)... Русскій Богь, --говорить онь съ особеннымъ смакомъ, -- уже спасоваль передъ «дешевкой»... Матери пьяны, дъти пьяны... Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянъе стали. Ахъ, какъ жаль, что нътъ пролетаріевъ! Но будуть, будуть-къ этому идеть» (Туть же въдь и мудрые администраторы подмогутъ). «Одно или два покольнія развесть теперь необходимо... Человькъ обращается въ гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь—вотъ чего надо! А тутъ еще «свѣженькой кровушки», чтобы попривыкли. ...Тутъ-то мы и пустимь Ивана Царевича ... И застонетъ стономъ земля: «новый правый законъ идеть!» А «строить мы будемъ, мы, одни Mbi.».

Ну, какъ тутъ не вспомнить дипломата въ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ»? «Безъ насъ—говоритъ онъ тамъ, безъ насъ нельзя... мы всплывемъ, а девизъ нашъ въ настоящую минуту должно быть: «ріге ça va, mieux ça est». Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, тѣмъ для нашего могущества выгоднѣе—перевели и истолковали Петры Верховенскіе.

¹⁾ Вь числё средствь, употребляемых этимъ паукомъ, мы однако не видимъ подкупа. Между тёмъ насъ хотять увёрить, что петрашевцы въ свое время именно подкупали, такъ какъ подкупаленнымъ быль у никъ—самъ бедоръ Михайловичь Достоевскій! Если вёрить его быршему прінтелю, доктору Яновскому, то, занявь у покойнаго Спёшнева 500 р., Достоевскій говориль: «я теперь съ мимъ и ело». Кого это только морочить докторъ Яновскій? Должно быть себя самого (см. Русскій Вёствикъ 1885 г. апрёль, стр. 816—817).

Могущество, именно ихъ могущество—статья для нихъ очень важная. «Одна десятая доля человъчества, по ихъ теоріи, получаетъ свободу личности и безграничное право надъ остальными девятью десятыми. Тъ-же должны обратиться... въ родъ какъ бы въ стадо» (слова Шигалева). Раздается между ними даже такое миъніе, что не проще ли, не скоръе ли—«взять да взорвать на воздухъ эти у/10», такъ какъ слъпо повиноваться онъ, пожалуй, не вдругъ

научатся (мнѣніе Лямшина).

Та же жажда могущества выставлена была уже въ Раскольниковъ, также въдь признающемся: «власть, власть прежде всего». Но въ Раскольниковъ, при симпатическихъ сторонахъ его характера, власть все же не можетъ окончательно обратиться въ самодовлъющую. Въ немъ не только живо, но и громко говоритъ сердце, способное подсказывать власти, что на самомъ дълъ она—только прикладная сила, способная ее наводить на благія ея приложенія. Въ Петръ же Степановичъ сердце умерло; въ немъ одинъ холодный разсудокъ, состоящій на службъ у всепожирающаго властолюбія; жертва же

этой адской службы-подрастающее покольніе.

Оно попадаеть въ ловушку въ силу той ловкой игры на свободолюбивыхъ струнахъ его души, которая заключается, напримёръ, въ слёдующемъ воззваніи Петра Степановича: «я васъ спрашиваю, что вамъ милъе: медленный ли путь, состоящій въ сочиненіи соціальныхъ романовъ и въ канцелярскомъ предрешени судебъ на тысячи лётъ впередъ на бумагь, тогда какъ деспотизмъ тёмъ временемъ будетъ глотать жареные куски... или вы держитесь решенія скораго?.. Кричать: «сто милліоновъ головъ»; -- это, можетъ быть, еще и метафора, но чего ихъ бояться, если при медленныхъ бумажныхъ мечтаніяхъ деспотизмъ въ какія-нибудь сто лётъ съёстъ не 100, а 500 милліонова голова... Прошу всю почтенную компанію ...прямо и просто заявить, что вамъ веселье: черенацій ли ходъ въ болоть, или на всьхъ нарахъ черезъ болото?» Желанный отвътъ подразумъвается.

Достоевскій съ глубокою грустью останавливается на этомъ явленіи. Тутъ вёдь передъ его душевнымъ взоромъ тё же «униженные и оскорбленные»—люди, надъкоторыми совершается величайшее изъ насилій. Они обращаются съ юныхъ лѣтъ въ безгласное орудіе чужихъ цѣлей, изъ нихъ вербуются тѣ палачи — добровольцы, къ которымъ прямо примѣняется выраженіе: «добровольно—наступя на горло».—Имъ говорятъ: «ступай—и взорви», «ступай—и подкинь», «ступай—заколи или выстрѣли»; и они идутъ и исполняютъ, потому что, отказавшись положить другого на плаху, они сами на нее попадутъ, да еще й съ клеймомъ такъ-называемаго «подлеца», которое, увѣряютъ ихъ, перейдетъ въ потомство.

Въ числѣ этихъ особаго рода «несчастныхъ» оказывается у Достоевскаго и гимназисть, «очень горячій и взъерошенный мальчикъ лътъ 18-ти, сидящий съ мрачнымъ видомъ... Видимо страдая за свои 18 лътъ, этотъ крошка, -- сострадательно замвчаеть Достоевскій, -- быль уже начальникомъ самостоятельной кучки». Тутъ же оказывается и студентка съ добръйшимъ сердцемъ, отправляющаяся по университетскимъ городамъ, чтобы принять участіе въ страданіяхъ бёдныхъ студентовъ и «возбудить ихъ къ протесту». На все это Достоевскій указываль имъ же самимъ, вразумляя и предостерегая ихъ отъ того особаго деспотизма, который, пожалуй, будеть еще похуже всякаго другого. Й значительная часть молодежи такъ и понимала намъренія Достоевскаго; она знала, что онъ настоящій другь ея, другь и такъ-называемыхъ студентокъ, что онъ всегда сочувствоваль и этимъ последнимъ, благословляя ихъ жажду къ высшему образованію, цёня ихъ способность на всё лишенія, ихъ удивительный аскетизмъ во имя науки, той науки, которая нужна и женщинь, даже и въ томъ случав, если имъть въ виду только положение ея въ семьъ.

Самымъ, можетъ быть, жалкимъ, самымъ вызывающимъ состраданіе тою «униженностью и оскорбленностью»,

которой онъ долго совсёмъ не чувствуетъ, является въ «Бѣсахъ» прапорщикъ Эркель, —этотъ, по природѣ, любящій сынь, отсылающій матери цёлую половину своего скуднаго жалованья. «Какъ, должно быть, она цѣловала эту бёдную бёлокурую головку, какъ дрожала за нее, какъ молилась о ней...», -говорить Достоевскій. «Чувствительный, ласковый и добрый Эркель, по его замічанію, быть можеть, быль самый безчувственный изъ убійцъ, собравшихся на Шатова. Этотъ чувствительный мальчикъ воображалъ, что такъ оно нужно для достиженія великой, спасительной для челов вчества цели». Онъ, какъ какая-нибудь Татьяна или Наталья въ офицерскомъ сюртукъ, безусловно върилъ въ своего героямолился, такъ сказать, на Петра Верховенскаго. Только при прощаніи съ нимъ уже послі участія въ предписанномъ имъ убійстві, онъ былъ пораженъ, былъ обиженъ холоднымъ обращениемъ этого человека, которому такъ легко позволилъ себя обезчестить пролитою по его приказу кровью. Но увы! бёдный мальчикъ и тутъ всене вразумляется до того, чтобы усмотръть и возчувствовать именно свое безчестіе... «Вы все, а мы — ничто» — вотъ что, смиренно себя темъ успокоивая, говорить онь Верховенскому.

Но что же такое этоть ужасный Шатовь, въ убійствѣ котораго преспокойно принимають участіе даже такіе симпатичные юнцы? Шатовъ, по опредѣленію Достоевскаго, — это «одно изъ тѣхъ идеальныхъ русскихъ существъ, которыхъ вдругъ поразитъ какая-нибудь сильная идея и тутъ разомъ придавитъ ихъ собой — иногда

даже на вѣки».

Побывавъ за границей, онъ именно тамъ-то и измѣнилъ радикально нѣкоторыя изъ прежнихъ своихъ убѣжденій. Онъ тамъ вдругъ понялъ прежде всего, что дѣятельность въ пользу народа не можетъ быть совмѣстима съ презрѣніемъ къ нему. Изъ него тамъ выработался новый, еще болѣе преданный своимъ убѣжденіямъ, Разумихинъ. «Если я за народъ,—разсуждалъ онъ,—такъ я его пѣшкой не дѣлаю; если я за народъ, такъ я его въ матеріалъ для себя не обращаю; если я за народъ, такъ я признаю въ немъ разумную человъческую душу, а не тварь, созданную для того, чтобы помыкать ею».--Это прямо противоположно тому, что передаетъ Достоевскій въ «Дневникѣ писателя». Кто-то вамѣтиль относительно извъстных затьй: «да въдь народъ съ этимъ не согласится». - «Такъ уничтожить народъ!» вырвалось у одного изъ спорящихъ. Шатовъ видитъ, напротивъ, въ народъ силу, на которую нельзя посягать. «Никогда эти ваши люди не любили народа, - говоритъ онъ Верховенскому-отцу,--не страдали за него и ничемъ для него не пожертвовали... Нельзя любить того, чего не знаешь, -- поясняетъ онъ, -- а они ничего въ русскомъ народъ не смыслили... Мало того, съ омерзительнымъ преэръніемъ къ нему относились... подъ народомъ воображали себъ однихъ парижанъ и стыдились, что русскій народъ не таковъ»... Сравнивая же современное съ предшествующимъ, Шатовъ замъчаетъ, что отцы и дъти-прямо одного поля ягоды, различные плоды одной и той же безпочвенности. Отцы когда-то были въ упоенін отъ своей поміщичьей власти, діти, при всей своей казовой свободь, тоже до опьяненія любять власть. «У нихъ все смертная казнь, -- говоритъ онъ, -- и все... на бумагахъ, съ печатями, три-съ половиной человъка подинсываютъ... Кучка преувеличиваетъ свой ростъ и значеніе... По моему, ихъ всего и есть одинъ Петръ Верховенскій... этотъ клопъ, невѣжда, дуралей, не понимающій ничего въ Россіи»... «Опять вы улыбастесь вашею брезгливою свътскою улыбкою, -- обращается онъ къ бывшему барину своему, Ставрогину.—О, когда вы поймете меня? Прочь барича!.. Вы баричъ, последній баричъ, — заключаетъ онъ. — Добудьте Бога трудомъ!».

Шатовъ, вышедшій изъ народа, не поддается Верховенскому. Не забудемъ, что и совершенно другой человъкъ изъ народа, Оедька Каторжный съ особымъ сознаніемъ своей самостоятельности говоритъ про своего бывшаго барина: «потому въ Рассеъ никакъ нельзя безъ документа, такъ ужь онъ и думаетъ, что мою душу за-

полонилъ». Это выражение въ высшей степени характерное. «Заполоненье народной души» — прямо входитъ

въ расчеты различныхъ Петровъ Степановичей.

Достоевскій, главнымъ образомъ, и указывалъ на такое «заполоненье души» вообще; онъ предостерегалъ отъ него нашу учащуюся молодежь. Другіе, либеральничая, искали себѣ популярности у молодежи, и преспокойно получали затѣмъ не малые даже знаки отличія, потому что умѣли не все досказывать, мудро кое о чемъ умалчивать съ обоихъ концовъ. Онъ одинъ имѣлъ полное право сказать: «я ничего не прошу и ничего не возьму и не мнѣ хватать звѣзды за мое направленіе» 1). Но онъ-то и высказывался передъ молодежью вполнѣ, сознавая своимъ любящимъ сердцемъ, какой страшный грѣхъ беретъ на душу тотъ, кто въ такое время, какъ наше, допускаетъ въ своихъ рѣчахъ хоть какія-нибудь недомолвки. И вотъ — онъ всегда говорилъ, «какъ власть имѣющій, а не какъ книжники и фарисеи!»

V.

«Дневникъ писателя» и «Подростокъ.»

Появленіе «Вѣсовъ» временно послужило враждебной Достоевскому критикѣ удобнымъ поводомъ поудержать отъ него молодое поколѣніе. Враждебная критика дипломатически налегала на то, что вѣдь, въ сущности, это только какая-то реляція о Нечаевской исторіи въ формѣ романа, а развѣ дѣло искусства спускаться до подобныхъ реляцій? Тутъ за искусство въ его чистотѣ вооружались люди, для которыхъ вообще искусство не много значило (на томъ основаніи, что «сапоги выше Пушкина»). Но они слѣдовали въ данномъ случаѣ тому оппортунизму, который сказался уже въ старой статъѣ Добро-

¹⁾ Изъ записной книжки О. М. Достоевскаго.

любова о «забитыхъ людяхъ»: и въ ней вѣдь говорилось о недостаткѣ художественнаго таланта у Достоевскаго. И теперь за «художественность» и противъ «тенденціозности» ополчилась именно та критика, которая сама была партійно-тенденціозна; она поступила такъ, потому что та тенденція, которую она усматривала у Достоевскаго,

ей не нравилась.

Сдълавшись въ 1873 г. редакторомъ «Гражданина», Достоевскій, печатая въ немъ свой «дневникъ писателя», подробно касался тутъ «тенденціи» своихъ «Бѣсовъ» и отношеній къ ней критики. «Я хотёлъ, — поясняль онъ, поставить вопросъ, какимъ образомъ въ нашемъ переходномъ и удивительномъ современномъ обществъ возможны не Нечаевъ, а Нечаевы, и какимъ образомъ можеть случиться, что эти Нечаевы набирають себъ наконецъ Нечаевцево?» — Возражая своимъ критикамъ, онъ имѣлъ въ виду и тѣхъ, которые объясняли дѣло такъназываемою «полунаукою» 1). «Или вы думаете, — спрашиваль онъ ихъ, —что знанія, «научки», школьныя свѣдъньица (хотя-бы университетскія), такъ ужь окончательно формирують душу юноши, что съ получениемъ диплома онъ тотчасъ-же получаеть незыблемый талисманъ, разъ навсегда узнавать истину и избъгать искушеній?.. Неужели-же вы вправду думаете, что прозелиты, которыхъ могъ-бы набрать у насъ какой-нибудь Нечаевъ, должны быть непременно лишь один шалопаи? Не втрю, не вст; я самъ старый Нечаевеце и тоже стояль на эшафоть, приговоренный къ смертной казни, и увъряю васъ, что стоялъ въ компаніи людей образованныхъ». Оговариваясь далке, что онъ очень хорошо понимаетъ всю громадную разницу между Петрашевцами и Нечаевцами, онъ указывалъ, однако, на то, что первые представляли собою начальный фазисъ той «одержимости теорією», дальнѣйшимъ фазисомъ которой являются вторые... «Я уже въ 1846 г., -говорилъ онъ, -былъ по-

¹⁾ Такъ взглянуль тогда тоть журпаль, въ которомъ появились «Вісы», т.-с. «Русскій вістинкъ».

священъ во всю «правду» грядущаго обновленнаго міра...» «Всв эти убъжденія о безнравственности самыхъ основаній современнаго общества... объ уничтоженій національностей во имя всеобщаго братства людей, о презръній къ отечеству, какъ тормазу во всеобщемъ развитін... все это были такія вліянія, которыхъ мы преодол'єть не могли» (самъ-то онъ, конечно, во многомъ преодолёль, вполнѣ сохранивъ любовь къ отечеству и народности, не видя въ ней и тогда чего-либо несовитетного съ любовью къ человъчеству). «Тогда уже, — старался тутъ объяснить Достоевскій, — смотрыли на соціализмо, какъ на необходимую «поправку» христіанства, — ноправку въ смысле большаго практицизма, нежеланія откладывать въ «долгій ящикъ». Позже, въ наши дни, такой практицизмъ сведенъ былъ къ тому, чемъ пользовалось уже средневѣковое человѣчество—но пользовалось во имя догмата... Теперь ухватились за тотъ-же огонь и мечь во имя перестроенія общества на основаніи жизненнаго ученья о «братствв...» «Въ моемъ романв «Бвсы», — объясняль Достоевскій, — я пытался изобразить тѣ многоразличные и разнообразные мотивы, по которымъ даже чиствищие сердцемъ и простодушнъйшіе люди могуть быть привлечены къ совершению чудовищнаго злодъйства... Скажите-же теперь, господа, --спрашиваль онь, --кто лучше относится къ молодежи, — вы-ли, говорящіе, что попадаются шалопан, или я, утверждающій, что попадаются честные и благородные люди?» «Пока кругомъ насъ, заключаеть онь; такой тумань фальшивыхъ идей... поневоль пріискиваешь иногда всевозможныя средства, чтобъ выйти изъ недоуманія. Одно изъ такихъ средствъбыть поменте безсерденными (т.-е. не держаться осторожной мудрости «моя хата съ краю»), не стыдиться хоть иногда, что васъ кто-нибудь назоветъ «гражданиномъ»-1) и хоть иногда сказать правду, если-бы даже она была и недостаточно, по вашему, либеральна».

Достоевскій наменаеть на названіе своего журнала, вносл'єдствім (когда онь отъ него отказался) въ самомъ д'ёл'ё принимавшаго великое имя «гражданинъ» зачастую всуе.

Личныя воспоминанія, къ которымъ Достоевскій переходить оть объясненій по поводу «Бісовь», принимають у него туть очень грустный колорить. Въ его воображеніи возстаеть туть, между прочимь, бесёда съ Бълинскимъ, въ которую вмъшивается какое-то третье лицо, утверждая, что «ежели-бы Христосъ пришель въ наше время, то Онъ примкнулъ-бы къ воинствующему соціализму», съ чѣмъ сейчасъ-же и согласился Бѣлинскій. По мнѣнію Оедора Михайловича, Бѣлинскій быль «самый торопившійся человікь во всей Россін». — «Этоть всеблаженный человъкъ, -- говоритъ онъ, -- иногда, впрочемъ, очень грустилъ (блаженнымъ назвалъ его Достоевскій въ смыслѣ Грибоѣдовскаго: «блаженъ кто вѣруетъ тепло ему на свётё», такъ какъ онъ твердо вёровалъ въ цивилизацію) ... но грустиль не отъ сомниній, не отъ разочарованій ...а вотъ почему не сегодня, почему не завтра?» Достоевскій при этомъ вспоминаеть, какъ Бѣлинскій частенько ходиль смотрѣть на работы по толькочто предпринятой въ то время Николаевской жельзной дорогь: «Хоть тымь сердце отведу, — говориль онь, что постою, да посмотрю... наконецъ-то и у насъ будетъ хоть одна жельзная дорога...» Достоевскій увъряеть, будто онъ въ то время страстно принялъ все ученье Бѣлинскаго, хотя тутъ-же говоритъ, что Бѣлинскій подъ конецъ его не взлюбилъ. Дъло, должно быть, въ томъ, что на самомъ дълъ и въ то уже время Достоевскій не быль способень такъ страстно въровать ни въ единую спасающую европейскую цивилизацію, ни во все портшающій воинствующій соціализмъ (обѣ эти вѣры, судя по словамъ Өедора Михайловича, удивительнымъ образомъ уживались въ Бълинскомъ, хотя въдь въ сущности соціализмъ есть полижищее отрицаніе всеспасающей цивилизаціи). Дъло, должно быть, въ томъ, что Достоевскій уже и тогда не могъ страстно торопиться, потому что, даже и въ своемъ качествъ «заговорщика», долженъ быль плохо вёрить во всякія — какъ мирныя, такъ и воинственныя панацен, имѣя свой особый взглядъ на глубокіе корни общественнаго зла и неправды.

Касаясь своего прибытія въ Сибирь, онъ вспоминаетъ о тёхъ женахъ декабристовъ, которыя каждаго изъ нихъ одёлили евангеліемъ. «Я читалъ его иногда,—говоритъ онъ, и читалъ другимъ... Кругомъ меня были именно тѣ люди, которые по вѣрѣ Бѣлинскаго (онъ разумветь, конечно, ученіе о «средв») не могли не сдвлать своихъ преступленій, а, стало быть, были правы и только несчастиве чёмъ другіе». Замёчая, что въ этомъ легко усмотръть совпадение знаменитаго критика-публициста съ народнымъ взглядомъ, Достоевскій сейчасъ же и оговаривается самымъ глубокомысленнымъ образомъ: «Этимъ словомъ «несчастные» народъ какъ бы говорить несчастнымъ: «вы согръшили и страдаете, но и мы въдь *гръшны*. Будь мы на вашемъ мѣстѣ — можетъ быть, и хуже бы сделали. Будь мы получше, можеть быть, и вы не сидёли бы по острогамъ. Съ возмездіемъ за преступленія ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконіе». А между тёмъ вёдь изъ теоріи «среды» вытекаетъ всеобщая и полнёйшая невмёняемость: люди ни въ чемъ и никогда не виновны, виновны одни порядки.

Нашъ народъ, какъ объясняетъ намъ Достоевскій, считаетъ несчастными тѣхъ, которые, подобно евангельской блудницѣ, были «яты въ преступленіи», которымъ, такъ сказать, выпалъ жребій и выполнить то, и однимъ отвѣчать за то, въ чемъ незримо участвовали, т.-е. и виновны, далеко не они одни. Народъ нашъ въ своемъ взглядѣ вѣренъ завѣту Христа, сказавшаго обвинителямъ: «кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ брось въ нее первый камень», но сказавшаго однако-же и блудницѣ:

«иди и не гръши».

Ученіе о «средѣ» включалось, конечно, его представителями въ замышляемую ими «поправку» христіанства. Достоевскій, не признавая такой поправки, указываль намъ на родной народъ, который, при всей своей темнотѣ, оставался непоколебимо вѣренъ прямому смыслу евангелія.

Самъ этому выучившись у народа, Достоевскій совѣтовалъ и другимъ у него поучиться. Отсюда его не-

расположение къ тѣмъ, которые «питали лишь одно презрѣніе къ русскому народу, воображая и въруя въ то же время, что любять его и желають ему всего лучшаго.» Къ числу подобныхъ людей относиль онъ и Герцена, котораго, по его словамъ, «какъ будто сама исторія предназначала выразить собою въ самомъ яркомъ типъ... разрывъ съ народомъ огромнаго большинства образованнаго нашего сословія...» Какъ крупный представитель такого «разрыва», Герценъ, по оригинальному выраженію Достоевскаго, «даже и не эмигрироваль, а такъ уже и родился эмигрантомъ...» «Герценъ, — говорилъ Өедоръ Михайловичъ, долженъ былъ стать соціалистомъ, и именно какъ русскій баричъ, т.-е. безо всякой нужды и цёли, а изъ одного только «логическаго теченія идей» н отъ сердечной пустоты на родинъ. Онъ отрекся отъ основъ прежняго общества, отрицалъ семейство, и былъ, кажется, хорошимъ отцомъ и мужемъ. Отрицалъ собственность, а въ ожиданіи успъль устроить дела свои и съ удовольствомъ ощущалъ за границей свою обезпеченность...» «т.-е. ту обезпеченность, которую имёль въ виду Карамзинъ, когда говорилъ, что «дворянинъ россійскій есть гражданинь вселенныя и можеть внъ Россін жить Россіею...» т.-е. доходами съ находящихся въ ней имѣній. На основаніи всего этого Достоевскій рѣшился даже сказать про Герцена, что онъ «попросту продуктъ прежняго крѣпостничества, которое ненавидъть и изъ котораго произошель, не по отцу только, а именно черезъ разрывъ съ родной землей и ея идеалами».

Этой характеристикъ Герцена въ «Дневникъ писателя» 73 г. соотвътствуютъ многія черты, приписанныя въ романъ «Подростокъ» (появившемся въ 1875 году) Версилову. Черты эти, конечно, заключаются не въ образъ дъйствій Версилова, а въ его воззръніяхъ. Версилова съ его «случайной семьей» нельзя же назвать ни хорошимъ отцомъ, ни хорошимъ мужемъ. Съ другой стороны—вмъсто того, чтобъ себя обезпечить, онъ, по обычаю многихъ нашихъ баръ, растратилъ громадное

состоянье. Что же касается его воззрвній, то онъ самъ говорить про себя: «Я увхаль съ твмъ, чтобъ остаться въ Европв... и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировалъ (на самомъ же двлв онъ вернулся въ Россію). Я ни въ какомъ заговорв не участвовалъ... Я просто увхалъ тогда отъ тоски, отъ внезапной тоски. Это была тоска дворянина — право, не умвю лучше выразиться... Ты думаешь, я стосковался по крвпостничеству? (Онъ говоритъ съ сыномъ). О, нвтъ, мой другъ. Да мы-то и были освободителями. Я эмигрировалъ безъ всякой злобы... Насъ такихъ въ Россіи, можетъ быть, около тысячи человвкъ... но вся Россія жила лишь пока для

того, чтобы произвести эту тысячу».

Такое странное мижніе о себж и о своихъ онъ, по своему, вполнъ выясняетъ. Они, тоскующіе на родинъ, не находящіе тамъ для себя никакой достойной дъятельности даже въ такія эпохи, какъ переживаемая Версиловымъ, они, конечно, тоскуютъ и за моремъ, но Версиловъ не даромъ-же говоритъ: «я за тоску мою не взялъбы никакого другого счастья...» «Нетъ свободнее и счастливъе, - тутъ-же говоритъ онъ, - русскаго европейскаго скитальца изъ нашей тысячи». Онъ свободенъ потому, что, пользуясь родиной, вовсе не связанъ ею; онъ счастливъ потому, что вращается въ самой широкой, самой неистощимой, по своему содержанію, сферь. «У насъ,-говоритъ онъ, --- создался въками какой-то еще нигдъ невиданный высшій культурный типъ, котораго нётъ въ цёломъ мірѣ — типъ всемірнаго болѣнія за всѣхъ...» Онъ прямо сознается при этомъ, что, эмигрируя въ Европу, онъ «тогда ъхалъ ее хоронить». Приснившаяся ему картина, воспроизводящая утро перваго дня европейскаго человъка; наводить его на мысль о заходящемъ солнцъ послѣдняго его дня.

Въ этомъ «последнемъ дне», въ этихъ «похоронахъ» Европы сказалось опять-таки что-то Герценовское, съ примъсью, однако, ему несвойственной, почти мистической, складки. Тутъ Достоевскій, въроятно, имъль въ виду тотъ типъ людей «о двухъ и о трехъ идеяхъ», о

которомъ говоритъ его «идіотъ». Какъ характеръ, Версиловъ, по своей неустойчивости и распущенности, напоминаетъ подобные-же типы у Тургенева, также объясняемые, чуть-ли не помимо воли автора, ихъ безпочвенностью, несуществованиемъ для нихъ какихъ-либо жизненныхъ, направляющихъ и сдерживающихъ преданій. У Версилова, какъ и у другихъ ему подобныхъ, есть благіе порывы, даже положительные акты моментальнаго великодушія, но это не мішаеть ему-сколько ни постарался онъ гуманизировать форму своего поступка-присвоить себъ жену своего кръпостного человъка и, при всей ея любви къ нему и даже самого его къ ней, въ сущности, испортить ея жизнь какъ и жизнь ея и своего сына-этого «Подростка», ведущаго въ романт свои записки. Въ этомъ послъднемъ Достоевский, со своею обычною исихологическою глубиною, выставиль передъ нами особый, неръдко также встръчающийся въ жизни, видъ «униженности» и «оскорбленности». Онъ униженъ и оскорбленъ самымъ фактомъ своего рожденія, самымъ вытекающимъ изъ него положениемъ. Враждебная Достоевскому критика, хотя и отнесшаяся къ нему на этотъ разъ благосклоннъе, такъ какъ «Подростокъ» появился не въ «Русскомъ Въстникъ», а въ «Отечественныхъ Запискахъ», — оказалась, однако, по-прежнему легкомысленною. Она выставила «Подростка» отъявленнымъ эгоистомъ, хотя сама-же и проговој илась о томъ, какъ онъ половину накопленныхъ денегъ употребилъ на какого-то подкинутаго ребенка. Да въдь критика тутъ-же съ полнъйшею развизностью, заявила, что «эгонзмъ есть неизбѣжное логическое слѣдствіе человѣческой забитости», той, о которой когда-то написаль свою статью Добролюбовъ, также проглядъвшій въ ней прямо противоположныя черты въ такъ-называемыхъ- «забитыхъ людяхъ» Достоевскаго. Посвященная «Подростку» критика «дѣла», буквально слѣдуя данному такъ давно камертону, уже прямо выдумала такой факть, какъ то, будто «всть» такъ-называемые «забитые» у Достоевскаго — «эгонсты, отчасти меланхолики, избъгающие общества, въчно замкнутые въ своемъ маленькомъ микроскопическомъ «я». Точно будто-бы эти господа никогда не читали Достоевскаго или читали только для того, чтобы выводить изъ него нѣчто, прямо противоположное тому, что онъ самъ

утверждаетъ.

«Подростокъ», быть можеть, принадлежить у автора къ темъ, которые более другихъ уходять въ свое я, но и онъ, однако-же, не утопаетъ безследно въ немъ. Самая эта, постоянно въ немъ сказывающаяся, жажда отща, есть, вмёстё съ тёмъ, и жажда нравственной опоры, экажда идеала. Съ какою любовью замътилъ онъ разъ на лицъ у Версилова «что-то страдальческое или, лучше сказать, что-то гуманное, высшее». «Не умью я этого высказать, - сознается онъ, - но высокоразвитые люди, какъ мив кажется, не могутъ имвть торжественно и побѣдоносно счастливыхъ лицъ». Вѣдь это напоминаетъ Раскольникова съ его гуманной, глубоко симпатической стороны. Подростокъ болбеть душой, такъ мало встрбчая вокругь себя того, что называеть вследь за Макаромъ Ивановичемъ «благообразіемъ». За то съ какимъ жаромъ говорить онъ доктору объ этомъ Макаръ Ивановичь, мнимомъ своемъ отць, что всьмъ-бы следовало у него поучиться, потому что «у него есть твердое въ жизни...»

Этоть мнимый отеця подростка является въ романѣ настоящимъ представителемъ иравственных устоевъ. Онъшизъ народа, и въ этомъ-то и вся разгадка, по мнѣнію Достоевскаго. У народа, несмотря на его темноту, есть нѣчто «твердое въ жизни», а потому оно есть и у Макара Ивановича, этого странника и начетчика, вышедшаго изъ народа. Странникомъ онъ сталъ потому, что не стало ему угла— не въ буквальномъ, а въ иномъ смыслѣ угла—въ собственной семьѣ. Выжитый изъ своей семьи, онъ не озлобился. Чуткая совѣсть заставила его, должно быть, углубиться въ самого себя, поискать и за самимъ собой вины. Если молодая его жена, зная, что ихъ помѣщикъ не звѣрь и не сталъ-бы ее уговаривать розгами, пошла къ этому помѣщику, то не потому-ли,

что онъ молодъ, а ея мужъ для нея старикъ? Если онъ женился на ней, то потому-ли только, что отецъ ея, умирая, это ему завѣщалъ, или и не потому-ли также, что позарился, старый, на молоденькую жену? Но онъ беретъ у помѣщика деньги. Да, зная, что у Версилова они не удержатся, что онъ все проживетъ и оставитъ ее, бросивъ, когда надоѣстъ, нищею, Макаръ Ивановичъ беретъ съ Версилова деньги и бережетъ ихъ на черный день — для нея-же. Умирая, онъ напоминаетъ Версилову объ обѣщаніи его на ней жениться, прибавляя: «а виновенъ въ семъ дѣлѣ Богу всѣхъ больше я, ибо хоть и господинъ мой были, но все-же не долженъ былъ я слабости сей попустить». Чуткая совѣсть заставляетъ его и тутъ себя-же винить, винить въ попущеніи чужому грѣху, хотя тутъ не было съ его стороны ни расчета,

ни даже слабости воли:

Смерть Макара Ивановича, этого странника съ горя, нашедшаго себѣ многочисленную семью въ мірѣ Божіемъ-въ людяхъ, которыхъ онъ любитъ вообще широкою человическою любовью, - смерть его производить умилительное впечатлёние на всёхъ окружающихъ, въ томъ числѣ и на мнимыхъ его дѣтей. Й «подростокъ» до конца, можно сказать, неосвобождающися вполнъ отъ озлобленности противъ настоящаго своего отца и ненавидящій свою фиктивную фамилію Долгорукій, ни мало, однако-же, не озлобленъ противъ того, кто ему ее далъ. Таково действие высшей человеческой любви, воплощеніемъ которой является туть этоть «униженный и оскорбленный» Макаръ Ивановичъ. Онъ въ своемъ родъ стоитъ Сони (въ «Преступленіи и наказаніи»). Съ какою нѣжностью напоминаетъ онъ, за нѣсколько минутъ до смерти, своей жент, къ которой въ ея дътские годы онъ относился, какъ къ дочери: «бывало, и ходить учу, поставлю въ уголокъ шага за три, да и зову ее, а она-то ко мнъ колыхается черезъ комнату, и не боится, смъется, а добъжить до меня, — бросится и за шею обыметь... А то унесу тебя въ лѣсъ, отыщу малиновый кустъ, посажу у малины, а самъ тебъ свистульки изъ дерева рѣжу. Нагуляемся и назадъ домой на рукахъ несу — спитъ младенчикъ. А то разъ волка испугалась, бросилась ко мнѣ, вся трепещетъ, а и никакого волка не

было» 1).

Макаръ Ивановичъ въ одномъ изъ своихъ разсказовъ рисуетъ намъ прямо противоположный ему самому образъ, остающійся въ обстановк' народныхъ в рованій, народныхъ обычаевъ и народной рѣчи, но для котораго не существують уже нравственные устои народной жизни. Онъ черезъ нихъ разъ навсегда перешагнулъ, потому что, выйдя въ купцы, поклонился золотому тельцу (хотя и ставиль, конечно, въ то же время пудовыя свъчи святымъ), а въ лицѣ волотого тельца увъровалъ въ «свою руку владыку».—«Что захочу, то могу», «что скажу-то и свято», «что сделаю-то и право»; «всемъ своимъ я одинъ и Богъ, я одинъ и царь»—вотъ житейская философія права этого прямого представителя «темнаго царства», разсказъ о которомъ Макара Ивановича наводить на читателя такой же «страхь за человъка», какь комедін Островскаго на врителя, Туть уже не народь, а та наднародная среда, которая, правда, начинается съ деревенскаго кулака; это та среда, которую самъ же народъ и обрисовалъ - отчасти въ некоторыхъ сказкахъ, отчасти въ богатырскомъ образъ Васьки Буслаева ²).

Другой внушительный разсказъ Макара Ивановича—
о человѣкѣ, тоже выдѣлившемся изъ народа—солдатѣ, которому въ отпуску «не понравилось жить опять съ мужиками, но который при этомъ «и самъ мужикамъ не понравился». Кончилось тѣмъ, что онъ сбился съ пути и ограбилъ гдѣ-то кого-то. Но оказывается, что въ глубинѣ его совѣсти уцѣлѣлъ, однако же, устой, или «твердое въ жизни», какъ говоритъ «подростокъ». Уликъ достаточныхъ не было, адвокатъ пускалъ въ ходъ свое краснорѣчіе. «Нѣтъ, ты постой говорить, — перебилъ

2) См. въ «Подросткъв» ч. III, гл. 3, отд. IV.

¹⁾ Туть Достоевскій, очевидно, вспомниль опять про «мужика Марея».

его подсудимый, да все и разсказаль «до послёдней соринки», повинился во всемь, «съ плачемъ и раскаяніемъ». Присяжные, однако же, его оправдали. «Пошель опять солдать на волю и все не вёрить себъ. Сталь тосковать, задумался, не ѣстъ, не пьетъ, съ людьми не говорить, а на пятый день взяль да и повѣсился»... «Воть каково съ грѣхомъ-то на душѣ жить», заключиль свой разсказъ Макаръ Ивановичъ.

Всёмъ этимъ вовсе не вразумлялась враждебная Достоевскому критика. Да оно и понятно: ея представителямъ нужно было обработать по своему и народъ. Достоевскій же всёмъ внушаль: «учитесь у народа» 1).

Народный взглядъ на «среду» и на «преступленія», такъ часто идущій въ разрѣзъ съ воззрѣніями нашихъ адвокатовъ, заставилъ Макара Ивановича обозвать этихъ последнихъ «нанятою совестью». Между темъ, Достоевскій хорошо понималь, что самый принципь новаго суда, заключающийся въ томъ, что это судъ совъсти, приходится совершенно по душѣ народу. Къ суду и явленіямъ его у насъ въ связи съ народною мудростью Достоевскій неоднократно возвращался въ своемъ «Дневникъ писателя», который онъ сталь издавать въ 1876 г. уже въ видъ отдъльнаго, собственнаго, самостоятельнаго изданія. Тутъ онъ выставиль одинь оправдательный приговоръ, какъ вполнё негуманный, такъ какъ адвокату, при помощи подпущенной въ глаза пыли, удалось добиться оправданія отца, варварски истязавшаго свою дочь (человъка въ комфортъ живущаго, т.-е. «благовоснитаннаго»). Въ другой разъ, Достоевский, напротивъ, громко возсталь туть противь обвинительнаго приговора-по дълу Корниловой, выбросившей въ окно ребенка (удивительнымъ образомъ при этомъ не потерпѣвшаго) положительно въ состояни болезненной невменяемости. До-

¹⁾ Недавно г. Лѣсковъ въ «Новостяхъ» разсказалъ о томъ, какъ Өедоръ Михайловичъ упорно посылаль разныхъ знакомыхъ ему образованныхъ барынь «къ куфельному мужику», и какъ онъ не могли понять, зачёмъ. Еслибъ онъ внимательно читали его, то поняли бы, конечно, и эти его слова, не дожидаясь разсказа Л. Н. Толстого объ Иванъ Ильичъ съ его кухоннымъ мужикомъ.

стоевскій своею глубокопсихологической и гуманной статьей, какъ извъстно, произвелъ такое сильное впечатлъніе, что добился пересмотра дёла и оправданія новымъ составомъ присяжныхъ обвиненной Корниловой, -- другими словами, возвращенія ея, вышедшей изъ своего временнаго психіатрическаго состоянія, какъ ея мужу, такъ и самому этому, чудеснымъ образомъ уцѣлѣвшему и во-

все не ненавидимому ею, ребенку 1).

Явленія самоубійства въ народной средь, одно изъ которыхъ (столь характерное) приведено Достоевскимъ въ «Подросткъ», заставили его въ «Дневникъ писателя» обратить особенное внимание на психологическую подкладку самоубійства вообще. Онъ останавливается туть на самоубійств одной богатой русской аристократки за границею, самоубійств' ради того, что жизнь надожла, надовла потому, что въ жизни нътъ смысла, а смысла нътъ потому, что самоубійца утратила въру въ Бога.

Но туть же Достоевскій приводить и объясняеть другой совершенно случай самоубійства--самоубійства при въръ въ Бога (она, конечно, сохранялась и у солдата, повъсившагося отъ того, что его, виноватаго, оправдали). Случай этотъ далъ Оедору Михайловичу основаніе для небольшой, но многосодержательной повъсти: «Кроткая». Крайняя кротость не мішаеть туть покушенію на убійство, самоубійство же происходить такимъ образомъ, что «кроткая» выпрыгиваеть въ окно съ обравомъ въ рукахъ.

Матерьяломъ для психологическаго истолкованія самоубійствъ могли послужить Достоевскому письма отъ разныхъ, совсёмъ незнакомыхъ лицъ. Научившисьу нихъ многому, некоторых в изъ нихъ онъ, конечно, удержалъ отъ самоубійства, потому что ему удалось своимъ нравственнымъ вліяніемъ возстановить для нихъ утрачен-

¹⁾ Это, конечно, не могло понравиться той редакціи, которая напечатала столько романовъ Достоевскаго и которая постоянно возстаетъ именно противъ оправдательных приговоровъ. Къ несчастью, эти последніе бывають иногда таковы, что оказывають прямую услугу этой редакціи, ополчившейся, наконець, противъ самаго ліринципа новаго суда.

ный въ жизни смыслъ. Многіе и теперь, надо думать, здравствують и согласятся въ душъ, что я говорю-

правду.

Но 1876 годъ, когда Достоевскій началъ издавать свой «Дневникъ», какъ особый, имъ же самимъ и однимъ наполняемый журналъ, былъ великимъ годомъ,годомъ возстанія въ Герцеговинъ, когда, казалось, занялась заря новой жизни для всего, исторически «униженнаго и оскорбленнаго», славянскаго міра. Тогда, повидимому, сказалось у насъ давно небывалое общее, единодушное и, казалось, прочное въ своемъ единодушін, благородное увлечение. Даже наши журналы позабыли свои: въчныя дрязги и пререканія. Но этого хватило всего на три мъсяца, а затъмъ наша такъ-называемая интеллигенція устыдилась своего увлеченія. Насъ стали даже увърять, что вёдь, въ сущности, и увлеченія-то никакого не было, а были только глупыя шашни какихъ-то славянскихъ комитетовъ. Что касается собственно народа, то насъ стали увърять, что онъ, по своему забитому положенію, не въ состояніи принимать участіе въ чужой бъдъ. Проглядъвъ въ свое время способность, даже очень. широкую и глубокую способность къ такому сочувствію въ Дъвушкиныхъ, т.-е. въ различныхъ «униженныхъ. и оскорбленныхъ» у Достоевскаго, теперь «проглядъли» ту же способность въ цёломъ русскомъ народё, только что успъвшемъ во-очію ее проявить. Дъло въ томъ, чтоживущему впроголодь русскому люду не позволялось. ощущать ничего другого, кромѣ голода и физическихъ потребностей вообще. Что «не о хлебе единомъ живъбудеть человёкь», это, должно быть, не про него писано:

Но Достоевскій смотрѣль иначе. Уже въ сентябрѣ 1876 г., какъ разъ передъ переходомъ нашей интеллигенціи къ обычному охлаждающему и отрезвляющему самооплевыванью, онъ написаль небольшую, но очень мѣткую статью подъ заглавіемъ: «Piccola bestia» (такъназываютъ тарантула въ Италіи). «Съ восточнымъ вопросомъ,—писаль тутъ Достоевскій,—забѣжала въ Европу

какая-то piccola bestia и мѣшаетъ успокоиться всѣмъ добрымъ людямъ, встмъ любящимъ миръ, человтчество, процвётание его, всёмъ жаждущимъ той свётлой минуты, въ которую кончится, наконецъ-то, хото эта первоначальная, грубая рознь народовъ... Всё тотчасъ указывають на Россію, всякій увёрень, что вредный гадъ каждый разъ выбъгаетъ оттуда. А между тъмъ въ одной Россіи лишь все свътло и ясно... Въ Россіи съ восточнымъ вопросомъ каждый разъ происходить нѣчто совершенно обратное, чёмъ въ Европе: всё тотчасъ же начинають понимать другъ друга... последній мужикъ понимаетъ, чего надо ему желать, точно также, какъ и самый образованный человёкъ. Всёхъ немедленно единить прекрасное и великодушное чувство безкорыстной и великодушной помощи распинаемымъ на крестъ своимъ братьямъ...» Но вотъ въ этомъ-то безкорыстіи и вся бъда. «Не будь безкорыстія, — тутъ-же и объясняль Достоевскій, -дёло мигомъ стало бы въ десять разъ проще и понятнъе для Европы, а съ безкорыстіемъ-тьма, неизвъстность, загадка, тайна. О, въ Европъ укушенные! И уже, конечно, вся эта тайна заключена, по понятию укушенныхъ, въ одной Россіи, которая никому-де, однако, ничего не хочеть открыть, а идеть къ какой-то своей цёли, твердо, неустанно всёхъ обманывая, коварно и тихомолкомъ і)... И что такое это единеніе славянь? На что оно? съ какими цёлями? Кончають тёмъ. что разрешають на свой аршинъ, по-прежнему, по всегдашнему: «Захватъ, дескать, означаетъ завоеванье, безчестность коварство, будущее истребление цивилизацін, объединившаяся орда монгольская, татары».

А «цивилизація» между тёмъ, воплощалась тогда въ лорде Биконсфильде, какъ главномъ представителе той идеи, что «кто-то хочетъ что-то захватить и заграбить—такъ вотъ бы и мнё; а то всё тащутъ, а мнё ничего».

¹⁾ Такъ, въроятно, думають въ Европъ даже теперь, когда мы на самомы дълъ «тише воды, ниже травы» и это соп amore. (Достоевский не дожиль до этого, а Аксаковъ отъ этого умеръ).

Достоевскому же начинаетъ представляться, что настоящая-то piccola bestia и есть этотъ самый политикъ и романисть Дизраели-Биконсфильдъ. «И въдь какъ шибко бътаетъ, — рисуетъ онъ себъ этого злого тарантула. — Въдь это избіеніе болгаръ — въдь это онъ допустиль, куда — самъ и сочинилъ, въдь онъ романистъ и это его chef d'oeuvre... Во что эти люди въруютъ?-неожиданно спрашиваетъ нашъ родной романистъ, романистъ-человъкъ, --- какъ они засыпаютъ ночью, какіе имъ сны снятся что дёлають они наединё со своею душою?». Да у нихъ ея, можетъ быть, какъ у гоголевскаго прокурора. даже вовсе не полагается? Достоевскій, однако, другого мивнія. «О, души ихъ навърно полны изящнаго, — утверждаеть онъ, жизнь ихъ такъ благообразна, пищевареніе ихъ удивительное, сны легки какъ у младенцевъ. Недавно я читаль, что баши-бузуки расияли на крестъ двухъ священниковъ... «Что же, - подумаетъ Биконсфильдъ, -- эти чорные трупы на этихъ крестахъ... гм... оно конечно... А впрочемъ, «государство не частное лицо; ему нельзя изъ чувствительности жертвовать своими интересами, темъ более, что въ политическихъ делахъ самое великодушіе никогда не бываетъ безкорыстіемъ. ... А я лучше, однако, лягу. Гм... Ну и что же такое эти два священника... Вольно же было подвертываться; ну, спрятались бы тамъ куда-нибудь... подъ диванъ. Mais avec votre permission, messieurs les deux crucifiés, вы мнъ нестерпимо надоёли съ вашимъ глупымъ приключеніемъ et je vous souhaite la bonne nuit à tous les deux». И вотъ Биконсфильдъ засыпаетъ сладко, нѣжно»... На другой день ему, однако же, не даютъ покоя «наши капитаны и мајоры, старые севастопольцы и кавказцы» ст.-е. наши тогдашніе добровольцы. «Все это, рѣшаетъ онъ, — соціалисты». Рѣшеніе, если угодно, совсёмъ не глупое, не безъ основанія разсчитанное на то, что не только въ Европъ, но, что еще важнъе -- въ самой Россіи хотя отчасти тому повърять. «Ну, а эти два юноши, — спрашиваеть Достоевскій, —которыхъ привела обонхъ за руки мать (быль вёдь и этотъ случай) — это

коммунары? А этотъ старый воинъ съ семью сыновыями, — ну неужели ему сжечь Тюльери хочется?... Эти Киръевы, эти Раевскіе, — все это разрушительные элементы наши, которыхъ должна трепетать Европа? А Черняевъ, этотъ наивнъйшій изъ героевъ и въ Россіи бывшій издатель «Русскаго Міра» — онъ-то и есть предводитель русскаго соціализма? Тъфу, какъ неправдоподобно».

«А у васъ-то какъ все это неприлично, —говорили, по крайней мъръ про себя, Достоевскому. —Въдь это опять съ вашей стороны ип crime de lèze — civilisation!» Но Достоевскій не унимался. Въ концъ своего «Дневника» 1876 г. онъ писалъ: «Двухсотлътняя оторванность отъ почвы и отъ всякаго дъла не спускается даромъ... По моему еще есть лъкарства: они вз народъ, вз святынях сто и вз нашемз единеніи сз нимз. Я и «Дневникъ» предпринималъ отчасти для того, чтобы объ этихъ лъкарствахъ говорить, насколько силъ достанетъ».

Самою благодарною темою для Достоевскаго и послужиль тогда, къ сожальню, недолгій моменть единенія съ народомъ, который сказался у насъ льтомъ 1876 г. Идея, такъ сильно тогда увлекшая наше общество заодно съ народомъ, тьмъ особенно казалась цънною Достоевскому, что не годилась, такъ сказать, ни въ какую дипломатію и ни въ какую политику. «Такой высокій организмъ, какъ Россія,—писалъ онъ,—долженъ сіять и огромнымъ духовнымъ значеніемъ... Одной матеріальной выгодой, однимъ хльбомъ, такой высокій организмъ, какъ Россія, не можетъ удовлетвориться... Это не идеалъ и не фразы: отвътъ на то — весь русскій народъ и все движеніе его».

Возвращаясь къ «Европейской цивилизаціи», онъ со свойственнымъ ему избыткомъ прямоты говоритъ, что «если для спасенія ея непремённо нужно существованіе баши-бузуковъ, то и не-лучше ли проклясть ее, послать ее къ чорту, потому что освёжительный процентъ ужь слишкомъ великъ»... Это тотъ самый «процентъ», который приводиль въ такое негодованіе Раскольникова; но тутъ такимъ процентомъ служилъ вёдь цёлый народъ,

все славянское племя... «Дневникъ писателя» — давалъ обътъ Достоевскій-никогда не сойдеть со своей дороги, никогда не будеть уступать духу въка 1), силъ властвующихъ и господствующихъ вліяній, если сочтетъ ихъ несправедливыми, не будетъ подлаживаться, льстить и хитрить». Да, онъ не могъ по чьему бы то ни было приказу вдругъ замолчать о томъ, что Европа въ восточномъ вопросѣ кругомъ не права. Точно такъ же, съ другой стороны, если онъ былъ убъжденъ, что весь русскій народъ сочувствоваль славянамь, то «никакія угрозы и насмъшки журнальныхъ корифеевъ» не могли ему помѣшать во всеуслышание твердить объ этомъ. «Во всю мою жизнь, -- говорилъ Достоевский, -- я вынесъ убъжденіе, что народъ нашъ несравненно чище сердцемъ нашихъ высшихъ сословій и что умъ его далеко не настолько раздвоенъ, чтобы рядомъ съ самою свътлою идеею лельять туть же, тотчась же и самый гадкій антитезъ ея» (какъ оно выходитъ у его героевъ «о двухъ н о трехъ идеяхъ»)... Въ народъ, — сознается Достоевскій, — раздвоенность другого рода: онъ на делё иногда совершаеть то, что самъ же считаетъ грѣхомъ, въ понятіяхъ же народа раздвоенія нітъ. За будущее Достоевскій спокоенъ, потому что, по его чаянію, «народъ и юное поколение интеллигенции нашей сойдутся вмёсть и во многомъ гораздо ближе... чёмъ то было въ наше время». «Вся бѣда, —замѣчаеть онъ, —что руководителей нътъ у нашей молодежи, вотъ что».

Совершивъ въ 1877 г. путешествіе по Россіи, Достоевскій убѣдился въ томъ, что «народъ вездѣ говоритъ про войну», и въ немъ, стало быть, нѣтъ охлажденія къ той великой задачѣ, къ которой охладѣло общество. Подъ вліяніемъ такихъ впечатлѣній Достоевскій и остается въ своемъ «Дневникѣ» того года. «Мнѣ говорятъ,—замѣчаетъ онъ, — что я увлекаюсь сентиментализмомъ, которому нѣтъ мѣста въ политикѣ; все это вздоръ: что правда для человѣка, какъ лица, то пусть остается прав-

¹⁾ Върнъе, можетъ быть, было бы сказать: духу минуты.

дой и для всей націи...» «Никогда союзъ Россіи, — могъ онъ тогда утверждать и дъйствительно утверждаль, —не цънился выше какъ теперь въ Европъ, никогда еще она не могла себя съ большею радостью поздравить съ тъмъ, что она не старая Европа, а новая» — новая въ томъ смыслъ, что вноситъ новую стихію въ европейскую жизнь... Освобождая илотовъ старой Европы, Россія оживляетъ ее новымъ началомъ братства. Все далѣе и далѣе увлекаясь въ своемъ пророческомъ павосъ, онъ наконецъ говоритъ: «лишь Россія заключаетъ въ себъ начала разръшить всеевропейскій роковой вопросъ нищей братіи безъ боя и крови, безъ ненависти и зла»: но тутъ же онъ самъ и возражаетъ себъ устами своихъ противниковъ: «Какъ? Россія освобождаетъ народы—ка-

кая нелиберальная мысль».

Несмотря на эту и на другія «нелиберальныя» мысли Достоевскаго, къ нему напряженно прислушивалась молодежь. Время изданія «Дневника писателя» было также и временемъ хожденія къ нему молодежи и писемъ къ нему отъ нея. Чего такъ напрасно добивался Гоголь обмина мыслей съ читателями-то само собою, безъ всякой просыбы о томъ, досталось Достоевскому и становилось для него наконецъ даже обременительнымъ. Въ 1878 г. случилась въ Москвъ печальная исторія молодежи съ «мясниками Охотнаго ряда». По поводу ея нъкоторые студенты московскаго университета написали Достоевскому письмо, прося его мижнія и совъта 1). Студенты печаловались ему о томъ, что стъ нихъ точно булто бы «отворачиваются». — «Это совершенно върно, отвъчалъ онъ имъ, — именно отворачиваются, да и дъла имъ (большинству по крайней мѣрѣ) нѣтъ до васъ никакого. Но есть люди, и ихъ не мало, -- утвшительно прибавляль онь, - и въ прессъ, и въ обществъ, которые убиты мыслыо, что молодежь отшатнулась от народа... живетъ мечтательно и отвлеченно; следуя чужимъ ученіямъ, ничего не хочетъ знать въ Россіи, а стремится

¹⁾ Оно было напечатано въ «Русп» 1881 г. № 14.

учить ее сама. А наконецъ теперь, несомнънно, попала въ руки какой-то совершенно внѣшней политической руководящей партіп, которой до молодежи ужь ровно никакого нътъ дъла и которая употребляеть ее, какъ матеріалъ и Панургово стадо, для своихъ внѣшнихъ и особенныхъ целей»... Отметивъ, что еще съ 60-хъ годовъ народъ сталъ относиться къ студентамъ какъ къ барчонками и согласившись, что народъ въ этомъ, пожалуй, и неправъ, онъ находитъ, что столько же, по крайней мфрф, неправы и они, вмфстф со всею интеллигентною прессою, обзывая московскій народъ «мясниками». «Что же это такое? — спрашиваетъ Достоевскій. — Почему мясникъ не народъ? Это народъ, настоящій народъ, мясникъ быль и Мининъ. Негодованье возбуждается лишь отъ того способа, которымъ проявилъ себя народъ. Но знаете, господа, если народъ оскорбленъ, онъ всегда проявляетъ себя такъ. Онъ неотесанъ. онъ мужикъ». Этими последними словами Достоевскій прямо указываеть, насколько онъ далекъ отъ фальшивой идеализаціи народа. Кончаетъ онъ заявленіемъ «грустныхъ мучительныхъ фактовъ»: «искренняя, честнъйшая молодежь, - говорить онъ, желая правды, пошла было къ народу, чтобы облегчить его муки, и что же? Народъ ее прогоняетъ отъ себя и не признаетъ ея честныхъ усилій. Потому что эта молодежь принимаетъ народъ не за то, что онъ есть, ненавидитъ и презираетъ его основы...» «Бѣда въ томъ, — заключаетъ онъ, — что молодежь несетъ на себъ ложь всъхъ двухъ вѣковъ нашей исторіи. Не вт силахт стало быть она разобрать дёло въ полнотё, и винить ее нельзя...» А все же, «чтобы пойти къ народу и остаться съ нимъ», нужно прежде всего «разушться презирать его, а это почти невозможно нашему верхнему слою общества въ его отношеніяхъ съ народомъ». Говоря наконецъ, что надо къ тому же и «въ Бога увъровать», Достоевскій проситъ молодежь, чтобы она не принимала его за «какого-то учителя и проповъдника свысока». А между тъмъ онъ училъ, онъ и проповидывалъ, но опять-таки — «какъ власть имфющій, а не какъ книжники и фарисеи».

Въ «Дневникъ» 1877 г. Достоевскій напечаталь и свое слово, сказанное на могилѣ Некрасова, въ которомъ отвель покойному мёсто вслёдь за Пушкинымь и Лермонтовымъ, при чемъ раздались чын-то голоса, что онъ «выше, выше!» Въ печатномъ текстѣ слова все уже съ полнейшею ясностью сводится къ тому, что «любовь Пушкина къ народу русскому была любовь всесбъемлющая» и что «вотъ это-то поклонение передъ правдой народа» Достоевскій «отчасти видить и у Некрасова» («увы! — прибавляетъ онъ, — можетъ быть одинъ я изъ всѣхъ его почитателей»). Сущность настоящей любви кънароду Достоевскій видить въ томъ, чтобы она удовлетворяла народному требованію: «не люби ты меня, а полюби ты мое». Некрасовъ потому и является, по мньнію Достоевскаго, въ числі прямыхъ преемниковъ Пушкина, что въ его лучшихъ стихотвореніяхъ замётны «нетолько слезы надъ народомъ, но и слезы съ народомъ».

Въ словъ о Некрасовъ заключался какъ бы первоначальный набросокъ значительной части будущаго слова о Пушкинъ, произнесеннаго въ Москвъ и составившаго, какъ извъстно, предсмертное торжество самого Достоевскаго. Слово это напечатано, какъ всъ, разумъется, помнятъ, въ единственномъ № «Дневника» за 1880 г., вышедшемъ вслъдъ за двухгодичнымъ слишкомъ перерывомъ въ его издани, понадобившимся Достоевскому для его послъдняго и широчайшаго, по замыслу своему, ро-

мана-«Братьевъ Карамазовыхъ».

Въ своемъ предисловін къ единственному № «Дневника» за 1880 г. Достоевскій указаль намъ, что впечатлѣніе, произведенное его рѣчью, по словамъ И. С. Аксакова, было цѣлымъ «событіемъ». Слова эти Достоевскій объяснялъ тѣмъ, что онъ въ своей рѣчи сказалъ: Пушкинъ своему «преклоненію передъ правдой народа русскаго» обязанъ своею «способностью всемірной отзывчивости и полнѣйшаго перевоплощенія въ геніи чужихъ націй». Достоевскій готовъ былъ согласиться, что эти слова—событіе, но въ томъ только смыслѣ, что послѣ его рѣчи «славянофилами сдѣланъ былъ огромный

и окопчательный, можетъ-быть, шагъ къ примиренію съ западниками», и именно въ томъ, что «славянофилы заявили всю законность стремленія западниковъ въ Европу, всю законность даже самыхъ крайнихъ увлеченій и выводовъ ихъ, и объяснили эту законность чисто русскимъ народнымъ стремленіемъ нашимъ, совпадаемымъ съ самымъ духомъ народнымъ». Но Достоевскій, вовсе не увлекаясь, не видёль туть полнаго и рёшительнаго событія потому, что съ противоположной стороны, западнической, едва ли могъ быть тогда сдёланъ такой же ръшительный шагъ. Правда, самъ онъ тутъ говоритъ: «едва лишь я сошелъ съ каеедры, подошли ко мит пожать мою руку и западники, не какіе-нибудь изъ нихъ, а передовые представители западничества». Но Достоевскому, благодаря его прозорливости, чуялось, что вскоръ они, однако, заговорять: «ваше-то положеніе, вашь-то выводъ о томъ, что мы въ увлеченияхъ нашихъ совпадали будто-бы съ народнымъ духомъ и таинственно направлялись имъ, ваше-то это положение-все-таки остается для насъ болъе чъмъ сомнительнымъ, а потому и соглашеніе между нами опять-таки становится невозможнымъ. Знайте, что мы направлялись Европой, наукой ея и реформой Петра, но ужь отнюдь не духомъ народа нашего, ибо духа этого мы не встръчали и не обоняли на нашемъ пути, напротивъ-оставили его назади и поскоръе отъ него убъжали..... Народъ нашъ нищъ и смердъ, какимъ онъ былъ всегда, и не можетъ имъть ни лица, ни идеи. Вся исторія народа нашего есть абсурдъ, изъ котораго вы до сихъ поръ чортъ знаетъ что выводили, а смотръли только мы трезво. Надобно, чтобъ такой народъ, какъ нашъ, не имълъ исторіи... Надобно, чтобъ имёло исторію лишь одно наше интеллигентное общество, которому народъ долженъ служить лишь своими трудами и своими силами». Достоевскій такимъ образомъ не върилъ, чтобы сразу могли у насъ исчезнуть Версиловы, которые, даже и «хороня Европу», неудержимо воображають, что все тысячельтие нашей истории имѣло въ виду только подготовить какихъ-нибудь «тысячу человъкъ больющихъ всемірною болью русскихъ

европейцевъ».

Между тёмъ и въ своемъ Версиловъ онъ не безъ доли сочувствія отм'єтиль то, что выразиль въ своей Пушкинской ръчи относительно Алеко: «русскому скитальцу необходимо всемірное счастье, чтобъ успоконться: дешевле онъ не примирится». Въдь не одному Версилову принадлежать слова: «всякій французь можеть служить не только своей Франціи, но даже и человъчеству, единственно подъ тъмъ лишь условіемъ, что останется французомъ; равно-англичанинъ и нѣмецъ. наиболѣе Одинъ лишь русскій... получиль уже способность становиться наиболее русскимъ именно лишь тогда, когда онъ напболже европеецъ; это и есть самое существенное національное различіе наше отъ всёхъ». Самъ Достоевскій въ своей Пушкинской рѣчи уже прямо отъ своего лица говоритъ: «стать настоящимъ русскимъ, стать вполнъ русскимъ, можетъ быть, и значитъ только (въ концъ концовъ, это подчеркните) стать братомъ всёхъ людей, всечеловъкома, если хотите».

Трустное предчувствіе не обмануло Достоевскаго. Именно всечеловъкъ-то и не понравился нашимъ западникамъ. Это, видите-ли, намъ не къ лицу (чтобы вѣрнѣе передать сущность взгляда, слѣдовало бы, пожалуй, сказать: не къ рылу; но выраженіе-то слишкомъ простонародное, а потому отъ него отопрутся). Мы сами слышали отъ возвратившихся съ Пушкинскаго праздника, что все было очень хорошо—пока не окончилось «всечеловѣкомъ». При этомъ разсказывающіе сознавались, что заранѣе ожидая чего-нибудь неладнаго, сами они на рѣчь Достоевскаго такъ и не пошли. Съ чѣмъ ихъ и

поздравляемъ!

Трустное предчувствіе Оедора Михайловича окончательно оправдалось, когда появилась вразумляющая его статья А. Д. Градовскаго. Вразумленіе, между прочимъ, заключалось тутъ въ томъ, что Алеко сталъ скитальцемъ не только ради міровой боли или исканія вчужъ правды, а также и потому, что не могъ ужиться съ

Держимордой. На это Достоевскій, не церемонясь, отвічаль, что подчась наши скитальцы у себя дома сами оказывались Держимордами (они, по крайней мірів, ихъ выбирали въ лиць исправниковь, такъ какъ по дворянской грамоть это ведь имъ и предоставлялось—мітко замітиль тогда въ письмі къ намъ И. С. Аксаковъ). При всемь своемь стремленіи къ міровому счастью, въ былое время «нікоторые изъ нихъ,—говорить Достоевскій,—конечно и посінали своихъ крестьянь». Ну, а другимъ «въ містечків Парижівсь,—говорить онъ,—все-таки надобны деньги, хотя бы и на баррикадахъ участвуя, такъ воть крівпостные-то и присылали оброкъ... Вы увіряете, что ихъ всіхъ зайдала скорбь о крівпостномъмужиків?—спрашиваеть онъ своего противника, и отвічаєть:—не то, чтобъ о крівпостномь мужиків, а вообще

отвлеченная скорбь о рабствъ въ человъчествъ.»

Другое вразумление Достоевскому заключалось въ томъ, что какъ же это онъ, въ одну сторону говоря: «смирись!» въ другую, напротивъ, говоритъ «гордись!» На это Достоевскій отв'ячаеть съ жаромь: «Помилуйте... Дана была только свътдая надежда, что и мы можемъ быть чёмъ-нибудь въ человёчествё, хотя бы только братьями другимъ людямъ, и вотъ одинъ только горячій намекъ соединяетъ всёхъ въ одну мысль и одно чувство. Обнимались незнакомые и клялись другъ другу впредь быть лучшими... Это быль единственный моменть на праздникъ Пушкина, и не повторялся. Видитъ Богъ, не для восхваленія своего говорю, но моменть этоть быль слишкомъ серьёзенъ и я не могу о немъ умолчать. Серьёзность его состояла именно въ томъ, что въ обществъ ярко и ясно объявились новые элементы; одна только надежда, одинъ намекъ, -- и сердца зажглись святою жаждою всечеловическаго дила, всебратскаго служения и подвига. Это отъ гордости они зажглись? Это отъ гордости пролидись слезы? Это къ гордости я ихъ призываль?»

Еще одно вразумление Достоевскому заключалось въ томъ, что «мы не можемъ справиться даже съ такими

несогласіями и противоръчіями, съ которыми Европа справилась давнымъ давно.» Тутъ Достоевскій отвѣчалъ восклицаніемъ: «Это Европа-то справилась?!» а затъмъ указаніемъ на симптомы тіхъ близкихъ ея «похоронъ», которыя бользненно предчувствуются у него Версиловымъ. Противникъ Достоевскаго позабылъ, должно быть, что и у такого «западника», какъ Герценъ, скорбно говорится объ этихъ «похоронахъ» Европы. То, что оказалось уже послѣ смерти Достоевскаго и все болѣе и болье оказывается у насъ на глазахъ, окончательно свидътельствуетъ о наступившей воочно ликвидации старой Европы. Достоевскій теперь имёль бы такимь образомь еще болье основания повторить старинныя слова Фонвизина: ils finissent. Но трагизмъ его положенія заключался бы въ томъ, что, при видъ нашей, все болье и болье обнаруживающейся, застигнутости врасплохъ, при видъ того, что теперь, какъ и прежде, даны намъ только «благіе порывы,» у него не хватило бы духу сказать: «et nous commençons.» Увы! мы не знаемъ, съ чего начать! Мы не знаемъ, куда намъ идти!

Въ 1881 г., въ день рожденія Пушкина, въ литературномъ вечерѣ въ Петербургѣ долженъ былъ участвовать и Достоевскій. Онъ собирался прочесть изъ «Евге-

нія Онегина» 8-ю главу, где поэть говорить:

Влаженъ, кто праздникъ жизни рано Оставилъ, не допивъ до диа Вокала полнаго вина, Кто не дочелъ ея романа.

Въ этомъ какъ будто сказалось у Достоевскаго предчувствіе собственнаго конца. Между тѣмъ онъ изгототовилъ первый № «Дневника» за 1881 г. Тутъ говорилъ онъ, какъ всѣмъ извѣстно, о довприи къ народу. Въ теченіе всего года собирылся онъ проводить эту мысль указать, стало быть, на способы проявленія этого довѣрія, на способы узнать отъ народа его настоящую мысль, а затѣмъ руководиться этою мыслію въ государственныхъ мѣрахъ и предпріятіяхъ. Извѣстно также, что 1-й и единственный № «Дневника» за этотъ годъ вышелъ въ свѣтъ уже въ день похоронъ Достоевскаго. Роковымъ оказался для насъ 1881 г. Черезъ мѣсяцъ послѣ похоронъ Достоевскаго совершилось позорное дѣло 1-го марта. Благо Достоевскому, что онъ не дожилъ до этого дня; вовсе не благо намъ, что тутъ-то учителя и не стало....

Въ концѣ своей московской рѣчи Достоевскій сказалъ: «Жилъ бы Пушкинъ долѣе, такъ и между нами было бы, можетъ быть, менѣе недоразумѣній и споровъ, чѣмъ видимъ теперь. Но Богъ судилъ иначе. Пушкинъ умеръ въ полномъ развитіи своихъ силъ и безспорно унесъ съ собою въ гробъ нѣкоторую великую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ.»

Достоевскій, хотя и проживъ гораздо долѣе Пушкина, тоже умеръ «въ полномъ развитіи своихъ силъ.» Онъ много, конечно, успѣлъ намъ высказать, но тоже унесъ съ собою въ гробъ многое—прежде всего то, что собирался высказать въ «Дневникѣ» 1881 г. И вотъ «мы теперь безъ него эту тайну разгадываемъ».

НАРАМАЗОВЩИНА и ИНОЧЕСТВО 1).

(посвящено отцу юданну румянцеву въ старой руссъ).

Іюня 9-го 1885 г. въ г. Старой Руссѣ происходило скромное, но знаменательное торжество. Въ Георгіевской церкви 2), къ приходу которой принадлежитъ домъ покойнаго О. М. Достоевскаго, за объднею поминалось его имя, а послѣ обѣдни изъ церкви молящіеся перешли въ новый просторный домъ воздё нея, который тутъ-же и быль освящень, чтобы отнынь служить помыщениемь для школы въ память великаго писателя. Школа эта, основанная на пожертвованія его почитателей, пом'єщалась до сихъ поръ въ наемной квартиръ. Теперь она переведена въ свой собственный домъ, выстроенный на средства самого Достоевскаго. Это особаго рода «десятина», пожертвованная его памяти А. Г. Достоевскою, такъ успѣшно приведшею къ окончанію изданіе сочиненій своего знаменитаго мужа. Въ этомъ просторномъ двухъ-этажномъ домё самымъ образцовымъ образомъ будуть теперь пом'ящаться собственно цілых дві школы: одна для мальчиковъ и другая для дъвочекъ, -- съ учите-

 Она же называется иногда, по находящемуся въ ней придѣду, и Благовъщенскою.

Воспроизведено на основанім публичных лекцій, читанных въ 1885 году.
 Назначалось въ «Русское богатство», но осталось ненапечатаннымъ.

лемъ и учительницей, которымъ назначено вполнъ обезпечивающее ихъ содержание (каждому по 600 р. въ годъ). Посъщение этой школы-такое-же безплатное, какъ и посѣщеніе церкви, въ тѣснѣйшей связи съ которою школѣ этой, какъ приходской, и предстоить оставаться. Но пусть не полагають, чтобы существование этой школы, задуманной на такихъ основаніяхъ и пом'єщенной такъ просторно и такъ удобно, было разъ на всегда обезпечено. Скорже можно сказать, что сооружение для нея здания совершилось на прямомъ основаніи текста: «довлаетъ дневи злоба его». Йослё того, какъ строительный день сталь виерашними, новому дню предстоить своя нелегкая влоба — пріобрѣтенія средствъ на завтра и послъзавтра, такъ какъ капиталъ, составившийся изъ общественныхъ пожертвованій, равняется всего 4200 р., и доходомъ съ него, конечно, не просуществовать школѣ даже и съ присовокупленіемъ къ нему тъхъ 300 р., которые обязалась каждогодно вносить А. Г. Достоевская, другихъ 300 руб., назначенныхъ св. синодомъ какъ-бы единовременно, съ предоставленіемъ школѣ права каждогодно ходатайствовать о повтореніи этой выдачи, наконець, той сотни рублей, которую назначило мъстное земство — не знаю, прямо-ли въ видъ каждогодной выдачи, или-же точно также яко-бы единовременно. Между темъ, каждогодный расходъ на школу, по расчету «Недъли», доходить до 1700 руб. 1). Несоразмѣрность прихода съ расходомъ, такимъ образомъ, весьма значительна, -- но все-же мы твердо увърены, что школа Достоевскаго должна устоять и действительно устоить подъ его надежнымъ покровомъ. Не даромъ-же сказано было недавно въ одной изъ нашихъ газетъ, что «Достоевскій жилъ нищимъ и похороненъ на общественный счетъ». Это неточно и даже невърно, но сказано, можно сказать, отъ чистаго сердца. Достоевскій, въ самомъ дёлё, весь свой вёкъ нуждался, трудясь въ потѣ лица, постоянно забирая деньги впередъ

¹⁾ См. № 18-го іюня 1885 г. корреспонденцію изъ Старой Руссы объ освященін дома для школы.

и только подъ конецъ жизни уплативъ, наконецъ, всъ долги своего покойнаго брата (взятые имъ на себя, велъдствіе смерти Михаила Михайловича, послідовавшей въ началь только что возобновившейся, посль внезапнаго перерыва, его журнальной деятельности). Только людисовершенно бездушные и крайне несообразительные илиже вовсе недобросовъстные, могутъ изъ заграничныхъ писемъ Достоевскаго выносить такое впечатленіе, будтобы онъ «любилъ деньги». Всякій другой увидить въ этихъ письмахъ только новое отражение той каторжной жизни, которая, въ виде нескончаемой работы изъ-за куска хлеба, продолжалась для него и тамъ, куда русскіе люди привыкли отправляться для отдыха — въ странъ Баденъ-Баденовъ и Женевъ. Только развѣ подъ самый конецъ, въ своей Старой Руссъ, Достоевскій, наконецъ, увидаль берегь — возможность работы съ отдыхомъ, не на срокъ. Но тогда-то какъ разъ и пришла за нимъ настоящая успокоительница — смерть. Онъ не быль похороненъ на общественный счеть, хотя Александро-Невская Лавра, и, конечно, вполнѣ безъ грѣха, даромъ уступила землю для его могилы. Памятникъ на ней, какъ извъстно, воздвигнуть быль на общественныя приношенія и на нихъже первоначально была открыта и его школа. Позже въ самомъ дълъ на общественный счетъ былъ похороненъ Тургеневъ, а въ столь недавнее время, на глазахъ у всего міра, на общественный-же счеть совершены были похороны Виктора Гюго. Послѣ этого можно, кажется, сказать, что передъ Достоевскимъ мы остаемся все-таки въ долгу. Вотъ этотъ-то долгъ, надо думать, земля русская и выплатить его школь. Это будеть лучшее вознаграждение тому, кто хотя и не завъщаль отвезти себя на кладбище на нищенскихъ дрогахъ 1), но всю свою жизнь, въ самомъ дёлё, прожиль, что называется, нищимъ, оставивъ единственнымъ наследствомъ своей семьъ (кромъ деревяннаго домика въ Ст. Руссъ), прямо и непосредственно свои сочиненія, тѣ сочиненія, которыя до-

¹⁾ Какъ В. Гюго.

ставили ей вполнъ обезпечивающій капиталь уже посль

его смерти.

Загляните въ этотъ скромный старорусскій домикъ по сосёдству съ этою самою, просторною и во всёхъ отношеніяхт удобною, школою, въ тотъ домикъ, гдѣ проводиль онь льто въ последние годы своей жизни, посмотрите на этотъ его кабинетъ, гдъ все остается и должно всегда оставаться такъ, какъ было при немъ. Вотъ живое толкованіе къ его сочиненіямъ-къ тому его послёднему и самому эрёлому труду, который обдумываль, а частью и писаль онь здёсь, въ Старой Руссе, къ «Братьямъ Карамазовымъ» съ ихъ служащимъ «камнемъ преткновенья» для многихъ старцемъ Зосимой и его, столь для нихъ мудренымъ: «отсекаю отъ себя потребности лишнія и ненужныя». Загляните въ старорусскій домъ Достоевскаго и, помимо всякаго монастыря, вы поймете, что это значить. Да, невольно скажете вы, этому человъку было такъ немного нужно, онъ не забиралъ себъ львиной части, для него совершенно не существовалъ тотъ «процентъ» съ чужой жизни, о которомъ говорилъ онъ съ такимъ отвращениемъ. Да, скажете вы, этотъ человъкъ жиль, какъ писаль; да, этоть человъкъ имъль право писать то, что писалъ.

I.

Камнемъ преткновенія остается, однако, для многихъ и очень многихъ не одинъ послѣдній романъ Достоевскаго съ писавшимся частью въ той-же Старой Руссѣ «Дневникомъ Писателя»,—камнемъ преткновенія и «камнемъ соблазна» служитъ для многихъ и въ обществѣ и въ литературной критикѣ и многое другое у Достоевскаго, а для нѣкоторыхъ, можно сказать, и весъ Достоевскій.

Наша критика, налегая вообще только на «забитость» героевъ Достоевскаго, составлявшую будто-бы ту общественную струну у него, которую самъ онъ, по увъренію той-же критики, едва-ли и сознаваль, не оказывалась

способною понять его во всей глубинь его настоящаго, и вполнъ сознаваемаго имъ самимъ, общественнаго значенія. Нежеланіе самого Достоевскаго ограничиваться только этою, предоставляемою на его долю, темою о забитости, все болье и болье объяснялось тою печальною будто-бы примъсью къ его направленію, которая ставилась критикою въ зависимость отъ перенесенной имъ катастрофы. Въ критикъ, такимъ образомъ, издавна уже подготовлялись тѣ теченія, которыя окончательно опредълились уже въ наше время. Одно изъ нихъ сказалось въ особаго рода оппортунизмѣ, который пользуется Достоевскимъ собственно ради той или другой злобы дня, выдъляя изъ его сочиненій такъ-называемыя «природныя или здоровыя стороны» его дарованія, уцёльвшія въ немъ на зло всёмъ досаднымъ «примёсямъ». Другое теченіе мысли, останавливаясь съ полнымъ вниманіемъ на этихъ «примъсяхъ», съ особаго рода соболъзнованиемъ отозвалось о «многострадальномъ» авторъ, пользуясь такимъ сердолюбіемъ, разумъется, опить не безъ своего рода оппортунизма. Въ особомъ опять теченіи критической мысли сказалось что-то, напоминающее г-жу Хохлакову, въ одно и то же время и увлекающуюся особаго рода популярностью старца Зосимы, и считающую нужнымь указывать, кому следуеть, на свои сношения съ «писателемъ Щедринымъ». Въ самомъ дёлё, неожиданный для самого Достоевскаго успёхъ именно у молодого поколенія, въ которомъ онъ также мало заискиваль, какъ и въ комъ-либо другомъ, успъхъ, доставшійся ему именно подъ конецъ жизни, несмотря на всѣ «несчастныя примѣси», заставлялъ нѣкоторыхъ изъ прогрессивныхъ критиковъ искать возможности не лишить его извъстной доли своего сочувствія, но такъ, чтобы сами они не подвергались опасности быть заподозрѣнными въ измѣнѣ такъ-называемому «прогрессу». Более решительные съ другой стороны, хотя и признавая въ свою очередь этотъ досадный фактъ возрастающей популярности Достоевскаго, «ретрограда» и «обскуранта», думали спасти молодежь отъ невольнаго увлечения имъ, понявъ совершенно вёрно, что тайна этого увлеченія именно и заключаєтся въ «жестокости» его таланта. Ну воть они и задались мыслію — всёми правдами и неправдами доказать всю безполезность этой жестокости, какъ какого-то мучительства «изъ любви къ искусству». Совершенною неподатливостью даже передъ самымъ фактомъ популярности Достоевскаго, т.-е. слёпою вёрностью изначальнымъ недоразумёніямъ между нимъ и критикою, отличилось тотчасъ-же послё смерти Достоевскаго направленіе, которое объясняется прежде всего отсутствіемъ въ самой природё критика именно того, что было особенно развито въ самомъ Достоевскомъ. Это направленіе очень напоминаетъ его «семинариста-карьериста» г. Ракитина — съ той теоретической его стороны, которую проявиль онъ въ качествё свидётеля на судё, а отчасти, быть можетъ, и съ извёстныхъ его сторонъ практическихъ 1).

Совершенно въ сторонѣ отъ другихъ теченій критической мысли остается то, въ которомъ сказадась уже не старая бурса съ ея полнымъ забиваніемъ способности понимать духовную жизнь, вслѣдствіе «вколачиванія вѣры розгою» 2). Тутъ, напротивъ, сказалось какое-то сладострастное увлеченіе именно карающимъ жезломъ — увлеченіе въ духѣ гораздо болѣе Византійскомъ, чѣмъ духъ, все же не лишеннаго русской смягчительной примѣси, «домостроя». Тутъ критикъ отплевывается и открещивается отъ малѣйшаго поползновенія помочь земному горю и умножить земныя радости, и Достоевскій за поползновенія этого рода относится (за одно съ Л. Н. Толстымъ) къ какой-то сектѣ «новыхъ христіанъ», при чемъ критикъ очевидно позабываетъ о тѣхъ очень старыхъ хриг

¹⁾ Къ чести нашей, были у пасъ примъры и совершенно другихъ отношеній критической мысли къ Достоевскому. Таковы прекрасныя статьи Л. Е. Оболенскаго въ журналъ «Мысль». Таковы и статьи въ нъкоторыхъ изъ нашихъ духовныхъ журналовъ, наприм., помъщенная въ январской книжкъ «Чтепіи въ обществъ любителей духовнаго просвъщенія» 1883 г. Отмътимъ наконецъ вообще дъльныя и сочувственныя отношенія къ Достоевскому В. С. Соловьева (о хорошихъ исключеніяхъ прежней поры уже было сказано).

2) По мъткому выраженію Л. Е. Оболенскаго («Мысль» 1881 г., февраль).

стіанахъ, про которыхъ сказано въ книгѣ «Дѣяній апостольскихъ», что между ними не было неимущихъ, потому что имѣнія богатыхъ продавались, и раздавалось

всёмъ, сколько кому было нужно.

Не оправдался ли примъромъ Достоевского, какъ и нёкоторыхъ другихъ изъ нашихъ писателей, текстъ, что «нѣтъ пророка въ отечествѣ своемъ?» По и за границей обратили на него настоящее внимание только недавно -уже послѣ его похоронъ, доказавшихъ, конечно, что если вообще этотъ текстъ и можетъ быть отнесенъ къ Достоевскому, то съ темъ условіемъ, чтобы «отечество» понималось тутъ только въ смыслѣ «отечественной критики». Въ недавно вышедшей нѣмецкой книжкѣ о современной русской литературь г. Цабеля, отмежевавшаго себъ, впрочемъ, въ особенную спеціальность Тургенева, сказалось даже такое легковъсное отношение къ Достоевскому, которое могло бы поспорить съ отношениемъ къ нему русской критики. Правда, это уже зарание было какъ бы искуплено многими глубокомысленными страницами Брандеса о «Преступленіи и наказаніи»», а въ последнее время предисловіемъ къ немецкому переводу «Братьевъ Карамазовыхъ», изданному г. Генкелемъ. Высоко-талантливаго, а во многихъ отношеніяхъ и добросовъстнаго, иностраннаго ценителя дождался, наконецъ, Достоевскій въ лиць писателя, сумьвшаго также понять и того, кто между всёми остальными романистами нашей поры, одинаково съ Достоевскимъ, достоинъ считаться геніемъ, —Л. Н. Толстого. Я разумівю г. де-Вогю, автора блестящихъ критическихъ очерковъ появившихся въ Revue des Deux Mondes 1). Стараясь объяснить то, что происходило на похоронахъ у Оедора Михайловича, французскій критикъ говорить:

«Достоевскій увлекаль сердца, и его доля вліянія на современное движеніе была неизмѣримо сильнѣе, чѣмъ доля другихъ... Какъ про древнихъ царей говорилось, что они «собирали русскую землю», такъ этотъ царь

¹⁾ О Достоевскомъ — въ книжкъ 15 февраля 1885 г.

мысли собралъ вокругъ себя сердце русское. ...При его похоронномъ шествін замѣчалось какъ будто бы появленіе на сценѣ исторін новыхъ общественныхъ классовъ...»

Но, сумѣвъ такъ глубоко проникнуть въ общественный смыслъ похоронъ Достоевскаго, тотъ же самый цѣнитель, съ удивительнымъ легкомысліемъ,—слѣдствіемъ, можетъ быть, легковѣрія — объясняетъ извѣстныя недоразумѣнія между Достоевскимъ и Тургеневымъ — личностями.

«Достоевскаго, — утверждаетъ г. де-Вогюэ, — всегда разлучали съ Тургеневымъ политическія разногласія и, увы! литературная зависть... Затаенная, непростительная обида заключалась въ томъ, что Тургеневъ первый угадаль и обработаль выдающуюся современную темунигилизмъ... Въ отместку, Достоевский написалъ своихъ «Бѣсовъ». Тонкій и сдержанный художникъ «Нови» былъ побъжденъ драматическимъ психологомъ... Романъ Достоевскаго вышель и пророчествомъ, и истолкованіемъ». Собственно последнее вполне справедливо и признано, такимъ образомъ, за границею прежде, чъмъ сами мы успѣли это признать. Тотъ же иностранный цѣнитель, съ другой стороны, отказывается отъ сколько-нибудь точнаго определенія взглядовь, выразившихся у Достоевскаго въ «Дневникъ писателя». «Я отрицаю, —говорить онъ, — чтобы можно было формулировать его иден въ выраженіяхь практическаго языка. Онь заняль місто между либералами и славянофилами, но ближе къ послъднимъ; какъ имъ, такъ и ему единственною программою служили знаменитые стихи Тютчева:

> Умомъ Россіи не понять, Еъ Россію можно только вѣрить.

Особенно цвня у Достоевскаго «Записки изъ мертваго дома», французскій критикъ, однако-же, успокаивается на исключительно мъстномъ, чисто-русскомъ значенін ихъ, и остается далекъ отъ того, чтобы понять ихъ

убійственный міровой смыслъ. «Онъ писалъ объ язвахъ, чтобы исцѣлять», — говоритъ г. де-Вогюэ. «Записки изъ мертваго дома» были для вопроса о ссылкѣ то же, что «Записки охотника» для крѣпостного права—ударомъ въ набатъ, который ускорилъ реформу». «...Уже одно то, что можно говорить о такихъ ужасахъ, какъ о совершенно обыкновенныхъ явленіяхъ общественной жизни, жизни текущей — уже одно это предупреждаетъ насъ, что мы вышли изъ нашего міра...» 1).

О томъ же, совершенно съ другой стороны, могло бы предупредить критика и то слово «несчастные», которое, сколько извъстно, нигдъ въ Европъ не употребляется,

какъ у насъ, въ смыслѣ преступниковт 2).

Въ этомъ чисто русскомъ употреблении слова «несчастные» заключается и народный источникъ возэрѣній на преступление самого Достоевскаго, вполнъ признававшаго, какъ многимъ обязанъ онъ духу своего народа. На русское употребление этого слова, если не ошибаюсь, обратиль внимание и г. де-Вогюэ, но онъ, надо думать, склонень это объяснять собственно русскими обстоятельствами, не предполагая, повидимому, чтобы и западные преступники, какъ и всякіе другіе, могли называться «несчастными». Въ томъ-то и заключается убійственный смыслъ книги Достоевскаго, что она является набатомъ не для русскихъ только, но и для западноевропейскихъ порядковъ, и не Достоевскій, разумфется, виновать, если даже дальнозоркій и глубокомысленный г. де-Вогюэ разслыхалъ въ ней набатъ для одной Россіи. Въ этомъ отношеніи, впрочемъ, онъ оказался лишь столь же несообразительнымъ, какъ и покойный В. Гюго, очевидно, не сознававшій всей полноты ужасающаго смысла своихъ же собственныхъ «Misérables», рисуя въ нихъ человъка, попадающаго въ каторгу (позволяю себъ прямо употребить это слово, такъ какъ дело не въ кличкѣ) изъ-за какихъ-нибудь украденныхъ съ голода

¹⁾ Т.-е., хочетъ онъ сказать, міра европейскаго. 2) Такъ по крайней мірь утверждаль Достоевскій.

булокъ и снова осуждаемаго туда же, послѣ цѣлыхъ годовъ искупительной общественной деятельности въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Рисуя все это, великій французскій поэтъ и не думаетъ остановиться надъ вопросомъ: какъ же подобныя явленія остаются возможными послѣ великой революціи? Ради чего же тогда были пролиты такіе потоки человъческой крови, если, и послъ всёхъ этихъ кровавыхъ жертвъ, европейское общество по прежнему умъетъ только ссылать за соціальныя преступленія, а не устранять даже такіе поводы къ нимъ, какъ опасность умереть съ голоду? Когда у Достоевскаго въ его написанной кровью и огнемъ книгъ вырывается наконець кличъ: «а кто виноватъ? то-то, кто виновать?», то вольно же оставаться настолько ослѣпленнымъ мнимою удовлетворительностью своей культуры, что бы отвъчать на это: «ну, конечно, не мы — это относится только къ полуварварской Россіи, къ темъ ея дореформеннымъ порядкамъ, устраненію которыхъ такъ сильно содействоваль своею книгою Достоевскій!» простить нась умный и даровитый г. де-Вогюэ, если и мы, какъ онъ выражается, «pour tout dire», на мижніе его о томъ, что заслуга Достоевскаго въ «Запискахъ изъ мертваго дома» ограничивается только диктуемыми тутъ улучшеніями на европейскій манеръ въ нашей пенитенціарной системь, отвытимь въ своемь родь классическимъ восклицаніемъ: «sancta simplicitas!» Да, блаженны тѣ, для которыхъ ихъ европейская самоувѣренность служить охраною отъ того мучительства, какому въ самомъ дёлё подвергаетъ читателя Достоевскій, вымогая у него, на своего рода нравственной дыбъ, признаніе: «да, и я виновать!» Но они блаженны, конечно, не въ томъ христіански-безумномъ смыслѣ, въ какомъ было сказано: «блаженны нищіе духомъ», «блаженны плачущіе». Въ этомъ христіански-безумномъ смыслѣ понималь блаженство и самъ Достоевскій, а потому и имѣлъ несомнѣнное право сказать: «утверждаютъ, что у меня въ сочиненіяхъ все только горе, да горе; нътъ, у меня есть и радости, но духовныя». Между тёмъ

г. де-Вогюэ, какъ и слъдуетъ ожидать по всему, уже выписанному нами изъ его статьи, настойчиво читаетъ

намъ такую мораль относительно Достоевскаго:

«Міръ не состоить только изъ мрака и слезъ; онъ представляетъ намъ, даже въ Россіи, и лучи свѣта, и веселье, и цвѣты, и радости. Достоевскій охватилъ только половину міра, такъ какъ писалъ только двухъ родовъ книги—печальныя или ужасныя... Двойственная натура,—заключаетъ г. де-Вогюэ,—съ какой-бы стороны къ ней ни подойти: сердце сестры милосердія и умъ ве-

ликаго инквизитора...»

Блестящее, полное эффекта, сопоставление, но только върно-ли оно? Почему же и нътъ? Въдь и у сестры милосердія несомнівню есть свои радости. Но, какъ знать? онѣ могутъ быть и у инквизитора! Когда сестрѣ милосердія удастся наконець смягчить страданія больного, то онъ вёдь начинаетъ производить на нее, въ своемъ родё, свътлое впечатлъніе, какъ бы ни была отвратительна и ужасна его бользнь. Когда инквизитору, въ томъ, разумфется, смыслф, въ какомъ только и хватитъ смфлости назвать инквизиторомъ Достоевскаго-послѣ долгихъ розысковъ въ душѣ человѣка, послѣ утомительнаго преследованія его по всёмъ извилинамъ его увертливой совъсти, послъ тщательнаго поджиганья его на ея медленномъ огнъ, удастся, наконецъ, уличить и испепелить въ немъ ветхаго человѣка, — тогда, привѣтствуя въ немъ спасенную для лучшей, для разумнёйшей жизни, душу, онъ можеть радоваться вмёстё съ этою исцёленной духовнымъ жельзомъ душой, какъ радуется сестра милосердія вмъсть съ больнымъ, почувствовавшимъ облегчение послъ операцін. Что самъ Достоевскій только въ упомянутомъ смыслъ и могъ бы сочувствовать инквизиторству (своему собственному «великому инквизитору» въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», онъ, разумѣется, не сочувствовалъ — это ясно изъ того, какъ толкуется даже «адскій огонь» его старцемъ Зосимой). То «мучительство», которое несомненно есть въ сочиненіяхъ Достоевскаго (ошибка извістнаго критика заключалась только въ томъ, что онъ выдавалъ

это мучительство за безполезное) именно и спасаетъ человическую душу отъ принимаемаго въ духовномъ смысли «огня адскаго», заключающагося, по пониманію Зосимы, въ слишкомъ уже позднемъ, а потому и безплодномъ сознанін, что жизнь протекла безполезно, въ печальномъ, хотя, можеть быть, и развесело-разгульномь, отъединенін отъ братскихъ призывовъ ближняго, или даже во взиманін съ него, для личныхъ своихъ обманныхъ потребъ и утъхъ, человъко-убійственнаго процента. Гръховность этого «процента» - несмотря на благовидность, даже научность этого термина (по выраженію самого Достоевскаго) — вотъ тотъ, вовсе опять не исключительно русскій, а обще-европейскій смысль, котораго не разглядёль въ Достоевскомъ европейскій критикъ (а взимается этотъ процентъ, между прочимъ, и въ видъ тёхъ преступниковъ, которыхъ всячески, такъ-сказать, вызывають на ихъ печальные подвиги, а потомъ просто беруть да ссылають, даже и въ самыхъ культурныхъ обществахъ). И тотъ романъ Достоевскаго, который представляетъ ближайшую связь съ «Мертвымъ домомъ», хотя выставленное въ немъ «преступленіе» и переходить уже на политическую почву, — даже и этоть романь далеко не вполнъ оцънень, а, стало быть, и понятъ г. де-Вогюэ. Вполнъ признаваемая имъ глубина психологическаго анализа и сила художественнаго воспроизведенія въ «Преступленіи и наказаніи» вызываеть у французскаго критика мысль, не опасенъ-ли онъ? «Преступленіе и наказаніе» будеть представляться благотворнымъ или вреднымъ, -- говоритъ г. де-Вогюэ, -- смотря по тому, какъ смотръть на публичные процессы и экзекуцій — защищать ихъ или возставать противъ нихъ. Вопросъ совершенно того же разряда; для меня онъ ръшается въ отрицательномъ смыслъ».

Вопросъ объ «экзекуціяхъ» — хотя бы и не публичныхъ, рѣшался, разумѣется, въ отрицательномъ смыслѣ и самимъ Достоевскимъ и едва-ли у какого-нибудь художника (не исключая и Виктора Гюго) можно встрѣтить болѣе сильный протестъ противъ смертной казни

самой по себѣ, какъ и противъ той религіозной ел обстановки, которая во всей ел святотатственной отвратительности выставлена у Достоевскаго въ эпизодѣ о женсвцѣ Ришарѣ (въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»). Едва-ли кто-нибудь (опять не исключая и Гюго) сильнѣе его говоритъ и противъ «каторги», испытанной имъ на самомъ себѣ и выставленной у него въ ел широкомъ всемірномъ смыслѣ, котя проповѣдь въ пользу сл и приписывалась Достоевскому тѣми, кто не понималъ его взгляда на духовную цѣлебность страданія съ его послѣдствіями—само-углубленіемъ, самоисповѣданіемъ и самонаказаніемъ. Въ своемъ отзывѣ о «Преступленіи и наказаніи», какъ и въ своемъ обозваніи Достоевскаго «инквизиторомъ», г. де-Вогюэ смѣшалъ грубую силу внѣшней кары съ внутрен-

нею силою суда совъсти.

Между тъмъ, Достоевскій въ «Преступленіи и наказанін», выставивъ преступника и совершенно новаго покроя все же внутренно казнящимся, подобно обыкновеннымъ преступникамъ, производитъ впечатлѣнье, вовсе не похожее на то, которое производится на присутствующихъ какою-нибудь позорно-жестокою экзекуціею. И въ последнемъ романе Достоевскаго указывается, какъ извъстно, на самоосуждение Мити, даже послъ несправедливаго суда надъ нимъ, а вмёстё съ тёмъ и на возрождающее действие такого самоосуждения. Это, какъ извёстно, въ свою очередь, подавало поводъ къ придиркамъ той критикъ, которая кстати хваталась и за то, что Достоевскій любиль непрошеннымь печальникамъ своихъ собственныхъ безвинныхъ страданій ставить въ упоръ увъренье, что онъ ихъ вполнъ заслужилъ. Въ связи съ подобными его выходками, и последній романь его толковался въ смыслѣ какой-то проповѣди чуть-ли не «прелести кнута» (при чемъ настойчиво повторяли, будто-бы самъ онъ въ Сибири былъ высъченъ, тогда какъ это только могло бы быть, но на самомъ деле этого не случилось; въ противномъ же случат Достоевскій не сталь бы этого скрывать). Другіе, между тъмъ, усматривали въ «Карамазовыхъ» только «новые типы забитыхъ людей», т.-е. оставались върными старой Добролюбовской постановкъ вопроса. Между тъмъ, и тутъ, какъ вездъ у Достоевскаго, дъло далеко не ограничивается одною «забитостью». Въдь сущность всъхъ его сочиненій въ раскрытіи той стороны человъческой природы, которая сказывается въ симпатическомъ влеченіи обездоленнаго человъка къ такимъ же, какъ онъ, а подчасъ и какому-нибудь разудалому Митъ съ его: «сторонись, я ъду!» даетъ себя знать въщимъ сновидъньемъ о томъ, какъ плачетъ «дитё». Въ этомъ смыслъ послъдній романъ находится въ самой тъсной логической связи со всъмъ прежнимъ, а все, имъ написанное, служитъ многостороннимъ истолкованьемъ лирическаго аккорда, принадлежащаго тому спорному для многихъ поэту, несомнънный павосъ котораго вполнъ признавалъ Достоевскій:

Пожелаемъ тому доброй почи, Кто все терпитъ во имя Христа, Чъи не плачутъ суровыя очи, Чъи не ропшутъ нёмыя уста, Чъи работаютъ грубыя руки, Предоставивъ почтительно намъ Погружаться въ искусства, въ науки, Предаваться мечтимъ и страстамъ; Кто бредетъ по житейской дорогѣ Въ безразсвётной, глубокой ночи, Везъ понятья о нравъ, о Богъ, Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи...

Вся разница въ томъ, что у Достоевскаго русскій обездоленный человѣкъ — даже тотъ, съ которымъ познакомился онъ въ Сибири, не выставляется окончательно проживающимъ «безъ свѣчи». Совершенно лишеннымъ ея оказывается у него только несчастный Ришаръ, которому женевскіе пасторы и сердобольныя дамы стали за то точно въ запуски проповѣдывать наканунѣ казни, какое блаженство «умереть во Христѣ» (не давъ ему во-время и малѣйшаго понятія о томъ, что значитъ «жить во Христѣ»). На этотъ разсказъ о Ришарѣ, какъ и на многое другое, поучительное и для Европы, не обратилъ вниманія г. де-Вогюэ, и вообще, впрочемъ, не

особенно оцънившій, т.-е. не осилившій «братьевъ Карамазовыхъ».

Последній романь Достоевскаго, сколько-бы ни говорили о томъ, что, при множествъ превосходныхъ частностей, въ цёломъ онъ, однако-же, неудаченъ, (можетъ быть, отъ избытка творческой, не вполив владвющей собою силы)-читался и читается, однако-же, очень много и производитъ на тѣхъ, кто прочтетъ его до конца, потрясающее даже и въ цёломъ дёйствіе. Многіе, правда, прямо сознаются, что они хорошенько его не понимаютъ. Между тёмъ романъ этотъ породилъ даже особое характеристическое опредъление — «карамазовщина», подобно тому, какъ когда-то Гончаровъ пустилъ въ оборотъ «обломовщину», еще-же ранте Гоголь «маниловщину» н «хлестаковщину», а Грибовдовъ «фамусовщину» и «ренетиловщину». Въ русской жизни оказывается, стало быть, что-то такос, чего еще не схватываль до Достоевскаго никто другой, но на что теперь часто ссылаются, какъ не перестали ссылаться на знаменитыя клички, пущенныя въ обороть другими, только-что упомянутыми, писателями. Какъ въ этихъ знаменитыхъ кличкахъ, такъ и въ той, которая обязана своимъ происхождениемъ Достоевскому, схвачено, стало быть, въ нашей жизни чтото, такъ сказать, стихійное. Но если мы такъ часто говоримъ о карамазовщинъ, то это, конечно, еще не значить, чтобы мы вполив давали себв отчеть въ томъ, что выражается этой кличкой. Основаниемь ей послужили черты, сказывающіяся въ цёлой семье, въ отцё и его трехъ сыновьяхъ, хотя и происходящихъ отъ двухъ его браковъ и отличающихся, даже помимо того, каждый своими особенностями, тёмъ не менёе носящихъ на себё, въ большей или меньшей степени, типическій отпечатокъ карамазовскаго рода (отчасти этотъ отпечатокъ сказывается и въ незаконномъ сынъ старика Карамазова -Смердиковъ). Постараемся собрать эти черты, общія карамазовскія черты, сведемъ вивств то, что говорится у Достоевскаго про «отца» и «дѣтей», и посмотримъ, такъ-ли велико у него разстояние между обоими поколъніями, какъ въ знаменитомъ романѣ Тургенева. Если намъ удастся привести ихъ къ одному знаменателю, то этимъ уже и опредѣлятся существенныя родовыя, а отчасти, можетъ быть, и народныя черты «карамазовщины».

Достоевскій, конечно, гораздо менѣе щадить наше старое поколѣніе въ лицѣ Карамазова отца, чѣмъ Тургеневъ его пощадилъ въ лицѣ стариковъ Кирсановыхъ (не говорю уже о столь симпатичныхъ во многомъ ста-

рикахъ Базаровыхъ).

«Это быль странный типь, — говорить Достоевскій про Оедора Павловича, довольно часто, однако, встричающійся, именно типъ человіка, не только дрянного и развратнаго, но, вмёстё съ тёмъ, и безтолковаго, но изъ такихъ, однако, безтолковыхъ, которые умѣютъ отлично обдёлывать свои имущественныя дёлишки». Оказывается, что онъ началъ приживальщикомъ, а оставилъ 100,000... «и все-таки всю жизнь продолжаль быть однимъ изъ безтолковъйшихъ сумасбродовъ... Тутъ не глупость, большинство этихъ сумасбродовъ довольно умно и хитро, -а именно безтолковость, и еще какая-то особенная, національная» (I, стр. 13). Эта безтолковость заключалась, надо думать, въ легкомъ отношеніи къ жизни, въ томъ, чтобы при самомъ обдёлываніи дёлишекъ обходиться безъ упорной и усидчивой дёловитости, а полагаться болье на удачу, на наши «авось и «везетъ». Такое легкое отношение къ жизни зависитъ отъ правила, что, въ сущности, «жизнь -- копейка», но если ужь она намъ дана, то надо проводить ее такъ, чтобы выходило «по колвна море». Только на этомъ основании и стоитъ жить, а если такъ, то жить ужь и такой долгій въкъ, чтобы въ конецъ забдать чужой. «Я, — говоритъ Оедоръ Павловичъ младшему сыну Алешѣ, - какъ можно дольше на свётё намёренъ прожить... а потому мнё каждая копъйка нужна, и чъмъ дольше буду жить, тъмъ она будетъ нужнве... Погана стану, поясняетъ старикъ, - не пойдуть они ко мнь доброго волею, ну воть туть-то мнь денежки и понадобятся... для одного себя-съ... потому что я въ сквернѣ моей до конца хочу прожить... А въ рай твой я не хочу... По-моему, заснулъ и не проснулся, и

ньть ничего... воть моя философія...» (I, 96).

«Иванъ хвастунъ, да и никакой у него такой учености нътъ», - говоритъ старикъ про второго сына... (197) «молчитъ, да усмѣхается на тебя, молча,—вотъ на чемъ только и вывъжаетъ... Ивана, - хорохорится онъ, - не признаю совствъ. Откуда такой появился! Не наша совсѣмъ душа...» (198). Не признавая Ивана «своимъ» и въ то-же время не признавая «никакой даже учености» въ этомъ отлично образованномъ молодомъ человеке, старикъ, конечно, далекъ отъ указанія на то, что, въ сущности, его философія сводится къ тому-же, къ чему сведена и его собственная, хотя Иванъ и добыль ее соверменно инымъ путемъ. Отзывъ старика, надо думать, вызванъ только высокомфрнымъ отношениемъ къ нему Ивана, которому, въ сущности, сродные ему инстинкты отца представляются отвратительными, но единственно потому, что они, такъ сказать, остаются у старика сырьемъ. Въ лицѣ незаконнаго своего брата, слуги Смердякова, Иванъ находитъ уже цёнителя, вовсе не вторящаго отзыву Оедора Павловича. Дёло въ томъ, что Иванъ Өедоровичъ поразилъ Смердякова своимъ духовнымъ безудержемъ: «все, дескать, по ихнему, позволено, что ни есть въ міръ, и ничего впредь не должно быть запрещено, —вотъ они чему меня все учили». ... «Если есть, говорить Смердяковъ, — который изъ сыновей более похожій на Өедора Павловича по характеру, то это онъ, Иванъ Оедоровичъ. «Умны вы очень-съ, —опредѣляетъ ему его самого Смердяковъ. Деньги любите, это я знаю-съ, почеть тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмірно любите, а пуще всего въ спокойномъ довольствъ жить... Вы, какъ Оедоръ Павловичь, наиболье-съ, изо всъхъ дътей напболье на него похожи вышли, съ одною съ ними душой-съ...» (II, 408), Оказывается, что передъ старшимъ (своднымъ) братомъ Митей самъ Иванъ однажды проговорился въ такомъ смыслъ, что вполнъ подтвердилъ отзывъ Смердякова. «Братъ Иванъ, по мнѣнію Мити, сфинксъ, и молчить, все мол-

читъ... Одинъ только разъ одно словечко сказалъ... Я ему говорю: «все позволено, коли такъ» (въ силу той теоріи, которая сообщена была Иваномъ Смердякову). Онъ нахмурился: «Осдоръ Павловичъ, говоритъ, папенька нашъ, былъ поросенокъ, но мыслилъ онъ правильно» (II, 294—95). Такъ-называемое «молчаніе» Ивана, ради котораго его и «не признавалъ» отецъ, забывая старую пословицу, что «въ тихомъ омутъ черти водятся», -- Митя, повидимому, имжетъ основание противопоставить и своему собственному состоянію, говоря про себя: «иден бушевали во мит неизвъстныя, я и пьянствоваль, и дрался, и бъсился...» «Меня, — продолжаетъ онъ, — Богъ мучитъ», утверждая при этомъ, что у «Ивана Бога нѣтъ...» Но если послушать меньшого, Алешу, то у Ивана «душа бурная... Въ немъ мысль великая и неразръшенная. Онъ изъ тъхъ, которымъ не надобно милліоновъ, а надобно мысль разръшить». И Мити признаетъ, что «у Ивана идея», но Митѣ кажется, что Иванъ вполнѣ ею овладёль и что именно потому-то у него «Бога нёть». Алеша-же скоръе думаеть, что и Ивана «Богъ мучить». что онъ вовсе не удовлетворенъ тѣмъ, въ чемъ, по мньнію Мити, заключается его «идея». Въ этомъ отношеніи, повидимому, сыновья не походять на отца, вполнѣ свободнаго отъ балласта какой-бы то ни было иден (если онь говорить о «своей философіи», то, конечно, только въ насмѣшку). Но все дѣло въ томъ, что, и «мучась идеею», при карамазовщинъ, можно наконецъ ринуться въ безбрежное море дающей свободу ото всего — «безъидейности». Не даромъ-же, декламируя Шиллера и указывая на то, что природа въ удёлъ насёкомымъ отвела сладострастіе, Митя говорить: «Я, брать, это самое насѣкомое и есть. И мы всѣ Карамазовы такіе-же, и въ тебь, ангель, это насъкомое живеть и въ крови двоей бури родитъ. Это-бури, потому что сладострастие буря, больше бури! Красота—это страшная и ужасная вещь... Туть берега сходятся, туть всв противоречия вмёсть живутъ... Иной, высшій даже сердцемъ, человъкъ, и съ умомъ высокимъ, начинаетъ съ идеала Мадонны, а кончаетъ идеаломъ содомскимъ. Еще страшите, кто, уже съ идеаломъ содомскимъ въ душт, не отрицаетъ и идеала Мадонны, и горитъ отъ него сердце его, и во-истину, во-истину горитъ, какъ и въ юные безпорочные годы. Иттъ, широкъ человъкъ, слишкомъ даже широкъ, я-бы сузилъ» (І, 123). Но въдъ тотъ-же самый Митя, въ самый разгаръ своего сладострастія, чутъ было, въ самомъ дълъ, не доведшаго его до того, въ чемъ его потомъ и обвинили, вдругъ начинаетъ говорить про какое-то пригрезившееся ему «дитё».

«И чувствуеть онь, — говорить Достоевскій про Митю, — что плакать ему хочется, что хочеть онь всёмъ сдёлать что-то такое, чтобы не плакало больше «дитё», не плакала бы и черная изсохшая мать «дити», чтобъ не было вовсе слезъ отъ сей минуты ни у кого, и чтобы сейчасъ же, сейчасъ же это сдёлать, не отлагая и несмотря ии на что, со всёмъ безудержемъ Карама-

зовскимъ...» (II, 201).

Но вёдь о томъ же самомъ «дитѣ», т.-е. о всёхъ вообще такого рода дётяхъ, не можетъ забыть и Иванъ. Мысль о нихъ, окончательно не давая ему успокоиться на той философіи, которую сообщаетъ онъ Смердякову, не позволяетъ ему, съ другой стороны, признать и ту совершенно иную, безъ которой, при всёхъ своихъ сладострастныхъ буряхъ, не можетъ обходиться Митя.

Вспомнимъ слова Ивана Алешъ:

«Объ остальныхъ слезахъ человъческихъ, которыми пропитана вся земля отъ коры до центра — я ужь ни слова не говорю... я взялъ однихъ дътокъ. (I, 273—75). «Я не Бога не принимаю... — говоритъ онъ съ чисто опять Карамазовской дерзостью, — я міра имъ созданнаго не принимаю... я только билетъ ему почтительнъйше возвращаю...» (I, 265, 275). Но, при этой неотвязчивой думъ о дътскихъ страданіяхъ (не говоря уже о человъческихъ вообще), Иванъ остается, однако, тъмъ же, какъ выражается Митя, «насъкомымъ», которому дано въ удълъ ненасытное сладострастье.

«Не въруй я въ жизнь... — сознается онъ, — порази

меня всё ужасы человёческаго разочарованія... я все-таки захочу жить и ужь какь припаль къ этому кубку, то не оторвусь отъ него, пока его весь не осилю. Впрочемъ, къ 30 годамъ навёрно брошу кубокъ, хоть и не допью всего, и отойду... не знаю куда». «Я спрашиваль себя много разъ: есть ли въ мірё такое отчаяніе, чтобы побёдило во мнё эту изступленную и неприличную, можеть быть, жажду жизни, и рёшиль, что, кажется, нёть такого, т.-е. опять-таки до тридцати этихъ лётъ, а тамъ ужь самъ не захочу... Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки моралисты называють часто подлою... Черта-то она отчасти Карамазовская... Жить хочется и я живу, хотя бы и вопреки логикё...» (І, 258—9).

Въ томъ же самомъ смыслѣ говоритъ про себя и Митя: «Кажется, столько во миѣ этой силы теперь, что я все поборю, всѣ страданія, только чтобы сказать и говорить себѣ поминутно: я есмь! Въ тысячѣ мукъ—я есмь, въ пыткѣ корчусь, —но есмь! Въ столиѣ сижу, но и я существую, солнце вижу; а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, это уже

вся жизнь» (II, 294).

Въ Карамазовыхъ та-же жажда жизни, которою захлебывался, страшно въ то же время томясь отъ нея, тотъ поэтъ, о паеосъ котераго такъ горячо говорилъ Достоевскій. Вспомнимъ только стихи:

Что враги? Пусть клевещуть язвительный, Я пощады у нихь не прошу;—
Не придумать имъ казни мучительный Той, которую въ сердцы пову!
Что друзья? Наши силы не ровныя: Я ни въ чемъ середины не зналь;
Что обходять опи, хладиокровные, Я на все безразсудно дерзаль;
Я пе думаль, что молодость шумнал, Что надменная сила пройдеть,—
И влекла меня жажда безумнан, Жажда жизни— впередъ и вперель!

Одолъваемый тъмъ, какъ выражался Достоевскій, демономъ, который присталь къ нему съ юныхъ лътъ,

поэтъ готовъ былъ искать спасенія въ томъ, чтобы, если уже не дается разумная жизнь, отдать ее разомъ всю за что-либо высшее. Утопая въ омутѣ жизни, онъ восклицалъ:

Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ, Сбаграющихъ руки въ крови, Уведи меня въ станъ погибающихъ За великое дёло любви!

Съ такою мольбою онъ обращался къ матери, память о которой оставалась «свётлымъ лучомъ» въ его «темномъ царствё». И уже за одну его память объ этомъ свётломъ лучё мы никогда не разлюбимъ его, какъ не разлюбилъ его Достоевскій, какими бы черными красками ни рисовалъ его намъ Тургеневъ въ своей перепискъ.

- Но у Мити и у Ивана именно и недостаетъ въ намяти этого свътлаго дуча; только младшій брать, Алеша, вспоминаетъ о томъ, какъ протягивала его къ образу Богородицы, при косыхъ лучахъ заходящаго солнца, его мать «кликуша», бывшая, впрочемъ, и матерью Ивана. Вотъ это смутное воспоминание о ней и служить Алешъ оберегомъ отъ карамазовщины, заставившей его бѣжать, очертя голову, въ монастырь, но все же не перестающей его пугать собою. Вспомнимъ, какъ опредъляетъ Достоевскій Алешу: «Юноша... честный по природъ своей, требующій правды, ищущій ее и вірующій въ нее, а, увъровавъ, требующій немедленнаго участія въ ней всею силою души своей, требующій скораго подвига, съ непремѣннымъ желаніемъ хотя бы всѣмъ пожертвовать для этого подвига, даже жизнью... Едва только онъ, задумавшись серьёзно, поразился убъжденіемъ, что безсмертіе и Богъ существують, то сейчась-же естественно сказалъ себъ: «хочу жить для безсмертія, а половиннаго компромисса не принимаю». Точно также, если-бы онъ поръшиль, что безсмертія и Бога нъть, то сейчась бы пошель въ атенсты и соціалисты... Алешѣ казалось даже страннымъ и невозможнымъ жить по прежнему. Сказано: «раздай все и иди за мной, если хочешь быть

совершенъ». Алеша и сказалъ себѣ: «не могу я отдать выѣсто «всего» два рубля, а выѣсто «иди за мной», ходить лишь къ обѣднѣ» (І, 34—35). Не трудно, конечно, и въ этихъ просвѣтленныхъ чертахъ узнать все тотъ же родовой типъ,—съ его нетериѣливою жаждою полнаго и немедленнаго достиженія, съ его неумѣньемъ удовлетворяться лишь половиной, или останавливаться въ раздумы на распутьи; съ его: «или вовсе не жить, или ужь жить вполнѣ»—(въ мѣру того или другого пониманія жизни). Но порою Алеша прямо даже чуетъ въ себѣ присутствіе родовой карамазовщины и въ ея первородномъ, грубо стихійномъ смыслѣ. Онъ говоритъ:

«Тутъ «земляная Карамазовская сила... земляная и неистовая, необдёланная. Даже носится ли Духъ Божій вверху этой силы и того не знаю. Знаю только, что и самз я Карамазовз. ... Я монахъ, монахъ?.. А я въ Бога-то,

можетъ быть и не върую» (I, 248).

Вспомнимъ въ жизни его «такую минутку», когда, глубоко оскорбленный тѣмъ, что тѣло старца Зосимы не избавлено было отъ тлѣнія, онъ готовъ, подобно Ивану, «почтительно возвратить свой билетъ», съ тѣмъ, чтобы безъ оглядки пойти за Ракитинымъ, соглашаясь не только на его колбасу и вино, но даже на Грушеньку. Ракитинъ, какъ извѣстно, считаетъ при этомъ вполнѣ торжествующимъ и себя, и свою «философію». Съ торжествующимъ видомъ выступаетъ онъ и на судѣ, выходя изъ обыкновенной роли свидѣтеля и вдаваясь въ культурно-историческую оцѣнку карамазовщины. «Всю трагедію судимаго преступленія Ракитинъ изобразилъ, какъ продуктъ застарѣлыхъ нравовъ крѣпостного права и погруженной въ безпорядокъ Россіи, страдающей безъ соотвѣтственныхъ учрежденій» (II, 375).

Въ сущности вовсе не выходя изъ своей роли обвинителя, появлясь только истолкователемъ той почвы, на которой созрѣло преступленіе, характеризуетъ карамазовщину и прокуроръ и вполнѣ сходится съ Ракитинымъ въ томъ, что видитъ въ ней продуктъ только отрицательныхъ сторонъ русской жизни, даже и при го-

товности признать въ карамазовщинъ своего рода лицевую сторону. Онъ въдь говоритъ: «Мы даже обуреваемы, именно обуреваемы - благороднъйшими идеалами, но только съ тъмъ условіемъ, чтобы они достигались сами собою, упадали бы къ намъ на столъ съ неба, и, главное, чтобы даромъ, даромъ... О, дайте, дайте намъ всевозможныя блага жизни... и особенно не препятствуйте нраву ни въ чемъ, и тогда и мы докажемъ, что можемъ быть хороши»... (II, 409). Но въренъ ли этотъ судъ надъ карамазовщиной, или же онъ, если и не такъ несправедливъ, какъ судъ надъ Митей, то всетаки слишкомъ одностороненъ? Если карамазовщинанародная наша черта, то про насъ по преимуществу придется сказать: «широкъ русскій человѣкъ, слишкомъ даже широкъ». Но едва-ли у каждаго повернется языкъ, чтобъ прибавить: «я бы сузилъ». Если такъ, то не слъдуетъ ли къ карамазовщинъ примънить выражение, употребленное по другому поводу на томъ же судъ? Не есть-ли карамазовщина своего рода «палка о двухъ концахъ»? Не ее ли въ широкомъ сиыслѣ имѣлъ въ виду столь чуткій къ народному духу поэтъ, когда воскликнулъ:

Коль любить, такъ безъ разсудку, Коль грозить, такъ не на шугку, Коль ругнуль, такъ сгоряча, Коль рубнуть, такъ ужь сплеча! Коль спорить, такъ ужь смёло, Коль карать, такъ ужь за дёло, Коль прост.ть, такъ всей душой, Коли пиръ, такъ пиръ горой!

Русская жизнь, подобно богатырю народному, слишкомъ долго засидъвшаяся сиднемъ, создала вдругъ историческаго богатыря, который съ самымъ неукротимымъ безудержемъ вскочилъ на ноги и, не оглядываясь назадъ, не задумываясь на распуты, бурно увлекъ за собою Русь по пути еще мебывалаго въ мірѣ ускореннаго развитія, страстно-нетерпѣливо сразу рѣшившись догнать постепенно и медленно опередившее насъ въ свое время западносвропейское человѣчество. И съ такимъ же точно бур-

нымъ безудержемъ, уже на нашихъ глазахъ, послѣ всякаго рода скороспѣлой жатвы на даровщину, послѣ цѣлаго ряда захватовъ съ чужого культурнаго пира, бѣшено проявился у насъ порывъ—взять да разомъ и опрокинуть этотъ европейскій пиршественный столъ, попрежнему оказывающійся накрытымъ не для всѣхъ.

«Русскому скитальцу необходимо всемірное счастье, чтобы успокоиться; дешевле онъ не примирится». Такъ сказаль Достоевскій въ своей Пушкинской річи, и это повторяла передъ нимъ молодежь, во время одной изъ устроенныхъ ему овацій, какъ онъ самъ намъ о томъ разсказываль, вполні вознагражденный за ту клевету, какою не гнушались иные изъ мнимыхъ радітелей молодежи, увіряя ес, что Достоевскій, можетъ быть и безъ умысла, но все-таки прямо на нее «доносить». Она же, эта молодежь, чімъ дальше, тімъ довірчивіе прислушивалась къ его голосу—голосу неумытаго судын и вірнійшаго друга, отнятаго у нея, къ несчастью, слишкомъ рано!

II.

Карамазовщина, какъ мы видели, получила у насъ даже историческое значение. Чисто карамазовский «безудержъ» сказался у насъ въ стараніи наверстать потерянное, сразу усвоить себѣ цѣликомъ всю европейскую цивилизацию. Если въ гоньбъ за ея формами произошла у насъ затемъ остановка сверху, то въ гоньбе за ея приниипами продолжаль сказываться тёмь лишь более уснливаемый внизу «безудержъ». Онъ находилъ себъ новыя вдохновенія въ томъ недовольстві формами европейской жизни, которое все болфе и болфе проявлялось и на западъ. Никакія реставраціи послъ французской революцін съ ея міровымъ соблазномъ, не могли, разумъется, заглушить этого недовольства, потому что не могли устранить его основаній. Совершенно справедливо въ 1848 г. писаль своему Августыйшему ученику Жуковскій о тогдашнемъ ходъ вещей въ Европъ: «прежде, нежели удо-

влетворить нуждамъ въка, хотъли привести въ границы его буйство, тогда какъ надлежало сдълать не первое посл'є посл'єдняго, а то и другое вм'єсть» 1). Между тёмъ у насъ продолжали тогда примёнять именно этотъ неодобряемый нашимъ писателемъ способъ, испугавшись пока только чужого «буйства», такъ какъ свое еще и не думало выступать наружу; но усиленное придавление у насъ мысли съ 1848 г. именно и вызывало подспудное до поры до времени накопленіе недовольства, а вмъстъ съ нимъ и тъмъ болъе изощренную воспримчивость къ самымъ «буйнымъ» принципамъ. Съ общею системою шла у насъ тогда въ униссонъ и воспитательная система-особенно же въ тогдашнихъ духовныхъ заведеніяхъ, гдв прямо уже практиковалось, по меткому выражению одного изъ лучшихъ критиковъ Достоевскаго 2), «вколачивание въры розгами». Потому-то именно этимъ заведеніямъ и пришлось у насъ потомъ обратиться въ главный разсадникъ самыхъ «буйныхъ» идей.

Въ 1855 г. система была круто изменена: просвещенный умъ и гуманное сердце Августвишаго ученика Жуковскаго поставили себѣ задачею «удовлетворить нуждамъ въка». Но недовольства накопилось уже слишкомъ много, а въ Европъ на очереди оставалась революція, и вотъ наши недовольные уже не удовлетворялись мирнымъ путемъ реформъ. Путь этотъ представлялся слишкомъ долгимъ и скучнымъ для ихъ Карамазовскаго нетерпѣнія, и увлеченіе «буйствомъ вѣка» быстро стало проявляться на почвё по преимуществу бурсацкой озлобленности противъ той розги, которою у насъ до тёхъ поръ «вколачивалась въра». Значительная часть молодыхъ свѣжихъ силъ, которымъ предстояло бы проводить въ жизнь реформы и отстанвать ихъ въ жизненной борьбѣ отъ противодействія и явныхъ ихъ ненавистниковъ и замаскированныхъ заговорщиковъ противъ нихъ изъ барскаго и служилаго стана, - значительная часть этихъ

2) Л. Е. Оболенскаго.

¹⁾Русскій архивъ, 1885 г. ч. ІІ, стр. 269 — 270.

пылкихъ и, въ сущности, самоотверженныхъ силъ, сама ударилась въ оппозицію, увлекаясь проповѣдью недовѣрія къ ресормамъ и соблазнительной ролью— не исполнителей только, а самостоятельныхъ и дальше гораздо идущихъ дѣятелей. Слѣдствіемъ всего этого было то, что поэту-сатирику пережитой нами многосодержательной поры пришлось, наконецъ, воскликнуть:

Влагодатное время надеждъ, Такъ прошедшимъ и ты уже стало! Къ удовольствію дикихъ невѣждъ, Ты обѣтовъ своихъ не сдержало!

Современниками-бытописателями этой поры, которая задасть въ свое время большую работу исторіи, являются болье или менье всь выдающієся представители нашей новышей литературы. Но самое видное мьсто между ними принадлежить Достоевскому. Онъ воспроизвель ея сложныя и запутанныя явленія и въ «Преступленіи и наказаніи», и въ «Идіоть», и въ «Бьсахъ». Онъ же является, наконець, ея разъяснителемь и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Повидимому, мы вращаемся туть въ области частной жизни, повидимому, и преступленіе, туть совершаемое и служащее центромъ дъйствія, преступленіе чистосемейнаго свойства; но болье углубленный взглядъ не можеть не распознать туть подкладки очень широкой, чисто общественнаго, даже прямо политическаго характера.

Вдохновителемъ этого преступленія, новымъ Раскольпиковымъ не de facto, a de idea является самое
крупное и всего глубже задуманное лицо романа, Иванъ
Оедоровичъ Карамазовъ. Онъ—представитель Карамазовщины въ ся идейномъ смыслъ. Ему нуженъ безусловный
просторъ—въ дъйствіи, безконечная глубь—въ постиженіи. Того безусловнаго простора, какого онъ хочетъ,
не даетъ никакое государство, и вотъ онъ утверждаетъ,
что оно должно быть поглощено, какъ нъчто низшее,
косное въ своемъ заматеръломъ язычествъ, поглощено
церковью, да, церковью, о которой, со стороны ея отно-

шеній къ государству, написаль онъ свой извёстный трактать. Смыслъ этого трактата, главнымъ образомъ, отрицательный, т.-е. направленный противъ государства съ его деспотизмомъ подъ благовиднымъ внаменемъ высшаго начала церкви. Но въ томъ, что говорится тутъ о последней, неть лицемерія. Ивану нужна она сама по себеради той глубины постиженія, которой онъ волей неволей отъ нея ожидаетъ. Онъ не изъ техъ ограниченныхъ умовъ, въ сущности напоминающихъ Гётевскаго Вагнера, которые простодушно думають, что можно, въ самомъ дълъ, все постичь путемъ научнаго изученія. Онъ изъ тёхъ глубокихъ натуръ, которыя не въ силахъ остановиться у грани, положенной человъческому знанію, или же легкомысленно ташить себя фикціей, что, произвольно перескакивая черезъ нее своимъ идействующимъ воображеніемъ, они все-таки остаются въ области чистой науки. Онъ изъ тъхъ, кому непремънно нужно переступить эту грань, хотя за нею и открывается-онъ вполнъ это сознаеть уже иная область та, въ которой далеко не уйдешь съ тусклой свѣтильней нашего ограниченнаго ума. Тутъ уже надо довърчиво дать себя повести путеводствующей звъздъ откровенія. Воть онь за ней и направится, только не навсегда-именно потому, что тутъ надо дать себя повести, надо довъриться, а довъриться значить подчиниться, что уже несовмистно съ безграничною жаждой свободы. Но онъ не останется въ лонъ церкви также потому, что тутъ нужно подчинение и въ другомъ смыслѣ. Если онъ отказывается отъ подчиненія разума, хотя бы съ темъ вместе пришлось отказаться и отъ открывающагося только подъ такимъ условіемъ высшаго свъта, то какъ же онъ подчинитъ не только свой разумъ, но и свою волю, ради полной свободы которой и бъжаль онъ изъ государства? Хотя церковь не станетъ насиловать его волю, но вёдь она будеть ограничительно дёйствовать на нее постояннымъ напоминаньемъ ему о ближних. А онъ не даромъ же заявилъ Міусову въ споръ съ нимъ, что «на всей землъ нътъ ръшительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себъ

подобныхъ, что такого закона природы, чтобы человъкъ любиль человъчество, не существуеть вовсе». Въ томъ же спорт онъ еще прибавиль: «уничтожьте въ человъчествѣ вѣру въ свое безсмертіе, въ немъ тотчасъ же изсякнеть не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать міровую жизнь... Тогда уже ничего не будетъ безнравственнаго, все будетъ дозволено, даже людовдство» (ч. I, стр. 82). Онъ говорить это, такъ какъ въры въ безсмертіе въ немъ уже нътъ, ибо нътъ уже и въры вообще, потому что въра для него подчиненіе — и онъ, такимъ образомъ, избавляетъ себя отъ другого подчиненія — любви къ ближнему. Совершенно иная постановка этихъ вопросовъ у старца Зосимы, говорящаго г-ж Хохлаковой, когда она ему печалуется, что не можетъ повърнть безсмертію. «По мъръ того, какъ будете преуспъвать въ любви, будете убъждаться и въ бытін Бога и въ безсмертін души вашей» (І, 67). Туть самая идея безсмертія выводится изъ любви, а не безсмертіе ділаеть любовь обязательною, потому что дёлаетъ ее заинтересованною, т.-е. пропитанною расчетомъ. Любите людей, хочетъ сказать Зосима, и вы откроете въ каждомъ изъ нихъ ту искорку Божества, которая приведеть вась къ самому Божеству и увъритъ васъ въ томъ, что какъ само оно безконечно и въчно, такъ неугасима и каждая отдёльная его искорка. Но въдь для Ивана Өедоровича съ его Карамазовскимъ размахомъ требованій этой искорки мало. Онъ и не зам'єтить ея изъ-за того дыма и чада, съ какимъ такъ часто соединяется ся мерцающее, совстив почти гаснущее состояніе. Онъ будеть подходить къ этимъ тусклымъ лампадкамъ и старательно ихъ оправлять лишь въ томъ случав, если можно будеть разсчитывать на большой и уже не гаснущій, самосіянный свъть впереди. Этоть вѣчный свѣтъ нуженъ ему, какъ окрыляющее на подвигъ возмездіе. В'єдь онъ-же прямо и говорить: «мні надо возмездіе: иначе я истреблю себя... И возмездіе, прибавляеть онъ подъ вліяніемъ своей Карамазовской нетерпѣливости, -- не въ безконечности гдѣ-нибудь и когда-нибудь, а здёсь на землё» (другими словами — поскорёе и чтобъ я его самъ увидалъ) (І, 274). Но такъ какъ онъ еще не видить этого вознаграждающаго свъта, а видить вокругъ только массу людей съ ихъ тусклымъ мерцаньемъ, то онъ и не въ силахъ понять, «какъ можно любить своихъ ближнихъ». По его мнѣнію, именно ближнихъ-то и невозможно, а развѣ лишь дальнихъ, тёхъ, отъ которыхъ не доносится до васъ чадъ, а про которыхъ можно вообразить, что они такъ слабо свътять лишь оттого, что остаются вдали. «Чтобъ полюбить человака, - уваряеть онь, - надо, чтобы тоть спрятался, а чуть лишь покажеть лицо свое — пропала любовь. По моему, — заключаетъ онъ, — Христова любовь къ людямъ есть въ своемъ родѣ невозможное на землѣ чудо. Правда. онъ быль Богъ, —невольно исповъдуетъ Карамазовъ, —но мы-то не боги» (I, 266). Да, а между тымь въ церкви эта Христова къ людямъ любовь для всёхъ обязательна. Церковь вёдь всёхъ призываетъ стать подобными Христу чудотворцами, потому что помнить завътъ Христа: «будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный». Но если такъ, то въ церкви еще труднъе ужиться, чёмъ въ государстве; положимъ, она не велитъ изъ-подъ палки, а только внушаетъ, указывая на то, что окончательно не следующий ея внушеньямъ - отрезанный отъ нея ломоть. Но Иванъ Карамазовъ не дастъ же себя отразать; онъ сознательно выйдеть изъ церкви. онъ самъ отъ нее отвалится.

То, что говорить Ивань о самомь себь, сходится съ разсказомъ Зосимы объ одномъ докторъ. «Я, говорить, люблю человъчество, но... чьмъ больше я люблю человъчество вообще, тьмъ меньше я люблю людей въ частности... Я... можетъ-быть, пошель бы на крестъ за людей, если-бъ это вдругъ какъ-нибудь потребовалось, а между тымь я двухъ дней не въ состоянии прожить ни съ кымъ въ одной комнаты... Чуть онъ близко отъ меня, и вотъ ужь его личность давитъ мое самолюбіе и стъсняетъ мою свободу» (І, 68). Выдь и Иванъ Федоровичь готовъ бы, пожалуй, пойти на крестъ, какъ готовъ, ко-

печно, и другихъ распять на крестѣ, — если бы то или другое потребовалось для полноты постиженія истины или перестроенія міра во имя ея, — того и другого сразу, потому что вѣдь въ томь только и настоящая полнота. Но для него, какъ и для доктора, какъ и для множества «докторовъ» — потому что идейная карамазовщина у насъ въ воздухѣ — немыслимъ, потому что невыносимъ — медленный, постоянный подвигъ, тотъ терпѣливый подвигъ не ради «всего человѣчества», а именно ради «ближнихъ», къ которому дѣлаетъ насъ способными только любовь.

Трудъ «капли, долбящей камень», — капли, конечно, нравственной — сознающей и чувствующей, это никакъ не карамазовскій трудъ. Карамазовы не знають середины между созиданіемъ en grand или разрушеніемъ. А такъ какъ карамазовщина у насъ въ воздухъ, то Достоевскій и даеть намь ее почувствовать, въ окончательно бользиенномъ ел извращении, даже въ своей истерической девочке, дочери этой безтолковой г-жи Хохлаковой. «Я хочу безпорядка, —говорить у него Лиза. — Я все хочу зажечь домъ... Они-то тушатъ, а опъ-то горитъ». Алеша при этомъ не безъ свойственнаго подчасъ простодушнымъ людямъ глубокомыслія ляпаетъ ей въ отвѣтъ: «богато живете». — «Лучше что-ль бѣдной-то быть?»—спрашиваетъ она.—«Лучше», упорствуетъ онъ въ своемъ отпоръ той шири, тому «по кольна море» и «подавай мив все», которое онь чуеть и въ самомъ себв и котораго такъ бонтся. «Это вамъ вашъ покойный монахъ наговорилъ, — возражаетъ она. — Это неправда. Пусть я богата, а всё бёдные, я буду конфекты ёсть и сливки пить, а темъ никому не дамъ. (Не подвергать же себя лишеніямь ради какихъ-то противныхъ ближнихъ — вышло бы это на языкъ Ивана). Не хочу дёлать доброе, я хочу дёлать злое».

«Зачёмъ дёлать злое?» — спрашиваетъ Алеша. «А что бы нигдё ничего не осталось (чтобъ перевелись всё эти противные ближніе съ тёми подлыми порядками, которые терпять они — опять въ переводё на языкъ

Ивана). Я читала гді-то, — продолжаетъ истерическая дъвочка, — что жидъ 4-лътняго мальчика распялъ... Я иногда думаю, что это я сама распяла. Онъ виситъ и стонеть, а я сяду противь него и буду ананасный компоть ёсть (не отказываться же отъ компота, благо онъ есть и мий доступень, а истина мий недоступна, да есть ли еще она? могъ-бы, по-своему вторя Пилату, сказать Иванъ, найди только на него такой стихъ, а что «пускай ихъ хоть всв переглотаютъ другъ друга живьемъ», то въдь подобный стихъ уже находилъ и на Раскольникова). Я послала письмо къ одному человеку, продолжаетъ Лиза, -- онъ пришелъ, и я ему разсказала про мальчика... Онъ вдругъ засмъялся и сказаль, что это въ самомъ дълъ хорошо... Онъ меня презираль?» недоумѣваетъ она, приходя въ себя. «Нѣтъ... Онъ самъ, можеть быть, върить ананасному компоту» (успоканваетъ ее (II, 282-285) Алеша, хорошо понимая, что человъкъ, за которымъ она послала, его братъ Иванъ). Между темъ Алеша и тутъ не взяль бы назадъ того, что сказаль ей когда-то прежде: «вы сметесь, какъ маленькая дівочка, а про себя думаете, какъ мученица» (І, 246). Но онъ хорошо понимаетъ, что и братъ Иванъ, «върящій ананасному компоту», въ свою очередь способенъ стать мученикомъ (мученикомъ-въ «докторскомъ» смыслѣ).

Какъ будто бы также вѣрно, а между тѣмъ совсѣмъ по-своему понимаетъ Ивана и Ракитинъ, этотъ «семинаристъ-карьеристъ» Достоевскаго. «Можетъ столкновеніе произойти уголовное,—говоритъ онъ Алешѣ, по поводу ихъ карамазовскихъ несогласій.—А этого братъ твой Иванъ и ждетъ, тутъ онъ и въ малинѣ: и Катерину Ивановну пріобрѣтетъ ...да и 60000 приданаго тяпнетъ». Ракитины понимаютъ Ивана буквально: имъ невдогадъ, что онъ — способный на все эгоистъ только въ силу блужданій своей теоріи. «Слышалъ давеча его глупую теорію,—туда же еще и осуждаетъ ее Ракитинъ,—«нѣтъ безсмертія такъ нѣтъ и добродѣтели, значить все позволено».—«Соблазнительная теорія подлецамъ», справед-

ливо рѣшаетъ онъ, самъ-то вполнѣ ею и соблазненный, но старающійся замаскировать это отъ другихъ. «Человѣчество, —проповѣдуетъ онъ, —само въ себѣ силу найдетъ, — т.-е. безъ всякихъ подачекъ свыше; въ любви къ свободѣ, къ равенству, къ братству найдетъ» (I, 94—96). Самъ онъ дѣйствительно и нашелъ въ себѣ эту силу—нашелъ въ своемъ пониманіи этихъ идей: свободы, насколько она его самого разнуздываетъ, равенства—насколько оно его подтягиваетъ до уровня тѣхъ, что выше его; братства — насколько онъ самъ разсчитываетъ по-

пользоваться отъ братьевъ.

По-своему понимаетъ Ивана и незаконный его братъ Смердяковъ. Оедоръ Павловичъ, папенька ихъ, замѣчаетъ не даромъ Ивану: «за объдомъ теперь каждый разъ сюда лѣзетъ; это ты ему столь любопытенъ». Иванъ именно любопытенз Смердякову, котораго онъ вовсе «не заласкаль», какъ оно показалось старику Карамазову. Трудно на этотъ разъ согласиться съ лучшимъ изъ критиковъ Достоевскаго, что Смердяковъ влюблент въ Ивана. Смердяковъ-это тотъ же «подростокъ», но только гораздо болъе озлобленный несравненно большею оскорбительностью своего происхожденія и положенія. Этоть сынь-лакей своего отца, даже и не жаждеть кого-либо полюбить, какъ жаждетъ «подростокъ» при всей своей озлобленности. Смердякову Иванъ любопытенъ, какъ живая книга, въ которой онъ чёмъ дальше, тёмъ больше вычитываетъ такого, что вполнъ на руку Смердякову. Узнавая свои инстинкты въ идеяхъ умнаго и образованнаго Ивана. Смердяковъ не только получаетъ отъ него санкцію на все, но при этомъ еще и выростаетъ въ своихъ глазахъ, хотя Иванъ-онъ это хорошо понимаетъсъ презрѣніемъ къ нему относится. Не даромъ Иванъ и отпирается отъ мненія отца, что онъ чемъ-то «заласкалъ» Смердякова. «Это лакей и хамъ», — говоритъ онъ про Смердякова. «Передовое мясо, впрочемъ, когда срокъ наступить, —прибавляеть онь, растолковывая: — будуть другіе и получше, но будуть и такіе. Сперва будуть такіе, а за ними получше». Стало быть, отъ того, что

въ Смердяковъ все же есть почва для пропагандируемыхъ Иваномъ идей, Иванъ нимало не отпирается. «То-то брать, — соглашается не безъ недоумьнія Федоръ Павловичъ, — вотъ этакая Валаамова ослица думаетъ, думаетъ, да и чортъ знаетъ про себя тамъ до чего додумается». — «Мыслей накопить», поясняеть Ивань. «Что до того, что онъ тамъ надумаетъ, продолжаетъ свое Өедоръ Павловичъ, -- то русскаго мужика, вообще говоря, надо пороть... Русская земля крѣнка березой»... Но тою же самой березой онь бы готовъ пороть и тёхъ, кто, какъ онъ понимаетъ, приручаетъ народъ «своей мистикой», тою самою, подъ которую подканывается Смердяковъ со своими думами. Оедоръ Павловичъ противъ «этой мистики», потому что она имфетъ претензію приручать и такихъ, какъ онъ самъ. «Я бы съ твоимъ монастырькомъ покончилъ, -- говоритъ онъ Алешъ. -- Взять бы всю эту мистику да разомъ по всей русской землъ да и упразднить, чтобы окончательно всёхъ дураковъ обрезонить»... Иванъ же, подобно Раскольникову, огорошивающему вольнодумствующаго Лужина, точно также огорошиваетъ старика отца: «такъ васъ же перваго сначала ограбять, а потомь ...упразднять»... «Ну, такь нусть же твой монастырекъ стоитъ, Алешка, --тотчасъ же и даетъ себя вразумить старикъ, --а мы умные люди будемъ въ теплѣ сидѣть да коньячкомъ пользоваться» (Í, 150—152). Старикъ коньячкомъ, а действительно умный Иванъ-ананаснымъ компотомъ. При этомъ Иванъ, понимая, къ чему ведетъ «упраздненіе мистики», не воздержится, разумбется, отъ упраздняющей ее пропаганды. А Смердяковы будутъ усердно слушать и просвъщаться. Почва же въ нихъ благодарная. «Я всю Россію ненавижу, -- сознается Смердяковъ, -- любезничая съ Марьей Кондратьевной (онъ невольно сходится въ этомъ съ ненавистнымъ для него отцомъ, который считаетъ Россію — «свинствомъ»). Смердяковъ торжественно объявляетъ своей «душенькъ», что вовсе не намъренъ быть, какъ ей бы мечталось, «военнымъ гусарикомъ», потому что, напротивъ, «желалъ бы уничтоженія всёхъ сол-

чисты.

датъ»... Защищаться отъ враговъ, какъ она указываетъ ему, незачёмъ. Если-бъ мы не выдержали въ 12-мъ году, то «умная нація покорила бы весьма глупую и присоединила бы къ себъ», разсуждаеть онъ, прибавляя: «Русскій народъ надо пороть-съ, какъ правильно говорилъ вчера Өедоръ Павловичъ, хоть и сумасшедшій онъ человекъ со всёми своими детьми». (Онъ, стало быть, къ нимъ относитъ и Ивана, въ которомъ цънитъ собственно то, что тотъ выколачиваетъ изъ него, Смердякова, мистику — да еще безъ розги, такъ что не больно). «Вы Ивана Өедоровича, сами говорили, такъ уважаете», основательно замвчаеть ему Марья Кондратьевна. «А они про меня отнеслись, - оправдывается Смердяковъ, -- что я вонючій лакей. Они меня считають, что бунтовать могу; это они ошибаются (т.-е. будто бы онъ годится въ «пушечное мясо» ради идеи). Была бы въ моемъ карманъ такая сумма, и меня бы здъсь давно не было» (I, 253). И вотъ, въ головъ у него созръваеть плань относительно «такой суммы», чтобы можно было съ нею - взять да утечь. Такая сумма можетъ у него явиться, если только онъ сумфетъ воспользоваться карамазовскою семейною смутой.

Смердяковъ понимаетъ, что Митя, въ пылу страсти, можетъ всякую минуту убить отца. Онъ понимаетъ и то, что, если въ теоріи «все позволено», то и всякое убійство можетъ быть оправдано во имя теоріи. Но онъ думаетъ также, что теоретически допускающій, разумѣется, и убійство Иванъ, и на дѣлѣ обрадуется ему, хотя самъ и не захочетъ марать рукъ, обрадуется потому, что это ему выгодно, а руки у него остаются

Теорія Ивана и въ самомъ дѣлѣ, въ примѣненіи къ данному положенью, такова: «одинъ гадъ съѣстъ другую гадину, туда и дорога!» Плохое возраженье ему составляетъ вопросъ Алеши, напоминающій столь же простодушныя соображенія Сони, приведенной въ ужасъ Раскольниковымъ, «Неужели,—недоумѣваетъ Алеша,—имѣетъ право всякій человѣкъ рѣшать, смотря на остальныхъ

людей: кто изъ нихъ достоинъ жить, и кто более недостоинъ?» «Этотъ вопросъ, —совершенно по-раскольниковски отвѣчаетъ Иванъ, всего чаще рѣшается... по другимъ причинамъ гораздо болве натуральнымъ. А на счетъ права, такъ кто же не имъетъ права желать?»—«Не смерти же другого?»—спрашиваетъ Алеша. «А хотя бы даже и смерти?» не задумывается Иванъ, сейчасъ же, впрочемъ и успокаивая братишку: «знай, что я его всегда защищу», «Но въ желаніяхъ своихъ, —опять оговаривается онъ, -я оставляю за собою полный просторъ» (1, 160-162). Если же оно такъ, то Смердяковъ, пожалуй, и не совсёмъ невёрно угадываетъ мысли Ивана, Смердяковъ не видитъ только того, что, даже и при попутной теоріи, Иванъ не пойдеть за желаньемъ такъ далеко, чтобы непремённо добиться осуществленья его хотя бы другими, или чтобы, въ случав осуществленья, протянуть съ благодарностью руку осуществителю...

«Что же Димитрій и отецъ? — при другой уже встрѣчѣ спрашиваетъ Ивана Алеша, — чѣмъ это у нихъ кончится?» — «А, ты все свою канитель! Да я то тутъ что? Сторожъ я что-ли моему брату Димитрію?» прямо даже сердится тутъ Иванъ, хорошо помня, что это

«Канновъ отвътъ Богу объ убитомъ братъ».

...«Дѣла кончилъ, и ѣду», — говоритъ опъ, и по-своему правъ, умывая заранѣе руки въ томъ, на что очень ясно намекалъ ему Смердяковъ... «Ей (Катеринѣ Ивановнѣ) нужно, можетъ бытъ, лѣтъ 15 или 20, чтобы догадаться, что Димитрія она вовсе не любитъ», разсуждаетъ въ немъ уже прямо ревность... «Да, пожалуй, и не догадается она никогда... Ну и лучше, — злорадствуетъ онъ самъ себѣ, — всталъ да и ушелъ на-вѣки»... А пока тутъ чего добраго, одна гадина и съѣстъ наконецъ другую, а Катя наконецъ догадается про Димитрія, что онъ за птица, и Ивану уже незачѣмъ будетъ оставаться въ отлучкѣ на-вѣки... Не уѣзжать, чтобы не допустить этого, вѣдь это прежде всего мѣшать злу, т.-е., другими словами, признавать добро, т.-е. поклоняться добру, ему подчиняться, такъ что вышло бы по Алешиной

«мистикъ», а не по-карамазовски... Это значило бы признать, что «не все позволено», а на ихъ карамазовскомъ знамени въдь напротивъ того написано «все позволено».

Въ теоріи у Ивана, надо замѣтить, выходить такъ, что вынести это знамя на улицу и скликать подъ него всёхъ и каждаго нужно только на время. Потомъ придется убрать это знамя въ свои хоромы и только самимъ оставаться подъ его широкою свнью. Вынести же знамя на улицу необходимо для того, чтобы, давъ прогуляться съ нимъ и подъ нимъ разгуляться толив, «уничтожить весь порядокъ вещей», какъ выражается юная жертва этой уличной пропаганды, Коля Красоткинъ. Посл'є же уничтоженія всего стараго порядка должень водвориться новый, предоставляющій полнейшій просторъ карамазовщинъ, размахъ ума и воли, размахъ, который по силамъ только орламъ, и отъ соблазновъ котораго имъ же придется потомъ устранить всякую мелкую птицу. Что въ концъ-концовъ теорія Ивана сводится именно къ Раскольниковскому дёленью человёчества на избранныхъ и на послушную имъ толпу или, другими словами, къ шигалевщинѣ; — это ясно изъ поэмы Ивана «Великій Инквизиторъ». Она должна, по его мивнію, послужить убійственнымь отвётомь на Алешину «мистику», выставляя въ образѣ великаго инквизитора, этого охранителя царства върующихъ, воплощенную улику въ непрактичности основателю христіанской вёры. Онъ, потребовавшій отъ человіка любви къ какимъ-то противнымъ ближнимъ, самообузданія и самоограниченія во имя этой любви, онъ, какъ старается растолковать ему же самому, снова появившемуся на земль, не ожидавшій этого вовсе «ненужнаго» появленія великій инквизиторъ, онъ, въ сущности, «вовсе не сострадалъ человъку, потому что слишкомъ много отъ него потребовалъ». «Человѣкъ слабѣе и ниже созданъ, чѣмъ ты о немъ думаль» (I, 287)—говорить порожденный воображеньемь Ивана, въ лицѣ великаго инквизитора, дальновидный практикъ. «Ръши самъ,-говоритъ онъ Христу,-кто

быль правъ: ты, или тотъ, который вопрошаль тебя въ

пустынѣ?»

Тотъ, кто, вопрошая, и искушалъ, указывалъ на хльбъ, въ который должны быть претворены камни, и услышаль въ ответь, что «не о хлёбе единомъ живъ будетъ человъкъ». Онъ утверждалъ, что надобно вообще пустить въ дѣло чудо, чтобы на немъ одномъ, на молвѣ о немъ, основать всю силу своего вліянія. Онъ, наконецъ, предлагалъ воспользоваться тою властью, которою можетъ наделить только онъ, князь міра сего, требуя за то поклоненья себъ, своему мірскому началу. Онъ предлагаль воспользоваться этою властью, чтобы ею собрать вкругъ себя покорныхъ людей Ио Христосъ, объявивъ, что его царство не отъ міра сего, захотѣлъ оставить людямъ ихъ нравственную свободу, свести ихъне силою, не внѣшними впечатлѣніями величества, а внутреннимъ убъждениемъ къ внутреннему единству. И вотъ, люди, съ этою предоставленною имъ свободою, «никогда, никогда не сумфють, -- говорить инквизиторъ, -- раздфлиться между собою», т.-е. раздёлиться полюбовно, а потому непремённо скажуть: «лучше поработите нась, но накормите насъ». Инквизиторъ берется «исправить» дело Христа. «О, мы убедимъ ихъ, -- говоритъ онъ, -что они тогда только и станутъ свободными, когда откажутся отъ свободы своей для насъ и намъ покорятся... Получая отъ насъ хлъбы, конечно, они будуть ясно видёть, что мы ихъ же хлёбы, ихъ же руками добытые, беремъ у нихъ, чтобы имъ же раздать... Во-истину, болье чымь самому хльбу, рады они будуть тому, что получаютъ его изъ рукъ нашихъ... Слишкомъ, слишкомъ оценять они, что значить разъ навсегда подчиниться». (1, .289-290).

Очень мѣтко замѣтилъ Л. Е. Оболенскій, что взглядъ этотъ «напоминаетъ многихъ французскихъ мыслителей, довольно презрительно смотрѣвшихъ на людей и полагавшихъ необходимымъ извѣстный деспотизмъ или, по крайней мѣрѣ, внѣшній авторитетъ для счастья людей. Этого не чуждъ, по его замѣчанью, и Ог. Контъ въ своей ре-

лигіи и идеаль общественнаго строя; не даромъ его называли католикомъ безъ христіанства». Самъ Достоевскій еще устами своего «идіота» указываль на то, что католицизмъ мудро протянетъ руку соціализму, какъ своему же, хотя быть можетъ, и незаконному дътищу.

Выслушавъ Ивана, не даромъ же и Алеша воскликнулъ: «Это Римъ—да Римъ-то не весь, это неправда— это худшіе изъ католичества, инквизиторы, іезуты!... Ихъ идеаль—самое простое желаніе—власть земныхъ грязныхъ благъ, порабощенія... въ родъ будущаго кръпостного права—съ тъмъ, что они станутъ помъщиками»

(I, 292).

Тотъ, вопрошавшій въ пустынѣ Христа, который и остался правъ, по мнѣнію инквизитора, т.-е. и сочувствующаго ему Ивана, является затѣмъ непосредственно и самому Ивану, какъ его галлюцинація, но вызываетъ въ немъ уже не что иное, какъ отвращеніе, отвращеніе никакъ не меньше того, какое вызвалъ въ свое время въ г. Голядкинѣ его докучный двойникъ. Если инквизиторъ приписываетъ злому духу побъдоносный и въ этомъ смыслѣ «главный» умъ, то самому Ивану его галлюцинація представляется, напротивъ того, воплощеніемъ ума «не главнаго» (я употребляю терминологію Аглаи въ «Идіотѣ»), воплощеніемъ «его собственныхъ мыслей и чувствъ, только самыхъ гадкихъ и глупыхъ» (II, 343).

Дѣло въ томъ, что галлюцинація эта представляется Ивану уже послѣ того, какъ несчастный Смердяковъ, слѣпо подчинившись идеалу Ивана,—конечно, не изълюбви къ нему (какъ это показалось г. Оболенскому), а въ расчетѣ «на хлѣбы», совершиль преступленіе и почувствовалъ отвращеніе къ этимъ «хлѣбамъ» и къ посулившимъ ему эти «хлѣбы» идеаламъ Ивана. Именно вслѣдъ за Смердяковымъ является къ Ивану новый непрошенный гость—этотъ выдѣлившійся изъ него и воплотившійся передъ нимъ «чортъ». Въ сознаній Ивана остался, должно быть, слѣдъ отъ указанія Алеши на то, что послѣдователи «инквизитора» — это своего рода «крѣпостники», своего рода «помѣщики». Гость и пред-

ставляется ему именно въ видѣ джентельмена, который «принадлежаль къ разряду бывшихъ бёлоручекъ помёщиковъ... съ объднъніемъ послъ веселой жизни въ молодости и недавней отмѣны крѣпостного права обратившихся въ родъ какъ бы приживальщика хорошаго тона, скитающагося по добрымъ старымъ знакомымъ». Иванъ замъчаетъ на немъ «пиджакъ», очевидно отъ лучшаго портного, но уже поношенный и... легкую бѣлую пуховую шляпу «уже слишкомъ не по сезону». Самъ же гость не безъ фразы указываеть на то, что «какимъ-то довременнымъ назначениемъ» онъ «опредёленъ отрицать». Въ переводъ на обыкновенный языкъ, это, можетъ быть, значитъ: силою обстоятельствъ озлобленъ и обратилъ себѣ отрицаніе въ «долгъ службы» (это послѣднее выражение заподлинно и принадлежитъ гостю). Видя, что Иванъ не хочетъ его признавать, онъ говоритъ: «воистину ты элишься на меня за то, что я не явился тебъ въ какомъ-нибудь красномъ сіяніи... Какъ дескать къ такому великому человеку могь войти такой пошлый чортъ» (II, 354). Гость дразнить Ивана тѣмъ, что, но его мижнію, «новому человжку позволительно стать челов кобогомъ, даже хотя бы одному въ целомъ міре... и ужь, конечно... съ легкимъ сердцемъ перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежняго рабачеловъка... Все позволено-и шабашъ! Все это очень мило; только, если захотёлось мошенничать, зачёмъ бы еще, кажется, санкція истины» (II, 355—56). Но вотъ бъда: санкція-то дается, прежняя нравственность этой санкціей отміняется, но совість-то, несмотря ни на какую новую санкцію, остается прежняя. Такая ужь она косная и отсталая даже у самаго прогрессивнаго человъка! Попутала она Раскольникова послъ его преступленія, попутаеть она и Ивана—хотя онъ и не совершиль, а только даль санкцію на преступленіе.

«Онъ все дразнилъ меня, что я въ него вѣрю, — жалуется Иванъ на гостя Алешѣ, — и знаешь, ловко, ловко!» А Иванъ не переставалъ его увѣрять, что онъ только его-же, т.-е. Ивана, галлюцинація. Самъ онъ себя

искушаетъ, самъ онъ себя и мучаетъ. «Совъсть! Что совъсть?—спрашиваетъ Иванъ. — Я самъ ее дълаю. Зачъмъ же я мучаюсь? По привычкъ. По всемірной человъческой привычкъ за 7000 лътъ. Такъ отвыкнемъ и будемъ боги! Это онъ говорилъ, говорилъ», увъряетъ

Иванъ (II, 360).

Но онъ дразнилъ Ивана и совсвиъ ужь другимътёмъ, что Ивану становится въ тягость его «божество», что онъ, пожалуй, не прочь бы его сложить съ себя и попросить прощенья за свое самозванство -- у кого слъдуеть: «Я въ тебя только крохотное семечко веры брошу, -- говоритъ гость, -- а изъ него выростеть дубъ, да еще такой дубъ, что ты, сидя на дубъ-то, въ «отцы пустынники и въ жены непорочны» пожелаешь встуинть, акриды кушать будешь» (II, 354). Гость еще болье дразнить его своей откровенностью, самь ему признаваясь, что и его собственный (гостя) «идеальвойти въ церковь и поставить свъчку...» «Я быль при томъ,--продолжаетъ онъ, --какъ умершее на крестѣ Слово восходило на небо, неся на персяхъ своихъ душу распятаго одесную разбойника, я слышаль радостные взвизги херувимовъ, поющихъ и вопіющихъ: осанна!... И вотъ... и хотёлъ примкнуть къ хору и крикнуть со всёми: осанна! Но здравый смысль — о, самое несчастное свойство моей природы, удержаль меня... и я пропустиль мгновеніе».

Между темь, если Раскольникову нужна была Соня для того, чтобы онъ наконецъ решился пойти и во всемъ признаться, то Иванъ на это самъ готовъ, но надъ этой готовностью злостно смется его гость—двойникъ. «Понимаю, понимаю,—говоритъ онъ,—с'est noble, c'est charmant, ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя въ жертву... с'est chevaleresque» (II, 344). Онъ готовъ, чега добраго, повторить съ Базаровымъ: «Ученыя собаки такъ на заднихъ лапахъ танцуютъ». Вирочемъ, онъ скоро меняетъ тактику. Вместо того, чтобы, продолжая налегать на смъшное, разбереживать «человекобога» въ Иванъ, онъ вдругъ накидывается на новаго, на гото-

ваго смириться, Ивана, возбуждая въ немъ мысль, что это — «смиреніе паче гордости». Иванъ, по крайней мъръ, жалуется Алешъ, что гость его такъ дразнилъ: «Ты изъ гордости идешь, ты станешь, и скажешь: «это я убиль! и чего вы корчитесь отъ ужаса?... Мийнье ваше презираю». «А знаешь, -- дразниль его еще гость, -тебѣ хочется, чтобы они тебя похвалили: «преступникъ, но какія у него великодушныя чувства, брата захотёль спасти и признался...» «Вотъ это ужь ложь... Я не хочу, чтобъ меня смерды хвалили», опять шевельнулась гордость въ Иванъ. «Пойдешь потому, что не смъещь не нойти», задразниль его опять гость. «Le mot qe l'énigme, что я трусъ», сообразиль туть Иванъ... «Не такимъ орламъ воспарять надъ землей», это онъ прибавилъ», жалуется Иванъ на гостя (П, 361—62). Но гость вѣдь не первый это говорилъ, - то же самое говорилъ уже Смердяковъ, когда отвѣчалъ на угрозы Ивана: «ничего не посмфете, прежній смфлый человфкъ-съ!...»

Выслушавъ исповъдь брата, Алеша безъ труда его тутъ разгадалъ. «Муки гордаго ръшенія, — опредълилъ онъ своимъ понятливымъ сердцемъ болъзнь Ивана, — глубокая совъсть. Богъ, которому онъ не върилъ, и правда Его одолъвали серце, все еще не хотъвшее подчиниться... Но онъ пойдетъ и покажетъ... Богъ нобъдитъ!» (II, 362).

И Алеша не ошибся; Иванъ дъйствительно пошелъ и на себя показалъ — такъ, что и ему оставалось только повторить съ Юліаномъ Отступникомъ: «ты побъдилъ, Галилеянинъ!» Но если онъ въ самомъ дълъ имълъ въ виду—не себя только облегчить, но и спасти Митю, то въ послъднемъ онъ сильно ошибся. Борьба, которая въ немъ происходила (а борьба-бы въ немъ улеглась, еслибы водворилась любовь къ брату), выказалась передъ судьями такими припадочными выходками, что судъ невольно въ немъ усмотрълъ «психопата», и Катеринъ Ивановнъ, воспользовавшись этимъ, уже не мудрено было послъднимъ своимъ показаніемъ погубить Митю. Иванъ своимъ такъ гордо совершаемымъ подвигомъ прямо и располагаетъ къ себъ эту гордую Катю, которая тутъ только

наконецъ догадывается, что Ивана-то она въ самомъ дѣлѣ всегда и любила, а съ Митей только великодушничала, чтобы тѣшить свое самолюбіе. Не даромъ-же она говорила про Митю: «пусть стыдится всѣхъ, и себя самого, но пусть меня не стыдится. Вѣдь Богу онъ говоритъ все, не стыдясь (I, 167). Я буду богомъ его, которому онъ молится» (I, 214). А теперь она вдругъ становится его демономъ и, уже уходивъ его, говоритъ въ припадкѣ другого совсѣмъ самолюбія: «на всю жизнь въ моей душѣ

язвой останешься, а я въ твоей».

Этотъ Митя, которому такъ неожиданно достается тяжелая, но благодарная роль жертвы, конечно, совсёмъ не походя по душевному своему покрою на «идіота», напоминаетъ его, однако, своею участью. Онъ, какъ и тотъ, поставленъ между двухъ огней и, такъ сказать, съ двухъ концовъ опаляемъ. «Злы мы, мать, съ тобою, обѣ влы» (II, 482), совершенно вѣрно опредѣляетъ себя вивств съ Катей Грушенька — эта насколько иного покроя Настасья Филипповна (какъ Катя — особаго покроя Аглая). Митя зналь, какъ Катя горда и какъ любо будетъ ей, когда-то имъ такъ униженной, узнать про его унижение — эти украденныя у нея деньги. Митя также зналь, какъ Груша жадна; съ ней-то онъ частью прокутиль, для нея-то онъ частью утаиль эти воровскія деньгине то въдь она, чего добраго, очутилась-бы у его отца, не даромъ и отложившаго для нея роковыя три тысячито, что онъ долженъ быль Мить, и то, что похищено Митей у Катерины Ивановны. Вотъ изъ стеченія этихъ-то обстоятельствъ и возникаетъ въ воображении Мити тотъ замысель отцеубійства, о которомь онь чисто по-карамазовски проговаривается въ письмѣ своемъ къ этой «стремительной» Ката — разомъ вдругъ и порашающей съ нимъ посредствомъ этого письма.

Митя, при своемъ безудержѣ, могъ-бы, конечно, убить отца, какъ убилъ нечаянно ему подвернувшагося, когда-то чуть не замѣнявшаго ему отца, старика Григорія. Но именно это нечаянное убійство Григорія и приводить его въ себя. Правда, онъ остается въ чаду, если тутъ-же,

очертя голову, скачеть къ Грушенькѣ, но и сквозь этотъ чадъ можно въ немъ разглядъть тотъ душевный процессъ, толчокъ которому уже данъ: «Ты ямщикъ, ямщикъ, - пристаетъ онъ къ своему неистово понукаемому возниць, - знаешь ты, что надо дорогу давать? Что ямщикъ, такъ ужь и никому дорогу не дать, дави, дескать, я вду! Неть, ямщикь, не дави! Нельзя давить человѣка, нельзя людямъ жизнь портить!» (II, 99). Но въ томъ и дъло, что эти мысли только впервые ему приходять въ голову, дёло въ томъ, что до сихъ поръ онъ именно и держался въ своей жизни одного: «я ъду!» «Я въ себъ въ эти два послъдние мъсяца, —исповъдуется онъ Алешъ уже послъ своего осужденія, - новаго человъка ощутиль, воскресь во мит новый человъкъ!.. И что мит до того, что въ рудникахъ буду 20 летъ молоткомъ руду выколачивать... другое мнѣ страшно теперь: чтобы не отошель отъ меня воскресшій человъкъ!.. Можно найти и тамъ въ рудникахъ человѣческое сердце и сойтись съ нимъ... И вск-то мы за нихъ виноваты! Зачемъ мить тогда приснилось «дитё» въ такую минуту!» — вдругъ припоминаетъ онъ того голоднаго младенца у изсохшей груди изголодавшейся матери, который приснился ему, когда онъ былъ совершенно въ чаду. «Это пророчество мить было въ ту минуту, — заключаетъ онъ. — За «дитё» и пойду... За всёхъ «дитё», потому что есть малыя дёти и большія діти». Да, но онъ ихъ только недавно замітиль, а до техъ поръ онъ ведь только и думаль, что о себѣ да Грушенькѣ. «Всѣ—«дитё», — говоритъ Митя, сонъ котораго такимъ образомъ шире, болве обхватываетъ, чемъ мысли Ивана о детяхъ, исключительно однихъ дътяхъ. И между тъмъ, какъ эти мысли Ивана приводять его, по выраженію Алеши, къ «бунту». Митя, вспомнившій наконецъ-то и про малыхъ, и про большихъ дътей, смиренно задумывается надъ тъмъ, что ничего-то онъ для нихъ не сдълалъ. За нихъ теперь и досталось ему наказанье. «За всёхъ и пойду, — говорить онъ. – Я не убиль отца, но мив надо пойти. Принимаю!»

Все это зарание чусть своимъ прозорянвымъ сердцемъ старецъ Зосима, когда, среди разыгравшейся у него на глазахъ бурной карамазовской сцены, не чувствуя уже силь унять разыгравшіяся въ Мить страсти, онъ молча какъ-бы упрашиваетъ ихъ улечься, кланяясь въ землю Митъ. «Я вчера, — объяснялъ онъ потомъ Алешѣ, —будущему великому страданью его поклонился» (І, 318), страданью, которое старець хотъль-бы предотвратить, но, чуя, что это не удастся, сострадательно вадумаль направить-этой-же мятежной душт во благо. По разсказу старца, «если пшеничное зерно, падши въ землю, не умреть, то останется одно; а если умреть, то принесеть много илода» — открывается въ евангелін другому лицу, готовящемуся также принять страданіе (1, 345). Это и послужило Достоевскому эпиграфомъ къ «Братьямъ Карамазовымъ». Это, какъ извѣстно, начертано и на его памятникъ, потому что онъ часто возвращался къ этой темѣ въ своихъ сочиненіяхъ. Зерну, чтобы проявить всю полноту той жизни, которая въ немъ скрыта, надо схорониться въ землъ. Митъ надобно было погребеніе заживо, чтобы стало въ немъ жить все то, что въ немъ только таилось. Человъку вообще бываетъ нужно пройти сквозь очистительное горнило испытанія, чтобы выйти изъ него на свътъ Божій съ закаленными силами духа, окрѣпшими задатками высшей плодотворной жизни. Государство, ссылая и заточая, имфетъ въ виду только устраненіе вреднаго для него члена, а вовсе не созданіе для его души такого очистительнаго горнила. Оно, это очистительное гориило, даетъ себя знать помимо цёлей и видовъ государства — въ силу того внутренняго самосуда, органомъ котораго является самая совёсть виновнато.

Достоевскій даеть намь выслёдить пробужденіе ся въ Иване, несмотря на всё тё помёхи, какія систематически создавались его устраняющею «предразсудки» теоріею. Достоевскій даеть намъ видёть ту-же совёсть окончательно уже торжествующею въ Мите, несмотря на неправильно взведенныя на него подозрёнія, могущія,

повидимому, его озлобить и озлоблениемъ опять заглушить въ немъ совъсть. «Судъ мой пришель, — говоритъ однако-же Митя, несмотря на это. Слышу десницу Божію на себъ. Конецъ безпутному человъку! Но, какъ Богу исповъдуюсь и вамъ говорю, — прибавляетъ онъ, въ крови отца моего-нътъ, не виновенъ... И предполагать не надо было, -- грустно и просто увъряеть несчастный... Коли пощадите, коли отпустите, — помолюсь за васъ!» — объщаетъ онъ судьямъ, содрагаясь передъ налитою для него горькою чашею. «Лучшимъ стану, слово даю-лучшимъ въ силу того, --хочетъ онъ сказать, --что я теперь перечувствоваль и передумаль, углубившись въ себя, въ глубокіе рудники своей сов'єсти. А коль осудите, —покоряется онъ судьбѣ, —самъ сломаю надъ головей моей шпату и, сломавъ, поцелую обломки... Но пощадите... Знаю себя—возропщу!» (II, 467). Да, онъ даже слишкомъ знаетъ себя и боится, какъ-бы, въ концѣ концовъ, все-таки озлобившись, не далъ онъ снова въ себъ проснуться прежнему человѣку, какъ-бы такъ долго въ немъ спавшая совъсть опять не заглохла.

Онъ взываетъ къ милости, которая по смыслу суда должна быть соединена съ правдою; онъ взываеть къ присяжнымъ изъ того народа, который, какъ мы знаемъ, не иначе называетъ преступника, какъ несчастнымъ. Вполнъ безпристрастная критика увъряетъ насъ, что судомъ употреблены были «страшнъйшія усилія выяснить истину». Это не совсим такъ; не мало напущено на судъ и туману, и пыли въ глаза, сильно разыгрались на немъ страсти действующихъ лицъ, прокурора и адвоката, и страсти самой публики. Достоевскій вполнъ даетъ намъ понять, что если это судъ совъсти, т.-е. лучшій на землів судь, то онъ можеть быть исправлень только подъ тёмъ условіемъ, чтобы въ обществ не дремала совъсть. Между тъмъ, въдь характеристика общества, исходящая изъ устъ Ивана, когда онъ такъ оригинально самобичуетъ себя вмёстё съ этимъ, его породившимъ, обществомъ, далеко не такъ не върна, какъ оно показалось всёмъ. «Убили отца, — нёсколько только гиперболически выражается онъ, - и притворяются, что испугались... Другъ передъ другомъ кривляются... Всв желають смерти отца. Одинь гадь съёдаеть другую гадину... Не будь отцеубійства, вск-бы разсердились и разошлись злые... Зрълнщъ! Хлъба и зрълищъ!» (II, 396). Иванъ понимаетъ, что карамазовщина не ихъ однихъ достояніе, что стихійно она давно водилась въ этомъ самомъ обществъ, недавно-же получила въ немъ еще и идейную санкцію. И тутъ кто-то «миленькій» потрудился, и всё вдругъ, повёривъ ему, обзавелись столь для всёхъ удобнымъ «аффектомъ». Значение его очень наивно опредёлено г-жей Хохлаковой: «сидить человёкь совсёмь не сумасшедшій и вдругь — аффекть. Онъ и помнить себя, и знаетъ, что делаетъ, а между темъ онъ въ аффекте... Это какъ новые суды открыли, такъ сейчасъ и узнали про аффектъ. Это благодъяние новыхъ судовъ» (II, 277). Г-жѣ Хохлаковой, разумѣется, не вдомекъ, что «аффектъ» туть самь по себь, что онь вытекаеть изъ теорій, «упраздняющихъ предразсудки», т.-е. съ ними вмѣстѣ и совъсть, а распространение такихъ теорій, къ несчастью, совпало у насъ съ появленіемъ новаго суда, этого лучшаго изъ судовъ-суда совъсти.

Но не одна Хохлакова въ данномъ случав разсчитывала на «аффектъ». По крайней мврв, всв дамы были убъждены почти до самой последней минуты: «виновенъ, но оправдаютъ изъ гуманности, изъ новыхъ идей, изъ новыхъ чувствъ, которыя теперь пошли...» Мужчины-же, добавляетъ авторъ, — наиболее интересовались борьбой

прокурора и славнаго Өетюковича (П, 370).

Прокуроръ выступаетъ въ этой борьбѣ съ увлеченіемъ, говоритъ не только красно, но и искренно. Онъ замѣчаетъ карамазовщину въ нашихъ нравахъ и напутанъ ею. Онъ не хочетъ въ ней видѣть никакой лицевой стороны,—той нашей шири, на которую указывалъ еще Гоголь своею «тройкою». Онъ хотѣлъ-бы предохранить общество отъ увлеченія этой «тройкой» и патетически восклицаетъ: «Пусть сторонятся, почтительно или нѣтъ, но... если въ его тройку впрячь только его-же героевъ,

Собакевичей, Поздревыхъ и Чичиковыхъ, то, кого-бы ни посадить ямщикомъ, ни до чего путнаго на такихъ коняхъ не добдешь. А это только еще прежние кони, которымъ далеко до теперешнихъ, у наст почище» (II, 406).

Адвокать, ведущій борьбу съ прокуроромь, конечно, ни мало не въритъ Митъ, что онъ дъйствительно не виновенъ. Да это въдъ и не нужно адвокату для того, чтобы добиваться судебнаго: «не виновень». «Пока я на этомъ мёстё, я пользуюсь мосю минутой», говоритъ онъ... «Отцы, не огорчайте дътей своихъ, — ораторствуетъ онъ по адресу убитаго... — Въ нюже мъру мърите, возмерится вамъ», (II, 460) цитуетъ онъ даже евангеліе, что, однако-же, не мѣшаетъ ему сейчасъ-же опять вернуться на другую почву: «Рѣшимъ вопросъ, приглашаеть онъ, такъ, какъ предписываютъ разумъ и человъколюбіе, а не такъ, какъ предписываютъ мистическія понятія» (461). «Убійство такого отца, — упорствуєть онъ въ своей логикъ, - не можетъ даже быть названо отцеубійствомъ. Такое убійство можетъ быть причтено къ отцеубійству только по предразсудку!» (463). Словомъ, адвокатъ действительно расходится съ прокуроромъ въ томъ, что вовсе не одержимъ и малейшимъ даже страхомъ карамазовщины. Онъ, напротивъ, прямо пропагандируетъ въ своей ръчи идейную карамазовщину. И что-же? Иванъ, должно быть, былъ правъ, когда, при своемъ показаніи, уличаль въ соучастій всю честную компанію. Идейному «все позволено» адвоката «апплодировали и махали платками даже сзади сидъвщія на особыхъ стульяхъ сановныя лица, старички со звёздами, во фракахъ» (462).

Только «одни мужички за себя постояли»,—постояли, значить, за свою «мистику», ту самую, которую хотъль уничтожить на Руси самь убитый Өедорь Павловичь. Именно мужичковъ-то между присяжными и не приняль въ расчетъ Өетюковичь. Своею защитой отцеубійства онъ еще болье повредиль Мить, чьмъ прокуроръ своимь обвинительнымъ паносомъ. А отнесись Өетюковичь къ дълу по-человъчески, выслушай съ прямою братскою лю-

бовью своего кліента, и онъ-бы повіриль невиновности Мити въ принисываемомъ ему преступлении и сумълъбы убъдительно доказать присяжнымъ, что Митей оно и не совершено. Между тёмъ, отнесясь къ своей задачё безъ всякаго участія совъсти, онъ доводить и присяжныхъ до того, что осуждение невиннаго остается у нихъ на совъсти, на чуткой совъсти того народа, который, безъ помощи какихъ-либо софизмовъ, постоянно отно-

сится къ преступнику, какъ къ несчастному.

Одинъ только человѣкъ до конца такъ и не повѣрилъ отцеубійству Мити, чутко понявъ своимъ любящимъ сердцемъ, что онъ въ этомъ не виновенъ. Для Алеши осуждение Мити еще тяжелье, чемь для него самого. Онъ заранте обдумываетъ для брата побъгъ, потому что боится за твердость брата. «Ты не готовъ, -- говорить онъ ему, — и не для тебя такой крестъ... Ты хотёлъ мукой возродить въ себъ другого человъка... Помни только всегда во всю жизнь, и куда-бы ты ни убъжаль, объ этомъ другомъ человъкъ — и вотъ съ тебя и довольно» (II, 478).

Въ ораторскихъ преніяхъ на суді не остался не затронутымъ и онъ, этотъ любящій братъ, этотъ недоучившійся юноша съ сердцемъ и потому сердцевъдъ. «Желаю, чтобъ его юное прекраснодушіе, - не безъ участія отозвался объ немъ прокуроръ, -- и стремленіе къ народнымъ началамъ не обратились вноследствін, какъ столь часто оно случается, со стороны нравственной въ мрачный мистицизма, а со стороны гражданской-въ тупой шовинизми - два качества, грозящія, можеть быть, еще большимъ вломъ націи, чёмъ даже раннее растлёніе отъ ложно понятаго и даромъ добытаго европейскаго просвъшенія» (II, 408).

Дался-же имъ всёмъ мистицизмъ, невольно хочется сказать, а туть еще и съ шовинизмоми! Но что-же онъ, наконецъ, такое, этотъ мистицизма, и въ самомъ-ли деле мистики не только Алеша, но даже и его «покойный старецъ?» Или, можетъ быть, этотъ последній даже и шовинисть со своимъ изречениемъ, что «русский народъ-

богоносецъ?»

III.

Что такое карамазовщина, мы видёли. Постараемся теперь распознать, что-же такое эта «мистика», которая такъ непріятна всёмъ, начиная отъ старика Өедора Павловича и кончая оспаривающими другъ друга, но въ отношеніи мистики совершенно сходящимися, прокуроромъ и адвокатомъ.

«Мистика» пригодилась однако-же первому, такъ какъ «мужички за себи постояли», т.-е. ради ея осудили Митю.

«Мистика», по мижнію прокурора, засёла въ Алешу, а онъ, между тёмъ, не доволенъ рёшеніемъ присяжныхъ, потому что не вёрптъ преступности Мити, хотя и знаетъ его буйный характеръ.

«Мистику», по общему мижнію, напустиль въ Алешу Зосима, но онъ вёдь оградиль его ею отъ карамазовщины! Или, можетъ быть (какъ сдается оно, повидимому, прокурору), такое лёкарство хуже даже самой бользни?

Прежде всего, какъ-же оно могло выйти, что Алеша это яблочко все же съ карамазовской яблони, былъ прирученъ Зосимой?

Дѣло было-бы еще понятно, если-бы это современемь произошло съ Митей, не попадись онъ подъ судъ, произошло-бы отъ того утомленія среди бурнаго житейскаго моря, которое могло-бы наконецъ поманить его къ «тихому пристанищу». Но какъ же это могло такъ рано приключиться съ Алешей, не успѣвшимъ еще и перебродить, не только что выкипѣть? Тоже пребывающій въ монастырѣ, но вовсе не слюбившійся съ нимъ, молодой и здоровенный Ракитинъ не даромъ, можетъ быть, напоминаетъ Алешѣ о томъ, что мать Алеши была «юродивая» (старикъ Өедоръ Павловичъ ее называлъ «кликушей»). Но вѣдь она была также матерью Ивана, а не пошелъ же Иванъ въ монастырь. Да, но Иванъ, на котораго семья, гдѣ они оба выросли, глядѣла, какъ на

мальчика «геніальных способностей», попаль на воспитаніе къ какому-то «геніальному воспитателю» и окончилъ курсъ въ университетт по естественному факультету. Впрочемъ, одинъ изъ критиковъ не даромъ замътиль, что въ Ивань, при всемъ его реализмъ, сильно звучать и другія струны и что онъ еще, пожалуй, впадеть въ самый отчанный мистицизмъ 1). Да, но все это «можеть быть» и «потомъ», а Алеша на самомъ дёлё и на самой зарѣ жизни попалъ въ монастырь. Первоначально воспитываясь у тёхъ же хорошихъ людей, къ которымъ попалъ и Иванъ, онъ съ раннихъ же лѣтъ во многомъ отличался отъ брата; но въдь есть же-просто природныя, такъ сказать, прирожденныя черты въ характерахъ. Иванъ росъ «какимъ-то угрюмымъ и закрывшимся самъ въ себъ отрокомъ, далеко не робкимъ, но какъ-бы еще съ десяти лътъ проникнувшимъ въ то, что ростуть они все-таки въ чужой семьй и на чужихъ милостяхь, и что отець у нихъ какой-то такой, о которомъ даже и говорить стыдно». Этому сильно, можеть быть, помогали и «геніальныя способности» мальчика, или, выражаясь проще, его рано развившійся умъ, по преимуществу умг. За Алешей «геніальных способностей» не замѣчали, но онъ за то бралъ не умомъ, а сердцемъ. Оставшись послё матери по четвертому году, «онъ мать запомнилъ потомъ на всю жизнь, какъ сквозь сонъ, разумъется». (I, 21—22). Тотъ «благороднъйший и гуманнъйшій человъкъ», въ семействъ котораго росли оба брата, особенно полюбиль Алешу, хотя и не замвчаль въ немъ особенныхъ умственныхъ способностей. Алеша «до того привязаль къ себѣ всѣхъ въ этомъ семействѣ, что его рѣшительно считали тамъ какъ-бы за родное дитя»... Правда, и онъ былъ нёсколько букой, подобно Ивану: «съ самаго дътства любиль уходить въ уголь и книжки читать». Отчасти такимъ онъ оставался и въ школь, -и «однакоже... можно было назвать его всеобщимъ любимцемъ». Дело въ томъ, что «между сверст-

¹⁾ Звъревъ въ «Руси».

никами онъ никогда не хотёлъ выставляться». Нёсколько далье замычено про него, «что въ классахъ онъ всегда стояль по ученью изъ лучшихъ, но никогда не былъ отмёченъ первымъ». Успёхи, при отсутствии блестящихъ способностей, объясняются добросовъстнымъ прилежаніемъ; что онъ не былъ первымъ-дёло вполнё возможное и безъ блестящихъ способностей-должно было у него зависъть отъ нежеланія мозолить собою глаза другимъ. «Обиды онъ никогда не помнилъ ...просто не считаль ее за обиду». Очень ужь мало, какъ видно, быль онъ самъ себъ на умъ. За то постоянно были у него на умѣ другіе, и потому-то самъ онъ не могъ никого обижать... Огорчаться, конечно, умёль, особенно когда, хотя и любившіе его, но во многомъ совстмъ не походившіе на него, товарищи гадко пытались расшевелить въ немъ то, что у нихъ у самихъ слишкомъ рано было пробуждено дурными инстинктами школы. «Въ немъ была изступленная стыдливость и цёломудренность» (I, 27—28). Достоевскій не даромъ сказаль: «изступленная». тутъ все же сказывалась, должно быть, та карамазовская чрезмърность, которой не могло и не быть даже въ такомъ прирожденномъ чувствъ самообороны отъ родовой страстности. «Онъ никогда не заботился, —мътко указываетъ Достоевскій,—на чьи средства живетъ... Но эту странную черту, прибавляетъ онъ, нельзя было осудить очень строго»... Дёло въ томъ, что тутъ вовсе не было какого-нибудь рудинскаго оттънка-привычки къ тому, что всъ и все для него съ его способностями и его высшимъ призваньемъ. Алеша, по объяснению автора, быль «изъ такихъ юношей въ родъ какъ-бы юродивыхъ, которому попади вдругъ хотя бы даже цёлый капиталь, то онь не затруднится отдать его по первому даже спросу... Онъ какъ-бы вовсе не зналь цень деньгамъ... Решивъ убхать изъ гимназіи, онъ отдалъ половину денегъ назадъ, объявивъ, что онъ кочеть сидъть въ 3-мъ классъ, т.-е. и тутъ, должно быть, не хочетъ выдёляться. Всё были озадачены, что онъ, вдругъ, Богъ въсть почему, оставилъ гимназію. Только немногіе люди съ особо-развитымъ и бользненно требовательнымъ сердцемъ могли его понять, когда «обнаружилось, что онъ разыскиваетъ могилу своей матери»

(1, 28-30).

Но, отыскивая могилу матери, онъ попалъ къ живому отцу, т.-е. «положительно въ вертепъ грязнаго разврата»... «Цёломудренный и чистый, Алеша лишь. молча удалялся, когда глядёть было нестериимо» (II, 27). Отецъ, повидимому, ценилъ въ немъ то, что онъ толькоудаляется, а не протестуетъ. Отецъ, по-своему какъ-бы снисходительно любуясь въ немъ темъ, что «еще молодозелено», по-своему даже его и полюбилъ. Но, молча лишь сторонясь и относясь къ отцу съ мягкимъ сердцемъ, Алеша, опять-таки по «изступленному» чувству стыдливости, т.-е. по инстинкту самообороны, долженъбыль все-таки проситься куда-нибудь прочь изъ такой обстановки. Между темъ «изъ воспоминаній его младенчества, можетъ быть, сохранилось нъчто о подгородномъ монастырѣ, куда могла возить его мать къ объдиъ. Можеть быть подъйствовали и косые лучи заходящаю солнцапередт образомт, къ которому протягивала его мать. Задумчивый, онъ прівхадь, можеть быть, только лишь посмотрёть: «все»-ли туть, или и туть только «два рубля» (І, 35), т.-е. действительно-ли туть следують завету Христа: «все роздай», или же и туть, какъ въ мірѣ, ограничиваются тёмъ, что пожертвують кое-чёмъ и ходять къ обёднё (съ тою разницею, что въ монастыре. ходять къ ней каждый день).

«Алеша (утверждаетъ авторъ) былъ вовсе и не мистикъ, ...былъ онъ просто ранній человѣколюбецъ и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что въ то время она одна поразила его и представила ему идеалъ исхода рвавшейся изъ мрака мірской злобы.

къ свъту любви души его» (I, 25).

Достоевскій готовъ сознаться, что «онъ человѣкъ странный, даже чудакъ», только прибавляя къ этому, что «чудакъ, пожалуй, и носить въ себѣ иной разъ сердцевину цѣлаго» (I, 9). Чудакъ, очевидно, значитъ

тутъ то же, что *идіот*, или *Иванушка дурачок*т—по народному. Какъ, впрочемъ, ни называй, а мистики въ самомъ дѣлѣ тутъ, пожалуй, и нѣтъ. Достоевскій хотѣлъбы это подтвердить даже самымъ наружнымъ видомъ

своего юнаго чудака.

«Алеша,—говорить онь,—быль статный, краснощекій. со свётлымь взоромь, пышащій здровьемь 19-лётній подростокь... Скажуть, что красныя щеки не мёшають... мистицизму; а мнё такъ кажется, что Алеша быль даже больше чёмь кто-нибудь реалистомъ... Конечно, въ монастырё онъ вёроваль въ чудеса». ...«Но если реалисть разъ повёрить, то онъ именно по реализму своему дол-

женъ непремѣнно допустить и чудо» (I, 34).

Потому-то Алеша такъ и огорченъ темъ, что после смерти старца Зосимы съ его таломъ не совершается чудо. Въ этомъ смыслѣ и къ нему могутъ быть отнесены слова: «родъ лукавъ и прелюбодъй знаменія проситъ». Не дождавшись «знаменія», Алеша даже разсердился и почти готовъ сбросить съ себя броню своей изступленной стыдливости и остаться у Грушеньки. Онъ, впрочемъ, и прежде, на слова Ракитина, что одно «преэрѣніе не помогаетъ», замѣтилъ: «я это понимаю», а Ракитинъ тогда уже и обрадовался: «быдто?... Ахъ ты, тихоня... Чортъ знаетъ о чемъ ты ужь не думалъ... я тебя давно наблюдаю... Ты самъ Карамазовъ... по отцу сладострастникъ, по матери юродивый» (I, 93). И на этотъ разъ онъ върно понялъ: Алешу спасаетъ у Грушеньки только то, что она, хотя и поручившая «Ракиткъ» непремънно его заманить къ ней, вдругъ, узнавъ о смерти Зосимы, пожалёла Алешу и стыдно ей стало своего, въ такую какъ разъ минуту грозящаго ему искушенія... Шевельнуєшаяся въ ней хорошая сторона, это своего рода чудо, но чудо чисто-душевное, даетъ опять всилыть наверхъ и въ немъ всему тому, что готовъ онъ былъ утопить въ себъ, разсердясь, что нътъ чуда вещественнаго. А Алеша ужасно боится бури на своемъ душевномъ моръ и ему именно нужна рука, прямо протянутая къ нему чудотворящая рука, чтобы не дать сму потонуть, а съ одною в рой, безъ такого знаменія, онъ чувствуетъ, что не далеко уйдетъ по волнамъ. Когда Митя, разсказавъ ему про свою душевную бурю, какъ-бы вдругь спохватившись, спрашиваеть: «ты краснвешь?... Довольно съ тебя этой грязи», Алеша прямо ему отвъчаетъ: «я не отъ твоихъ ръчей покраснълъ и не за твои дёла, а за то, что я то же самое, что и ты... Все однѣ и тѣ же ступеньки. Я на самой низшей, а ты наверху, гдё-нибудь на тринадцатой» (I, 125). Конечно, туть можно бы было сказать, что «у страха глаза велики». Потому-то и говорить онь Лизь, въ которой такъ преждевременно, отъ дурного вліянія взбалмошной матери, сказалась истерика, что она будто бы «невиннъе его, который ужь до многаго, до многаго прикоснулся»... Тутъ онъ даже прямо на себя клевещетъ. Но все это отъ того, что его «другъ уходитъ», что «первый въ міръ человъкъ землю покидаетъ»... «Если-бъ вы знали... какь я спаянь душевно съ этимъ человѣкомъ!--волнуется онъ, - и вотъ я останусь одинъ» (I, 248-49). Но старецъ не оставилъ его на землѣ одинокимъ. Хотя Алеша и поколебался, не дождавшись вещественнаго чуда надъ тёломъ Зосимы-онъ вскорт возвращается подъ обаяніе того душевнаго чуда, которое постоянно творилось въ старцѣ, отовсюду къ нему привлекая людей, жаждавшихъ только того, чтобы онъ прочиталъ имъ вслухъ у нихъ же самихъ въ душъ. Придя въ нехорошемъ настроеніи къ Грушенькъ, Алеша неожиданно убъждается въ томъ, что читать въ душе ближняго подчасъ оказываются способными даже такія, какъ эта, по собственному ся определенію, злая, но, выходить, не совсёмь же и не всегда же злая. Это, повидимому, должно бы только доказать Алешъ, что, «стало быть, старецъ даже вовсе не чудотворецъ, что въ немъ только въ сильнъйшей степени возбуждено то, что порою пробуждается въ каждомъ». Но это не только не умаляетъ, а снова усиливаетъ вліяніе на него старца. «Сердце сердцу въсть подаетъ» — вотъ съ чъмъ, совстив не за этимъ придя, онъ уходить отъ Грушеньки, тутъ-то опять и понявъ, какъ былъ правъ снисходительный къ людямъ старецъ, — уходитъ, чтобы, снова въ себъ ощутивъ и отдавъ въ ростъ это съмя любви, поддержать общене со старцемъ, стремиться и въ разлукъ съ нимъ—къ общей возвышенной цъли. Вотъ онъ и спъшитъ вернуться опять туда, куда постоянно высылалъ его изъ монастыря и старецъ — къ своимъ обуреваемымъ въ міръ братьямъ. «Въ этой путаницъ (т.-е. въ ихъ карамазовской смутъ и безтолковщинъ) можно было совсъмъ потеряться». Но Алеша не потерялся, потому что «характеръ любви его

всегда былъ дѣятельный».

Критика, несмотря на это увърение Достоевскаго, утверждала, будто Алеша совсемъ не деятеленъ, будто онъ только бъгаетъ изъ угла въ уголъ (въдь это не дъятельность), слушаетъ болтовню и самъ болтаетъ, оставляя даже на смертномъ одрѣ, а потомъ во время панихидъ своего же дорогого старца 1). Но критика не хотъла понять, что, постоянно боясь за братьевъ, онъ старается поддержать ихъ тѣмъ, что ихъ «сторожить». Онъ никогда бы не повторилъ съ Иваномъ: «Кто меня приставилъ сторожемъ къ братьямъ». Онъ няньчится съ ними, любя, терпъливо выслушиваетъ и грязныя самопризнанія Мити, и полу-философскую, полу-поэтическую исповёдь Ивана, онъ на все это тратитъ время, надёясь еще болье угадать и, угадавь, рышительные предотвратить. Онъ именно ихъ сторожилъ и не его, конечно, вина, что все же не устерегъ. Съ ужасомъ видя, что зло совершилось, онъ, несмотря на все «позорное» въ Мить, нимало не върить его преступлению, а чутко открываетъ настоящаго виновника, говоря Ивану: «не ты!» Въ этомъ: «не ты» заключается: «убилъ, конечно, не ты, но кто вдохновиль на убійство?» Чуя такой смыслъ своихъ словъ, Алеша и выражается: «это Богъ мнъ тебъ велълъ сказать» 2).

¹⁾ Взглядь этоть проведень у г. Оникса въ статьй, напечатанной въ «Литературномь журналы», ежемъсячномь приложении къ «Новому Времени». 1881 г., поль.
2) Л. Е. Оболенский понимаеть иначе. «Не ты» Алеши должно, по его мнъню. приниматься въ буквальномъ смыслъ.

Лиза, значить, имѣла полное основаніе удивиться: «такой молодой и ужь знаеть, что въ душѣ» (I, 243). Если-бъ на судѣ обращено было вниманіе именно на Алешу, на его показанія, то все бы сдѣлалось ясно.

Раннимъ своимъ сердцевъдъніемъ Алеша обязанъ Зосимъ. Оно, значитъ, досталось ему монастырскимъ путемъ. Только монастырь далъ ему силу выбраться и самому изъ карамазовщины, и братьевъ стараться изъ нея вытащить. Въ этомъ-то и былъ для критики «каменъ преткновенія и камень соблазна». Къ тому же Зосима у Достоевскаго говоритъ: «отъ монастыря избавленіе Руси». Но Зосима, какъ убъжденный инокъ, и не можетъ глядъть иначе. А Достоевскій? Да развъ въ самомъ дълъ устами симпатичныхъ ему дъйствующихъ лицъ постоянно и буквально говоритъ онъ самъ? А если это только одна изъ такъ-называемыхъ «аксіомъ», т.-е. одно изъ преду-

бѣжденій критики?

Въ своей записной книжкъ Достоевский очень многие изъяны въ нашей жизни объясняетъ тъмъ, что «у насъ нътъ культуры». Онъ понималь это такъ, что къ намъ быстро переходять изчужа и сменяются одно другимь всевозможнъйшія культурныя явленія, но что у насъ въ нихъ нътъ ничего устойчиваго, не остается ничего такого въ образованной нашей средъ, что бы стоило ей немало труда, составило бы для нея нѣчто «твердое въ жизни». У Макаровъ Ивановичей есть это «твердое», а у насъ нътъ. То «твердое», что есть у народа, выработано еще древнею Русью и тоже, пожалуй, не чуждо наносныхъ вліяній, но такихъ, которыя глубоко, а потому и надолго пустили корни. Это «твердое» до сихъ поръ еще связано съ монастыремъ. Онъ, онъ одинъ до сихъ поръ и ведетъ въ народъ борьбу съ безудержемъ. Но у насъ что же есть равносильнаго -- въ понятіяхъ уже нашего въка-для борьбы съ нимъ? Такъ-называемое «последнее слово науки»? Но Достоевскій намъ показаль, что оно, какъ мы его понимаемъ, только возводить ту же карамазовщину въ перлъ созданія.

Достоевскій далекъ отъ того, чтобы не видъть изъя-

новъ въ иночествъ. Онъ угадалъ, что въ немъ у насъ исторически сказались два различныхъ теченія: мрачно изувърное, въ самомъ смиреніи гордое, и свътлое — въ смыслѣ поэтической любви къ природѣ и брату-человѣку. Первое теченіе воплотилось у Достоевскаго въ лицъ отца Оерапонта, недаромъ такъ не любящаго старца Зосиму, а также и вълице недоверчиво къ нему относящагося обдорскаго инока. Эти тупые и ревнивые изувъры вполнъ торжествують, когда послъ смерти старца не происходить ожидаемаго всеми чуда. Но и самъ Зосима, выражая собою симпатичную сторону монашества, вовсе не является, какъ у насъ говорили, псевдонимомъ Достоевскаго. У него даже положительно свой особый языкъ, столь же типичный, какъ и онъ самъ, и это вполнъ оцънилъ такой далеко не безусловный поклонникъ Достоевскаго, какъ г. Евг. Марковъ. Самое «старчество», на которое иноки-изувары смотрять, какъ на опасное новшество, вовсе не идеализируется Достоевскимъ. Говоря о томъ, что «даже письма отъ родныхъ, получаемыя скитниками, приносились сначала къ старцу – въ силу пріемовъ, усвоенныхъ старчествомъ» — Достоевскій замічаеть: «предполагалось, разумъется, что все это должно совершаться свободно и искренно, но на дълъ... происходило иногда и весьма неискренно, а напротивъ, выдъланно и фальшиво». Достоевскій не скрываеть и нѣкоторыхъ другихъ пріемовъ, свойственныхъ не собственно уже старчеству, но монастырскому обиходу вообще, и столь же мало сочувственныхъ. Я разумъю, напримъръ, то, что «Ракитинъ, какъ лицо мелкое, приглашенъ быть къ объду не могъ» (І, 99), т.-е. это къ самому игумну. Но и у Зосимы, несмотря на всю его доброту-простоту, тотъ же Ракитинъ, а равно и Алеша, и послушникъ (опять какъ мелкія лица) оставались стоя (I, 49). Еще замічательнье, что между тымь, какь, чая выхода старца, люди изъ простонародія... «лежатъ у галлерейки, ждутъ... для высшихъ дамскихъ лицъ пристроены здёсь же на галлерев, но вив ограды, двв комнатки» (I, 46). Намъ разсказывали, что такъ оно и на самомъ дѣлѣ было въ той пустыни, которая во многомъ послужила для Достоевскаго оригиналомъ; это, стало быть, прямо спи-

сано имъ съ натуры.

Но пріемы и обычан старчества и монастырскіе вообще-одно, а широкое сердце и свътлый умъ Зосимы и подобныхъ ему-другое. «Старецъ,-говоритъ Достоевскій, быль вовсе не строгь, напротивь, быль всегда почти весель въ обхождени»... (I, 38). «Для счастья созданы люди, -- говариваль онь самь, -- и кто вполнъ счастливъ, тотъ прямо удостоенъ сказать себъ; «я выполнилъ завътъ Божій на сей земль» (І, 66). Конечно, Зосима понималъ счастье въ смыслѣ тѣхъ духовныхъ «радостей», на которыя указываль у самого себя и Достоевскій-въ отвътъ тъмъ, кто жаловался на мрачное настроеніе, оставляемое имъ въ читатель. Въ этомъ смыслѣ Зосима и говоритъ Алешѣ: «въ страданьи счастья ищи», т.-е. въ томъ, что оно намъ напоминаетъ о чужихъ страданьяхъ и возбуждаетъ въ насъ стремленіе ихъ облегчить, -а въ этомъ и есть настоящее духовное счастье. «Други, просите у Бога веселья», -- завъщаеть своимъ ученикамъ уже умирающій старецъ, веселья, конечно, опять духовнаго, въ смыслѣ противномъ унынію, котороз заставляеть опускать руки. «Не говорите: силенъ гръхъ... бъгите, дъти, сего унынія» (I, 356). Старецъ у Достоевскаго до такой степени не суровъ, чуждъ горечи, что И. С. Аксаковъ въ разговоръ съ нами находилъ у него напротивъ, и не безъ основанія, даже нѣкоторую слащавость. Но и это едва-ли не списано было Достоевскимъ съ живого оригинала.

Передъ нами—цѣлое житіе Зосимы, разсказанное имъ самимъ и записанное съ его словъ Алешей. Тутъ отъ начала и до конца выдержанъ особый типическій языкъ, усвоенный себѣ Зосимою у житійной литературы, въ которую онъ, съ другой стороны, внесъ тутъ и свой собственный типическій отпечатокъ. Мы узнаемъ тутъ и о братѣ его Маркелѣ, юношѣ, умершемъ такъ преждевременно, но оставившемъ первый глубокій слѣдъ въ душѣ

Зосимы (Алеша напоминаль ему чертами лица этого брата, что и способствовало особой привязанности старца къ Алешѣ). «Былъ онъ характера вспыльчиваго и раздражительнаго, но добрый»... Доброта окончательно выступила у него наружу уже во время предсмертной его бользни. Началось съ того, что онъ вдругъ потъшилъ няню позволеніемъ зажечь лампадку передъ иконой у себя въ комнатъ, чего прежде никакъ бы не допустилъ, находясь подъ вліяніемъ какого-то тогдашняго вольнодумца. «Зачёмъ вы меня такого любите?-сталь онъ вдругъ спрашивать, -- да и стою-ли я того, чтобъ служить-то мнё»... У преждевременно раскрывшихся нередъ нимъ могильныхъ дверей онъ вдругъ понялъ тотъ жизненный смысль, который заключается не въ томъ, чтобы только мий служили, но чтобъ и я съ любовью служиль другимъ..., И какъ это мы жили, -- говоритъ онъ матери, — сердились и ничего не знали тогда... Всякій предъ всёми за всёхъ и за все виновать». Эта предсмертная логика сердца, принятая докторомъ за «впаденіе въ помѣшательство»—глубоко куда-то ушла въ душу младшаго брата. Вскорф потомъ, засыпанная и заваленная всякаго рода житейскимъ мусоромъ, она вдругъ опять шевельнулась въ немъ, свалила съ себя все наносное и всецьло уже завладьла душой Зосимы.

Отвезли его послѣ смерти Маркела въ корпусъ; онъ пробылъ въ немъ долго и «преобразился въ существо почти дикое, жестокое и нелѣпое». При этомъ Зосима очень мѣтко припоминаетъ, что «служившихъ имъ въ корпусѣ солдатъ считали они какъ за скотовъ»—черта, не выводящаяся, конечно, и до сихъ поръ, несмотря ни на какой «либерализмъ» молодежи, не выводящаяся отъ сердечной невнимательности ея къ своей живой обстановкѣ. «Когда вышли мы офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, о настоящей же чести никто изъ насъ и не зналъ... Всѣ эти молодые люди,—соглащается онъ,—были хорошіе, да вели-то себя скверно...» О себѣ самомъ вспоминаетъ онъ, что «пустился жить безъ удержу, поплылъ на

всёхъ парусахъ»... Тутъ и покажись ему вдругъ, что одна дѣвица къ нему сердечно расположена. Между тёмъ, случилась командировка въ другой уёздъ. Возвращаясь, онъ узнаетъ, что девица замужемъ, -за человекомъ, какъ самъ онъ теперь сознается, весьма образованнымъ, не ему чета. Тогда онъ «запылалъ отомщеніемъ», — точно будто-бы ему не казалось такъ только, а въ самомъ дълъ онъ ей прежде нравился, точно будто она обязана была догадаться, что и она ему нравится и ждать его, непремённо его, и не была уже властна въ своемъ выборъ. Впрочемъ онъ слъдовалъ тутъ только той особой ревнивой логикъ, которой критика наша добивалась во что бы то ни стало отъ одного изъ раннихъ героевъ Достоевскаго 1) (правда, тому предпочли человѣка непзмѣримо плоше его-но вѣдь и тутъ только въ силу ревнивой логики можно «пылать отомщеньемъ»). Искусственно разжигая себя, т.-е. свое оскорбленное самолюбіе, Зосима оскорбляеть своего «соперника», и діло доходить у нихъ до дуэли. Внутренно онъ, конечно, чувствуеть, что все это глупо, подло-и злится на самого себя. Но, злясь на себя, онъ срываетъ свою злость на другомъ, безотвѣтномъ существѣ, разумѣется. Не даромъ они еще въ корпусв «солдатъ считали какъ за скотовъ». Теперь ему подвернулся денщикъ, и онъ ударилъ его изо всей силы по лицу два раза, ударилъ до крови. «Сорокъ лътъ минуло, -- говоритъ онъ, -- а припоминаю и теперь о томъ со стыдомъ и мукой»... Многіе, конечно, преспокойно бы послѣ того заснули; но ему плохо спится. Плохо спится не потому, что завтра дуэль, а по другой причинъ. Поутру отворяетъ онъ окно въ садъ. Видитъ, восходитъ солнце, тепло, прекрасно... что же это, думаетъ онъ... въ душт у него... «Не оттого ли, что кровь иду проливать?.. Нътъ, думаю, какъ будто и не оттого... Не оттого-ли, что... боюсь быть убитыми? Нёть совсёмь не то... И вдругь сейчась же и догадался, въ чемъ было дёло: въ томъ, что я съ

¹⁾ Ивана Петровича въ «Униженных» и оскорбленныхъ.»

вечера избиль Аванасія! Все мнѣ вдругъ снова представилось, точно вдругъ повторилось: стоить онъ передо мною, а я быю его съ размаху прямо въ лицо, а онъ держитъ руки по швамъ, голову прямо, глаза выпучилъ, какъ во фронтѣ, вздрагиваетъ съ каждымъ ударомъ, и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смѣетъ,—и это человъкъ до того доведенъ, и это человъкъ бъетъ человъка».

Неужели у тѣхъ критиковъ, которые затянули разъ навсегда свою пѣсню о «постномъ маслѣ» у Достоевскаго, и въ этомъ мѣстѣ ничто не шевельнулось въ душѣ? Или, можетъ быть, они и поютъ эту пѣсню о «маслѣ» именно потому, что «жестокій его талантъ» вызвалъ и у нихъ въ намяти какое-нибудь такое воспоминаніе—не о побитомъ, конечно, братѣ (на то, чтобъ не бить, они достаточно либеральны), а о братѣ, котораго они оттолкнули, о братѣ, которому не помогли. Да, есть за каждымъ изъ насъ, непремѣнно есть, не одно такое воспоминаніе, и если его разбереживать въ насъ—значитъ вливать въ насъ постное масло, то оно непремѣнно должно входить въ нашъ рецептъ какъ та кость, которая въ свое время прописана была Н. И. Новиковымъ г. Безразсуду 1).

Возобновивъ въ своемъ воображеніи вчерашнюю позорную сцену, будущій Зосима вдругъ вспомнилъ своего брата Маркела съ его словами: «За что вы мнѣ служите?.. Да стою-ли я, чтобы служить-то мнѣ...» «воистину всякій предъ всѣми за всѣхъ виноватъ, не знаютъ только-этого люди, а еслибъ узнали — сейчасъ былъ-бы рай...» «И представилась мнѣ, — говоритъ онъ, — вся правда... Что и иду дѣлать? Иду убивать человѣка добраго, умнаго, благороднаго, ни въ чемъ предо мной неповиннаго, а супругу его тѣмъ на вѣки счастья лишу и убью». Но вотъ за нимъ пріѣзжаютъ, а онъ и не спитъ. Вышли уже садиться въ коляску, но онъ просить себя

¹⁾ Для того, чтобы онъ могь по ней убъдиться, есть ли различие между бариномъ и крестьянинемъ. (См. «Трутень»).

подождать -- сбёгаеть за кошелькомь. А самь-- прямо къ денщику и, «какъ былъ въ эполетахъ, бухъ ему въ ноги лбомъ до земли: прости меня, -- говоритъ». Вернулся къ секунданту, съли, ъдутъ. «Востори во мнъ такой, смъюсь всю дорогу... «Ну, брать, вижу, что поддержишь мундирт...» Разставили ихъ, ему первый выстрълг... «Оцарапало мнѣ щеку, да за ухо задѣло... «Слава Богу!кричу,-не убили человъка», да свой пистолетъ... швыркомъ... въ лъсъ и пустилъ. «Простите меня, глупато молодого человъка, что по винъ моей васт разобидълг, а теперь стрплять въ себя заставиль. — Помилуйте, если вы не хотъли драться, къ чему же безпокоили? — Вчера, говорю, —еще глупт былт, а сегодня поумнълт ..» (I, 333). Прежняя логика окончательно въ немъ смѣнилась другою. Новый человъкъ пробудился въ немъ. Онъ «нашелъ себя въ себь», къ чему всвхъ насъ приглашалъ Достоевскій въ своей пушкинской рѣчи. «Неужели такъ теперь удивительно встретить человека, который-бы самъ покаялся, въ своей глупости повинился?..» «Да не на барьерѣ-же» — глубокомысленно отвъчають ему. Недоумъвать и скандализоваться перестали только тогда, когда онъ имъ объявилъ, что идетъ въ монастырь: «ну, теперь все и объясняется: монаха судить нельзя» (335). Тогда идти въ монастырь еще не было вовсе такимъ немыслимымъ дъломъ. Мы въдь разомъ переменились въ очень короткій срокъ.

Монастырь, какъ върно замътиль г. Оболенскій, представился спятившему съ обычной колеи чести офицеру— единственнымъ въ то время пристанищемъ отъ той непосильной борьбы съ общественнымъ мнѣніемъ, которая предстояла ему въ міру. Въ этомъ смыслѣ, пожалуй, тутъ и въ самомъ дѣлѣ сказался даже недостатокъ воли. Впрочемъ, вскорѣ тутъ послѣдовалъ и еще одинъ толчокъ отъ «таинственнаго посѣтителя». Приходитъ къ нему человѣкъ, пользующійся общимъ уваженіемъ, и проситъ его: «опишите мнѣ, что именно ощущали вы въ ту минуту, когда на поединкѣ рѣшились просить прощенія» (1, 337). Оказывается, что самому ему нужно просить

прощенія, только въ другомъ смысль, еще потруднье... Ему нужно, какъ Раскольникову, поцеловать землю, которую онъ обагрилъ кровью. А убилъ онъ въ свое время любимую женщину, ибо «мысль о томъ, что жертва его могла стать супругой другому, казалась ему невозможною» (341). Что должно было тутъ шевельнуться въ душѣ у недавняго дуэлиста? Что если-бы и онъ, также не выносившій подобной мысли, вм'єсто этого вызова на дуэль, пошелъ далъе. «Богъ чудеснымъ образомъ спасъ», долженъ быль онъ подумать въ тогдашнемъ своемъ настроеніи. Богь спасъ отъ той крови, которую чувствуєть на себѣ этотъ «посѣтитель», несмотря на то, что заподозрѣли тогда другого, что заподозрѣнный умеръ — и не съ горя, а отъ простудной болъзни --- все осталось шито и крыто, да еще заглажено годами общеполезной и благотворительной дёятельности. Онъ, между тёмъ, и женился, сталь отцомъ. Но тёмъ пуще его беретъ раздумье: «жена любитъ меня, что, еслибъ узнала?.. Даю жизнь, а самъ отняль жизнь». Вотъ онъ теперь и пришель къ Зосимъ узнать, каково-то передъ всъми виниться? Тутъ-то и раскрылось евангеліе на притчѣ о зернѣ, которое, чтобъ ожить, должно умереть. «Да въ этихъ кингахъ ужасъ, что такое встретишь, -- говоритъ посетитель...-И кто это ихъ писалъ, неужели люди?»

И хочется-то ему чрезъ страданье и добровольное поношенье уподобиться умирающему для жизни зерну,—и не можется: стыдно, страшно! Приходить опять и уходить. Приходить еще, чтобъ сказать: «я вёдь убить тебя тогда приходиль». Но, побывъ такимъ образомъ на рубежё еще новаго преступленія, онъ, наконецъ, рёшается выдаетъ себя головой; ему не вёрятъ, объясняютъ все сумасшествіемъ, и онъ затёмъ умираетъ отъ душевнаго

потрясенія.

Но въ городъ знали, къ кому онъ такъ часто ходилъ. «Весь городъ возсталъ на меня,—говоритъ Зосима,—когда похоронили его, и даже принимать перестали. Но я, прибавляетъ онъ,—въ скорости изъ города совсёмъ выбылъ, а черезъ пять мѣсяцевъ удостоился Господомъ Бо-

гомъ стать на путь твердый и благолёпный» (I, 337—348).

Это, конечно, очень старый — для насъ совсёмъ даже устарёлый путь. Но нёть-ли на немъ и чего-нибудь такого, что дёлаетъ его въ извёстномъ смыслё вичнымя путемъ?

Къ чему сводится взглядъ Зосимы? Вотъ онъ: «Міръ говорить: имжешь потребности, а потому и насыщай ихъ... Въ этомъ и видятъ свободу». Да, но вѣдь она принадлежить только темь, кто имееть средства насыщать свои потребности, возрастающія прогрессивно. «Права-то дали, — замѣчаетъ старецъ, — а средствъ насыщать потребности еще не указали...» «Иметь обеды, вывады, экипажи, - продолжаетъ онъ, - чины и рабовъ-прислужниковъ (а рабы, прибавимъ мы, фактически существуютъ у людей и по упразднении легального рабство) считается ужь такою потребностью, что даже убивають себя, если не могутъ утолить ее (не забудьте-при ея прогрессивномъ ростъ). А у бъдныхъ неутоление потребностей (самыхъ даже скромныхъ, еще и не думающихъ прогрессировать) и зависть (совершенно, конечно, понятная при соблазнъ со стороны богатыхъ) пока заглущаются пьянствомъ. Но вскоръ вмъсто вина уньются и кровью, къ тому ихъ ведутъ» (І, 349). А доведя ихъ до этого, ихъ-же потомъ оберутъ, не хуже прежнихъ ихъ обирателей, во имя своихъ потребностей, неизбѣжно прогрессирующихъ именно у культурнаго человъка, во имя того, что обуздываніе природы есть non sens съ точки эржнія тёхъ теорій, которыя «упраздняють мистику...» «Другое дело путь иноческій, — утверждаетъ успокоившійся на немъ Зосима, - отсѣкаю отъ себя потребности лишнія п ненужныя... Кто-же способнье, — спрашиваеть онъ, вознести великую мысль и пойти ей служить, уединенный-ли богачь, или сей освобожденный отъ тиранства вещей и привычекъ?» Объ уединенности богача Зосима слышаль еще до поступленія въ монастырь, слышаль отъ своего «таинственнаго посътителя». «Всякій-то теперь стремится, - говориль онъ, - отдёлить свое лицо

наиболее, хочетъ испытать въ себе самомъ полноту жизни, а между тёмъ выходить изъ всёхъ его усилій виёстс полноты жизни лишь полное самоубійство (т.-е. нравственное) ибо... впадають въ совершенное (нравственное-же) уединеніе». Но, чтобы выйти изъ него и сдълаться способнымъ «вознести великую мысль», именно и надо «освободиться отъ тиранства вещей и привычекъ» и такимъ образомъ сдълаться неприступнымъ ни для какихъ угрозъ, ни для какихъ соблазновъ. Извъстнаго рода критики, между тёмъ, утверждали, что «отсечение лишнихъ потребностей», проповъдуемое Зосимою — Достоевскимъ, значитъ: «братіе труженики! если обсчитываютъ вась въ полъ или на фабрикъ, не прекословьте, можно въдь обойтись безъ мяса и безъ чая, это все-потребности лишнія и для васъ совершенно ненужныя». На самомъ-же деле, устами монаха Зосимы Достоевскій подъ конецъ жизни говоритъ то-же самое, что въ самомъ началъ ея выражалъ устами совсъмъ не монаха -- Макара Дъвушкина: «совъстно курить табакъ, когда у другого и хльба-то нътъ», «Отсъкаю отъ себя потребности лишнія и ненужныя» значить: не хочу взимать для себя того «освъжительнаго процента», который приводиль въ такой ужасъ Раскольникова. «Отсекаю отъ себя потребности лишнія и ненужныя» значить: не хочу, не могу, по совъсти не могу забирать себъ львиную часть; не могу, проповёдуя соціализмъ, жить откормленнымъ буржуа, жупровать не хуже банкира!

«Уединеніе не у насъ, а у нихъ,—продолжаетъ Зосима, уже прямо отстаивая свое «тихое пристанище...» «А отъ насъ и издревле дъятели народные выходили»,— ссылается онъ, и по праву. Въдь онъ имъетъ въ виду тъ времена, когда богатыя обители не посылали еще за сборомъ на себя къ каждому поъзду желъзной дороги,— онъ имъетъ въ виду времена Өеодосіевъ Печерскихъ, Кирилловъ Бълозерскихъ, Сергіевъ Радонежскихъ, времена прямыхъ представителей монащеской общины, тъхъ, чъимъ правиломъ было: «праздный да не ястъ», тъхъ, что сами кормили голодный народъ, сильнымъ міра въ

щали правду, благословляли на сверженіе ига. Но не были-ли они, коли такъ, не только «мистиками», но и «шовинистами?» Если ∂a , то и Зосима не только мистикъ, но и шовинистъ.

Зосима однако-же не стоитъ исключительно за монастырь, за монастырскія стёны. «Иноки, — говорить онъ, не иные суть человѣки, а лишь только такіе, какими и всёмъ на землё людямъ быть надлежало-бы. Тогда лишь и умилилось-бы сердце наше въ любовь безконечную, вселенскую». Зосима даже прибавляеть: «Не ненавидьте атеистовъ, злоучителей, матерыялистовъ, даже злыхъ изъ нихъ, не токмо добрыхъ, ибо изъ нихъ много добрыхъ, наипаче въ наше время». Все это только ищущіе пути, но, съ его точки зрінія, ошибающіеся въ немъ или, лучше сказать, не видящіе, что путь этотъ давно уже есть. «И отрекающіеся отъ христіанства, поясняеть во всемь согласный съ Зосимой отецъ Паисій, сами того-же Христова облика суть...» Только «до сихъ поръ ни мудрость ихъ, ни жаръ сердца ихъ, не въ силахъ были создать иного высшаго образа человъка... какъ образъ, указанный древле Христомъ». Этотъ отецъ Паисій, какъ и Зосима, въ сущности, христіане-соціалисты въ духѣ временъ апостольскихъ, о которыхъ говорится въ книгѣ «Дѣяній»: «у вѣрующихъ было одно сердце и одна душа, и никто ничего изъ имънія своего не называль своимь, но все было у нихь общее... Не было между ними никого бёднаго, ибо всё владёльцы помёстьевъ или домовъ, продавая оные, приносили цёну проданнаго и полагали къ ногамъ апостоловъ, и каждому давалось, въ чемъ кто имѣлъ нужду» 1). Въ этомъ смыслѣ соціалистомъ всегда оставался и самъ Достоевскій, а «соціалисть-христіанинь, - говорить въ романь одно административное лицо, - страшнве соціалиста-безбожника» (І, 79). Первый со своимъ медленнымъ, вовсе не насильственно пролагаемымъ путемъ, и добирается до самыхъ корней. Онъ не допускаетъ никакой «поправки»

¹⁾ Дъння апостольскія гл. IV. ст. 32, 34.

въ христіанствъ, но онъ-то и стоитъ за поправку мнотаго въ государствъ Христовою церковью. «По русскому пониманію, — утверждаетъ отецъ Паисій, — государство должно кончить тъмъ, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью, и ничъмъ болъе» (I, 74). Это дъйствительно выражаетъ взглядъ самого Достоевскаго. Мы помнимъ, съ какимъ грустнымъ раздумьемъ говаривалъ онъ послъ достававшихся ему овацій: «главнаго-то они у меня все-таки не понимаютъ. Они носятъ меня на рукахъ за то, что я не удовлетворенъ нынъшнимъ государствомъ, а не видятъ, что я имъ указываю на церковь».

Чего не достаетъ государству въ его области «внѣшней правды», т.-е. принудительнаго дъйствія во имя закона и власти, объ этомъ говоритъ Зосима, говоритъ такъ, что слова его служатъ окончательнымъ выясненіемъ прежнихъ соображеній на ту же тему самого До-

стоевскаго.

«Всп эти ссылки ст работы, а прежде ст битьемт, никого не исправляють, а главное, почти никакого преступника и не устрашають, и число преступленій не только не уменьшается, а чёмъ далёе, тёмъ болёе наростаеть... Отстивется вредный илень, а на его мёсто тотчасъ же появляется другой преступникъ... Если что и охраняетъ общество даже въ наше время... то это единственно лишь законг Христовг, сказывающійся вз сознаніи собственной совисти... Церковь не отлучаеть отъ себя преступника, а... старается сохранить съ нимъ все христіанское общеніе... Она, какъ мать нѣжная и любящая, отъ дѣятельной кары сама устраняется, такъ какъ и безъ ея кары слишкомъ больно наказанъ виновный государственнымъ судомъ, и надо же его хоть кому-нибудь пожальть... Если-бъ дъйствительно наступиль судъ церкви... если-бы все общество обратилось лишь въ церковь, то... церковь... понимала-бы будущаго преступника и будущее преступление во многихъ случаяхъ совствит иначе, чемъ нынь, и сумъла-бы возвратить отлученнаго, предушредить замышляющаго и возродить надшаго» (1, 76-78). «Прекрасная утопическая мечта,—замъчаетъ по поводу всего этого Міусовъ, очень хорошо понимая всето, что должно со временемъ вытекать изътакой мечты:— исчёзновене воймъ, дипломатовъ, банковъ, и проч. А то я думалъ,—признается онъ,—что церковъ меперъ, напримъръ, будетъ судить уголовщину и приговариватъ розги и каторгу, а пожалуй, даже и смертную казнъ».

«Да еслибъ, вмѣщался тутъ Иванъ Карамазовъ, истолковывай свою тогдащнюю статью, и теперь быль одинъ лишь церковно-общественный судъ, то и теперь бы церковь не посылала на каторгу или на смертную казнь».

Кажется, ясно; между тымь, извыстные критики продолжали держаться прежнихы недоразумыйй Міусова,
воображая (притворно, конечно), что Достоевскій хочеть
упраздніть новый усовершенствованный судь, замынивы
его судомы оффиціально-церковной администраціи, приплетали сюда даже консисторіи сы ихы извыстными порядками и мало-ли что еще. Не догадывались, видите-ли
(такіе наивные!), что поды церковью Достоевскій понималы великую общину вырующихы, а поды церковнымы
судомы—вполны соотвытственный ей, вы самомы дылы гуманный судь, не только ограждающій общество оты преступника, но й братски заботящійся о самомы преступникы.

При этомъ Достоевскій не доходиль, однако же, дотого, до чего недавно дошель другой великій современный писатель, захотівшій рішительно упразднить всякій судь, какъ гріхь превышенія человікомъ своей власти. Точно будто предвидя это, Зосима у Достоев-

скаго говоритъ:

«Не можеть быть на землё судья преступника, прежде чёмь самь сей судья не познаеть, что и онь такой же точно преступникь, какь и стоящій предънимь... Когда эсе познаеть сіе, то возможеть стать и судьею... Ибо быль бы и самь праведень, можеть и преступника, стоящаго передо-мною, не было бы. И даже, еслибь и самый законь поставиль тебя его судією, то сколь лишь возможно будеть тебь, сотвори

тогда въ духъ семъ, ибо уйдетъ и осудитъ себя самъ еще горше суда твоего». Вся задача въ томъ, чтобы пробудить въ преступникъ совъсть, а для этого она должна проявляться у него на глазахъ и въ самомъ его

судьѣ.

Крупную поправку въ человъческомъ стров жизни во имя церкви имъетъ Зосима въ виду и тогда, когда вспоминаетъ съ такимъ прискорбіемъ: «Видалъ я на фабриках десятильтних даже дьтей: хилыхь, чахлыхь, согбенныхъ и уже развратныхъ. Душная палата, стучащая машина... развратныя слова и вино, вино... Ему надо солнце, дътскія игры и всюду свътлый примъръ и хоть каплю любви къ нему. Да не будетъ же сего...

да не будет истязанія дътей...» (І, 351).

Если и это то же «постное масло», то побольше бы такого постнаго масла въ общественные наши нравы, въ законодательство, въ правительственныя распоряженія! Не забудьте, что Зосима не удовлетворится какимънибудь тамъ сокращениемъ срока детской работы на фабрикахъ, сокращениемъ, могущимъ, если станетъ значительнымъ, привести къ тому, что дътей только перестанутъ принимать на фабрики, а ихъ родителямъ всетаки нечёмъ ихъ будетъ кормить. Чтобы удовлетворить Зосиму, надо съ любовью вникнуть во все, терпъливо и до конца распутать весь безобразно перепутавшійся клубокъ. Тутъ нельзя успоконться ни на «laissez faire et laissez aller», ни на хотя бы и самой широкой благотворительности. Тутъ, т.-е. для распутанія цълаго узла, разумвется, нужно также и вмвшательство государства, церковью вдохновляемаго и направляемаго. Иначе придешь къ тому, что, къ несчастью, сталъ проповъдывать намъ великій, но во многомъ заблуждающійся писатель, своею теоріей «непротивленія злу», т.-е. непротивленія ему силою, хотя бы и гуманнъйшимъ и законнъйшимъ образомъ противъ зла направленною.

Достоевскій никогда не держался подобной теоріи, ссли еще въ молодости, до ссылки своей, могъ восклицать съ Пущкинымъ: от пламен оте этерет или

Увижу ли народъ не угнетенный И рабство, надшее по манію царя!

(Въдь по этой теоріи и принудительная отмъна рабства должна представляться гръхомъ). Онъ не держался ея и до конца своей жизни, если въ самомъ последнемъ своемъ «Дневникъ», раздававшемся уже въ день его похоронъ, говорилъ: «облегчить народъ?... Гдъ взять денегъ? Для этого непремънно и неотложно обложить налогомъ высшіе, богатые классы, и тъмъ снять тягость съ бъднаго класса». Да и сдълать это, разумъется, такъ, чтобы снятое съ народа въ одномъ видъ, косвенно не налагалось опять на него же только въ другомъ. А чтобъ сдёлать это хорошо, не брезгать сёрымъ мужикомъ, -- не брезгаетъ же имъ церковь! -- не думать, чтобъ Богъ обидълъ его умомъ до круглаго непониманія своихъ нуждъ, допросить этого самаго мужика, добиться отъ него правды, всей непріятной, но нужной правды... Вотъ это-по божьему, вотъ этого-то и желаетъ отъ государства церковь. Какимъ путемъ тутъ идти, о томъ должна была вестись бесёда въ «Дневникв» 1881 г., къ несчастью прерванномъ смертью. Достоевскій всю жизнь оставался темъ же. Онъ вполнъ целенъ. Слишкомъ преждевременно и не во-время его не стало.

А Зосима-то все-таки остается монахомъ, т.-е. нигий болье, какъ въ монастырскихъ ствнахъ, Достоевскій идеала намъ не сыскалъ. Ну, значитъ, онъ всьхъ насъ и хочетъ загнатъ за монастырскія ствны—не перестаютъ городить свое извъстнаго рода критики. Но не самъ ли Зосима говоритъ Алешъ, котораго онъ и всегда такъ часто высылалъ въ міръ, высылалъ къ братьямъ: «знай, сынокъ, что и впредъ тебъ не здъсь мъсто... Какъ только сподобитъ Богъ преставиться мнѣ, и уходи изъ монастыря. Совсъмъ иди» (I, 90). «Изыдешь изъ стънъ сихъ, а въ міру пребудешь, какъ инокъ», сказалъ онъ ему другой разъ. Между тъмъ Зосима уже говорилъ ему, что онъ долженъ будетъ даже жениться. Значитъ, по понятію старца, это нимало не противоръчило тому,

что Алеша будетъ «жить въ мірѣ, какъ инокъ». Старецъ, стало быть, разумёлъ подъ этимъ мірскимъ «иночествомъ» только отсъкание дъйствительно «лишнихъ и ненужныхъ потребностей», другими словами-отреченіе отъ взиманія съ другихъ людей «освѣжительнаго процента». Такъ широко понимаемое «иночество» именно и должно развестись за предълами монастыря; оно должно обратиться во всеобщую и въчную жизненную стихію, ту, безъ которой невозможно настоящее служение обществу. «Много несчастій принесеть тебѣ жизнь, —предсказываль Алешт Зосима, но ими-то ты и счастливъ будешь и жизнь благословишь, и другихъ благословить заставишь, что важние всего» (I, 318). Старець, конечно, разумёль тё несчастія, которыя заставляють нась понимать и чужія и, облегчая ихъ, искать себъ утъшенія въ чужихъ радостяхъ.

«Не горе, а радость людскую постиль Христось», проносится въ мысляхъ Алеши, когда онъ, утомленный, стоить на коленяхъ передъ гробомъ старца и слышится ему въ полусив чтение евангелия о бракв въ Галилейской канъ. «Въ первый разъ сотворяя чудо, радости людской номогъ», т.-е. радости людей маленькихъ, радости людей бёдныхъ. «Кто любитъ людей, тотъ и радость ихъ любить». Это повторяль покойникь номинутно... И туть же въ полусив представляется Алешв маленькій, сухенькій старичокъ и раздается его тихій голосъ: «веселимся, пьемъ вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей?... А видишь ли солнце наше. видишь ли ты его? ...Не бойся... Страшенъ величіемъ чередъ нами, но... намъ изъ любви уподобился и веселится съ нами, воду въ вино превращаетъ, чтобы не пресеклась радость гостей, новыхъ гостей ждетъ, новыхъ безпрерывно зоветъ и уже на вѣки вѣковъ. Вонъ и вино несутъ новое, видишь — сосуды несутъ».

Очнулся Алеша, подошель къ гробу, и, точно будто бы вспомнивъ завътъ Зосимы—выйти въ міръ—тутъ же и вышелъ изъ кельи... «Полная восторгомъ душа его жаждала свободы, мъста, широты. Издъ нимъ широко,

необозримо опрокинулся небесный куполь, полный тихихъ сіяющихъ звъздъ... Алеша стоялъ, смотрълът и вдругь, какъ подкошенный, повергся на землю... Ему такъ неудержимо хотълось цъловать ее, цъловать ее всю, но онъ цёловалъ ее плача, рыдая и изступленно клялся любить ее, любить во веки вековъ... О чемъ онъ плакаль? О, онъ плакаль въ восторгъ своемъ даже и объ этихъ звъздахъ, которыя сіяли ему изъ бездны... Какъ. будто бы нити отъ всёхъ этихъ безчисленныхъ міровъ божихъ сощись разомъ въ душѣ его и она вся трепетала, соприкасаясь мірамъ ннымъ. Простить хотёлось ему встхъ и за все, и просить прощенія... не себъ, а ва всёхъ, за все и за вся, а «за меня и другіе просятъ»... прозвенъло въ дущъ его. Но съ каждымъ мгновеніемь онъ чувствоваль явно и какт бы осязательно; какъ что-то твердое и незыблемое, какъ этотъ сводъ небесный, сходило въ душу его... Палъ онъ на землю слабымъ юношей, а всталъ твердымъ на всю жизнь бойпомъ» (П. 43—46).

Если это и мистицизмъ, то ужь, конечно, не мрачный. Достоевскому не пришлось показать намъ Алешу на его дальнъйшемъ жизненномъ поприщъ. Смерть помѣшала ему написать особый, объщанный имъ романъ объ Алексъъ Оедоровичъ Карамазовъ. Но ясно уже, что онъ долженъ былъ у него и жить и бороться—не въ

монастырскихъ стенахъ....

Но откуда же взяль Достоевскій этого русскаго юношу не изъ народа— съ такою върующей душой, съ такимъ религіознымъ экстазомъ?... Откуда? Критики, спрашивающіе объ этомъ, должно быть, многое проглядьли у насъ въ послъднюю пору... Имъ все еще мерещится прежнее, хотя и недавнее прежнее... Ихъ вниманіе даже не остановилъ на себъ столь неожиданный успъхъ среди молодежи В. С. Соловьева. Достоевскій имъль основаніе назвать своего Алешу «юношею послъдняго времени». Если онъ еще не видъль его во плоти, то ощутилъ его замысель въ самой жизни—такъ быстро, такъ круто у насъ измѣняющейся.

Достоевскій не даромъ же говориль, что онъ «на молодежь надѣется», потому что она у насъ страдаетъ исканіемъ правды и тоской по ней... Онъ понялъ, что она сильно затосковала по той *иплостиности*, которой не стало, съ тѣхъ поръ какъ задумали у нея отсѣчь потребности—не лишнія и ненужныя, а вѣчныя и необходимыя... Онъ подслушалъ въ душѣ у нарождающагося поколѣнія то, что такъ прекрасно выразилъ намъ современный поэтъ въ одномъ изъ своихъ новѣйшихъ стихотвореній:

Такъ жить нельзя! Въ разумности притворной, Съ тоской въ лушъ и холодомъ въ йрови, Везъ юности, безъ въры животворной, Везъ жиучихъ мукъ и счастіи любви; Везъ тихихъ слезъ и громкаго веселья, Въ томленіи нѣмого забытья, Въ уныніи разврата и бездѣлья...

Нѣтъ, други, нѣтъ — такъ дольше жить нельзя! Сомпѣній почь отрады не приноситъ, Клеветъ и лжи наскучили слова; Померкшій взоръ лучей и солнца проситъ, Усталый духъ закаетъ Вожества. Но не прозрѣть найъ къ солнцу сквозъ тугана, Но не найти намъ Вога въ дальней тьмъ: Насъ держитъ власть побъднаго обмана, Къ къ узниковъ, въ оковахъ и тюрьмъ. Не въетъ въ міръ мечты живой дыханье— Творящихъ силъ насквиула струя, И лишь одно не умерло сознанье.— Не то призывъ, не то воспоминанье, — Оно твердитъ: такъ дольше житъ нельзя!

ДЪТИ ВЪ СОЧИНЕНІЯХЪ Ө. М. ДОСТОЕВСКАГО. ').

T.

На похоронахъ Достоевскаго среди множества всевозможныхъ вёнковъ можно было замётить и небольшой вѣнокъ «отъ русскихъ дѣтей». И если-бы этого вѣнка туть не было, то его-бы положительно не доставало. Достоевскій такъ любиль дітей, онь такъ часто изображаль ихъ, такъ горячо и такъ задушевно къ нимъ относился! При нашемъ послъднемъ свиданіи съ нимъ за три дня до его смерти онъ собирался играть въ пользу дѣтской больницы на домашнемъ спектаклъ роль схимника въ трагедіи гр. А. К. Толстого: «Смерть Іоанна Грознаго». Спектакль предназначался на поддержку, какъ онь тогда выразился, ужасной дётской больницы, -больницы для тёхъ дётей, которыя наслёдовали отъ своихъ грѣшныхъ родителей зачатокъ, а иногда и гораздо болѣе чимь зачатокь, разъйдающаго весь организмь, недуга. Но не менъе ужасала Достоевскаго въ продолжение всей его жизни и другая зараза-нравственная, точно также поражающая детей подъ тлетворнымъ вліяніемъ родителей или воспитателей, наконецъ, вообще большихъ, такъ

Двѣ публичныя лекціи, читанныя въ 1882 г. Напечатацы были въ журналѣ «Женское образованіс» того же года.

мало останавливаемыхъ, при своихъ сношеніяхъ съ дѣтьми, мыслью о своихъ наслёдственныхъ или благопріобрётенныхъ духовныхъ недугахъ! Какъ часто предостерегалъ Достоевскій въ своихъ сочиненіяхъ отъ тёхъ легкомысленныхъ, а иногда и злоумышленныхъ, упражнений большихъ надъ дътьми, которыя могутъ быть прямо названы своего рода избіеніемъ младенцевъ! Между тъмъ, духовная эпидемія еще далека отъ того, чтобы замѣтно идти на убыль. Давно-ли мы читали объ 11-лътнемъ мальчикъ, который лишиль себя жизни отъ безнадежной любви? О, какъ недостаетъ теперь «Дневника писателя!» Достоевскій раскрыль-бы намъ въ немъ эту страшную тайну, хотя-бы передъ нами даже и не раскрылись непосредственные факты; онъ-бы угадаль эту тайну тымь глубокимъ своимъ ясновидениемъ психолога, которое доступно только такой высокой и чистой душѣ! Вспомните, какъ онъ въ 1876 г. сперва только сообщилъ въ своемъ «Дневникѣ» о томъ, какъ дѣвушка выбросилась въ окно съ образомъ въ рукахъ-значитъ, не освободившись отъ вліянія религіозныхъ преданій, - а немного спустя даль намъ также и цёлую повёсть на эту тему, такую хватающую за душу повъсть: «Кроткая». Также болье или менъе отозвался-бы онъ и на это недавнее самоубійство влюбленнаго ребенка, если-бы только дожилъ до нашихъ дней. Но обратимся къ образамъ хотя и не въ такой мъръ, но все-же преждевременно и болъзненно-развитыхъ детей, которыхъ успель намъ выставить Достоевскій.

Вотъ прежде всего его «Маленькій герой», которому было безъ малаго также 11 лѣтъ. Повѣсть эта, написанная въ 1848 г., когда Достоевскій находился въ крѣпости, вовсе не похожа — какъ и всѣ, впрочемъ, произведенія Достоевскаго — на повѣсть, написанную «заговорщикомъ», а затѣмъ и политическимъ «каторжникомъ!» Въ первомъ лицѣ разсказываются тутъ невиннѣйы в воспоминанія дѣтства, т.-е., если угодно, въ нихъ далеко не невинными — хотя и не въ томъ совершенно смыслѣ — оказываются большіе. Неподходящая для ребенка среда не-

сомнѣнно ему тутъ вредитъ, хотя тутъ нимало не замѣшана нужда или какія-нибудь жизненныя невзюды. Напротивъ, мальчикъ попадаетъ въ богатую и самую веседую, безъ расклона веселую обстановку-въ наполненный гостями помѣщичій домъ, попадаетъ и самъ на гощеньеодинъ, безъ родителей. «Только одна блестящая сторона картины, -- разсказываетъ онъ, -- могла броситься въ мон дътскіе глаза, и это всеобщее одушевленіе, блескъ, шумъвсе это, досель невиданное и неслыханное мною, такъ поразило меня, что я въ первые дни совсемъ растерялся и маленькая голова моя закружилась». Правда, туть были не одни большіе, но эти последніе слишкомъ давали ему себя знать. «Туть были, говорить онь, и другія діти, но всь — или гораздо моложе, или гораздо старше; да, впрочемъ, не до нихъ было мнв. Конечно, ничего-бъ и не случилось со мною, еслибъ я не былъ въ исключительнома положении. На глаза всёхъ этихъ прекрасныхъ дамъ я все еще быль то-же маленькое, неопределенное существо... съ которымъ имъ можно было играть, какъ съ маленькой куклой» ...И какъ часто большие играютъ съ дътьми, какъ съ куклами; подчасъ играютъ съ ними такимъ образомъ и родители, не дающие себъ какъ-бы отчета въ томъ, что въ ребенкъ есть уже живая душа! Но туть игра съ мальчикомъ, какъ съ куклою «прекрасныхъ дамъ», принимала для него совершенно особенный оборотъ. «Странное дело! - припоминаетъ онъ, - какое-то непонятное мий самому ощущение уже овладывало мною; что-то шелестило уже по моему сердцу до сихъ поръ незнакомое и неведомое ему, но отчего оно подчасъ горъло и билось, какъ испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое». Еще счастье, можетъ быть, что игра съ нимъ, какъ съ куклой, не только подобнымъ образомъ шевелила, но и оскорбляла мальчика. Когда безпощадная блондинка вздумала его усадить къ себъ на кольни, онъ просто на нее разсердился. «Мои привиллегіи, говорить онь, серьезно начали меня обижать и совъстить». Но ему приходится туть соэнаться, что сэтому быда еще причина тонкая, странная,

тлупая». У несносной блондинки была тутъ-же, между гостями, подруга-характера совершенно противоположнаго: «возлѣ нея, -вспоминаетъ онъ, -всякому становилось какъ-то лучше, какъ-то свободнее, какъ-то теплее, и, однако-жъ, ея грустные большіе тлаза, полные огня, и силы, смотръли робко и безпокойно... и эта странная робость такимъ уныніемъ покрывала подчасъ ея тихія, кроткія черты... что, смотря на нее, самому становилось скоро такъ-же грустно, какъ за собственную, какъ за родную печаль». Въ мальчикъ, въ сущности, пробуждалось только святое и чистое чувство жалости, растворяемое столь свойственнымъ детскому возрасту любопытствомъжеланіемъ разгадать мудреную тайну этой глубокой грусти. Но обращение съ нимъ «прекрасныхъ дамъ» и особенно легковъсной блондинки заставляетъ мальчика перевести это вотъ уже на какой языкъ: «я чуть не задыхался отъ смущенія, стыда и боязни, — словомъ, я быль влюблень; т.-е. положимъ, что я сказалъ вздоръ... но отчего-же изъ всъхъ лицъ, меня окружавшихъ, только одно лицо уловлялось моимъ вниманіемъ». Исключительное внимание къ ней дълало для мальчика особенно мучительными насмъшки надъ нимъ въ присутствии т-те М*. Между темь безсовестная блондинка воспользовалась имъ, какъ средствомъ отвести глаза такому близкому къ ел подругѣ лицу, какъ ел мужъ. «Я былъ выдвинутъ,--вспоминаетъ мальчикъ, - на первый планъ, какъ заклятый врагь и естественный соперникъ т-г М*., въ чемъ тиранка моя тутъ-же поклялась, дала слово... что, напримъръ, сегодня въ лъсу она видъла...» Какъ какойнибудь юноша, дъйствительно въ первый разъ полюбившій, этоть ребенокь съ ужасомь говорить: «все открыто, все обнаружено, все, что я такъ ревниво сбереталъ и таиль». Но онъ чувствуеть вийсти съ тимь, что онъ, съ этой своею любовыю, сминиона, и въ отместку, чисто по-дътски, выставляеть смёшною и эту потёшающуюся надъ нимъ даму съ ея запоздалыми шалостями: «и не стыдно вамъ... вслухъ, при всъхъ дамахъ, говорить такую худую... неправду? вамъ, точно маленькой... при всъхъ мужчинахъ?

что они скажутъ? Вы, такая большая, замужняя!» Но бёдному мальчику мало, что и она оказывается смёшною; ему надобно заставить позабыть то глупое положеніе, въ какое она его поставила, - и вотъ онъ хватается за неожиданно представившійся случай показать себя совершенно съ другой стороны: опять и столько-же легкомысленно раздразненный своею мучительницей, онъ безстрашно вскакиваеть на бъщенаго коня, отъ котораго только-что отказался взрослый. Игра съ ребенкомъ, какъ съ куклой, обратилась въ опаснейшую игру, и взрослой шалунь в данъ такой урокъ, котораго она, надо надъяться, не забудетъ. Мальчика, къ счастью, сняли съ лошади цёлымъ и невредимымъ. Онъ выходить изъ всей этой передряги вполнѣ невредимымъ и нравственно. При всемъ преждевременномъ потрясении въ его нервной системъ, его, такъ имъ названная, влюбленность остается на степени чувства состраданія къ добрайшему, какъ онъ чусть, но несчастному существу. Дёлаясь невольнымъ участникомъ тайны, отъ которой отводилися блондинкой глаза. мужа т-те М*., мальчикъ, несмотря на детское свое любопытство, не пытается въ нее проникнуть самъ и заботливо сберегаетъ ее отъ другихъ. Не столько понимая, сколько чуя сердцемъ, какъ важно для нея, чтобы никто ничего не узналь, онъ старается самымъ незамътнымъ образомъ подать ей оброненное ею письмо... Мальчика спасаетъ то, что съ нимъ все-таки только играли, и что въ немъ уцёлёли лучшія стороны его чистой дётской природы... Но представьте себя уже не нгру, а умышленное и упорное систематическое воздействие на ребенка-представьте себѣ его жертвою пропаганды. Пусть только позаботятся хорошенько ему внушить, что жалость, сочувствіе — прививной вздоръ, что въ природъ вещей только любовь для себя, любовь, ожидающая отвъта, неизбъжно ревнивая, т.-е. никому не уступающая своего мъста, что всякое пробудившееся стремленіе должно быть непременно удовлетворено, что при неудовлетворенности нашихъ стремленій не стоитъ и жить, что оборвать свою жизнь всегда можно, что вопросъ:

«какіе там» будуть сны»—чистый вздорь, потому что там» ничего не будеть... Представьте себь, что все это искусно напущено на ребенка—и воть, вмысто героическаго прыжка на какую-нибудь бышеную лошадь, уже становится возможнымь дытской ручонкой пустить себы пулю вь лобь... Но когда Достоевскій, сидя въ крыпости, писаль свою повысть, подобной пропаганды еще не существовало... То были не ты «заговорщики», которымь-бы надобно было, ради расчистки для себя почвы, все под рвать, все разрушить. То были еще энтузіасты, идеалисты, и Достоевскому, конечно, тогда и не снилось, чему свидытелемь придется ему быть потомь, по возвращеніи его изъ Сибири, противь чего придется ему возставать всёми силами своей глубоко-человычной души,

неспособной никому поддакивать.

Но возвратимся къ дътскимъ типамъ его первой поры. Незадолго до его катастрофы нарисована имъ, съ самою тщательною отдёлкой въ подробностяхъ, «Неточка Незванова», опять сама же и разсказывающая, какъ и «маленькій герой», свои разнообразныя дітскія похожденія и бидствія, къ сожальнію оставшіяся недосказанными вследствіе катастрофы, постигшей автора. Детство, впрочемъ, разсказано все; перерывъ относится уже къ началу юности Неточки. У нея быль отчимъ-музыкантъ, котораго можно назвать самолюбивымъ неудачникомъ. Онъ съ горя запиваетъ и все, что добывается несчастной его женой, не идетъ въ прокъ семьв. Понятно, что жена преследуетъ своего безпутнаго мужа попреками. Неточка, ея дочь отъ перваго брака, не умёя разсудить, какъ ребенокъ, въ чемъ тутъ дѣло, сердцемъ принимаетъ сторону отчима, повидимому, такого тихаго, редко чтонибудь отвечающаго на попреки. Передъ нею разытрываются такія сцены, которыя происходять подчась и въ очень достаточныхъ благоустроенныхъ съ виду семействахъ, гдв однако-же родители не ствсняются ссориться на глазахъ у дътей, хотя бы у этихъ родителей и не было оправданія въ крайней нужді и томъ, до чего она доводитъ.

Неточка разсказываеть объ этомъ: «я ужасно боялась матушки и предполагала, что и всё также боятся ее». Дело въ томъ, что ея несчастная, ожесточенная мать постоянно относилась къ ней съ суровою строгостью, забывая, подъ гнетомъ своихъ житейскихъ заботъ, какъ необходима ребенку ласка. Вотъ эта-то ласка и составила ту лазейку, какою прокрался въ ея, любящее и ищущее любви, сердечко безпутный Ефимовъ. «Батюшка позвалъ меня, -- говоритъ она, -- поцеловалъ, погладилъ по голове, посадиль на колёни, и я крёпко-крёпко прижалась къ груди его; это была, можеть быть, первая ласка родительская»... Но вёдь дёти такъ наблюдательны, вдумчивы, хотя и думають болье, такъ сказать, сердцемъ, нежели разсудкомъ. «Я замѣтила, —вспоминаетъ Неточка, —что заслужила милость отца тёмъ, что за него заступилась...» Это, конечно, польстило въ ней самолюбивой замашкъ дътей походить на старшихъ. «Съ этой минуты, -- говорить она, началась во мнж какая-то безграничная любовь къ отцу, но чудная любовь, какъ будто вовсе не дътская. Я бы сказала, что это было скорве какое-то сострадательное материнское чувство, если-бы такое опредёленіе любви моей не было немного смёшно для дитяти»... Подчасъ ей однако-же становилось жаль и эту общую ихъ гонительницу-мать. Точно начинало чуять ея вдумчивое сердечко, что суровость и холодъ ея обхожденія въ свою очередь заслуживають не чего иного, какъ состраданія... Й оно бы сразу появилось въ дівочкі, если-бы только вполи разъяснилась для нея судьба матери. Но отца ей было легче понять. «Мий было до боли мучительно вспоминать, --- сознается она, -- что я такъ упорно холодна съ бъдной матушкой... Онъ какъ-то былъ, --поясняеть Неточка, —мив болве ровня». Но воть сквовь ту лазейку, которую проложиль онь себь въ ея сердце, едва не прокралась туда порча нравственная. Отчимъ, видя, что мать посылаеть ее за скудными принадлежностями ихъ хозяйства, сталъ вымогать у нея частичку довфряемыхъ ей денегъ. Дъвочка, изъ любви къ нему, стала пріобретать привычку обманывать бедную мать.

Изъ благодарности онъ покупаль ей, на остатокъ отъ ею же данных денегь, кое-какіе грошовые гостинцы, и она принимала отъ него это выражение его любви. Но онъ зашелъ, наконецъ, слишкомъ далеко-обнаружилъ предъ нею свое нутро, далеко не столь чистое, какъ ей представлялось, и это-то и вызвало отпоръ въ здоровой сторонъ ея дътской природы, это-то и спасло ее отъ нравственной порчи. Онъ потребовалъ, чтобы она утащила у матери цёлыхъ 15 р. (на билетъ въ концертъ къ знаменитому виртуозу), и Неточка, мучась душевно, уже было подавалась, какъ вдругъ онъ вздумаль посулить ей впередъ гостинцевъ. «Не нужно, папа, не нужно, - оскорбилась она, - я не хочу гостинцевз... я тебъ ихъ назадъ отдамъ». «Я почувствовала въ эту минуту, -- поясняетъ она, -- что ему не жалко меня, что онъ не любить меня, потому что не видить, какъ я его люблю, н думаеть, что я за гостинцы готова служить ему... Меня навсегда уязвило сознаніе... что я потеряла моего прежняго папочку». Она потеряла его, какъ часто съ своей стороны теряють дётей и питомцевь, теряють сразу и навсегда, хотя и вовсе не замёчая того, очень и очень многіе родители и воспитатели, терліотъ потому, что никогда и не догадываются, какая подчасъ глубина душевная заключается въ этихъ малюткахъ. По, теряя того, кто такъ тепло, такъ сострадательно быль любимъ ею, она, можеть быть, только сильнее жалееть его. «Мамочка, мама!-всхлинываетъ она,-за что ты не любишь папу?» И крикъ этотъ, такъ отчаянно вырвавнийся изъ этой детской грудки, является ужасающимь откровеніемь для бѣдной матери: «Бѣдная, бѣдная моя! а я и не замътила, какъ она выросла»... Но ей, можетъ быть, при несчастномъ заполонении ея всей заботами о насущномъ хльбь, было даже простительно не замьтить этого. Да одна-ли она или ей подобные не замѣчаютъ, какъ дѣти ростуть у нихъ на виду-или даже въ нъкоторомъ смыслѣ ихъ переростають?..

Семья князя, куда, послѣ внезапной гибели своихъ родителей, попадаетъ Неточка, находится, конечно, со-

вершенно въ другихъ условіяхъ. Но и тутъ пользующаяся, казалось бы, самымъ полнымъ досугомъ, мать замѣчаетъ-ли, что такое творится съ ея Катей, до какой степени уже сложенъ психическій составъ этого ребенка, у котораго завелись уже, по замѣчанію Неточки, свои пороки? Между тъмъ Неточка привязалась къ этой Катъ со всею беззавѣтною привязанностью ребенка, въ первый разъ, наконецъ, сошедшагося съ такимъ же ребенкомъ. «Я была влюблена въ мою Катю, — говоритъ она, — все въ ней было прекрасно; ни одинъ изъ пороковъ ел не родился вмёстё съ нею; всю были приняты и находились въ состояни борьбы...» Безъ малейшей зависти или ревности замѣчаетъ Неточка, что, когда ихъ бывало выводили гулять, всё прохожіе останавливались, какъ пораженные, т.-е. они останавливались передъ Катей, дивясь неописанной красот этого ребенка, который, по замѣчанію Неточки, точно будто родился на счастье. И Неточка вмёстё съ другими восторгается своей Катей и радуется всею душой, что она «родилась на счастье». За то Катя далеко не способна ни восторгаться Неточкой, ни радоваться за нее. Катя, при всемъ, окружающемъ ее такъ любовно и такъ привольно уже съ колыбели, вполнъ способна и ревновать и завидовать. Но «главнымъ порокомъ Кати, по замѣчанію Неточки, была гордость... Противоржије, каково-бы оно ни было, не обижало, не сердило ее, а только удивляло. Она не могла постигнуть, какъ можетъ быть что-нибудь иначе, нежели какъ бы она захотела. Но чувство справедливости, - замечаеть, однако, ея маленькая подруга, - всегда брало верхъ въ ея сердцё». Кто знаетъ? это, можетъ быть, именно оттого, что, хотя отъ колыбели на нее, какъ на Державинскаго «Вельможу», расходовался каждодневно «всемірный трудъ», и она привыкла видеть во всемъ и во всехъ только средства для достиженія одной ивли-ея удовольствія, и ей однако-же случалось подчась испытать въ своемъ маленькомъ, но сильно требовательномъ сердиъ горькое чувство очевидной несправедливости. Вотъ тутъ и могло выходить по пословиць: ньть худа безь добра.

Большое «худо» была, конечно, въ воспитательномъ отношении неровность въ обращении съ нею матери, — нервной, какъ множество матерей, дѣвическіе годы которыхъ протекли въ большомъ свѣтѣ съ его безпутнымъ образомъ жизни и въ гостяхъ, и дома. Мать то безумно ее баловала, то вдругъ причудливо преслѣдовала ее, Богъ вѣсть за что, чтобы потомъ опять зацѣловать и залить всю слезами.

Но это «худо» оборачивалось отчасти «добромъ»: Катя узнала, что значитъ несправедливость, и стала способна подмѣчать поползновенья на несправедливость въ самой себъ. Съ другой же стороны обиды, не разъ достававшіяся на ея долю отъ блажной матери, ожесточали ее, т.-е. усиливали въ ней эгоизмъ, который и сказывался въ ней по отношению къ Неточкъ ревностью и завистью. Неточку хвалили передъ Катей за прилежание и кроткій нравъ, и всѣ эти похвалы западали въ сердце Кати, какъ обида, наносимая ей, и тёмъ болёе тяжелая, что такую «обиду» былъ способенъ ей наносить даже всегда ровный и спокойный отецъ. Эгоизмъ, поддерживаемый произволомъ матери, окончательно сдёдаль изъ Кати маленькаго деспота. «Ей хотелось надъ всеми повелевать и властвовать», вспоминаетъ Неточка. Но увы! ей рѣшительно не поддавалось такое важное лицо въ домъ, какъ бульдогь Фальстафъ, когда-то вытащившій изъ воды маленькаго брата Кати и пользовавшийся за то безграничнымъ -фаворомъ княгини. Фальстафъ въ свою очередь только одной княгинь и позволяль себя погладить. Катя рышила во что бы то ни стало добиться хоть разъ того же,--конечно, на глазахъ у этой несносной Неточки, которую ставили ей такъ часто въ примеръ: пусть она видитъ, какая Катя храбрая, пусть ее натерпится за Катю страха, когда Фальстафъ будетъ огрызаться и рычать, а Катя все-таки добьется своего. И Катя, въ самомъ деле, добилась, хотя, какъ сама потомъ сознавалась, ужасно трусила «этакаго чудовища». Бъдная же Неточка, свидътельница безразсуднаго подвига Кати, просто изстрадалась за свою гордую шалунью. «Погладивъ Фальстафа,--

вспоминаетъ она, --княжна бросила на меня неизъяснимый взглядъ — взглядъ, пресыщенный, упоенный побъдой». Но вскорѣ другая побѣда должна была достаться уже на долю Неточкъ, побъда совсъмъ въ иномъ родъ, ставшая глубоко внушительною для Кати. Властолюбивая шалунья вздумала поощрить Фальстафа за то, что онъпередъ нею сдался, да притомъ же и проучить старушку княжну, тетку князя, которую Катя недавно еще слишкомъ храбро подразнила, да и поплатилась за то у княтини. Катя отворила Фальстафу заповедную дверь наверхъ къ старой княжив. Вышелъ страшный переполохъ. на весь домъ; когда же дъло дошло до допроса, то маленькая озорница вдругъ струсила. Вотъ тутъ-то и настанеть чередъ Неточкъ показать свою совершенно другого рода храбрость-храбрость изъ самоотверженной любви къ Катъ. Она беретъ вину на себя. Въ сладостномъ. упоеніи отъ своего подвига, Неточка идетъ въ «темницу», какъ называли онт на своемъ детскомъ фантастическомъ языкѣ ту темную комнату, которая служила имъ для наказанія. Катя допускаеть это, Катя преспокойно молчитъ. Впоследствии она сознается Неточке: «а ведь какъ я рада была, что ты за меня въ темницу пошла». Она видъла въ этомъ выражение безграничной любви къ себъ. Неточки; она приняла эту жертву, какъ какую-то подобающую ей дань. Но когда Неточка, по случайной забывчивости т-те Леотаръ, слишкомъ долго просидъла въ «темниць», Кать вдругь ее стало жаль, Катя вдругь за нееиспугалась и пустилась освобождать ее. Дело въ томъ, что въ сердцѣ Кати, наконецъ, неудержимо сказалось. чувство отвътной любви къ Неточкъ, чувство, въ сущности, давно въ ней танвшееся, но котораго Катя, посвоей гордости, до сихъ поръ стыдилась. Неточка, понеудачному выраженію извёстнаго критика 60-хъ годовъ, «уничтожавшаяся» передъ Катей (всномнимъ, что критикъ все у Достоевскаго подводилъ подъ одно понятіе о-«забитости»), оказываетъ на Катю такое воспитательное вліяніе, какого не им'єли не только нервная мать, но и спокойный и ровный отець, и добрая, хотя и безтолковонабравшаяся взглядовъ Руссо, т-те Леотаръ. Неточка открываеть въ Катъ цълую непочатую руду любей, которой она съ этихъ поръ не будетъ уже стыдиться, и которая окончательно побёдить въ ней ея прививную гордость. Начинаются долгія откровенныя объясненія между двумя девочками. Катя сознается, что долго она чувствовала какую-то антипатію къ Неточкъ (ту атипатію, въ которую подчасъ маскируется непризнающаяся, по тёмъ или другимъ причинамъ, любовь). «Я въдь глупа была, Неточка, -- объясняется сдавшаяся наконецъ княжна, — я все зла была на тебя». Да «за что же?» недоумъваетъ Неточка. «Прежде за то, что ты лучше меня, потомъ за то, что тебя папа больше любитъ...» «Мив очень хотвлось любить тебя, продолжаетъ она свою исповедь, - а потомъ вдругъ ненавидеть захочется и такъ ненавижу, такъ ненавижу... А потомъ я и увидъла, что ты безъ меня жить не можешь, и думаю: вотъ ужь замучу я ее, скверную... Ну, что въ тебъ есть, что я тебя такъ полюбила? Ишь, блъдненькая, волосы бёлокуренькіе, сама глупенькая, плакса такая, глаза голубенькіе, си...ро... точка ты моя!!!»

Но не кто иной, какъ ея мать, та-же блажная мать, вскорь позаботилась устранить это новое воспитательное начало изъ жизни маленькой Кати. «Княгиня,—говоритъ Неточка,—уже ревновала ко мнь свою дочь. Она увърила себя и стала увърять другихъ, что «какъ бы ни была мала эта сиротка, нельзя ни за что ручаться. Вы меня понимаете? Она уже съ молокомъ матери всосала свое воспитаніе, свои привычки и, можетъ быть, правила». Между тымъ, если и было что-нибудь нездоровое въ отношеніяхъ Неточки въ Кать, то развы крайняя нервозность Неточки, сообщавшаяся и ея подругь—но выдь едва ли менье раздражительно дъйствовала на Катю сама мать, не выкупавшая этого раздражительнаге на нее дъйствія тымъ, чымъ выкупала его Иеточка 1).

Когда вышла въ свътъ кчижка для дътей, составленная изъ сочиненій Достоевскаго, и въ ней оказался и эпизодъ Неточки и Кати, одинъ журналъ.

Какъ бы то ни было, Катя съ матерью утвжаетъ въ Москву и результатомъ разлуки двухъ сдружившихся дъвочекъ является то, что нъсколько мъсяцевъ спустя Катя уже не знаетъ, о чемъ писать «своей сироточкъ». Между тёмъ Неточка попадаетъ въ новую среду-къ замужней дочери князя. У нея нътъ дътей и Неточкъ не съ къмъ завязать новой дружбы. Къ счастью, такая дружба малопо-малу завязывается у нея съ самой, приотившей ее, Александрой Михайловной, завязывается, несмотря на всю разницу возраста. Дѣло въ томъ, что Неточка, по ея собственнымъ словамъ, «прежде чъмъ начала жить, уже угадала многое въ жизни», а Александра Михайловна, при всей блестящей своей обстановкъ, очень несчастлива. Потому то и смотрить она на прошлое Неточки совевиъ не теми глазами, какъ княгиня. «Я съ монмъ несчастнымъ дѣтствомъ, — говоритъ Неточка, — внушала Александрѣ Михайловнѣ вмѣстѣ съ состраданіемъ какъ будто какое-то уваженіе». Но туть начинается уже для Неточки переходъ къ отрочеству, а затъмъ и къ юности, и намъ остается оставить ее съ дальнъйшимъ развитіемъ ея отношеній къ несчастной Александръ Михайловнъ. Приведемъ въ заключение воспоминания Йеточки о влияни на нее того чтенія безъ разбора, которому она все болѣе и болье предавалась. «Судьба, — говорить Неточка, хранила меня: то, что я узнала и выжила до сихъ поръ, было такъ благородно, такъ строго, что теперь меня уже не могла соблазнить какая-нибудь лукавая, нечистая страница. Меня хранилъ мой дътскій инстинкть, мой ранній возрасть и все мое прошедшее».

Неточка имъла возможность сказать, что ее *хранило* ея прошедшее. Оно, при всъхъ тягостныхъ впечатлъніяхъ, все же оберегало ее отъ впечатлъній грязныхъ, развращающихъ. Далеко не таково было прошлое другой дъвочки Достоевскаго, Нелли, съ которою онъ насъ знако-

замѣтилъ, что ихъ дружескія отношенія подробностями ихъ проявленія могутъ подъйствовать соблазнительно на дѣтское воображеніе. Должно быть у самого редактора оно очень загрязнено.

митъ въ 12-13 летъ (въ романе «Униженные и Оскорбленные»). Чего только не испытала, чего не видала она въ свою короткую, но полную уже всяческимъ опытомъ, жизнь! Но и ее спасаетъ ел дътскій инстинктъ-тотъ инстинктъ добра, упорную живучесть котораго, несмотря ни на что, такъ любилъ выставлять Достоевскій. Нелли брошена отцомъ на рукахъ у матери, которую онъ въ свое время склонилъ на побъгъ отъ ея отца, оскорбленнаго ею и разореннаго, не соглашающагося простить ее и послѣ того, какъ она оказывается брошенною мужемъ. Нелли приходится быть посредницею между больною и нищею матерью и почти столь-же нищимъ, озлобленнымъ дъдомъ. Сострадательное сердце ребенка не выноситъ этого озлобленія. Безгранично любя свою несчастную мать, Нелли говоритъ дъду, что не уйдетъ отъ него, пока онъ не дасть ей денегь на лекарство для матери. Когда дедь, наконець, выбрасываеть ей на лёстницу свои, въ самомъ дёлё, послёднія семь гривенъ — въ разсыпающихся по лёстницё мёдныхъ пятакахъ, она подбираетъ ихъ, покупаеть лікарство, а потомъ идеть собирать милостыню, чтобы добыть эти семь гривенъ и швырнуть ихъ дъду въ дверь точно такъ же, какъ онъ ихъ ей вышвырнулъ. Она не хочеть, чтобы мать одолжалась ему; -- пусть ужь лучше чужимъ, незнакомымъ людямъ. Занимая съ матерью уголь, она научилась ходить за милостыней отъ нанимателей другихъ угловъ. Темъ, что удавалось собрать, она хоть на время зажимала роть злющей квартирной хозяйкь, не перестававшей попрекать ел мать даже после ел смерти. Считая эту девочку какъ-бы живою уплатою за долги покойной, Бубнова, съ гнуснымъ умысломъ, вдругъ начинаетъ ее рядить въ кисейное платье. Такая необычайность вызываеть въ Нелли какой-то инстинктъ опасности, заставляющій ее съ отвращеніемъ рвать на себъ это нарядное платье. Какъ разъ во-время судьба посылаетъ ей человѣка, который ее вырываеть изъ рукъ Бубновой. Но она слишкомъ не избалована людьми, слишкомъ не привыкла имъ довърять. Она относится недовърчиво и къ своему неудачному благодътелю, —она сейчасъ-же и хо-

четъ ему заплатить своими трудами на него. Когда онъ на-отръзъ отказывается отъ этого, Нелли, не привыкшая никому лично одолжаться, готова оставить его и вернуться къ Бубновой-темъ более, что считаетъ себя еще не совеёмъ расквитавшейся съ нею за мать. Тотъ-же критикъ 60-хъ годовъ, о которомъ говорено выше, подводя и Нелли подъ общее начало «забитости», находилъ, что она даже «злобно рада побоямъ, достававшимся ей отъ Бубновой». Да, она готова на нихъ променять даровой приоть и ласку Ивана Петровича, чтобы только не жить у него даромъ, не одолжаться; а это едва-ли можно назвать «забитостью». Когда Иванъ Петровичь ей говорить, что Бубнова ее погубить, Нелли, все же хорошенько не понимая (несмотря на свое кисейное платье у Бубновой) настоящаго смысла этихъ словъ, съ какимъ-то сладострастіемъ мученичества восклицаетъ: «пусть погубитъ, пусть мучаеть—не я первая; другія и лучше меня, да мучаются. Это мив нищая на улицв говорила. Я бедная и хочу быть бедною. Всю жизнь буду бедная; такъ мнё мать вельла, когда умирала. Я работать буду». И туть опять забитость едва ли достаточное определение. Но критикъ уже вполнѣ проглядѣлъ ту, такъ сказать, философію нищенства, съ которою познакомилась Нелли на улиць, и которая подъйствовала на нее въ своемъ родъ воспитательно, потому что въ этой философін сказывается начало братской любеи. Не вёря въ отдёльности ни въ кого, Нелли, въ силу этой философіи, спасаеть въ себъ въру въ люсей вообще, какъ спасаетъ въ себъ и любовь къ нимъ, когда говоритъ: «другія и лучше меня, да мучаются». Нелли настойчиво исповедуетъ передъ Иваномъ Петровичемъ эту философію нищенства, говоря: «милостыню не стыдно просить; я не у одного человъка прошу, я у встхъ прошу, а вст не одинъ человткъ; у одного стыдно, а у встхъ не стыдно; такъ мн одна нищенка говорила». Но Иванъ Петровичъ заставляетъ ее, наконецъ, увъровать и въ доброту отдельнаго человъка-и вотъ она отдается ему беззавътно, всъмъ сердцемъ, всею полнотою своей, не по-дътски развитой, любви. Но въдь

развитіе Недли было, подъ вліяніемъ всёхъ этихъ обстоятельствъ ускорено преждевременно. Ея любовь къ Ивану Петровичу прямо переходить въ то чувство. которое только вообразиль въ себъ «маленькій герой» Лостоевскаго, но которое действительно сказывается въ ней—влюбленность. Она хочетъ всецьло владьть сердцемъ своего благод теля и начинаеть его ревновать къ той взрослой девушке, въ которой онъ также принимаетъ участіе. Иванъ Петровичь долго даже не можеть понять, что всё капризы Нелли именно и объясняются ревностью. Нарочно разбивъ поданную ей чашку съ лакарствомъ, она, больная, убъгаетъ отъ него просить по старой привычкѣ милостыню, чтобы купить ему друтую чашку, потому что не хочетъ оставаться должною человѣку, который ее обижает: она вѣдь считаетъ заботы его о Наташѣ обидой себѣ. Но этотъ болѣзненный, выработанный ненормальнымъ развитіемъ, эгоизма вскоръ встречаеть отпорь въ томь сострадательном начале, которое также развито въ ней тою же горькой участью. Ивану Петровичу стоить только сказать ей, что ея «соперница» Наташа несчастна, такъ же точно несчастна, какъ ея покойная мать, но что она, Нелли, могла бы номочь ей, могла бы ее помирить съ отцомъ, разсказавъ ему исторію своей бідной матери, и Нелли немедленно на то соглашается. Она влагаеть въ этоть разсказъ всю свою душу. Отецъ Наташи растроганъ и тутъ же принимаетъ въ свои объятія свою опальную дочь. Она спасена задушевнымъ заступничествомъ этого ребенка, вторично переживающаго во время своего разсказа свою многострадальную жизнь, съ которой при всей ея краткосрочности не можетъ сравниться по глубинѣ содержанія и самая долгая жизнь, протекщая при обыкновенныхъ условіяхъ. Но то душевное напряженіе, съ какимъ соединяется для Нелли этотъ разсказъ, оказывается не по ея физическимъ силамъ: совершивъ свой великій подвигъ любви, Нелли вскоръ затъмъ умираетъ. Но таже энергія, которую проявляеть этоть, столь преждевременно созрѣвшій, ребенокъ въ мобеи, проявляется

у него и въ прямо противоположномъ чувствъ — ненависти (И на смертномъ одръ она не прощаетъ обидчика своей матери, хотя этотъ обидчикъ — ея отецъ. «Поди къ нему, — говоритъ она Ивану Петровичу, — и скажи, что я умерла, а его не простила. Скажи ему тоже, что я евангеліе недавно читала, а его все-таки не простила потому что, когда мамаша умирала и еще могла говорить, то последнее, что она сказала, было: проклинаю его: ну, такъ и я его проклинаю, не за себя, а за мамашу проклинаю...» При этомъ Нелли завѣщаетъ послѣ своей смерти снять съ ея груди ладонку. Въ этой ладонкѣ находится письмо къ нему ея матери, которая, какъ оказывается, готова была простить его тамъ, если онъ не отвергнетъ свою дочь, свою настоящую дочь. Выходить, что Нелли должна была съ этимъ письмомъ пойти къ нему, къ настоящему своему отцу. Но Нелли не исполнила завъщанія: она знала все, но не пошла къ князю и умерла непримиренная. Тотъ же знаменитый критикъ 60-хъ годовъ утверждалъ, будто вся сила въ томъ, что ей «нужны документы, а у нея ихъ нётъ; нужно быть юристомъ, чтобъ затёять дёло, да и у князя есть деньги и связи подъйствительнъе всъхъ юристовъ». Между тёмъ Достоевскій хотёль сказать несравненно болье. Если-бы самые неподкупнъйшие юристы стали за Нелли и заставили князя ее обезпечить — она точно такъ-же швырнула-бы ему назадъ его тысячи, какъ прежде швырнула дёду его пятаки. Никакое правосудіе въ мірѣ не поправило бы въ глазахъ этого ребенка той обиды, сознание которой она уносить съ собою туда... «Я лучше хотъла быть у Бубновой, а къ нему не пошла», -- говоритъ она.

У Бубновой? Конечно, она все-таки хорошенько не понимаеть, что бы сдёлали съ ней у Бубновой, еслибъ не вырваль ее оттуда еще во-время Иванъ Петровичъ. А сколько дётей погибаетъ у подобныхъ Бубновыхъ — по такому же небреженью своихъ случайныхъ и даже не случайныхъ отцовъ! Вотъ передъ нами Полечка (въ «Преступлении и наказании»), охватившая своими худень-

кими ручонками Раскольникова и промолвившая сквозь слезы: «папочку жалко» послѣ того, какъ этотъ папочка быль раздавлень на улицѣ «пьяненькій» (какъ онъ, бывало, самъ выражался) нажхавшею на него каретою! Что же ждетъ впереди этого нежнаго, любящаго ребенка? Самъ этотъ ихъ «благодётель» — Раскольниковъ, отдавшій имъ послідніе двадцать рублей и нравственно было воскресшій отъ своего добраго дёла посл'я ужо совершеннаго имъ тогда преступленія, - самъ онъ, когда этотъ мгновенный просвётъ въ его душё померкъ, въ отчаяніи задаеть ся старшей сестрь, этой уже «погибшей» Сонъ, такіе понятные и убійственные для нея вопросы: «Развѣ Полечка не погибнетъ? Неужели не видала ты здёсь дётей по угламъ, которыхъ матери милостыню высылаютъ просить? Я узнавалъ, гдъ живутъ эти матери и въ какой обстановкѣ. Тамъ дѣтямъ нельзя оставаться дётьми. Тамъ семилётній развратникъ и воръ. А въдь дъти — образъ Христовъ: «сихъ есть царствіе Божіе». Онъ велёль ихъ чтить и любить, они будущее человѣчество...»

Но Полечка, можеть быть, и не погибнеть. Нашелся человѣкъ, позаботившійся найти ей пріють и дать ей образованіе, чтобы хоть подъ конецъ своей многогрѣшной, собственною-же рукою прерываемой, жизни, сдѣлать доброе дѣло... Да, Полечка обязана своимъ, не совсѣмъ еще, однако, вѣрнымъ спасеньемъ тому, что когда-то

погибла другая дѣвочка...

Вотъ какой сонъ снился г. Свидригайлову наканун'я его самоубійства. Ему снился гробъ; гирлянды, цвѣты обвивали его со всѣхъ сторонъ. «Вся въ цвѣтахъ лежала въ немъ дѣвочка... строгій и уже окостенѣлый профиль ея лица былъ какъ-бы выточенъ изъ мрамора, но улыбка на блѣдныхъ губахъ ея была полна какой-то не дѣтской, безпредѣльной скорби и великой жалобы. Свидригайловъ зналъ эту дѣвочку; ни образа, ни зажженныхъ свѣчей не было у этого гроба и не слышно было молитвъ. Эта дѣвочка была самоубійца-утопленница; ей было только 14 лѣтъ...»

Но есть у Достоевскаго дътскій образъ, писанный уже прямо съ натуры. Онъ написалъ его за границейвъ Лондонъ, который изображается у него въ его «Зимнихъ замёткахъ о лётнихъ впечатлёніяхъ» вслёдъ за Парижемъ въ главѣ подъ заглавіемъ: «Ваалъ». Вотъ въ какомъ видѣ представляется у него одна изъ безчисленныхъ неповинныхъ жертвъ, приносимыхъ этому старому божеству, культъ котораго вовсе не упраздненъ новъйшею цивилизаціею «христіанскихъ» (какими онъ все-же числятся) націй: «Помню разъ, въ толпъ народа, на улицъ, я увидаль одну девочку, леть шести, не более, всю въ лохмотьяхъ, грязную, босую, испитую и избитую: просвѣчивающее сквозь лохмотья тѣло ея было въ синякахъ. Она шла, какъ-бы не помня себя, не торопясь никуда, Богъ-знаетъ зачёмъ шатаясь въ толпе; можетъ быть, она была голодна. На нее никто не обращалъ вниманія. Но что болье всего меня поразило, -- она шла съ видомъ такого горя, такого безвыходнаго отчаннія на лиць, что видъть это маленькое создание, уже несущее на себъ столько отчаянія и проклятія, было даже какъ-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей всклокоченной головой изъ стороны въ сторону, точно разсуждая о чемъ-то, раздвигала врозь свои маленькія руки, жестикулируя ими, и потомъ вдругъ всплескивала ихъ вийсти и прижимала къ своей голенькой груди. Я воротился и даль ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потомъ дико, съ боязливымъ изумленіемъ посмотрела мне въ глаза и вдругъ бросилась бежать со всехъ ногъ назадъ, точно боясь, что я отниму у ней деньги».

Мы еще далеко не исчернали всего, что относится у Достоевскаго до дѣтей, но и этого уже достаточно, чтобы признать его самымъ сильнымъ проповѣдникомъ на убійственный для нашей совѣсти текстъ: «блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ».

- II.

Что нужно большимъ для того, чтобы стать въ настоящія, въ здоровыя отношенія къ дѣтямъ? Отвѣтъ на

это Достоевскій всего яснье даеть своимъ «Идіотомъ», у котораго, по его бользненности, такъ дологъ былъ, если можно такъ выразиться, детскій возрасть. — Каковы-же отношенія его, вэрослаго ребенка, къ тёмъ настоящимъ дътямъ, съ которыми онъ имълъ дъло въ Швейцаріи? Пасторъ въ той швейцарской деревив, гдв проживаль въ лѣчебномъ заведеніи «ндіотъ», быль еще молодой человъкъ и «вся его амбиція была сдълаться большимъ проповъдникомъ». Слъдствіемъ подобной его амбицін могла-бы быть окончательная порча тёхъ дётей, которыя ходили въ церковь съ большими, и безъ того уже успѣвшими достаточно извратить сердце у этихъ «хорошенькихъ птичекъ, глядящихъ на васъ такъ довърчиво и счастливо» (по выраженію «идіота»). Своими двусмысленными намеками въ присутствін дётей (яко-бы вытекавшими изъ нравственнаго чувства), намеками, относившимися къ несчастной Мари, соблазненной и потомъ брошенной какимъ-то негодяемъ, больше довели дътей до того, что и они стали въ своемъ родъ двусмысленно подсмънваться надъ сострадательными отношеніями къ Мари кн. Мышкина, предполагая въ этихъ отношеніяхъ что-то другое 1). Ему пришлось испытать со стороны этихъ маленькихъ деревенскихъ озорниковъ и озорницъ, такъ прекрасно развиваемыхъ большими, даже всё тё преслёдованія, какія доставались отъ нихъ самой Мари въ ея жалкихъ лохмотьяхъ и съ ея чахоточнымъ кашлемъ. Безсердечие большихъ, внушаемое имъ «строгою нравственностью», такъ эпидемически сообщилось дътямъ (не даромъ они любятъ во всемъ подражать большимъ), что они «всей ватагой—ихъ было человекъ сорокъ слишкомъ школьниковъ — стали дразнить Мари и даже грязью въ нее кидали». И вотъ этому безсердечію вскоръ представился случай найти себь опору даже въ церкви -- дождаться благословенія съ высоты пропов'яднической каоедры. Померла старушка мать Мари и на ея похоро-

Вотъ такіе-то намеки сдёланы были и въ томъ журналѣ, который нашелъ энизодъ Неточки и Кати вреднымъ для дѣтскаго воображенія.

нахъ пасторъ «не постыдился всенародно опозорить» несчастную дѣвушку... Сошлось много народу смотрѣть, какъ она будетъ плакать и за гробомъ идти... «Вотъ кто былъ причиной смерти этой почтенной женщины, —воскликнулъ пасторъ—(и неправда, —поясняетъ «идіотъ», — потому что она уже два года была больна). Вотъ она стоитъ передъ вами и не смѣетъ взглянуть, потому что она отмѣчена перстомъ Божіимъ; вотъ она — босая и въ лохмотьяхъ — примѣръ тѣмъ, которыя теряютъ добродѣтель! Кто-же она? это дочь ея!» И все въ этомъ родѣ. «И представьте, —прибавляетъ кн. Мышкинъ, — эта низость почти всѣмъ имъ понравилась».

Но амбиціонный «профессоръ религіи» не воображаль, что въ этомъ-же храмѣ присутствовало лицо, уже успѣвшее противопоставить ему свою тихую проповёдь внё храма, но проповёдь, въ которой именно и сохранился духъ настоящей Христовой церкви. Это и былъ тотъ заброшенный въ швейцарскую деревню последній бользненный отпрыскъ захудалаго рода кн. Мышкиныхъ, который въ качествѣ «идіота» и передаетъ свой простодушный разсказъ великосвътскимъ барышнямъ въ Петербургъ. Именно его такъ-называемое «идіотство» и составляло живой противовъсъ «религіозной профессурь», потому что прямо было сродни «божественному безумію» Новаго Завъта. Кн. Мышкинъ мало-по-малу успъль опять пробудить въ дётяхъ, несмотря на ихъ скопированныя съ большихъ преследованія и его за одно съ Мари, здоровыя стороны ихъ дътской природы. Онъ сумълъ имъ растолковать то, что пересталь понимать просвещенный пасторъ, — что Мари «несчастная» (хотя кн. Мышкинъ и воспитывался вдали отъ нашего простого народа съ его глубокимъ христіанскимъ пониманіемъ этого слова). Растолковавъ это имъ, онъ сейчасъ же отбилъ у дътей охоту кидать въ Мари грязью, которая заминилась стараньемъ чемъ-нибудь потешить ее и утешить. Въ то время, когда пасторъ въ церкви давалъ просторъ своему обличительному красноречію, дети уже были на стороне «идіота». Вся тайна его вліянія на дітей—въ его безграничной любви къ дѣтямъ. «Я останавливался и смѣялся отъ счастья, —разсказываетъ онъ, —глядя на нхъ маленькія, мелькающія и вѣчно бѣгущія ножки, на мальчиковъ и дѣвочекъ, бѣгущихъ вмѣстѣ, на смѣхъ и слезы... и я забывалъ тогда всю мою тоску (а она подчасъ одолѣвала его въ Швейцаріи). Потомъ-же... я и понять не могъ, какъ тоскуютъ и зачѣмъ тоскуютъ люди? Вся судъба моя пошла на нихъ»—т.-е. на дѣтей. И вотъ въ этомъ-то, по мнѣнію Достоевскаго, и заключается весь секретъ воспитанія. Надо отдаться этому дѣлу всею душою, — тогда

оно пойдетъ хорошо. Вотъ и вся педагогика.

Школьный учитель Тибо да и самъ профессоръ Шнейдеръ (содержатель заведенія, гдѣ лѣчился кн. Мышкинъ) не были, конечно, согласны съ темъ, чтобы дело заключалось собственно въ этомъ. Они находили даже, что вліяніе ки. Мышкина на дітей просто вредно, и дѣтямъ рѣшительно запретили встрѣчаться съ нимъ (конечно, они не слушались) 1). Дѣло въ томъ, что «идіотъ» даже думалъ, будто дътямъ надо всегда говорить правду, будто «стыдно обмануть ребенка». Дъти, по его мнѣнію, гораздо умнѣе, чѣмъ обыкновенно воображаютъ большіе; они непремѣнно все узнаютъ и могутъ «скверно узнать», а «отъ меня они не скверно узнають»,утверждаль онь. Дёло въ томъ, что онъ самъ быль чисть сердцемь-и воть въ этомъ опять заключается для воспитателя «единое на потребу». Но это «единое» не легко; къ нему, конечно, можетъ быть отнесенъ текстъ: «жестоко слово сіе». Да, туть опять сказалось то «божественное безуміе», которое окончательно выразилось въ словахъ: «будьте совершенны, какъ совершенъ отецъ вашъ небесный».

«Шнейдеръ много спорилъ со мной, — разсказываетъ «идіотъ», — о моей вредной системъ съ дътъми. Какая у меня система! Наконецъ, Шнейдеръ мнъ высказалъ одну очень странную свою мысль... что и самъ совершенный

Такъ же точно кое-кому у насъ показалось вредною и самая мысль о дътской книжкъ изъ Достоевскаго.

ребенокъ, т.-е. вполнѣ ребенокъ»... На самомъ же дѣлѣ эта-то мысль и не была странная: «идіотъ» именно и быль сами дитя, т.-е. одинь изъ тёхъ «чистыхъ сердцемъ», которые «Бога узрятъ». Потому-то онъ такъ н насмѣшилъ Тибо, сказавъ ему разъ, что «мы ничему не научимъ дътей, а они еще насъ научать». Только ему бы надо было при этомъ исключить самого себя. «Черезъ детей душа лечится», тутъ же прибавилъ онъ; только его собственной душт нечего было лёчиться (хотя тъломъ онъ и былъ боленъ съ дътства). Именно какъ «чистый сердцемъ» онъ и успаль вылачить датей отъ того, чёмъ успели они заразиться отъ вэрослыхъ, уже не «чистыхъ сердцемъ». И вотъ дъти въ свою очередь стали эпидемически дъйствовать на большихъ — только въ хорошемъ смыслъ. Сперва они одни ухаживали за окончательно разболъвшеюся Мари, а потомъ къ ней стали ходить и при ней дежурить и деревенскія старухи. Но дъти и послъ этого не оставляли Мари. Они по-прежнему приносили ей гостинцевъ, хотя она почти ничего не тла. «Черезънихъ, —заключаетъ свой разсказъ «идіотъ», — она умерла почти счастливая. Черезъ нихъ она забыла свою черную бѣду, какт бы прощение от нихт приняла» -- то прощеніе, въ которомъ почти отказываль ей пасторъ въ своей обличительной проповеди. Но когда она умерла, «пасторъ въ церкви уже не срамилъ мертвую». Не носмёль, стало быть. Дёти украсили ея гробъ цвътами и отнесли его сами на кладбище. «Съ тъхъ поръ могила Мари постоянно почиталась дътьми».

Не случись туть этого «идіота», — и даже храмь, можно смало сказать, обратился бы въ мѣсто нравственнаго «избіенія младенцевъ». А все отъ того, что пастору хотѣлось сдѣлаться «большимъ проповѣдникомъ». Но своего рода храмомъ является и судъ. На вратахъ этого храма у насъ написано: «правда и милость да царствуютъ въ судахъ». Достоевскій своими сочиненіями (по мѣткому выраженію г. Кони въ его прекрасной рѣчи о психолого-криминалистическомъ значеніи Достоевскаго) какъ бы постоянно взывалъ «милость! милость!». И что

же, въ самомъ храмъ этой «милости» было нанесено жестокое оскорбление ребенку. А все отъ того, что амбиція адвоката была остаться большимъ адвокатомъ-показать неотразимость своего краснортчія даже въ защитт отца-истязателя, хотя бы для этого пришлось клеветать на ребенка и даже ловкимъ образомъ «конфисковать», по выраженію Достоевскаго, его возрасть (всего семь лътъ). Любящая душа Достоевскаго не могла не отозваться на это въ «Дневникъ писателя», который имъ тогда уже издавался (февраль, 1876 г.). Онъ тутъ выступилъ пламеннымъ защитникомъ дъвочки и обвинителемъ ея адвоката. Объ судебныхъ роли слились тутъ въ томъ «святъйшемъ изъ званій-человъкъ», котораго лучшимъ представителемъ являлся всегда Достоевскій. Въ отвѣтъ на замѣчаніе знаменитаго адвоката въ дѣлѣ Кронеберга, что на шестой день послѣ родительской экзекуцін на спинѣ у ребенка, при освидѣтельствованіи, оказались только красныя полосы, Достоевскій привель, что и спины наказанныхъ шпицрутенами, не разъ имъ виденныя въ сибирскомъ остроге, подживали довольно скоро! Но адвокату нужно было позаботиться о томъ, какъ бы картина страданій ребенка не вызвала въ присяжныхъ — не ровенъ часъ — человъческихъ чувствъ. Именно они то въдь тутъ и опасны — тогда, пожалуй, дъло не выгоритъ и его кліента не оправдають!

«Отець судится; за что же? (спрашиваеть адвокать). За злоупотребленіе властью; гдѣ же предѣль этой власти? Кто опредѣлить, сколько можеть ударовь и въ какихь случаяхь нанести отець, не повреждая при этомъ наказаніи организма дитяти?»—«То-есть,—замѣчаетъ Достоевскій,—не ломая ему ногу, что ли? А если не ломаеть ноги, то ужь можно все? Серьезно вы говорите это, г. защитникъ? Серьезно вы не знаете, гдѣ предѣлъ этой власти и «сколько можетъ ударовъ и въ какихъ случаяхъ нанести отецъ?» Если вы не знаете, то я вамъ скажу, гдѣ этотъ предѣлъ! Предѣлъ этой власти въ томъ, что нельзя семилѣтнюю крошку, безотвѣтную вполиѣ во всѣхъ своихъ «порокахъ» (которые должны

быть исправляемы совсёмъ другимъ способомъ), нельзя, товорю я, это созданіе, имѣющее ангельскій ликъ, несравненно чистѣйшее и безгрѣшнѣйшес, чѣмъ мы съ вами, и чѣмъ всѣ, бывшіе въ залѣ суда, судившіе и осуждавшіе эту дѣвочку, — нельзя, говорю я, фрать ее девятью рябиновыми «шпицрутенами», и драть четверть часа, не слушая ея криковъ: «папа, папа!», отъ которыхъ почти обезумѣла и пришла въ изступленіе простая деревенская баба, дворничиха, — нельзя, наконецъ, по собственному сознанію говорить, «что сѣкъ долго, внѣ себя, безсознательно, какъ попало!» — нельзя быть виль себя, потому что есть предѣлъ всякому гнѣву и даже на семилѣтняго безотвѣтнаго младенца за ягодку чернослива и за сломанную вязальную иголку!» (Къ тому же

вѣдь небрежение отца его и испортило).

«Когда обнаружилась въ девочке привычка лгать, говорилъ адвокатъ, --присоединившаяся ко всемъ другимъ ея недостаткамъ, когда отецъ узналъ, что она и воруетъ, то дъйствительно пришель въ большой гнъвъ. Я думаю, что каждый изг васт пришель бы въ такой же инъвъ, н я думаю, что преследовать отца за то, что онъ наказаль больно, но по доломо, свое дитя-это плохая услуга семьъ, плохая услуга государству, потому что государство только тогда и кринко, когда оно держится на крѣпкой семьъ...» «Постойте, г. защитникъ, —восклицаетъ Лостоевскій, —я пока не останавливаю васъ на словѣ «воруетъ», употребленномъ вами; но поговоримте немного про эту «справедливость гнѣва отца». А воспитаніе съ трехлътняго возраста въ Швейцаріи у де-Комба (куда забросиль девочку этоть случайный отець) 1), у которыхъ, сами же вы свидътельствуете, дъвочка испортилась и пріобрела дурныя наклонности? Вы сказали с Кронебергъ въ вашей ръчи, что онъ «плохой педагогъ»; это все то же, по моему, что и неопытный отецъ, или, лучше сказать, непривычный отець. Я поясню это: эти

¹⁾ Въ родъ Версилова и другихъ (хотя бы у нихъ была и законная семья, но такая, которой они обзавелись какъ-то такъ — случайно).

созданія тогда только вторгаются въ душу нашу и приростають къ нашему сердцу, когда мы, родивъ ихъ, слѣдимъ за ними съ дѣтства, не разлучаясь, съ первой улыбки ихъ, и затѣмъ продолжаемъ родниться взаимно душою каждый день, каждый часъ въ продолженіе всей жизни нашей. Вотъ это семья, вотъ это святыня»!

Но адвокатъ утверждаль, что «государство только тогда и крѣпко, когда оно держится на крѣпкой семьъ».

«На это и и позволю себъ, -- говорилъ Достоевскій, -включить одно лишь маленькое словечко. Оно многосодержательно. Мы, русскіе — народъ молодой; мы только что начинаемъ жить, хотя и прожили уже тысячу лѣтъ; но большому кораблю большое и плаваніе. Мы народъ свъжий и у насъ нътъ святынь quand même. Мы любимъ наши святыни, но потому лишь, что онъ въ самомъ дёлё святы. Мы не потому только стоимъ за нихъ, чтобъ отстоить ими l'ordre. Святыни наши не изъ-за полезности ихъ стоятъ, а по въръ нашей. Мы не станемъ и отстаивать такихъ святынь, въ которыя перестанемъ върить сами, какъ древніе жрецы, отстаивавшіе въ концѣ язычества своихъ идоловъ, которыхъ давно уже сами перестали считать за боговъ. Ни одна святыня наша не побоится свободнаго изследованія, но это именно потому, что она крѣика въ самомъ дѣлѣ. Мы любимъ святыню семьи, когда она въ самомъ дълъ свята, а не потому только, что на ней крапко стоить государство».

Но Достоевскій предвидёль, что его упрекнуть въ оскорбленіи такой святыни, какъ новые судебные порядки.

«Что-жъ, неужто я посягаю на адвокатуру, на новый судъ?—говорить онъ.—Сохрани меня, Боже, я всего только хотьля бы, итобя всть мы стали немного получие. Желаніе самое скромное, но увы, и самое идеальное. Я неисправимый идеалистъ; я ищу святынь, я люблю ихъ, мое сердце ихъ жаждетъ, потому что я такъ созданъ, что не могу жить безъ святынь, но все же я хотъль бы святынь хоть капельку посвятъе; не то стоитъ ли имъ поклоняться!»

Пріемы, употребленные при защитѣ Кронеберга, были таковы, что невольно спрашиваешь: что если-бы пришлось искать себѣ адвоката тому купцу, который, по разсказу Макара Ивановича (въ «Подросткѣ»), засѣкъ мальчика у бѣдной вдовы, за то, что тотъ нечаянно стукнулся головкой купцу въ животъ, а другого ея ребенка, въ видѣ вознагражденія взятаго имъ къ себѣ на хлѣбы, довелъ до того своимъ нравомъ, что мальчикъ стремглавъ отъ него бѣжалъ и попалъ въ воду, гдѣ и утонулъ? Конечно, мы бы дождались такой же софистики, какъ по дѣлу Кронеберга. А все отъ того, что не худо бы всѣмъ намъ «стать немного получше».

Не мало глубокихъ и теплыхъ замътокъ о дътяхъ заключаетъ въ себъ «Дневникъ писателя», начиная съ тёхъ дётей, которыхъ великосвётски искажаютъ достаточные родители («Елка въ клубъ художниковъ» — январь 76 года) и кончая тёми, на которыхъ нужда отражается не закаляющимъ, а развращающимъ образомъ. («Колонія малольтнихъ преступниковъ»—въ томъ же нумерѣ). Тутъ мы встръчаемъ и «мальчика съ ручкой», тщательно обученнаго нищенскому искусству ее протягивать, - одного изъ техъ, которымъ обыкновенно говорятъ: «стыдно, стыдно, зачёмъ въ школу не ходишь», а не думають о томъ, возможно ли для него это и какъ бы вырвать его изъ той, другого рода школы, которая вырабатываеть изъ него «дикое существо, не понимающее иногда ничего, ни гдф онъ живетъ, ни какой онъ націи, есть ли Богъ, есть ли государь». Тутъ мы встръчаемъ и «мальчика у Христа на елкъ», т.-е. замерзающаго на улицъ въ ночь на Рождество и видящаго чудный сонъ.

«О, какой свътъ! О, какая елка! Да и не елка это, онъ и не видалъ еще такихъ деревьевъ (не тъмъ чета, которыя онъ только что видълъ на улицъ въ окна)! Гдъ это онъ теперь: все блеститъ, все сиястъ и кругомъ все куколки,—но нътъ, это все мальчики и дъвочки, только такіе свътлые, всъ они кружатся около него, летаютъ, всъ они цълуютъ его, берутъ сго, несутъ съ собою, да

и самъ онъ летитъ, и видитъ онъ: смотритъ его мама и смъется на него радостно. «Кто вы, мальчики? Кто вы, дъвочки?»—спрашиваетъ онъ, смъясь и любя ихъ.

— Это «Христова елка», — отвъчають они ему.—У Христа всегда въ этотъ день елка для маленькихъ дѣточекъ, у которыхъ тамъ нѣтъ своей елки...» И узналъ онъ, что мальчики эти и девочки все были все такія же, какъ онъ, дъти, но одни замерзли еще въ своихъ корзинахъ, въ которыхъ ихъ подкинули на лъстницы къ дверямъ петербургскихъ чиновниковъ, другія задохлись у чухонокъ отъ воспитательнаго дома на прокориленіи, третьи умерли у изсохшей груди своихъ матерей (во время самарскаго голода), четвертые задохлись въ вагонахъ третьяго класса отъ смраду, и всъ-то они теперь здёсь, всё они теперь какъ ангелы, всё у Христа, и Онъ самъ посреди ихъ, и простираетъ къ нимъ руки, и благословляетъ ихъ и ихъ грѣшныхъ матерей... А матери этихъ дътей всъ стоятъ тутъ же, въ сторонкъ, и плачутъ; каждая узнаетъ своего мальчика или двочку, а они подлетаютъ къ нимъ и целуютъ ихъ, утираютъ имъ слезы своими ручками и упрашиваютъ ихъ не плакать, потому что имъ здёсь такъ хорошо...»

Тутъ, въ легендарной формъ, печальная картина озаряется религознымъ свётомъ — тою высшею идеею, о которой говорить Достоевскій въ томъ же «Дневникь писателя» (декабрь, 1876 г.). «Высшая идея на земль лишь одна и именно идея о безсмертіи души человіческой, ибо всё остальныя «высшія» идеи жизни, которыми можетъ быть живъ человъкъ, лишь изъ нея одной вытекаютъ». Дело въ томъ, что идея безсмертія есть идея достижимости человьческих стремлений встми и каждыма, достижимости хотя и не здёсь, но навёрное гдъ-то тамъ. Это идея того высшаго равенства, безъ котораго многое-множество людей будетъ оставаться какими-то кирпичами въ фундаментъ подъ жилье для избранныхъ для прямыхъ людей. Безъ этой идеи безсмертія сильная любовь къ человъчеству обращается въ неистощимый источникъ страданія. Такъ понималь это Достоевскій, выставивъ намъ въ лицѣ своего Ивана Карамазова атеиста съ глубоколюбящею душой. Уже г. Оболенскій въ прекрасной статьѣ своей («Мысль», 1881 г.) о «Братьяхъ Карамазовыхъ» указалъ на то, въ какомъ выгодномъ свѣтѣ выставленъ тутъ у Достоевскаго человѣкъ совершенно не его направленія. Иванъ Карамазовъ (какъ и его братья) испыталъ на самомъ себѣ, что значитъ не имѣть отца—хотя отецъ его живъ. Вотъ онъ и особенно сострадаетъ всему, уже съ дѣтства брошенному на произволъ судьбы, человѣчеству. Какою глубокою болью проникнутъ его разсказъ Алешѣ—единственному счастливцу изъ Карамазовыхъ, нашедшему себѣ отца въ старцѣ Зосимѣ и не теряющему этого отца даже

послѣ его смерти.

«Есть у меня одна прелестная брошюрка,—говоритъ Иванъ, - переводъ съ французскаго, о томъ, какъ въ Женевъ, очень недавно, всего лъть иять тому, казнили одного злодья и убійцу, Ришара, двадцатитрехльтняго, кажется, малаго, раскаявшагося и обратившагося къ христіанской въръ передъ самымъ эшафотомъ. Этотъ Ришаръ былъ чей-то незаконнорожденный, котораго еще младенцемъ лътъ шести подарили родители какимъ-то горнымъ швейцарскимъ пастухамъ, и тѣ его вэростили, чтобъ употреблять въ работу. Росъ онъ у нихъ какъ дикій звіренокъ, не научили его пастухи ничему, напротивъ, семи лѣтъ уже посылали насти стадо въ мокреть и въ холодъ, почти безъ одежды и почти не кормя его. Кончилось тёмъ, что дикарь сталъ добывать деньги поденною работой въ Женевъ, добытое пропивалъ, жилъ какъ извергъ, убилъ какого-то старика и ограбилъ. Его схватили, судили и присудили къ смерти. И вотъ, въ тюрьмъ его немедленно окружаютъ пасторы и члены разныхъ Христовыхъ братствъ, благотворительныя дамы, и проч. Научили они его въ тюрьмъ читать и писать, стали толковать ему евангеліе, усов'єщевали, уб'єждали, напирали, пилили, давили, и воть онъ самъ торжественно сознается наконецъ въ своемъ преступленіи: Все, что было высшаго и благовоспитаннаго, ринулось

къ нему въ тюрьму; Ришара цёлуютъ, обнимаютъ: «ты братъ нашъ, на тебя сошла благодать!» — «Да, да, Ришаръ, умри въ Господъ, ты пролилъ кровь и долженъ умереть въ Господъ. Пусть ты невиновенъ, что не зналъ совствиь Господа, когда завидоваль корму свиней и когда тебя били за то, что ты краль у нихъ кормъ — но ты пролилъ кровь и долженъ умереть». И вотъ наступаетъ последній день. Разслабленный Ришаръ, плачеть и только и делаеть, что повторяеть ежеминутно: «Это лучшій изъ дней моихъ, я иду къ Господу!» И вотъ, покрытаго поцелуями братьевъ, брата Ришара втащили на эшафотъ, положили на гильотину и оттянали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать. Нать, это характерно. Брошюрка эта переведена по-русски какими-то русскими лютеранствующими благотворителями высшаго общества и разослана для просвѣщенія народа русскаго при газетахъ и другихъ изданіяхъ даромъ. Штука съ Ришаромъ хороша темъ, что національна». Такова судьба челов'єка, котораго въ д'єтствъ родители подарили — даже не продали — хотя это происходило въ Европъ и даже въ европейской республикъ. Но не лучше выходить подчась и тогда, когда дътей не дарять, а оставляють въ родной семьъ. «О дъткахъ есть у меня, -продолжаетъ Иванъ, -и еще получше; у меня очень, очень много собрано о русскихъ дъткахъ, Алеша. Дъвчоночку маленькую, пятилътнюю, возненавидѣли отецъ и мать, «почтеннъйшіе и чиновные люди, образованные и воспитанные». Видишь, я еще разъ положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многихъ въ человъчествъ — это любовь къ истязанію дътей, однихъ детей. Во всякомъ человеке, конечно, тантся звітрь, — звітрь гнівливости, звітрь сладострастной распаляемости отъ криковъ истязуемой жертвы, звърь безудержа, спущенный съ цёпи, звёрь нажитыхъ въ разврать больней, подагрь, больныхъ печенокъ и проч. Эту бъдную пятилътнюю дъвочку эти образованные родители подвергали всевозможнымъ истязаніямъ. Они били, откли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили

все тёло ея въ синяки...» А все оттого, что, вступивъ въ бракъ, родители будто и не предвидели, что имъ предстоить стать родителями: они озлобились на своихъ дътей просто потому, что дъти не входили въ ихъ расчеты! «Понимаешь-ли ты, -- говорить Иванъ (точно самъ Достоевскій въ своей прокурорской річи противъ адвоката Кронеберга), понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умѣющее даже осмыслить, что съ нимъ делается, бъетъ себя крошечнымъ своимъ. кулачкомъ въ надорванную грудку и плачетъ своими кровавыми незлобивыми, кроткими слезками къ «Боженькъ», чтобы тотъ защитилъ его, понимаешь-ли ты эту ахинею, послушникъ ты мой Божій. Безъ нея, говорять, и пробыть бы не могъ человъкъ на земль, ибо не позналъ бы добра и зла. Да въдь весь міръ познанія не стоитъ тогда этихъ слезокъ ребеночка къ «Боженькѣ». Я не говорю про страданія большихъ, тѣ яблоко съѣли... но эти, эти!».

А вотъ и еще картина у того же неистощимаго на такіе разсказы Ивана. «Это было, —-говорить онъ, —въ самое мрачное время криностного права, еще въ начали стольтія, и да здравствует освободитель народа» (теперь уже приходится сказать: «вѣчная ему память!») Быль тогда въ началѣ столѣтія одинъ генералъ, генералъ со связями большими и богатъйшій помъщикъ, но изъ такихъ, которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали увърены, что выслужили себъ право на жизнь и смерть своихъ подданныхъ. И вотъ дворовый мальчикъ, маленькій мальчикъ, всего восьми лѣтъ, пустиль какъ-то, играя камнемъ, и зашибъ ногу любимой генеральской гончей. Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидёль въ кутузкі; на утро чёмъ свёть выйзжаетъ генералъ во всемъ парадъ на охоту, сълъ на коня, кругомъ него приживальщики, собаки, псари, ловчіе, всё на коняхъ. Вокругъ собрана дворня для назиданія, а впереди всёхъ мать виновнаго мальчика. «Гони ero!» командуетъ генералъ, «бѣги, бѣги!» кричатъ ему псари, мальчикъ бъжитъ ... «Ату его!» вонитъ генералъ

и бросаетъ на него всю стаю борзыхъ собакъ. Затравиль въ глазахъ матери, и псы растерзали ребенка въ клочки!.. Я взялъ однихъ дътокъ, — поясняетъ Иванъ Карамазовъ, — потому что тутъ неотразимо ясно то, что мнъ надо сказатъ. Слушай: если всъ должны страдатъ, чтобы страданіемъ купить въчную гармонію, то при чемъ тутъ дъти, скажи мнъ, пожалуйста? Совсъмъ не понятно, для чего должны были страдатъ и они и зачъмъ имъ покупать страданіями гармонію? Для чего они-то тоже попали въ матеріалъ и унавозили собою для кого-то будущую гармонію? Если страданія дътей пошли на пополненіе той суммы страданій, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранъе, что вся истина не стоитъ такой цѣны».

Алеша стоитъ передъ нимъ безъ отвѣта, но у Алеши есть, конечно, отвѣтъ—та «высшая идея» самого Достоевскаго, которая и есть-то счетомъ всего одна, та идея безсмертія, безъ которой, по его пониманію, въ самомъ дѣлѣ, не мыслима правда и справедливость. Алеша выступаетъ исповѣдникомъ этой идеи въ концѣ романа. Онъ выступаетъ ея исповѣдникомъ передъ дѣтьми.

Не мало выведено Достоевскимъ въ последнемъ его романъ этихъ дорогихъ для него дътскихъ образовъ. Своего рода противнемъ къ давно имъ нарисованной Нелли является тутъ Илюша—этотъ надежный стоятель и оберегатель чести своего запивающаго отца. Боясь упрековъ Илюшечки, капитанъ, уже взявшій было у Алеши деньги, вдругъ бросаетъ ихъ, какъ милостыню, на землю и топчетъ ногами. Подобно Нелли, и Илюшечка умираетъ ребенкомъ, умираетъ на рукахъ тъхъ самыхъ товарищей, передъ которыми такъ храбро постоялъ за своего отца.

Въ особомъ смыслѣ выдвинулся у Достоевскаго, изъ всѣхъ этихъ товарищей Илюши, и преждевременно развитой, и настоящій, однако, ребенокъ—Коля Красоткинъ.

Коля—одинъ сынъ у матери-вдовы; она на него не надышется. Онъ знаетъ это и, какъ всѣ умныя дѣти,

пользуется этимъ. Коля—своего рода глава въ домъ. Свое рано развившееся самолюбіе и властолюбіе проявляеть онь и въ гимназіи—съ товарищами. «Я вёдь ихъ бью, а они меня обожають», — говорить онъ. Но Коля, хоть и баловень, а добрый мальчикъ. «Илюшу перестали бить, -сь удовольствіемь замічаеть онь, -я взяль его подъ мою протекцію». Если Илюша на время теряетъ эту спасительную протекцію, то по своей винѣ. Послушался «дурачокъ» обозленнаго на все и на всёхъ Смердякова и подбросилъ Жучкъ мякишу съ воткнутою въ него булавкою. Коля возгорёль благороднымъ негодованіемъ и вельль ему объявить, что прерываеть съ нимъ всякія сношенія. Но в'єдь и Илюша характерный мальчикъ. Вижсто того, чтобъ сконфузиться и просить прощенья, онъ велёлъ сказать Коле, что теперь всёмъ собакамъ будетъ куски съ булавками кидать, всемъ, всемъ! «А,—думаетъ Коля, -вольный душокъ завелся, его надо выкурить». Сталь онъ отворачиваться отъ Илюши, а другіе мальчики стали опять приставать къ Илюшт и смъяться надъ его отцомъ. Коля видитъ-и не выручаетъ, а бъдный Илюша до того обозлился, что ткнулъ Колю своимъ перочиннымъ ножичкомъ. Но Коля благородный мальчикъ; онъ, разумъется, не пошелъ фискалить, стеривлъ про себя и все зажило безъ огласки. А Илюшечка, между тъмъ, слегъ въ постельку. «Это меня Богъ наказалъ за то, что я Жучку убилъ»,--говорилъ онъ отцу. Коль, онъ самъ въ этомъ сознается, тутъ же надо бы было пойти къ Илюшт и помириться. Но у Коли сложился особый планъ. Онъ зналъ, что Жучка жива, но вмёсто того, чтобы сейчась же вести ее къ Илюшѣ, онъ предварительно обучаетъ ее всѣмъ собачышь хитростямь, что бы разомь доставить Илюшь большое счастье. Между тъмъ на это уходить время, а бъдный больной мучится угрызеньями своей дётской совёсти. Но у Коли какъ ръшено, такъ уже непремънно и будетъ. Онъ самъ потомъ сознается, что перемудрилъ непростительно: приведи онъ Жучку поранте, и Илюшечка, - разсуждаеть онъ, - можеть быть бы еще и по-

правился. Во всемъ этомъ такъ и видно, что Коля еще настоящій ребенокъ; но его уже начали развивать въ его 13—14 лёть—въ томъ смысле, какъ еще не развивали мальчугановъ въ ту пору, когда Достоевскій въ крѣпости писалъ своего «Маленькаго героя». Съ тѣхъ поръ мы ушли внередъ въ развити, а самолюбіе и властолюбіе Коли представляло благородную почву для воспріятія всякихъ «идей». Напрасно извѣстная воспитательная система, по выраженію Достоевскаго (въ его записной книжкѣ), рѣшила: «чтобъ не было идей»: мальчуганы, соскучившись за вёчной грамматикой, стали сами ихъ набираться внѣ школы—и вышло хуже. Коля, напримеръ, заявляетъ съ важностью Алеше Карамазову, что «глупостей у насъ гораздо больше, чёмъ у животныхъ; это мысль Ракитина (семинариста)-мысль замѣчательная». «Я соціалисть», не совсемь даже кстати добавляетъ Коля. Въ немъ самымъ диковиннымъ образомъ ребячество совмъщается съ напускнымъ «развитіемъ». Идетъ нашъ шалунъ по улицѣ и задираетъ встрѣчнаго мужика, а тотъ отплачиваетъ ему вопросомъ: «а что васъ въ школѣ чай порютъ»? Коля пресерьёзно поддакиваетъ. «По идев мужика, школьника порютъ, разсуждаеть онъ, -- и вдругь я скажу ему, что у насъ не порють; вёдь онъ этимъ огорчится... Съ народомъ надо умѣючи говорить». Выставляя себя своего рода знатокомъ народа, Коля «всегда готовъ признать въ немъ умъ». Коля даже решается утверждать: «мы отстали оть народа, это аксіома... Я върю въ народъ» — съ оговоркой однако: «отнюдь не балуя его, это sine qua» (не даромъ же Коля классикъ, котя и презираетъ классицизмъ и «всю эту подлость»). Въря въ народъ, Коля, набравшись всего такого, конечно, думаетъ, что народу нужно бы просвътительное начало повыше церковнаго. «Согласитесь, — убъждаетъ онъ Алешу, — что христіанская въра послужила лишь богатымъ и знатнымъ, чтобъ держать въ рабствъ низшій классъ»... Замьчая, однако, что это огорчаеть Алешу, онъ снисходительно оговаривается: «если хотите, я не противъ Христа. Это была вполнъ

туманная личность, и, живи онъ въ наше время, онъ бы прямо примкнулъ къ революціонерамъ и можетъ быть играль бы важную роль...» Но туть уже Алеша не выдерживаеть: «Ну гдь, ну гдь вы этого нахватились? спрашиваетъ онъ, съ какимъ дуракомъ вы связались?..» «Я, конечно, часто говорю съ г. Ракитинымъ,—поясняетъ Коля, —но... Это еще старикъ Бълинскій тоже, говорять, говориль.»—«Бѣлинскій? не помню. Онъ этого нигдѣ не писалъ... А Бълинскаго вы читали?», думаетъ его сръзать Алеша. — «Видите ли, нътъ, — не задумывается Коля, я не совсёмъ читалъ, но... то мёсто о Татьяне, зачемъ она не пошла съ Онъгинымъ, я читалъ...» Но Коля не даромъ самолюбивъ, потому-то и мнителенъ, подозрителенъ: какъ бы кто не посмъялся въ немъ надъ ребенкомъ, корчащимъ изъ себя большого? «Скажите, Карамазовъ, вы ужасно меня презираете?» — спращиваетъ онъ. — «Презираю вась?.. миж только грустно, — говорить Алеша, — что прелестная натура, какъ ваша, уже извращена всёмъ этимъ грубымъ вздоромъ...» «О моей натурѣ не заботьтесь-важничаетъ Коля, хотя и не темъ тономъ, какъ при другомъ случав, -- я никому не позволяю анализовать свои поступки...» «Вы сейчась усмёхнулись», замечаеть онь: —«Я недавно прочель отзывь заграничнаго нъмца, жившаго въ Россіи, -- говоритъ Алеша объ нашей учащейся молодежи, -- никакихъ знаній и беззавътное самомнение». Коля отражаеть ударь темь, что начинаетъ хвалить: «върниссимо! браво, нъмецъ», но тутъ же еще и ввертываетъ, не безъ своего рода патріотизма-патріотизма въ виде немцеедства, какъ-то допускаемаго подчасъ радикальнъйшими изъ нашихъ космополитовъ: «однако-жъ чухна не разсмотрелъ и хорошей стороны.... Самомнине--это пусть... за то смилость мысли и убъжденія... а не духъ ихняго колбасническаго раболенства передъ авторитетами... Но все-таки немецъ хорошо сказаль,» — продолжаеть онъ безпристрастничать однако-же съ оговоркою, что «все-таки немцевъ надо душить.» Коля боится насмышекъ со стороны Алеши, хотя

самъ между тъмъ не безъ снисхожденья относится къ этому «монашку». Мы видёли, что по добротё души онъ готовъ, такъ и быть, ему уступить Христа: «все же быль замъчательная личность». Точно также, чтобы не огорчить Карамазова, Коля его успокоиваетъ: «я ничего не имью противь Бога... еслибь его не было, то надо бы его выдумать,» — а самъ между тёмъ краснёетъ и ужасно досадуеть на себя, что покрасивль. - «Я терпъть не могу вступать во всё эти препиранія, -хотёль-бы какъ будто покончить Коля, -- можно ведь и не веруя въ Бога любить человичество? Какъ вы думаете? Вольтеръ же не вероваль въ Бога, а любилъ человечество, -вспоминаеть онъ автора приводимой у него въ русскомъ переводъ фразы: Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer!-«Вольтеръ въ Бога върилъ, но, кажется, мало, и, кажется, мало любилъ и человъчество» тихо, сдержанно н совершенно натурально произносить Алеша, не вполнъ увъренный въ своей памяти, въ которой смутно, должно быть, отпечатавлся отзывь о Вольтерв Луи Блана... Но Колю сильно поражаетъ «эта неувъренность Алеши въ свое митніе о Вольтерт»... Въ этой неувтренности звучить для него правдивость и откровенность, уличающія его самого въ его детски самолюбивомъ замазывани своего незнанія. Карамазовъ привязываеть къ себъ Колю именно такимъ чистосердечіемъ, а также и тъмъ, что держить себя съ нимъ совершенно на ровной ногъ. Самолюбивый Коля, безъ всякаго умысла со стороны Алеши, этимъ польщенъ и задобренъ. А все дёло въ томъ, что Алеша почти такой же большой ребенокъ, какъ и «идіотъ».—«Я знаю, что вы мистикъ, —съ важностью говорить ему Коля, -- но... это меня не остановило. Прикосновение съ действительностью васъ излечить...»

Но не одинъ Коля, этотъ резонирующій мальчуганъ, такъ снисходительно, но все-таки отрекается отъ «мистицизма» Алексъя Карамазова; точно такъ же поступала съ самимъ Достоевскимъ извъстная часть нашей печати. «Нива проситъ съятеля, — еще недавно читали мы въ одномъ даже педагогическомъ издании по поводу Коли

Красоткина и Алексъ́я Карамазова, — но ей нужно съ́мя не мистической горней мудрости, но здоровое съ́мя человъ́-

ческой мудрости отъ міра сего».

Алеша Карамазовъ, какъ и «идіотъ» Достоевскаго, конечно, крайній «идеалистъ», но должно же изъ этого «идеализма» хоть что-нибудь переходить въ дѣйствительность, становиться реальною силою, чтобы «тиною и плѣсенью не покрылась жизнь» даже въ Швейцаріяхъ и Америкахъ и при всевозможныхъ усовершенствованіяхъ, изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ. Во всякомъ случаѣ, ничего таинственнаго, мистическаю тутъ нѣтъ.

И «идіотъ», и «монашекъ» Алеша, эти люди ст разумом сердца, нужны, особенно нужны для подростающаго покольнія. Только они и спасуть его отъ тъхъ героическихъ экспериментовъ надъ нимъ безсердечной, матеріалистической, отрицательной разсудочности, которой жертвою могъ бы сдълаться, со всею своею «пре-

лестной натурой», и Коля Красоткинъ.

Не чёмъ инымъ, какъ «разумомъ сердца» проникнуто слово Алексвя Карамазова на похоронахъ у Илюшечки.

— Господа, мы скоро разстанемся. Согласимся же здёсь, у Илюшина камушка, что не будемъ никогда забывать, — во-первыхъ, Илюшечку, а во-вторыхъ, другъ объ другъ. И что-бы тамъ ни случилось съ нами потомъ въ жизни, хоти бы мы и двадцать лътъ потомъ не встръчались, - все-таки будемъ помнить о томъ, какъ мы хоронили бѣднаго мальчика, въ котораго прежде бросали камни, помните, тамъ у мостика-то?—а потомъ такъ всѣ: его полюбили. Онъ былъ славный мальчикъ, добрый и храбрый мальчикъ, чувствовалъ честь и горькую обиду: отцовскую, за которую и возсталъ. И такъ, во-первыхъ, будемъ помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали-бы въ какое великое несчастье, --- все равно не забывайте никогда, какъ намъ было разъ хорошо здёсь всёмъ сообща, соединеннымъ такимъ хорошимъ и добрымъ чувствомъ, которое и насъ сдёлало на это время любви нашей къ бъдному мальчику, можетъ быть, лучшими, чёмъ мы есть въ самомъ дёлё. Знайте, что ничего нътъ выше, и сильнъе, и здоровъе, и полезнье впредь для жизни, какъ хорошее какое-нибудь воспоминаніе, и особенно вынесенное еще изъ дътства, изъ родительскаго дома. Вамъ много говорять про воспитаніе ваше, а вотъ какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминаніе, сохраненное съ дътства, можеть быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать такихъ воспоминаній съ собою въ жизнь, то спасенъ человъкъ на всю жизнь. Я слово вамъ даю отъ себя, господа, что я ни одного изъ васъ не забуду; каждое лицо, которое на меня теперь, сейчась, смотрить, припомню, хоть бы и черезъ тридцать льть. Ну, а кто насъ соединилъ въ этомъ добромъ, хорошемъ чувствъ, о которомъ мы тенерь всегда, всю жизнь вспоминать будемъ, и вспоминать намерены, кто, какъ не Илюшечка, добрый мальчикъ, милый мальчикъ, дорогой для насъ мальчикъ на въки въковъ! Не забудемъ же его никогда, въчная ему и хорошая память въ нашихъ сердцахъ, отнынѣ и во вѣки вѣковъ!»

«Карамазовъ,—крикнулъ Коля,—неужели и взаправду религія говоритъ, что мы всѣ возстанемъ изъ мертвыхъ, и оживемъ, и увидимъ опять другъ друга?»

«Непремѣнно возстанемъ, непремѣнно увидимъ...» —

въ восторгѣ отвѣтилъ Алеша.

Указаніемъ на «безсмертіе» и «вѣчною памятью» закончилъ Достоевскій свой послѣдній романъ; «вѣчною памятью» (Скобелевскимъ героямъ Ахалъ-Текинскаго похода) заканчивается и предсмертный номеръ его «Дневника Писателя». Заключимъ же и мы «вѣчною памятью» Достоевскому! Но да будетъ ему вѣчная память— не только у насъ на устахъ, но и въ насъ самихъ— въ нашемъ образѣ мыслей, въ нашемъ образѣ дѣйствій!

О. М. ДОСТОЕВСКІЙ КАКЪ НАШЪ УЧИТЕЛЬ 1).

Сегодня у насъ поминальный день. Мы думали номинать Пушкина вмъстъ съ Достоевскимъ, то-есть думали, что Достоевский будетъ сегодня съ нами читать вамъ стихи Пушкина, читать «Пророка». Намъ приходится теперь поминать вмъстъ съ Пушкинымъ самого До-

стоевскаго - поминать умершаго Достоевскаго...

Еще въ это воскресенье онъ говорилъ со мною о томъ, что именно выбрать ему для чтенія. Сперва (за недѣлю) онъ совсѣмъ отказался читать. Его впечатлительная душа находилась подъ вліяніемъ свѣжихъ еще попрековъ, что онъ любитъ оваціи. Потомъ онъ согласился во имя Пушкина, но долго отказывался именно отъ «Пророка»... Наконецъ, онъ взялся и за эти стихи, но съ тѣмъ, чтобы прочесть вмѣстѣ съ ними «изъ Корана», «изъ Данта», «Странника»... Онъ собирался при этомъ говорить о всеобъемлемости Пушкина — на тему «всечеловѣка».

Мы надъялись, что, какъ всегда, онъ выступитъ передъ нами своими тихими, неслышными шагами—и сразу опять раздастся тотъ громъ привътствій нетерпъливо ожидающихъ слушателей, тотъ громъ привътствій, который раздавался только для него. Этихъ рукоплесканій

¹⁾ Сказано 29-го января 1881 г. на Пушкинскомъ литературномъ вечерѣ. Напечатано въ «Недѣлѣ» 1881 г. № 5.

нельзя было себѣ заказать, принести ихъ съ собой. Они раздаются неудержимо передъ тою всепокоряющей силой духа, которой не могутъ не признавать и сами враги. Увлекаемые потокомъ всѣхъ охватившаго чувства, и они, надо думать, рукоплескали подчасъ Достоевскому. А враговъ было у него не мало. «Кого много любятъ, того много и ненавидятъ» 1). Теперь уже не встрѣчать намъ его никогда, никогда... попрекать за оваціи не придется! 2) И скоро-ли-то явится между нами другой, все невольно себѣ подчиняющій, какъ дѣйствительно «власть имѣющій, а не какъ книжники и фарисеи?» Пѣтъ, не скоро!...

Достоевскій горячо любиль Пушкина, горячо любиль народь русскій — любиль «черезь край», какъ того не слёдовало по митнію людей, во всёхь чувствахь своихь

и помыслахъ «умфренныхъ и аккуратныхъ».

Въ этомъ разгадка того, что произошло въ Москвъ. Достоевскій говориль о Пушкинь, говориль такъ, какъ онъ лишь одинъ былъ способенъ, выливая въ словахъ свою душу, безъ мальйшей заботы о томъ, что подумаютъ и что скажуть... Отъ избытка чувства явилась мъстами и та горячая преувеличенность выраженій, которая напоминала у него языкъ библейскихъ пророковъ. Подобная рѣчь не могла не увлечь, не поднять моментально всёхъ на одну высоту съ говорившимъ; всё, и противники, увлеклись, во всёхъ водворилось единодушіе... Не увлеклись только тѣ благовоспитанные охранители умственнаго порядка, которые сразу рѣшились совсѣмъ не идти на рѣчь Достоевскаго. Но вскоръ оказалось, что не имъ однимъ, но и многимъ у насъ, по неустаръвшему выраженію Пушкина, «посредственность одна и по плечу, и не страшна», т.-е. непосредственность дарованія, а посредственность въ мысли, такъ-называемая «золотая се-

¹⁾ Шиллеръ (въ «Маріи Стюарть»).

²⁾ Я тогда ошибся. Никто другов, какъ бывшій пріятель Федора Михайловича. докторъ Яновскій, въ своихъ воспоминаніяхъ о пемъ, попрекнуль его тёмъ, будто по возвращеніи изъ Сибири въ немъ обнаружилась «страсть порисоваться» (Р. Въстникъ 1885 г. Апръль, стр. 819).

редина». Да, ея-то и не было у Достоевскаго. И вотъ къ его кипучему, высоко быющему слову чуть-ли не на другой-же день приложили мелкій аршинъ холоднаго разсудка, тупымъ ножомъ скептицизма распластали каждую его фразу—и съ видомъ высокой благонам вренности пошли охранять отъ него молодежь. Онъ, видите-ли, могъ ее увлечь въ мистицизмъ. Для охраненія ея-быть можетъ и скриня сердце-надо было сразу сбросить его съ той высоты, на которую они-же невольно его вознесли заодно съ другими. Но какъ-же долженъ былъ подъйствовать такой переходъ отъ своего рода обоготворенія прямо къ растоптанію на человіка, правда, съ закаленной душою, но съ душою, державшеюся въ «скудельномъ сосудъ», сосудь, надломленномъ давно, давно-всъмъ хорошо было извъстно, когда и почему. Но это не удержало, никто не одумался. А все это действовало на Достоевскаго. Онъ писалъ намъ изъ Руссы, среди самаго разгара того продолжительнаго торжества развёнчиванія, которымъ смёнилось краткое торжество увѣнчанія заживо: «я точно совершилъ преступленіе, точно какъ новый Юханцевъ растратилъ общественныя деньги». Если скудельный сосудъ Достоевскаго надломился уже давно-не по нашей винь, то мы сами недавно-никто какъ мы-помогли его окончательно надломить. Что дёлать! Мы какъ дёти увлеклись игрой сбрасыванья его съ высоты. Нѣкеторымъ, можетъ быть, въ самомъ дълъ представлялось возможнымъ окончательно его сбросить. Но со вчерашняго вечера для Достоевскаго наступило потомство. Оно будетъ къ нему справедливо. Оно прочно, незыблемо воздвигнеть его безсмертный ликъ на той высотъ, на которой стоять у насъ Пушкинь, Гоголь и еще немногіе.

Да, и онъ «памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный», потому что и онъ «призывалъ милость къ падшимъ». Но нѣтъ: онъ призывалъ къ нимъ не милость, а другое чувство... да для него и не существовало «падшихъ». Для него существовали только «несчастные»—въ томъ смыслѣ, какъ понимается это слово русскимъ народомъ. Въ этомъ отношени—онъ вполнѣ народный русскій писатель, а

вийсти съ тимъ и писатель міровой. Произведенія, подобнаго «Мертвому дому», не представляеть ни одна

другая литература.

Но постоянный живописецъ и адвокатъ «униженныхъ и оскорбленныхъ» мало заботился, какъ говорять, объ общепринятыхъ способахъ врачеванія того общественнаго зла, которымъ постоянно опять порождаются «униженные и оскорбленные». Да, этотъ упрекъ ему дълали и, въроятно, еще будуть делать, но въ немъ-то и заключается глубочайшее недомысліе. Именно потому, что онъ особенно живо принималъ къ сердцу судьбу «униженныхъ и оскорбленныхъ», что онъ ихъ видель везде, во всемъ мірѣ, --именно потому, что онъ требовалъ такого врачеванія, которое распространялось-бы не на однихъ избранныхъ, но и на маленькихъ людей, на людишекъ, какъ говорятъ иные, именно потому-то ему плохо върилось въ общепринятые способы врачеванія общественнаго зла. То, что многимъ и очень многимъ представляется достаточно радикальнымъ, представлялось ему только «сдѣлочками, подпорочками, уступочками». Для коренного уврачеванія зла считаль онь необходимымь, прежде всего, будить въ насъ самихъ нашу внутреннюю силу, наше лёнивое душевное а... Нётъ, онъ будилъ въ насъ личность во множественном числь на скрижаляхъ души нашей онъ старался начертать: мы. Для того, чтобы слово мы могло прочнымъ образомъ водвориться въ общественномъ стров, онъ прежде всего пробуждаль его въ каждомъ отдёльномъ я.

Достоевскій быль весь охвачень настоящимь религіознымь энтузіазмомь. Онь быль между нами пророкомь,—онь,—по выраженію Пушкина, «глаголомь жегь сердца людей». Недаромь никто не читаль такъ «Про-

рока», какъ онъ. Теперь его читать некому 1).

¹⁾ Еще передъ произнесеніемъ этого слова всѣ, участвовавшіе въ чтеніи, рѣшили между собою не читать въ этоть вечерь «Пророка».

О. М. ДОСТОЕВСКІЙ И СЛАВЯНСКІЙ ВОПРОСЪ ¹).

Пикогда еще торжественное собраніе Славянскаго общества не было такъ многолюдно, какъ нынче! Этимъ множествомъ не только своихъ сочленовъ, но и гостей мы обязаны грустной злобъ дня—поминовенію Ө. М. Достоевскаго, велъдъ за столькими другими его поминовеніями справляемому въ томъ обществъ, которое имъло счастье въ послъднее время считать его товарищемъ

предсъдателя.

Была полоса, когда къ намъ стекались толпой — не сразу такой многолюдной, но за то постоянной, не оскудъвавшей ни въ одинъ изъ тъхъ трехъ дней въ недълю, въ которые собиралась особо избранная комиссія Славинскаго общества, стремившаяся откликнуться на запросъ, сказавшійся въ самомъ русскомъ обществѣ, въ цъломъ русскомъ народѣ. То было лѣто 1876 г. — пора сербской войны и русскаго добровольчества. Оедоръ Михайловичъ Достоевскій, при свойственной ему всегда прозорливости исихолога и наблюдателя нравовъ, провидѣлъ, конечно, уже тогда, что такое необычайное одушевленіе неизбѣжно должно у насъ смѣниться настроеніемъ, прямо

¹⁾ Произнесено въ торжественномъ собраніи Славянскаго общества 14-го февраля 1881 г. Вошло въ книжку, изданную обществомъ «Въ память θ . М. Лостоевскаго».

противоположнымъ. Недаромъ писалъ онъ еще въ 60-хъ годахъ: «Увизжаться и прорваться отъ восторга—это у насъ самое первое дѣло; смотришь-года черезъ два и расходимся вновь, повёснвъ носы» 1). Съ славянскими восторгами оно у насъ вышло такъ даже какихъ-нибудь мисяца черезъ два, черезъ три. Но Достоевскій никогда не унываль и не падаль духомъ при всей впечатлительности и бользненной нервности своей природы. Твердый въ своихъ славянскихъ сочувствіяхъ, онъ върилъ, что общество наше рано или поздно уже прочнымъ образомъ вернется къ нимъ. Дело въ томъ, что для него эти сочувствія не представлялись только мимоходною данью и этого рода благотворительности, данью, вызванною приглашеньемъ на то со стороны какихъ-нибудь добрыхъ знакомыхъ. Славянскія сочувствія не могли не выдвинуться у него прямо на первый планъ, ибо къ нимъ неизбъжно приводили его задушевныя основы его направленія.

Достоевскій сталь съ самаго начала и навсегда остался честнъйшимъ, а потому и вполнъ послъдовательнымъ адвокатомъ всёхъ «үниженныхъ и оскорбленныхъ». Могъ-ли онъ не почувствовать въ себъ неотразимаго призыва на защиту униженныхъ и оскорбленныхъ народностей? А не такими-ли издавна являлись въ Европъ славяне всёхъ отраслей (за исключеніемъ развё поляковъ -- но вёдь и тё приголубливались ею лишь лицемърно, въ шику Россіи). Не такими-ли окончательно оказались славяне передъ послёдней турецкой войной, а еще болье посль нея — въ лиць самихъ побъдителей русскихъ, обратившихся въ подсудимыхъ на Берлинскомъ конгрессь? Но дело въ томъ, что мы ведь и сами себя издавна унижали и оскорбляли. Мы сами забивали себя, свою народную личность, отрекаясь отъ своей исторіи, представлявшейся намъ какою-то «глуповщиной». еще задолго до употребленія этого слова сатирикомъ. Между темь Достоевскій любиль и умель выставлять не вполнё забитыми самыхъ маленькихъ, самыхъ даже несчаст-

¹⁾ Зимнія замітки о літпихь впечатлініяхь, глава З.

ныхъ людей, хотя ему приходилось подчасъ, съ болью въ сердцъ, выставлять ихъ и вполнъ опустившимися. Каково же было ему узнавать черты самой глубокой опущенности и приниженности въ русскомъ обществътёмь более вызывавшемь у него жалость, что само оно, это общество, не чувствовало своего положенія, а напротивъ того, въ этой народной своей обезличенности видъло какую-то благовоснитанную печать европейскаго благородства. Каково было ему замечать, какъ, гордое этой печатью, оно унижало и оскорбляло родной народъ, видя въ немъ лишь голодные желудки и ненасыщенные мозги, которые бралось оно наполнять со всёми обычными презрительными пріемами благодителей? Вспомните же, наконецъ, не могъ онъ не говорить, что эти, какь вамъ представляется, пустые сосуды-живые люди, достойные не одной же милостыни, но и уваженія и любви! Вспомните, что ваша умственная подачка-только чужое доброе, усвоенное старой привычкой жить не своимъ умомъ, подобно тому, какъ вы уже давно привыкли и физически жить не своимъ, а народнымъ трудомъ; да, трудомъ этого самаго народа, въ которомъ вы вдругъ взялись изгладить будто присущій ему «звфриный образъ».

Не мало различныхъ видовъ униженности и оскорбленности, унизителей и оскорбителей представляла Достоевскому наша русская жизнь при всёхъ, обращаемыхъ къ ней, запросахъ совсёмъ на иное, — запросахъ всего славянства. Но съ тёми же запросами на иное нужно куда-нибудь обратиться и европейскому міру—со всёми его уцёлёвшими, на зло вёковой и великой цивилизаціи, «несчастными»—въ широкомъ русскомъ смыслё

этого слова.

Достоевскій быль вполнѣ причастень европейской цивилизаціи со всѣми ея «святыми чудесами». Но именно потому, что, при всемъ величіи этихъ «чудесъ», при ней все же остаются неисцѣлимые недуги, онъ обращается къ Европѣ, нашей путеводной звѣздѣ не со вчерашняго дня, съ непочтительными словами: «врачу,

исцёлися самъ». Впрочемъ, сочувствіе этимъ словамъ явственно слышалось ему въ самой Европѣ—въ лицѣ ея лучшихъ людей, — тѣхъ, что, подобно ему, способны были принимать къ сердцу застарѣлые недуги, хотя бы гнѣздо ихъ оказалось вѣковѣчно свитымъ собственно въ той толиѣ, которую они, эти лучшіе люди Европы, уже не рѣшались вслѣдъ за Вольтеромъ называть la canaille. Достоевскій еще въ 60-хъ годахъ писалъ подъ вліяніемъ

непосредственнаго знакомства съ Европой:

«Предрекъ же аббатъ Сіэйсъ въ своемъ знаменитомъ памфлеть, что буржуа—это все. «Что такое tiers-etat? Ничего. Чими должно оно быть. Всиму» 1). Ну, такъ и случилось, какъ онъ сказалъ. Одни только эти слова и осуществились изъ всёхъ словъ, сказанныхъ въ то время; они одни и остались... Въ самомъ дёлё, провозгласили вскорѣ послѣ него: liberté, égalité, fraternité. Очень хорошо-съ. Что такое liberté?—Свобода. Какая свобода?— Одинаковая свобода всёмъ дёлать все, что угодно, въ предълахъ закона. Когда можно дълать все, что угодно? Когда импешь милліонг. Даеть-ли свобода каждому по милліону? Нѣтъ. Что такое человѣкъ безъ милліона? Человьку безу милліона есть не тоту, который дилаеть все, что угодно, а тотг, ст которыми дплаюти все, угодно²). Что-жъ изъ этого слъдуеть? А слъдуеть то, что, кром' свободы, есть еще равенство, и именно равенство передъ закономъ. Про это равенство передъ закономъ можно только одно сказать, что въ томъ видѣ, въ какомъ оно теперь прилагается, каждый можеть и должень принять его за личную для себя обиду. Что-жъ остается изъ формулы: братство? Ну, эта статья самая курьезная и, надо признаться, до сихъ поръ составляетъ главный камень преткновенія на Западь. Западный человькъ толкуеть о братствь, какъ о великой движущей силь человьчества, и не догадывается, что негов взять братства, коли его нътъ от дъйствительности. Что дёлать? Надо сдёлать братство

Подчеркнуто авторомъ.
 Подчеркнуто ораторомъ.

во что бы ни стало. Но оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само дёлается, дается, въ природѣ находится. А въ природѣ французской, да и вообще западной, его въ наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленнаго самоохраненія, самопромышленія, самоопредёленія въ своемъ собственномъ \mathcal{A} , сопоставленія этого \mathcal{A} всей природ п вевмъ остальнымъ людямъ, какъ самоправнаго отдвльнаго начала, совершенно равнаго и равноценнаго всему тому, что есть кром' него. Ну, а изъ такого самопоставления не могло произойти братства. Почему? Потому что въ братствѣ, въ настоящемъ братствѣ, не отдѣльная личность, не Я, должна хлопотать о правѣ своей равноцѣнности и равнов'єсности со всёмъ остальными, а все то это остальное должно бы было само придти къ этой требующей права личности, къ этому отд $\dot{\mathbf{x}}$ льному \mathbf{x} , и само, безъ его просьбы, должно бы было признать его равноцённымъ и равноправнымъ себё, т.-е. всему остальному, что есть на свътъ. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое \mathcal{A} , всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротивъ, отдать его обществу безъ всякихъ условій. Но западная личность не привыкла къ такому ходу дёла: она требуетъ съ бою; она требуетъ права, она хочетъ $\partial n_{numb} c_{numb} c_{numb}$ и не выходить братства... Что-жъ, скажете вы, надо быть безличностью, чтобъ быть счастливымь? Развѣ въ безличности спасеніе? Напротивъ, напротивъ, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо въ высочайшей степени, чёмъ та, которая теперь опредёлилась на Западё. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никъмъ непринужденное самопожертвование всего себя въ пользу всьхг есть по моему признакт высочайшаго развитія личности, эвысочайшаго ея могущества, высочайшаго самообладанія, высочайшей свободы собственной воли. Сильно развитая личность, вполнѣ увѣренная въ своемъ правѣ быть личностью, уже не имѣющая за собою ни-

какого страха, ничего не можетъ и сделать другого изъ своей личности, то-есть никакого болье употребленія, какъ отдать ее всю всёмъ, чтобъ и другіе всё были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это законг природы; кг этому тянет нормально человика. Но туть есть одинь волосокь, одинь самый тоненькій волосокъ, но который, если попадетъ подъ машину, то все разомъ треснетъ и разрушится. Именно: бъда имъть при этомг случаь хоть какой-нибудь самый мальйшій расчеть во пользу собственной выгоды 1)... Сдёлать братства нельзя, а надо, чтобъ оно само собой сдплалось, чтобъ оно было въ натуръ 2), безсознательно въ природѣ всего племени заключалось, однимъ словомъ, чтобъ было братское, любящее начало, - надо любить, надо, чтобъ самого инстинктивно тянуло на братство. общину, на согласіе, и тянуло, несмотря на всѣ вѣковыя страданія націи, несмотря на варварскую грубость и невъжество, укоренившіяся въ націи, несмотря на вѣковое рабство, на нашествія иноплеменниковъ, —однимъ словомъ, чтобъ потребность братской общины была въ натурѣ человѣка, чтобъ онъ съ тѣмъ и родился, или усвоиль себъ такую привычку искони въковъ. Въ чемъ состояло бы это братство, еслибъ переложить его на разумный сознательный языкъ? Въ томъ, чтобы каждая отдёльная личность сама, безо всякаго принужденія, безо всякой выгоды для себя, сказала бы обществу: «мы крѣпки только всѣ вмѣстѣ, возьмите же меня всего, если вамъ во мнѣ надобность; не думайте обо мнѣ, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько, -я всё свои права вамъ отдаю и пожалуйста располагайте мною. Это высшее счастье мое-вамъ всёмъ пожертвовать и чтобъ вамъ за это не было никакого ущерба». А братство напротивъ должно сказать: «ты слишкомъ много даешь намъ. Мы не въ правъ не принять, ибо ты самъ говоришь, что въ этомъ все твое счастье; но что же дъ-

Подчеркнуто авторомъ.

¹⁾ Все это подчеркнуто ораторомъ.

лать, когда у насъ безпрестанно болить сердце и за твое счастье. Возьми же все и отъ насъ. Мы всѣми силами будемъ стараться поминутно, чтобъ у тебя было какъ можно больше личной свободы, какъ можно больше самопроявления»... ... «Послѣ этого, разумѣется, ужь нечего дѣлиться, тутъ ужь все само собой раздѣлится. Лю-

бите другъ друга и все сіе вамъ приложится...»

«Но опять-таки, что же дёлать соціалисту, если въ западномъ человъкъ нътъ братского начала, а, напротивъ, начало единичное, личное, безпрерывно обособляющееся, требующее съ мечомъ въ рукахъ своихъ правъ? Соціалисть, видя, что нъть братства, начинаеть уговаривать на братство... опредълять будущее братство, разсчитываетъ на въсъ и на мъру, соблазняетъ выгодой, толкуетъ, учить, разсказываеть, сколько кому оть этого братства выгоды придется, и сколько каждый долженъ добровольно внести въ ущербъ своей личности въ обшину... Впрочемъ, провозглашена была формула: «каждый для вежхъ и всё для каждаго»... Но вотъ начали прикладывать эту формулу къ дёлу, и черезъ шесть мёсяцевъ братья потянули основателя братства Кабета къ суду. Фурьеристы, говорять, взяли свои последнія девятьсоть тысячь франковь изъ своего капитала, а все еще пробують какъ бы устроить братство. Ничего не выходитъ... Кажется, ужь совершенно гарантируютъ человъка, объщаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требують съ него самую капельку его личной свободы для общаго блага, самую, самую капельку. Нътъ, не хочетъ жить человъкъ и на этихъ расчетахъ, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острогь и что самому по себѣ лучше, потому-полная воля. И въдь на воль быють его, работы ему не дають, умираеть онь съ голоду и воли у него нъть никакой; такъ нѣтъ же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше.

И вотъ, въ самомъ последнемъ отчаянии соціалистъ провозглащаетъ наконецъ: liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ну, ужь тутъ нечего говорить, и буржуа оконча-

тельне торжествуетъ. А если буржуа торжествуетъ, такъ, стало быть, и сбылась формула Сіэйса буквально и въ последней точности».

Эта большая выписка была совершенно необходима. Важно, что уже тогда, въ 60-хъ годахъ, у Достоевскаго вполнѣ сложились основы всего того, что онъ впослѣдствіи проводилъ въ своемъ «Дневникѣ Писателя», что внушило ему самыя горячія мѣста его Пушкинской рѣчи, оборону ея въ единственномъ лѣтнемъ номерѣ «Дневника» за 1880 г., наконецъ его лебединую пѣснь—тотъ первый и послѣдній № «Дневника» за 1881 годъ, кото-

рый вышель въ свёть въ день выноса его тёла.

Корень европейскаго зла Достоевскій усматриваль въ историческомъ началѣ Запада развити личности во всей ея исключительности. Но недаромъ, характеризуя индивидуализмъ, извъстный французъ-радикалъ, историкъ революцін, яркимъ образчикомъ противоположнаго — de la fraternité — выставляль явленіе славянскаго міра—гуситство. Оно-же сложилось на почвѣ общины, коренившейся, по выражению Достоевского, «въ природѣ всего племени», хотя, вследствие (его-же выражение) «вековыхъ страданій», «варварской грубости и невѣжества», «нашествія иноплеменниковъ» и т. п., издавнее расположение къ общинѣ могло быть и дъйствительно было всячески заглушаемо и извращаемо. Несмотря на весь этотъ фактическій упадокъ общинности въ самомъ славянскомъ мірѣ, Достоевскій продолжаль возлагать всё свои надежды на ея принципъ-на воспитательную силу ея преданій, воспитательную не столько въ политическом, сколько въ нравственном смысль. Потому-то и говориль Достоевскій въ своей Пушкинской рѣчи: «О, народы Европы и не знають, какъ они намъ дороги! И вноследствии, я верю въ это, будущіе русскіе люди поймутъ уже всѣ до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примирение въ европейскія противоръчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскъ въ своей русской душь, всечеловъчной и всесоединяющей, вмёстить въ нее съ братскою любовью всёхъ

нашихъ братьевъ, а въ концъ-концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармоніи... Знаю, слишкомъ знаю, что слова мои могутъ показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что ихъ высказаль». Онъ не раскаивался и послѣ того, какъ въ отвѣтъ ему было указано на тъ европейскія учрежденія, при помощи которыхъ на Западѣ справились съ темъ, съ чемъ не можемъ справиться мы. «Это Европа-то справилась?--спрашиваль онь въ отвътъ. – Да кто только могъ вамъ это сказать?.. Муравейникъ, давно уже созидавшійся въ ней безъ церкви и безъ Христа (ибо церковь, замутивъ идеалъ свой, давно уже и повсемъстно перевоплотилась тамъ въ государство), съ расшатаннымъ до основанія нравственнымъ началомъ, утратившимъ все, все общее и все абсолютное, — этотъ созидавшійся муравейникъ, говорю я, весь подконанъ». Слова эти опять послужили у насъ «камнемъ преткновенія и соблазна» для многихъ, но именно на Западъ они-бы не смутили и не оскорбили ни одной дъйствительно върующей души, такъ-же точно, какъ именно радикальные западные политики не смущаются и не оскорбляются такими нелестными картинами европейскаго политическаго строя. Въ словахъ Достоевскаго объ этомъ «муравейникъ» нътъ и тъни мысли, чтобы въ нъдрахъ католичества и порожденнаго имъ протестанства не было дъйствительно върующихъ, —но сами эти върующіе, по его представленію, давно уже жаждуть и ищуть церквидъйствительной церкви, т.-е. впрующей общины. Увы! она давно уже замѣнилась въ католичествѣ единоличнымъ авторитетомъ государя-папы, въ протестантствѣ -- авторитетностью личнаго разумьнія каждаго (т.-е. каждаго развитого человека). А въ результате выходить издавнее безвъріе именно оффиціальных блюстителей въры въ католичествъ (такъ глубокомысленно разоблаченное Достоевскимъ въ его «Великомъ Инквизиторѣ» 1) и неизбѣжность перехода отъ положительной въры къ раціонализму въ

^{1) «}Братья Карамазовы» т. I, кн. 5, гл. 5.

протестантствъ, напрасно думающемъ остановиться на половинъ дороги-въ качествъ исповъданія, формулированнаго государственною властью, къ соблазну искренно върующихъ протестантовъ, ищущихъ и не находящихъ настоящей точки опоры. На расшатанное до основанія религіозное начало указывало и указываетъ въ Европъ многое множество числящихся какъ католиками, такъ и протестантами; но, на дёлё, часто оказываясь просто пребывающими внѣ всякой церкви, они эту утрату «всего общаго и всего абсолютнаго» не хотять или не умѣють себѣ объяснить темъ, что усовершенствованный механизмъ европейскаго общества движется «безъ Христа». Между тъмъ, для Достоевскаго этимъ-то и объясняется непрочность того, что держится такимъ механизмомъ. «Грядеть четвертое сословіе, говорить онь, стучится и ломится въ дверь и если ему не отворять, сломаеть дверь. Не хочеть оно прежнихъ идеаловъ, отвергаетъ всякъ доселъ бывшій законъ. На компромиссъ, на уступочки не пойдетъ, подпорочками не спасете зданія. Уступочки только разжигають, а оно хочеть всего. Наступитъ нѣчто такое, чего никто и не мыслитъ. Всѣ эти парламентаризмы, всв исповедываемыя теперь гражданскія теорін, всѣ накопленныя богатства, банки, науки, жиды, все это рухнетъ въ одинъ мигъ и безследно-кроме разве жидовъ, которые и тогда найдутся какъ поступить, такъ что имъ даже въ руку будетъ работа. Все это «близко при дверяхъ». И это служило, конечно, «камнемъ преткновенія», представляясь какимъ-то юродствованіемъ великаго таланта, юродствованіемъ даже и не совстмъ гуманнымъ-между прочимъ, потому, что тутъ задевались жиды. Но Достоевскій зналь очень хорошо, что они даже вовсе не національность, что жиды могуть быть и между не евреями всёхъ національностей. Разумные между евреями (интеллигентные — какъ они сами себя называютъ) не обижались и даже писали Достоевскому теплыя, задушевныя письма. За то вовсе не евреи обижались и сильно обижались — за Европу! «Вы смѣетесь?—продолжаль Достоевскій. — Блаженны сміющіеся. Дай Богь вамь вѣку, сами увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мнъ. смѣясь: «Хорошо-же вы любите Европу, коли такъ ей пророчите». А я развъ радуюсь? Я только предчувствую, что подведенъ итогъ. Окончательный-же расчетъ, уплата по итогу, можетъ произойти даже гораздо скоръе, чъмъ самая сильная фантазія могла-бы предположить. Симптомы ужасны. Ужь одно только стародавне-неестественное политическое положение европейскихъ государствъ можетъ послужить началомъ всему. Да и какъ-бы оно могло быть естественнымъ, когда неестественность заложена въ основаніи ихъ и накоплялась в'яками? Не можеть одна малая часть человычества владыть всым остальным человычеством какт рабом 1). А вёдь для этой единственно цёли и слагались до сихъ поръ всп гражданскія (уже давно не христіанскія) учрежденія Европы, теперь совершенно языческой. А теперь-то вы, господа, теперь-то указываете намъ на Европу и зовете пересаживать къ намъ ть самыя учрежденія, которыя тамъ завтра-же рухнуть, какъ изжившій свой вѣкъ абсурдъ и въ которыя и тамъ уже многіе умные люди давно не върять, которыя держатся и существують тамъ до сихъ поръ лишь по одной инерціи. Да и кто, кромѣ отвлеченнаго доктринера, могъ принимать комедію буржуазнаго единенія, которую видимъ въ Европъ, за нормальную формулу человъческаго единенія на землъ? Они-де у себя давно справились. Это посль двадцати-то конституцій менье чьмг вт стольтіе и безъ малаго послъ -десятка революцій» 2)! Живое воображение Достоевского, въ которомъ, при всёхъ его свойствахъ исихолога и философа, постоянно сказывался и художникъ, -- рисовало ему эту неизбѣжную картину, точно будто уже открывающеюся—къ вящему соблазну и преткновенію людей разсудительныхъ. «Завтра, -- говорили они, — завтра уже не станетъ Европы, всей Европы и это намъ приходится слышать отъ такого таланта, какъ Достоевскій»! Но изъ чего-же выводили вы, господа,

2) To-me.

¹⁾ Подчеркнуто ораторомъ.

что онъ предсказываль гибель всей Европѣ, а не той лишь, которая, при всѣхъ своихъ «святыхъ чудесахъ», до сихъ поръ держала и держитъ въ положеніи илотовъ—свое-же «четвертое сословіе»? Хоть-бы вы немножко вдумались въ слова Достоевскаго, что вѣдь собственно только для малой части человъчества, для ея интересовъ и наслажденій до сихъ поръ слагались всѣ—и самыя даже прогрес-

сивныя учрежденія Европы.

Но вы считаете ее, эту Европу, единою спасающей владетельницей ключей отъ земного рая, безъ которыхъ, коли оно такъ, и намъ никогда туда не войти. Но подумали-ли вы о томъ, что соответствующее у насъ европейской «малой части» властнаго человичества тимь наче есть малая часть — сравнительно съ громаднымъ численнымъ преобладаніемъ у насъ того, что соотвътствуетъ «четвертому сословію?» Хорошо-бы вышло представительство для подавляющаго у насъ, какъ нигдъ, крестьянскаго большинства, при простой пересадкъ къ намъ любой, хотя бы и самой просторной, западной формы! Каково бы пришлось «стихійному большинству» отъ горсти интеллигенцін, состоящей изъ р'єдкихъ «захудалыхъ родовъ», болье частыхъ «потомковъ извъстной подлостью прославленных отцовъ», изъ различныхъ бароновъ, пановъ, и наконецъ жидовъ-какъ изъ евреевъ, такъ и изъ христіанъ (т.-е. людей, по выраженію Достоевскаго, «съ аппетитомъ» и притомъ вооруженныхъ культурными способами удовлетворять аппетиту). Вёдь опасность отъ этой «интеллигенции» неизбёжно усиливалась бы тою запущенностью, въ какой оставалось и остается у насъ дёло просвёщенія народа, т.-е. болёе 80% всего населенія Россіи. А если вспомнить, что часть этой интеллигенціи выросла еще на крипостномъ правъ, наслъдовала его, хотя бы и замаскированныя, преданія, то какъ же не признать поразительной глубины вопроса, задаваемаго Достоевскимъ въ предсмертномъ его «Дневникѣ»:

«Захочетъ-ли прежній поміщикъ стать интеллигентнымъ народомъ?.. Не захочетъ-ли, напротивъ, опять возгордиться и стать опять надъ народомъ властью силы... изъ самаго образованія своего создать новую властную и разъединительную силу и стать надъ народомъ аристократіей интеллигенціи, его опекающей? Или,—какъ замѣчаетъ онъ тутъ-же нѣсколько выше, — теперь уже эта интеллигенція не думаетъ-ли про себя:

«А народъ опять скуемъ!»

Но самъ Достоевскій предвидѣлъ и оправдательные отвѣты на свои возраженія. «Да не мы-ли, скажете вы, о народѣ болѣемъ, не мы-ли объ немъ столь много пишемъ, не мы-ли его и къ нему призываемъ? — выражается онъ языкомъ своихъ противниковъ. — Такъ, вы все это дѣлаете, — отвѣчаетъ онъ, — но русскій народъ убѣжденъ почему-то, что вы не объ немъ болѣете, а объ какомъ-то иномъ народѣ, въ вашу голову засѣвшемъ и на русскій народъ не похожемъ, а его такъ даже презираете. Это презрительное отношеніе къ народу, въ нѣкоторыхъ изъ насъ даже совсѣмъ безсознательное, положительно, можно сказать, невольное. Это остатокъ кръпостного права».

Да, именно оно и сказывается до сихъ поръ, сказывается совершенно невольно у людей, считающихъ себя великими либералами, сказывается въ этомъ, постоянно повторяющемся, превозношении нашей интеллигенции заодно съ столь-же часто повторяющимся принижениемъ народа, признаваніемъ въ немъ на всѣ лады не чего иного, по выражению Достоевского, какъ «печати звёриной», «звъринаго образа». Въ последнемъ своемъ «Днев никѣ» Достоевскій вспомниль басню Крылова про свинью, готовую, дорожа только жолудями, подрыть корни дуба Но также умъстно было бы вспомнить другую, болье приличную басню—о «листахъ и корняхъ». Все сводится у насъ теперь именно къ отношеніямъ между ними. Хотите-ли узнать человека? Добейтесь прежде всего, за кого онъ: за листы, или за корни? Немногіе будуть чистосердечно увърять, что они за корни, тогда какъ на повёрку выйдеть, что они только за листы. Достоевскій всегда стояль за корни.

Въ последнемъ своемъ «Дневнике» онъ говорилъ про одно магическое словцо, именно: «оказать довъріе». «Да, нашему народу можно оказать довъріе, ибо онъ достоинъ его. Позовите стрые зипуны и спросите ихъ самихъ объ ихъ нуждахъ, о томъ, чего имъ надо, и они скажутъ вамъ правду, и мы всё въ первый разъ, можетъ быть, услышимъ настоящую правду. И не нужно никакихъ великихъ подъемовъ и сборовъ; народъ можно спросить по мъстамъ, по уъздамъ, по хижинамъ. Ибо народъ нашъ, и по мъстамъ сидя, скажетъ точь-въ-точь все то же, что сказаль бы и весь вкупѣ, пбо онъ единъ. И разъединенный единъ и сообща единъ, ибо духъ его единъ. Каждая мѣстность только лишь свою мѣстную особенность прибавила бы, но въ цёломъ, въ общемъ, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужикъ, одинъ только заправскій мужикъ. О, не изъ какихъ-либо политическихъ цѣлей я предложилъ-бы устранить на время нашу интеллигенцію, — не приписывайте миж ихъ пожалуйста, — но предложилъ-бы я это (ужь извините пожалуйста) — изъ цълей лишь чисто педагогическихг. Да, пускай въ сторонкѣ пока постоимъ и послушаемъ, какъ ясно и толково сумветь народь свою правду сказать, совсвиь безь нашей помощи, и объ дълъ, именно объ заправскомъ дълъ въ самую точку попадетъ, да и насъ не обидитъ, коли объ насъ ръчь зайдетъ. Пусть постоимъ и поучимся у народа, какъ надо правду говорить. Увидавъ отъ народа столько дёловитости и серьезности, мы будемъ озадачены и ужь, конечно, явятся изъ насъ такіе, что не повърять глазамъ своимъ, но такихъ будетъ слишкомъ мало, ибо всѣ дъйствительно искренніе, всѣ воистину жаждущіе правды присоединятся къ премудрому слову народному; всѣ же неискренніе разомъ обнаружатъ все свое содержание и обнаружатся сами. А если останутся и искренніе, что и тогда въ народъ не увърують, — то это какіе-нибудь старовары и доктринеры сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, старыя неисправимыя дъти, и они будутъ только смъщены и безвредны.

Я, —продолжаль Достоевскій, —на молодежь надыюсь; и она у насъ страдаетъ «исканіемъ правды» и тоской по ней, а стало быть она народу сродни наиболже и сразу пойметь, что и народъ ищеть правды. А познакомясь столь близко съ душою народа, бросить тѣ крайнія бредни, которыя увлекли было столь многихъ изъ нея, вообразившихъ, что они нашли истину въ крайнихъ европейских ученіях. Совствь новая идея вошла бы вдругь въ нашу душу, обличила бы ложь и прогнала ее. И, кто знаеть, можеть быть это было бы началом такой реформы, которая по значенію своему даже могла бы быть выше крестьянской: тутъ произошло бы тоже «освобожденіе» — освобожденіе умовт и сердецт наших отт нъкоей крппостной зависимости, въ которой и мы тоже пробыли цълых два въка у Европы, подобно какъ крестьянинг, недавній рабт нашт, у наст. Я желаль бы только, чтобъ понями безпристрастно, что я мишь за народа стою прежде всего, ва его душу, ва его великія силы, которых вникто еще из наст не знает во всеми объеми и величи ихъ, -- какъ въ святыню върую 1), главное въ спасительное ихъ назначение, въ великій народный охранительный и зиждительный духъ, и жажду лишь одного: да узрять ихъ всв. Только что узрять, тотчасъ же начнутъ понимать и все остальное» 2).

Слова эти — только восторженный набросокъ мысли, которая должна была практически выясниться въ теченіе года—въ остальныхъ нумерахъ «Дневника». Въ нихъ собирался онъ подробно высказать, какъ это, какимъ способомъ «оказать довъріе», т.-е. полное довъріе. Онъ разсчитывалъ, какъ я заключаю изъ недолгаго разговора

1) Все это подчеркнуто ораторомъ.

²⁾ Между тёмь воть какь къ этому отнеслась наша заграничная пресса въ брошюркв: «Ө. М. Достоевскій» (примѣчаніе къ оваціямь): наши патріоты совѣтують нашь дождаться того великаго часа, когда протите поселяле, при теперешней свободѣ ходатайствь въ компанін съ становыми, урядниками, сопровождаемые жандармами и розгами, наконець соберутся у подножія трона и, бія челомь, выдумають себъ форму правленія, а пока пусть насто всюже передушать (т.-е. за исключеніемь протимжа посслянь).

съ нимъ при нашемъ предпоследнемъ свидании, на участіе извъстной части интеллигенціи—той, которая ближе къ народу, а она у насъ все-таки есть. Составить какой-нибудь сколокъ съ готоваго европейскаго образца, конечно, могли бы и просвъщенные бюрократы, но на творческую работу въ духъ «корней» способны лишь просвъщенные земскіе люди. А именно къ творчеству и призываль Достоевскій! Страна съ нигдъ не бывалымъ численнымъ перевъсомъ «основныхъ, коренныхъ людей» должна себъ выработать совершенно своеобразныя соціальныя формы, — подобно тому, какъ съ другой стороны она неизбъжно должна создать себъ и совершенно своеобразную учебную систему. Творчество, только творчество, находилъ Достоевскій, послужило бы намъ настоящею «живою водою»!

«Оказать довъріе»—полное довъріе именно и значилобы вызвать творчество. А русскій народь, — поясняль Достоевскій, — заслуживаеть довърія потому уже, что самъ никогда не переставаль довърять своей верховной власти. Дъло выходить туть обоюдное. «У насъ, — ръшился онъ даже утверждать, — гражданская свобода можеть водвориться самая полная, полнъе, чъмъ гдъ-либо

въ мірѣ...»

Опираясь на старое историческое наше начало довирія, Достоевскій тёмъ самымъ призывалъ верховную
власть на ничёмъ несмущающееся постоянство въ великомъ освободительномъ подвигѣ. Вполнѣ захотѣть дать
народу то, чего онъ еще нигдѣ не имѣетъ — значило-бы,
конечно, пойти на вло всѣмъ предостереженіямъ изчужа
относительно «тождества» такъ называемой русской партіи, панславизма и «нигилизма»! Это значило-бы смѣло
прочесть и признать на русскомъ, на обще-славянскомъ
знамени новое слово, слово дѣйствительно страшное для
«Европы», — той Европы, которая въ сущности составляетъ только, по пониманію Достоевскаго, малую властную часть человѣчества. Это значило-бы пойти прямо
на встрѣчу стремленіямъ той Европы, которая, по выраженію Достоевскаго, «стучится въ двери», т.-е. за-

гладить передъ нею, какъ и передъ собою, передъ своимъ славянскимъ, а съ тъмъ вмъстъ и міровымъ призваніемъ, старый вольный и невольный гръхъ состоянія на службъ у «меттерниховщины». Это значило-бы неразумную службу Европъ искупить разумнымъ служеніемъ человъчеству! Тогда-бы успокоился наконецъ и тотъ нашъ «скиталецъ», про котораго Достоевскій сказалъ въ Москвъ, что «ему необходимо именно всемірное счастье... дешевле онъ не примирится».

Достоевскій віриль и увіряль, что оно такь будеть.

Его-бы устами да медъ пить! 1).

Достоевскій, — говорять намь, — быль утописть (вы сущности это то же, что пророкь—званіе, котораго не хотять ему предоставить); но онь, пожалуй, и самь признаваль себя утопистомь. Да, онь въриль въ концѣ концовь въ добрую волю человъка. Онь въриль въ возможность конечнаго совпаденія доброй воли единоличной верховной власти съ природными стремленіями и задушевными чаяніями народа—отчасти отражающагося и въ своихъ интеллигентныхъ «скитальцахъ», хотя сами они не признають этого. Воть онь и говориль имъ въ Москвъ: «смирись, гордый человъкъ!» т.-е. смирись передъ своимь народомь, признай себя духомь отъ его духа. Но Достоевскій говорить также: «найди себя въ себъ»—т.-е. запасись-же и самь у себя тою доброю волею, недостатокъ которой въ другихъ сферахъ тебя такъ возмущаеть.

Оглянись на тотъ-же народъ, поучись у него, несмотря на то, что порою онъ можетъ быть грубъ до животности. Въ немъ, при всякихъ грѣхахъ, живо сознание гръха, т.-е. личной отвѣтственности передъ всѣми, а есть-ли оно въ тебѣ? Привыкнувъ винить только все постороннее, ты и надежду привыкъ возлагатъ лишь на то, что опять-таки внѣ тебя—на формы, на механизмъ; а что если даже при величайшемъ его совершенствѣ ты испор-

¹⁾ Известно, что та редакція, съ которою, по особымъ издавнимъ отношеніямъ, оставался опъ связаннымъ до конца, систематически проводитъ теперь вполнё противоположную его взглядамъ «дворянскую эру», какъ единственную для насъ павацею.

тишь все дёло собой? вёдь довольно, по замёчанію Достоевскаго, и того «тоненькаго волоска», какимъ является мальйшій расчеть въ пользу собственной выгоды; а что если въ тебъ, по его-же замъчанию, засъло вовсе не маленькое желаніе: «а самому-то мнѣ пусть будеть какт можно лучше?» Что если, между тёмъ, какъ ты ораторствуещь о братствъ, тебя даже вовсе не тянетъ на братство? Что если и самые твои подвиги-въ угоду тебъ-же, твоему тщеславію, а «долго тебь не вытериьть, особенно безъ шуму и безъ широкой огласки?» Что если, даже трудясь, ты остаешься чуждъ сознанья, что лишь «трудомъ спасенъ будеши?» Что если при всемъ твоемъ высшемъ уровнъ-въ сущности твоему «аппетиту», твоему хотя-бы и утонченному, но все-же чувственному, т.-е. животному Я, постоянно приносится въ жертву то духовное, высшее, властное надъ собою Я, которое именно и сказывается въ самопожертвовании - единственномъ, настоящемъ самоножертвовани, -- въ постоянномъ, неказистомъ самообережени отъ малъйшаго залъзанья въ чужія права? Загляни въ свою душу, не кривя душой! Вспомни московскій кличь Достоевскаго: «Пайди себя въ себѣ!» 1).

¹⁾ Посль Пушкинской рычи это иными передавалось такъ: «убей себя въ себь» — къ великому ужасу тыхь, кто могъ сдуру повърить такей редакціп!

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА О. М. ДОСТОЕВСКАГО.

читано въ собрании славянскаго общества 11 мая 1881 г. 1).

Именно къ настоящему тяжкому времени пришлось, на-ряду съ цѣлымъ русскимъ обществомъ, осиротѣть и той скромной его части, которая называется славянскимъ благотворительнымъ обществомъ. Въ рядахъ его не стало того геніальнаго человѣка, который еще такъ недавно его украшалъ собою, котораго оно такъ любило, кото-

рымъ оно такъ гордилось.

Счастье, конечно, для самого Достоевскаго, что онъ не дожиль до того, до чего пришлось дожить намъ; но это, конечно, вовсе не счастье для насъ, именно теперь-то и особенно нуждающихся въ его твердомъ, прямомъ и горячемъ голосѣ. Именно въ настоящее время онъ не можетъ быть замѣненъ никѣмъ, положительно никѣмъ! Но когда умираетъ писатель, а тѣмъ болѣе великій писатель, то развѣ онъ умираетъ? Прекращается дальнѣйшая производительность его творческой силы, но все уже произведенное ею остается съ нами, остается на вѣки. Не даромъ уже приводились и будутъ не разъ еще приводиться слова самого Достоевскаго (объ его Зосимѣ): «праведникъ отходитъ, а свѣтъ его остается».

¹⁾ Напечатано было въ «Новомъ Времени» того же года, № 1882 (26-го мал).

Будемъ-же чаще подходить къ этому свъту, чтобы все болье и болье озарять имъ потемки въ нашей душъ и нашемъ умъ, чтобы наконецъ отогръться при этомъ тепломъ свътъ отъ холода нашего равнодушія или нашего унынія! Но въ записной книжкъ Достоевскаго сохранились наброски мыслей, предназначавшихся для будущихъ номеровъ его «Дневника». Я выберу изъ этой драгоцънной книжки все то, что или совершенно не затрогивалось покойнымъ прежде съ такой стороны, или-же, напоминая прежнее, отличается тою неотдъланностью формы, которая именно и носитъ на себъ отпечатокъ первобытной свъжести и не успъвшей еще остановиться ни передъ чъмъ непосредственности. Начинаю съ находящатося въ записной книжкъ опредъленія покойнымъ самого себя, особенностей своего направленія.

«При полномъ реализмѣ, —говоритъ онъ тутъ, —найти въ человѣкѣ человѣка — это русская черта по преимуществу, и въ этомъ смыслѣ я, конечно, народенъ (ибо направленіе мое истекаетъ изъ глубины христіанскаго духа народнаго), хотя и неизвѣстенъ русскому народу теперешнему, но буду извѣстенъ будущему. Меня зовутъ психологомъ; неправда, —я лишь реалистъ въ высшемъ смыслѣ, т.-е. изображаю всѣ глубины души чело-

въческой»!

Найти въ человъкъ человъка, т.-е. во внъшнемъ дъйствительномъ человъкъ найти не менъе дъйствительнаго человъка внутренняго (въ этомъ-то смыслъ и взывалъ Достоевскій въ Москвъ: «найди себя въ себъ») — это, стало бытъ, и есть нашъ народный реализмъ, вмъщающій въ себъ, стало-быть, и настоящій, т.-е. не приподнятый, трезвый, здоровый идеализмъ. Достоевскій считалъ себя обязаннымъ этимъ своимъ направленіемъ народному духу, почерпнувшему его изъ самыхъ глубинъ христіанства. Къ этимъ-то глубинамъ христіанства приводилъ Достоевскій всю сущность своего и народнаго настроенія, и какъ болъзненно чуялось ему до конца жизни, что многіе изъ его поклонниковъ его вовсе не понимаютъ. Нъкоторые изъ нихъ, въ самомъ

дълъ, сконфуженные указаніями противниковъ Достоевскаго на то, что они у него называли «постнымъ масломъ», выкидывали изъ Достоевскаго это «постное масло», тогда какъ самъ онъ и не мыслилъ себя безъ него.

«Дразнили меня,—говорить онъ въ одномъ изъ набро сковъ,—необразованною и ретроградною върою въ Бога... Имъ и не снилось такое сильное отрицаніе Бога, какое положено въ «Инквизиторъ» 1) (и въ предшествовавшей главъ), которому отвътомъ служить весь романъ...

Въ виду этихъ главъ могли-бы отнестись ко мнѣ хотя и научно, но не столь высокомѣрно по части философіи, хотя философія и не моя спеціальность. И въ Европѣ такой силы атеистическихъ выраженій нѣтъ и не было. Стало быть, не какъ мальчикъ-же я вѣрую въ Христа и Его исповѣдую, а черезъ большое горнило сомнѣнья моя осанна прошла, какъ говоритъ у меня-же въ

томъ-же романѣ чортъ».

Извѣстно, какимъ глумленіямъ подвергся со стороны извѣстной части нашей печати этотъ карамазовскій чортъ, являющійся на самомъ дѣлѣ геніальнымъ русскимъ олицетвореніемъ (среди геніальныхъ европейскихъ олицетвореній) духа отрицанія и зла. Духъ этотъ понятъ и выставленъ Достоевскимъ именно въ своей современнѣйшей нашей формѣ—какъ готовый уже примкнуть къ хору вопіющихъ «осанна», но удержанный такъ-называемымъ «здравымъ смысломъ», и продолжающій свое старое дѣло «по долгу службы и соціальному своему положенію» 2).

Достоевскій, со своею «прошедшею черезь большое горнило сомнѣнья осанною», продолжаеть въ другомъ наброскѣ: «Огромный фактъ появленія на землѣ Іисуса и всего, что за симъ прошло, требуетъ, по моему, и научной разработки. А между тѣмъ не можетъ-же погнушаться наука и значеніемъ религіи въ человѣчествѣ, — хотя-бы въ виду историческаго только факта, поразительнаго своею непрерывностью и стойкостью. Убѣжде-

¹⁾ Известный эпизодъ «Братьевъ Карачазовыхь». 2) Братья Карамазовы, т. II, стр. 498.

ніе-же человѣчества въ прикосновеніи мірамъ инымъ, упорное и постоянное, тоже вѣдь весьма значительно. Нельзя-же вѣдь рѣшить его однимъ почеркомъ пера, тѣмъ способомъ, какъ вы рѣшили про Россію, т.-е. «у

всъхъ младенческихъ народовъ» и т. д.»

. Но кромѣ людей, готовыхъ отнести народную «осанну», какъ и различныя бытовыя черты нашего народа, къ давно пережитымъ другими «ребячествамъ», есть и люди, признающие религію вообще и высшее ея проявленіехристіанство-въчною стихіею въ человъчествъ, но именнорелигіи-то въ настоящемъ смыслѣ и не находящіе въ русскомъ народъ. Но и въ этомъ смыслъ они неизбъжностановились противниками Достоевского. Онъ, разумъется, признавалъ и самъ, что въ русскомъ народъ нътъ настоящаго христіанскаго просвъщенія, но, вмість со славянофилами, онъ думалъ, что русскій народъ, при всемъ своемъ религіозномъ «невѣжествѣ», болѣе всякаго другого народа усвоиль себъ сердцемъ нравственное учение христіанства, духъ котораго вёрнёе сохраняется въправославін, чёмъ въ западныхъ его формахъ -- католичествъ и протестантствъ. Вполнъ согласно съ Хомяковымь, Достоевскій считаль Западь въ сущности утратившимъ въроисповъдныя преданія и пришедшимъ къравнодушному относительно религіи раціонализму. На возраженія съ противной стороны служить, повидимому, отвътомъ следующій набросокъ:

«Вы говорите: да вѣдь Европа сдѣлала много христіанскаго помимо папства и протестантства. Еще-бы! Не сейчасъ-же тамъ умерло христіанство, умирало долго, оставило слѣды. Да тамъ и теперь есть христіане, хотя и страшно много извращеннаго пониманія

христіанства».

Это извращенное понимание христіанства, легшее въ самую основу европейскаго общества и его несомивнно высокой культуры, и прежде усматривалось Достоевскимъ въ томъ, что и до сихъ поръ въ этомъ обществъ, несмотря на всъ формальныя усовершенствования его строя, «одна малая часть человъчества владъетъ всъмъ

остальнымъ человъчествомъ, какъ рабомъ», и именно въ наше время эта малая властная часть всё свои фактическія права основываеть на исключительномъ служенін мамонъ. Христіанство, по пониманію Достоевскаго, издавна перестало на Западъ быть «царствомъ не отъ міра сего»; заразившись міродержавіемъ стараго языческаго Рима, оно проповъдывалось на единомъ міровомъ языкѣ, помимо всякой заботы объ общедоступности такой проповёди, проповёдывалось при помощи меча и при постоянномъ заревѣ тѣхъ костровъ, которые возжигались и для колдуновъ и въдьмъ, и для всякаго рода еретиковъ (въ томъ числѣ и такихъ, какъ Гусъ, какъ Галилей, какъ Савонарола). Та-же чисто мірская ревность по вёрё въ сущности перешла и въ протестантство, и только выработавшійся изъ него раціонализмъ пришель наконець къ идей свободы совисти путемъ все болье и болье водворяющагося равнодушія къ въръ. Въ противоположность всему этому Достоевскій могь указывать на непрерывность преданій первобытнаго любвеобильнаго христіанства на греческомъ Востокъ, несмотря на доставшееся и Византіи наслідіе римской міродержавности со всею ея языческою закваскою. Онъ могъ указывать на тѣ-же преданія чистаго христіанства у насъ на Руси, сказавшіяся не только въ отсутствін процессовъ колдуновъ и вѣдьмъ и святой инквизиціи, но н въ проповеди прямо противоположнаго духа, проповеди свободы совъсти на чисто религіозной, чисто върующей основь. Достоевскій могь указывать и на то, что духь религіозной нетерпимости сталь сказываться у нась не безъ ссылокъ на примёры католическаго Запада, а окрапъ и перещелъ въ открытое учение подъ прямымъ вліяніемь западной схоластической школы, чослужившей образцомъ для нашихъ первыхъ духовныхъ академій.

«Полная свобода въроисповъданія и свобода совъсти, — говорится у Достоевскаго въ одномъ изъ набросковъ, — есть духъ настоящаго христіанства. Увъруй свободно — вотъ наша формула. Не сошелъ Господь со креста, чтобы насильно увърить внъшнимъ чудомъ, а хотълъ именно

свободы совъсти. Вотъ духъ народа и христіанства, если-же есть уклоненія, то мы ихъ оплакиваемъ».

Такія уклоненія, разумѣется, есть и уже издавна, начиная съ Геннадія Новгородскаго и Іосифа Волоцкаго. Они сильно сказались въ Никонѣ (этомъ патріархѣ, не чуждомъ вожделѣній папства), приведены въ систему Стефаномъ Яворскимъ. Эти печальныя уклоненія продолжаютъ сказываться и въ теперешнихъ нашихъ отношеніяхъ къ старообрядству, исповѣдникъ котораго былъ изученъ Достоевскимъ еще въ «Мертвомъ домѣ» и съ любовью изображенъ имъ въ «Запискахъ» объ немъ.

Да, Достоевскій оплакиваль подобныя уклоненія потому, что стоять за нихъ можно только при мнимой, книжнической религіозности. А религіозность Достоевскаго отличалась совершенно инымъ характеромъ. Сънею не даромъ неразрывно соединялась у него и нравственность, единая настоящая нравственность, даже и не мыслимая, по мнѣнію его, внѣ религіозной, т.-е. чисто религіозной, безъ всякихъ примѣсей, почвы. Въ записной его книжкѣ сохранились слѣдующія его возраженія од-

ному изъ противниковъ:

«Педостаточно опредёлять нравственность вёрностью своимъ убёжденіямъ. Надо еще безпрерывно возбуждать въ себё вопросъ: вёрны-ли мои убёжденія?.. Сожигающаго еретиковъ я не могу признать нравственнымъ человёкомъ, ибо не признаю тезисъ, что нравственность есть согласіе съ внутренними убёжденіями. Это лишь честность (русскій языкъ богатъ), но не нравственность. Нравственный образецъ и идеалъ есть у меня—Христосъ. Спрашиваю: сжегъ ли бы Онъ еретиковъ? Нётъ. Ну, такъ значитъ сжигать еретиковъ есть поступокъ безнравственный. Инквизиторъ уже тёмъ однимъ безнравственъ, что въ сердцё его, въ совёсти его могла ужиться идеа о необходимости сожигать людей 1). Орсини тоже. Конрадъ Валденродъ тоже...

¹⁾ Вспомнимъ, какъ дико звучитъ у г. де-Вогюэ сравнение самого Достоевскаго съ «инквизиторомъ».

Иногда нравственнѣе бываетъ не слѣдовать «убѣжденіямъ» и самъ убѣжденный, вполнѣ сохраняя свое убѣжденіе, останавливается отъ какого-то чувства и не совершаетъ поступка. Бранитъ себя и презираетъ умомъ, но чувствомъ, значитъ совѣстью, не можетъ совершитъ и останавливается (и знаетъ наконецъ, что не изъ трусости остановился). Это единственно потому остановился онъ, что призналъ—остановиться и не послѣдовать «убѣжденію» поступкомъ болѣе нравственнымъ, чѣмъ еслибъ послѣдовать. Засуличъ: «тяжело поднять руку пролить кровь». Это колебаніе было нравственнѣе, чѣмъ само пролитіе крови».

Замѣчу мимоходомъ, что взглядъ Достоевскаго на борьбу между такъ-называемымъ «убѣжденіемъ» и совѣстью могь бы послужить темою для объясненія съ новыхъ сторонъ «Гамлетовскаго» начала въ человѣкѣ. То, что въ немъ представляется слабостью воли, тогда-бы представилось въ иномъ свѣтѣ. Само собой разумѣется, что побѣда совѣсти должна наконецъ сильно измѣнить и самое «убѣжденіе», которому, можетъ быть, вѣрнѣе бы называться въ подобномъ случаѣ просто мнъніемъ, такъ какъ мнѣніе есть только головной выводъ, убѣжденіе же гармонически обнимаетъ весь душевный составъ чело-

вѣка.

Извѣстно, что та основа Достоевскаго, которую называютъ «постнымъ масломъ», навлекала на него нареканія самаго неблаговиднаго свойства, едва-ли впрочемъ искреннія даже со стороны самыхъ явныхъ враговъ. Вотъ отвѣтъ имъ въ одномъ изъ набросковъ:

«Я ничего не ищу и ничего не приму, и не миѣ хва-

тать звъзды за мое направленіе.

Я, какъ и Пушкинъ, слуга царю, потому что дѣти его, народъ его не погнушаются слугой царевымъ. Еще больше буду слуга ему, когда онъ дѣйствительно повѣритъ, что народъ—ему дѣти. Что-то очень ужь долго не вѣритъ».

Достоевскій очень хорошо зналь и прямо говориль, на какой онь сторонь. Онь находиль, что и всякій должень

бы это знать и стойко стоять на своей сторонв. Впрочемь, онъ все болье и болье увърялся въ томъ, что у насъ дъйствительно выяснились въ последнее время и, такъ сказать, выстроились другъ противъ друга двъ стороны. Въ одномъ изъ его набросковъ мы читаемъ:

«Двѣ партін въ бою, въ настоящемъ организованномъ

бою. Ложно, если говорять, что нъть партій».

Далье въ записной книжкъ попадаются однако-же оговорки: «У насъ дошло до того, что Россіи надо учиться, обучаться, какъ наукъ, потому что непосредственное пониманіе ея въ насъ утрачено. Не совсъмъ, конечно; и блаженъ тотъ, который не утратилъ непосредственнаго пониманія ея. Но такихъ немного. Всякій такой уже не западникъ и уже не партія. Партія только западничество, ибо за нею власти, русская же партія не собрана и не организована, но за то опирается на весь народъ, а нъкоторые вожаки ея понимаютъ непосредственно народныя начала, въ нихъ въруютъ и ихъ исповъдуютъ. Роль этой партіи еще вся впереди, но она будетъ несомнънно».

Тогда, быть можеть, анахронизмомъ представится мивніе, что власти за западничество. Дѣло въ томъ, что именно оно-то—эта давно сложившаяся и окрѣпшая партія—представлялась Достоевскому не имѣющею глубокой основы. Она казалась ему, какъ это ни покажется обиднымъ для нашихъ западниковъ, не культурною—она, прямо основывающаяся на культурномъ переворотѣ Петра. Но культурой признавалъ Достоевскій только то, что органически развилось изъ своихъ корней. Такою имъ всегда и признавалась сама по себѣ западная культура; но мы, только взявшіе ее на прокатъ, представлялись ему просто не имѣющими культуры. Въ этомъ онъ и видѣлъ причину цѣлаго множества нашихъ золъ. Вотъ что находится, между прочимъ, въ его наброскахъ:

«У наст не только готовыми мыслями, но и готовыми

страданіями экивуть» (безъ культуры-то).

«Нигилизмъ явился у насъ потому, что мы всё нигилисты. Иасъ только испугала новая оригинальная форма его проявленія (всѣ до единаго Оедоры Павловичи 1)...»

«Нѣтъ, какъ можно, толкуютъ мудрецы,—мы не нигилисты, а мы только на отрицаніи Россіи хотимъ спасти ее...»

«Сравненіе нигилизма съ расколомъ (Уманца). Да

расколъ много пользы принесъ...»

«Безпрерывныя жалобы, что не оживляется общество (комично)». Да какъ же ему и оживиться, т.-е. откуда взять оживляющую силу, когда у него, по мивнію Достоевскаго, корней ніть и почвы ніть. Потому-то нітть и не можеть быть тіхть устойчивых руководящих началь, которыми только и вызывается настоящая жизнь, а есть лишь одна сумятица, одинъ разбродъ. Сюда отно-

сится въ записной книжкъ слъдующій набросокъ:

«Нѣмцы, поляки, жиды—корпораціи и себѣ помогаютъ. Въ одной Руси нътъ корпораціи она одна раздълена. Да сверхъ этихъ корпорацій еще и важивищая прежняя административная рутина. Говорять: наше общество не консервативно. Правда. Самый историческій ходъ вещей (съ Петра) сдёлаль его не консервативнымъ. А главное: оно не видитъ, что сохранять. Все у него отнято, до самой законной иниціативы. Всё права русскаго человька отрицательныя. Дайте ему что положительное, и увидите, что онъ будетъ тоже консервативенъ. Въдь былобы что охранять. Не консервативень онь потому, что нечего охранять... Необычайная стремительность къ воспріятію новыхъ идей, съ необычайнымъ желанісмъ каждый разъ, съ воспріятіемъ новаго, растоптать все старое-съ ненавистью, съ оплеваньемъ, съ позоромъ. Какъ бы жажда отмщенія старому...»

Возможность оживленія открывалась передъ Достоевскимъ только въ томъ, что забылось именно съ Петра и забвенье чего представлялось Осдору Михайловичу чёмъ-

¹⁾ Старики Карамазовы съ ихъ безпутствомъ, т.-е. не всѣ непремънно съ безпутствомъ въ правахъ, за то почти всѣ съ безпутствомъ въ мысляхъ. (Такъ, въроятно, понималъ это Достоевскій).

то въ родѣ Исавова права первородства, проданнаго за чечевичную похлебку чужой культуры. Съ тъхъ самыхъ поръ какъ крестьянинъ Посошковъ, вполнъ однако сочувствовавшій просвётительнымъ стремленіямъ Петра, указалъ ему, во имя простого здраваго смысла и подъ вліяніемъ старыхъ преданій, на народосовътіе, не какъ право, а какъ обязанность передъ государствомъ, - съ тёхъ поръ это слово такъ и не употреблялось никъмъ изъ нашихъ самыхъ передовыхъ, самыхъ культурныхъ писателей — такъ оно и забылось, вплоть до славянофиловъ. Достоевскій совершенно проникнутъ быль духомъ этого слова, именно въ его непритязательномъ смыслъ, въ смыслѣ искренняго подспорья для власти, существующей, по народному пониманію, для народа, а потому п справляющейся объ его нуждахъ — у кого-же, какъ не у него самого. Въ наброскахъ Достоевскаго мы читаемъ:

«Земскій соборъ... Доктринеры пусть поучатся у народа смиренію и какъ такое великое дѣло надобно дѣлать. А великое это дѣло: царю всю правду сказать...

И какъ плодотворно будетъ обучение, сколько перебъгутъ, какъ осиротъютъ доктринеры, вся молодежь отъ нихъ отшатнется, даже взрыватели отшатнутся и примкнутъ къ русской правдъ. Останутся только старые доктринеры; отжившие свой срокъ колпаки 40-хъ годовъ» 1).

Когда-же со стороны даже нѣкоторыхъ изъ этихъ доктринеровъ стали раздаваться голоса какъ будто-бы не за что иное, какъ за то-же посошковское безхитростное «народосовѣтіе», то Достоевскому не совсѣмъ-то этому вѣрилось, и онъ во всякомъ случаѣ видѣлъ тутъ недоразумѣніе со стороны доктринеровъ. Въ записной книжкѣ у него говорится по этому поводу:

¹⁾ Между тыт та редакція, съ которою быль связань Достоевскій, не желан вразумиться этимь, продолжаеть только тянуть свою пысню о «дворинской эрі» да «сильной (т.-е. губернаторской и полицейской) власти». Достоевскому дыйствительно сильная власть не представлялась взяможною безь народосовітил.

«Наши либералы, стоящіе за земство противъ чиновничества, противоръчатъ себъ. Земство, правильное земство — это поворотъ къ народу, къ народнымъ началамъ (столь осмъянное ими словечко). Такъ устоитъ-ли европензмъ въ настоящемъ-то видъ, если правильно укоренится земство? Это еще вопросъ и, въроятиъе всего, что

не устоитъ».

Достоевскій, однако, не думаль ограничиваться силами одного непочатаго народа Онь считаль необходимою, онь призываль и разыскиваль и интеллигенцію — но такую, которая действительно могла-бы стать, какъ выражаются, «историческою душою народа», т.-е. онъ разыскиваль интеллигенцію, ставшую духомь оть народнаго духа. Намь помнится, что онъ находиль невозможнымь обойтись даже безь самаго этого выраженія «интеллигенція», хотя оно и бьеть какъ-то по уху, несмотря на свою затасканность, или, можеть быть, именно вслёдствіе ея. Въ записной книжке Достоевскій касается этого вопроса, обозначая впрочемь такъ-называемую интеллигенцію рус-

скимъ терминомъ.

«Что такое у насъ лучшіе люди? Дворянство разрушено. Во Франціи тоже было разрушено. Почетный легіонъ привился, но не исчерпалъ задачи (въ Европъ лучшихъ людей создаетъ власть). У насъ Петръ Великій, чтобы подавить аристократію бояръ, ввель 14-ть классовъ. Есть аналогія съ почетнымъ легіономъ. Привилось, но и не начинало исчерпывать задачи. Не признано духомъ народнымъ, да и у чиновниковъ начало банкрутиться (чиновники по найму, аферисты, адвокаты болбе пересолять). А между тёмь, безь лучшихь людей нельзя. Но Петръ тоже поступиль по западному духу, надёлавъ 14-ть классовъ. Лучине пошли отъ правительства, а не оть духа народнаго. Лучшіе пойдуть отъ народа и должны пойти. У насъ болве чёмъ где-нибудь это должно организоваться. Правда, народъ еще безмолвствуетъ, хоть и называетъ, кромѣ Алексѣя человѣка Божія, Суворова, напримъръ, Кутузова... Но у него еще нътъ голоса. Годосъ-же интеллигенціи сбить и народу не понятень, да и не слышенъ. Богъ знаетъ, кого интеллигенція поставить лучшимъ. Парижская коммуна и западный соціализмъ не котятъ лучшихъ, а котятъ равенства и отрубятъ голову Шекспиру и Рафаэлю. У насъ въ народѣ нѣтъ зависти. Сдѣлайте народу полезное дѣло и станете народнымъ героемъ (но не возвышая его до себя, любите народъ, а

сами принизившись передъ нимъ)».

Чтобы показаться народу дъйствительно своими, лучшіе люди, по понятію Достоевскаго, должны быть совершенно свободны отъ всякихъ высокомърно-благодътельскихъ, т.-е. презрительныхъ отношеній къ нему. Хотя-бы и считая себя листами дерева, они, по глубокому смыслу Крыловской басни, должны постоянно помнить о питающихъ ихъ корняхъ, помнить, что они отъ народа и немыслимы сами по себъ. Въ январьскомъ (предсмертномъ) своемъ «Дневникъ» Достоевскій говориль объ оздоровленіи корней, какъ объ основной задачѣ для государства. Вотъ, что должны понять наши лучшіе люди, скромно помогая государству въ безотлагательномъ дѣлѣ оздоровленія корней. И въ записной книжкѣ Достоевскій говоритъ:

«Облегчить народъ... Гдё взять денегь? Для этого непремённо и неотложно обложить налогомъ высшіе, богатые классы и тёмъ снять тягость съ бёднаго

класса...

Аксіома, что тамъ и благосостояніе, гдѣ твердо стонть земледѣліе... «Пе будетъ земледѣлія—не будетъ и финансовъ».

Но Достоевскому плохо върплось въ безпритязательную простоту отношеній къ народу нашихъ наличныхъ лучшихъ людей. А только при такой безпритязательной простотъ отношеній и возможна истинная объ немъ заботливость. Отсутствіе этой настоящей заботливости слишкомъ часто изобличалось передъ зоркимъ взглядомъ покойнаго тъмъ, что кажущіеся друзья народа даютъ себя отпугивать отъ него ходячими, яко-бы либеральными фразами. Сюда относится въ его записной книжкъ слъдующая замътка:

«Жиды. И хоть-бы они стояли надъ-всей Россіей кагаломъ и заговоромъ и высосали всего русскаго мужика—и пусть, пусть, мы ни слова не скажемъ. Иначе можетъ случиться какая-нибудь нелиберальная бъда: чего добраго подумають, что мы считаемъ свою религію выше еврейской и тъснимъ ихъ изъ религіозной нетериимости. Что тогда будеть? Подумать только, что тогда

будетъ!»

Какъ оправдались теперь эти слова! Не наша-ли «либеральная» печать 1) подготовила тотъ взглядъ, по которому современныя избіснія жидовъ въ столь различныхъ мъстахъ объясняются совершенно помимо издавнихъ хищническихъ отношений къ народу «жидовства» (Достоевскій постоянно употребляль этоть терминь, какъ обозначеніе цёлаго жизненнаго направленія, способнаго проявляться въ самыхъ различныхъ народностяхъ, хотя преимущественно развившагося, въ силу историческихъ причинъ, въ еврейской національности). Возставая противъ всякаго насилія, Достоевскій, конечно, возсталь-бы и противъ этихъ избісній, только не позабылъ-бы сказать и жертвамъ, чтобы они прежде всего оглянулись на самихъ себя, не успоконваясь взваливаниемъ всего происшедшаго исключительно на однихъ агитаторовъ. Какъ-бы то ни было, они, а не кто другой, представили въ данномъ случав наиболье благодарную почву, какъ они-же съ другой стороны поставляють въ ряды агитаторовъ едва-ли не самыхъ безшабашныхъ сторонниковъ, а отчасти, быть можеть, поставляють и капиталы. При помощи этихъ последнихъ, по крайней мере, несомивнио одурманивается часть нашей читающей публики, т.-е. и нашего общественнаго мижнія».

Вполнъ сознавая всю несостоятельность этого послъдняго, Достоевскій, однако-же, возлагаль на него боль-

шія надежды въ будущемъ.

«Общественное мижніе, — говорится въ одномъ изъ набросковъ, у насъ дрянное, кто въ лъсъ, кто по дрова, но

¹⁾ Въ этомъ случав даже въ тонъ съ «Московскими Ведомостями».

его кое-гдѣ боятся, стало быть оно своего рода сила, а стало быть и годиться можетъ. Скажутъ: существование нашего общественнаго мнѣнія мало обезпечено; такъ, но оно уже тѣмъ хорошо, что существуетъ, дрянненькое, а существуетъ, но главное такъ существуетъ, что сократить его теперь не только невозможно, но даже немыслимо, несмотря на то, что существование его, какъ выражаются, не обезпечено. Уничтожить общественное мнѣніе—такъ (не то, что ничего больше не будетъ, а и то, что есть, исчезнетъ. Общественное мнѣніе—дрянное, потому что до сихъ поръ еще только что зародилось и кто въ лѣсъ, кто по дрова. Слагается-же оно долгимъ ходомъ исторіи, многими поколѣніями».

Свидътельствомъ о легковъсной дрянности нашего общественнаго мнънія служило для Достоевскаго, между прочимъ, и постоянное звучаніе въ немъ ругательной

ноты.

«Только и дѣлаютъ, что ругаются,—говоритъ онъ,—и коть дѣйствительно иногда дурное ругаютъ, такое, что ужь никакъ нельзя похвалить, но когда прочтешь, какъ они ругаются, то всегда невольно спросишь себя: что-же гаже? То-ли, что они такъ обругали, или они сами?»

Вполив признавая, однако, что не вся-же наша печать сплошь и кряду проникнута такою нечистоплотностью, онъ далеко также не былъ доволенъ и тою частью ея, которая вполив благовоспитана и никакъ уже не легковъсна. Онъ справедливо замъчалъ у насъ много совершенно трезвыхъ, спокойныхъ, чисто кабинетныхъ дъятелей,—но они за то отталкивали его отъ себя своею отвлеченною книжностью.

«Чрезмърная ученость, —читаемъ мы въ записной книжкъ, —не всегда есть тоже истинная ученость. Истинная ученость истинная ученость истинная ученость истинная ученость не только не враждебна жизни, но въ концъконцовъ всегда сроднится съ жизнью и даже указываетъ и даетъ въ ней новыя откровенія. Вотъ существенный и величавый признакъ истинной учености. Не истинная-же ученость, хотя-бы и чрезмърная, въ концъ-концовъ всегда враждебна жизни и отрицаетъ ес. У насъ объ ученыхъ

перваго разряда что-то не слыхать, второго-же разряда было довольно и даже только и есть, что второй разрядь. Такъ что, будь расчрезмърная ученость, и всетаки второй разрядъ. Но ободримся, будетъ и первый. Когда-нибудь да въдь будетъ-же онъ. Къ чему терять

всякую надежду?»

Главную надежду на исправление нашихъ культурныхъ изъяновъ (которыми, конечно, и объясняются указанныя явленія), возлагаль Достоевскій на русскую женщину, какъ будущую проводницу здравыхъ культурныхъ началъ въ семью, а черезъ нее, наконецъ, и въ общество. Не даромъ Достоевскаго съ особенною любовью проводило въ могилу именно женское учащееся покольніе. Нимало не смущаясь никакими сплетнями объ уродливостяхъ въ проявленіи нашего «женскаго вопроса», онъ не переставаль благословлять женщину на тотъ умилительно выносливый учебный трудь, оть котораго не отвлекаеть ее у насъ ни безвыходная нужда, ни обидная брань. Онъ зналь, что, поставивъ себя умственно въ уровень со своимъ учащимся братомъ, трудясь на одномъ полъ знанія съ мужемъ или юношей-сыномъ, она наконецъ получитъ въ семьв не только питающее (въ чисто хозяйственномъ смыслѣ), но и высокое воспитывающее значение.

«Вся отпибка женскаго вопроса, —говорится въ записной книжкѣ, —въ томъ, что дѣлятъ недѣлимое. Берутъ мужчину и женщину раздѣльно, тогда какъ это единый цѣлокупный организмъ: «мужа и жену создалъ ихъ». Да, и съ дѣтьми, и съ потомками, и съ предками, и со всѣмъ человѣчествомъ человѣкъ единый цѣлокупный организмъ. А законы пишутся, все раздѣляя и дѣля на составные эле-

менты. Церковь не дълитъ.

Въ природѣ все разсчитано на нормальность, все разсчитано на святого и на безгрѣшнаго (мужчинѣ 30 лѣтъ и женщинѣ 30). Красота дается женщинѣ вначалѣ, чтобы привязывать мужчину, ибо нравственная связь еще слаба. Потомъ и не надо ужь красоты, любятъ женщину потому, что сживутся душами (органическое соединеніе)».

Это соединеніе, по его взгляду, держится тёмъ, что одною стороною внутренно, духовно восполняется другая, такъ что только въ объихъ вся полнота человъческой природы. Понятно изъ этого, что Достоевскій не могъ не стоять за сохраненіе въ самой развитой женщинъ, или, лучше сказать, за высшее развитіе въ ней той женственности (въ ея настоящемъ смыслъ), которая услужливыми медвъдями женскаго вопроса именно и выбрасывается за бортъ.

Ожидая для народа руководителей вълицѣ образованныхъ «лучшихъ людей», Достоевскій не могъ не желать, чтобы они все болѣе и болѣе выходили непосредственно изъ рядовъ самого народа. Онъ не могъ, стало быть, не придавать особеннаго значенія народному образованію. Въ

записной книжкъ у него набросано:

«Два разряда народныхъ школъ: въ однѣхъ только читать, кое-какъ писать (выучатся, будутъ писаря, очень многіе забудутъ) и три молитвы; а потомъ другой разрядъ школъ для крестьянъ-же, повыше. 2-го разряда пока очень мало, но былъ-бы первый разрядъ, и вотъ уже вы породили силу. Кто грамотенъ, тотъ уже двинулся, тотъ уже пошелъ и поѣхалъ, тотъ уже вооружился, и увидите, какъ черезъ нѣсколько лѣтъ у васъ уже сами собой явятся школы для крестьянъ повыше: потребность выростетъ, охота родится, и школы сами произойдутъ. А у насъ все вдругъ».

Понятно, что въ непосредственной связи съ народными школами должны быть и дальнъйшія школы—ть, въ которыя могли-бы наконецъ переходить и заканчивать образованіе будущіе «многочисленные Ломоносовы». Въ записной книжкъ указывается на постановку всей системы воспитанія на самобытную, національную почву. Какъ реалистъ въ высшемъ смыслъ слова, реалистъ, относящій къ реальностямъ и идеальный міръ, Достоевскій не могъбыть реалистомъ въ обыкновенномъ смыслъ, смыслъ, подчасъ какъ будто подходящемъ къ матеріализму. Вотъ почему онъ не могъ быть тъмъ, что у насъ называется реалистомъ, а былъ, наоборотъ, классикомъ. Но классиче-

ское образованіе представлялось ему гуманитарнымъ, т.-е. никакъ не приводимымъ къ одному словарю и грамматикъ ради «пдеебоязни». Потому-то онъ не могъ не быть во многихъ отношеніяхъ противъ нашего педагогическаго классицизма, проводимаго часто въ ущербъ его міровому смыслу— въ маломъ видъ какъ-бы à la Pierre le Grand. Въ записной книжкъ Достоевскаго мы читаемъ:

«Все вдругъ и съ классицизмомъ... Постепенность не была соблюдена вовсе. Произвели классическую реформу отвлеченно. Главное, забыли, что мы-не Европа. За насаждение великой мысли спасибо Каткову и покойному Леонтьеву, ну, а въ примѣненіи мысли нельзя похвалить. Ввели дубиной. Чтобъ не было идей. Наберутся своихъ, тогда хуже. Исторія у насъ дала-бы духовныя идеи. Духовныя иден у нѣмецкаго мальчика другія, —его строй, его быть, его національность. А у насъ въ семействъ лишь растленіе. Исторія-бы спасла отъ растленія и направила-бы умъ юноши хотя-бы въ міръ историческій изъ отвлеченнаго бреда и бурды, составляющихъ духовный міръ нашего общества. Однимъ словомъ, поступили не національно (а нашъ мальчикъ развитье нъ сцкаго). Регулировать только-бы учителей словесности, чтобы не преподавали либеральныхъ абсурдовъ. Пришло-бы само собою».

Въ другомъ мъстъ онъ еще яснъе развиваетъ ту-же

мысль.

«Нѣмецкій ребенокъ: «оттого что мы культура, оттого мы всѣхъ умнѣе и всѣхъ сильнѣе (ужь коли нѣмецъ начнетъ хвалиться); не армія побѣдила Францію, а школьный учитель». На взглядъ отца и сына—гимназія святое лѣло.

У некультурнаго русскаго отца—или чиновничество, или картежъ, или, если онъ чѣмъ-нибудь занимается, отвлеченность, міровые вопросы, жажда внѣшнихъ формъ, конституція, матеріализмъ, вѣчное lamento, при малѣйшемъ сознаніи, что такое честь и совѣсть (чего не можетъ-же не видѣть и не замѣтить сынъ его) и, главное,

полное непониманіе всего того, что подъ носомъ, отвращеніе отъ всего того, что подъ носомъ. Ну, такъ то-же самое и у его сына. Но исторія, всемірная исторія, по країней мѣрѣ, вселила-бы уваженіе къ историческимъ

формамъ жизни человъческой, дала-бы смыслъ...

Вѣдь кричали о преимуществѣ естественныхъ наукъ всѣ тѣ, которые въ нихъ ничего не знали. Взгляните на редакторовъ и издателей газетъ — развѣ они что знаютъ?.. А во-истину ученый нашъ (иной даже замѣченъ въ Европѣ по своей спеціальности) — это большею частью превосходные спеціалисты... но большею частью люди необразованные и которые, конечно, уже ничего не понимаютъ въ классической системѣ образованія. Надъ этими—вершители дѣла, въ невинности своей считающіе себя блестящими европейцами, по невинности, именно, большею частью, по совершенной невинности своей, ровно ничего не понимающіе въ Россіи — ну и что-жъ выйдетъ? Ничего не выйдетъ, какъ ничего и не вышло...

Нфть культуры.

Вводя постепенно, не насаждая образованія, а постепенно подготовляя почву, талантливъйшие вышли бы классиками, и вотъ мало-по-малу получился бы контингентъ молодежи съ правильнымъ образованіемъ. Она бы и послужила началомъ будущему. Темъ временемъ, черезъ извъстные періоды, каждыя 8 льтъ, напримъръ, или каждые 4 года, можно бы и умножать постепенно часы для классическихъ языковъ... Долго ждать, но было бы върнъе, а то все разомъ, какъ бы въ 20,000 версть жельзныя дороги, которыя построились у насъ въ 10 лътъ, отвлекши всъ свободные капиталы отъ земли и отъ промышленности. У насъ все вдругъ. Выдумали чеховъ (пусть не оскорбяются этимъ, прибавлю я отъ себя, наши почтенные соплеменники: гуртомъ пустились къ намъ изъ отечества, конечно, большею частью плохіе чехи, и, конечно, не могли стать хорошими русскими), голодныхъ, безучастныхъ, враждебныхъ къ юношеству, не знающихъ русскаго языка и свысока смотрящихъ на русскій языкъ. Ихъ не полюбили, презпрали и смѣялись надъ ними. Иногда даже патріотическое чувство въ мальчикѣ было оскорблено, а у насъ ужасъ какъ немного оставалось его».

Изъяны нашего классицизма объясняль Достоевскій, какъ это ясно, его посторонними, не прямо педагогическими цѣлями—назначеніемъ его служить отводомъ пдей, вслѣдствіе того, что есть пдеи нигилистическія. На взглядъ же Достоевскаго эти послѣднія скорѣе даже совсѣмъ не пдец, а наше отечественное (по некультурности) опошленіе пдей западныхъ—соціалистическихъ. Но Достоевскому и эти послѣднія представлялись существенно угрожающими собственно Западу; у насъ же, по его мнѣнію, онѣ могли бы найти себѣ самый мирный и безопасный исходъ, только бы нашлось умѣніе совладать съ ними, переставъ подтверждать пословицу, что

«у страха глаза велики».

Вотъ что читаемъ мы въ записной книжкѣ со ссылкою на «Новое Время» № 1667: «Пророчество барона Гюбнера о ближайшемъ соціалистическомъ движеніи во Франціп и Европ'в». Приглашается Россія къ союзу (Россія не должна. Она должна наблюдать свои выгоды. Соціализмъ рухнетъ у ея ногъ). Во Франціи же неминуемо примкнутъ къ соціализму іезупты и всѣ католики, выгнанные по глупости Гамбетты изъ Парижа, примкнутъ легитимисты, всё бонапартисты. Правда, консервативная Франція еще сильна, несмотря на глупость правителей и на глупость республики. Но это начало конца. Конецъ міра идетъ. Конецъ стольтія обнаружится такимъ потрясеніемъ, какого еще никогда и не бывало. Россіи надо быть готовой, не двигаться, взирать и ждать. Только бы Россія не увлеклась въ союзъ. О ужасъ! конецъ ей тогда, совсемъ конецъ! Нетъ у насъ соціализма, советмъ нътъ. Есть только нъсколько птенцовъ гнъзда Петрова. Здоровая же часть Россіи не двинется, а она безчисленна».

Съ западнымъ соціализмомъ Достоевскій, какъ извістно уже изъ напечатаннаго въ его «Дневникъ», оригинально сближалъ западное «жидовство».

Вотъ что набросано въ записной книжки:

«Жидовство, какъ фактъ всего міра. Католичество, уступающее жидовству. Франція, разрушающая себя окончательно въ католичествъ, ибо если не католичество, то должны были сейчасъ принять соціализмъ. Они же не хотятъ ни того, ни другого. Остался одинъ буржуззный либералъ со своими безсмертными принципами

89-го года. Скудное содержание».

Та-же мысль набросана туть въ другомъ месте такимъ образомъ: «Бисмаркъ, Биконсфильдъ, французская республика, и Гамбетта, и т. д. — все это, какъ сила, одинъ только миражъ, и чемъ дальше, темъ больше. Господинъ и имъ, и всему, и Европъ-одинъ только жидъ и его банкъ. И вотъ услышимъ: вдругъ онъ скажетъ veto, и Бисмаркъ отлетитъ какъ скошенная былинка. Жидъ и банкъ — господинъ теперь всему: и Европъ, и просвъщенію, и цивилизаціи, и соціализму. Соціализму особенно: имъ онъ съ корнемъ вырветъ въ Европъ христіанство и разрушить ея цивилизацію. И когда останется лишь одно безначаліе, туть жидь и станеть во главъ всего. Ибо, проповъдуя соціализмъ, онъ останется межъ собой въ единеніи, а когда погибнеть все богатство Европы, останется банкъ жида. Антихристъ придетъ и станетъ на безначаліи».

Но у нашей границы, по мижнію Достоевскаго, могъ бы быть остановленъ и этотъ «антихристъ». Для Европы отъ давнишнихъ соціальныхъ золъ дѣйствительно иѣтъ излѣченія, кромѣ такъ-называемыхъ героическихъ способовъ, въ которыхъ, съ другой стороны, уже пришлось тамъ отчаяться. У насъ же далеко не столь глубокое зло вполнѣ поправимо—самымъ мирнымъ государственнымъ способомъ. Стоитъ лишь дѣйствительно озаботиться оздоровленіемъ корней—поднятіемъ экономическаго благосостоянія народа, такъ величаво освобожденнаго рукою того, кто палъ позорящею насъ жертвою дикаго отраженія у насъ западныхъ соціально-революціонныхъ ученій. Народъ проклинаетъ и будетъ проклинать убійцъ, несмотря ни на какіе громкіе ихъ посулы,

и считаетъ; своего освободителя мученикомъ. Такой народъ, сказалъ бы и теперь Достоевскій, заслуживаетъ довърія, заслуживаетъ того, чтобы все наше вниманіе, всъ наши усилія устремлены были на него и на его долю.

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ДОСТОЕВСКАГО и ТУРГЕНЕВА ¹).

Знаете-ли, что можно жизнь самаго лучшаго человъка изобразить въ такихъ краскахъ — и ничего не прибавляя, замътъте — что всякій ужаснется!

Тургенсвь (въ «Рудинв»).

Невольно вспоминаются эти слова при кое-какихъ сообщенияхъ послѣдняго времени какъ о Достоевскомъ, такъ и о самомъ Тургеневѣ, особенно-же о взаимныхъ ихъ отношенияхъ. Даже въ привлекательныхъ задушевной своей простотой воспоминанияхъ о Тургеневѣ Я. П. Полонскаго (въ «Нивѣ») оказывается кое-что въ этомъродѣ. Сообщая (въ № 4) эпиграмму Тургенева на Достоевскаго, какъ автора «Бѣдныхъ людей», авторъ воспоминаній замѣчаетъ: «Въ ней нѣтъ ничего особенно обиднаго, соль ея далеко не ѣдкая; но Достоевскій, уже и въ то время болѣзненный, былъ не изъ числа тѣхъюношей, которые, прочтя эпиграмму, отнеслись-бы къней шутя, какъ Дружининъ, или-бы охотно ему за нее простили, какъ Кетчеръ. Достоевскій могъ впослѣдствій

¹⁾ Напечатано было въ «Недъль» 1884 г. № 8.

совершенно забыть эту эпиграмму, но семя вражды,

глухое и безсознательное, осталось въ немъ» 1).

Я. П. Полонскій говорить это, конечно, со словь самого Тургенева, который въ 1872 г. писаль М. А. Милютиной по поводу отношеній къ нему Достоевскаго (въ «Бѣсахъ»): «Поступокъ Ө. Д. не удивиль меня нисколько; онъ возненавидѣль меня уже тогда, когда мы оба были молоды и начинали свою литературную карьеру, хотя я ничѣмъ не заслужилъ этой ненависти. Но бъзпричинныя страсти, говорятъ, самыя сильныя и продолжительныя».

Между тъмъ, изъ одного давнишняго письма Достоевскаго (Я. П. Полонскій, въроятно, не успъль его прочитать въ I т. полнаго собранія его сочиненій) прямо видно, что если онъ въ молодости питалъ къ Тургеневу «безпричинную» или другого рода страсть, то ее никакъ нельзя назвать ненавистью. Вотъ что писаль Достоевскій брату Михаилу Михайловичу 17-го ноября 1845 года: «Па-дняхъ воротился изъ Парижа поэтъ Тургеневъ (ты върно слыхалъ) и съ перваго раза привязался ко мнъ такою привязанностью, такою дружбой, что Белинскій объясняеть ее тёмъ, что Тургеневъ влюбился въ меня. Но, братъ, что это за человъкъ! Я тоже едва-ль не влюбился въ него. Поэтъ, талантъ, аристократъ, красавецъ, богачь, умень, образовань, 25 льть, - я не знаю, въ чемъ природа отказала ему. Наконецъ: характеръ неистощимо прямой, прекрасный, выработанный въ доброй школѣ...»

Рыцарь горестной фигуры, Достоевскій, юный пыщь! На носу литературы Ты вскочнаь, какъ яркій прыщь. Хоть ты новый литераторь, Но въ восторгь ужь всёхъ новергь. Тебя хвалить Императорь, Уважаеть Лейхтенбергь.

(Стихотвореніе И. С. Тургенева. Спб. 1885 г., стр. 222).

¹⁾ Вотъ эта эпиграмма:

Письмо это писано до появленія въ печати «Бѣдныхъ людей», но когда съ ними уже хорошо познакомились въ нашемъ литературномъ міръ. Эпиграмма Тургенева появилась, конечно, уже по напечатаніи романа, и ею, разумъется, не подтверждается воображаемая Достоевскимъ «влюбленность» въ него Тургенева. Но ни въ одномъ изъ дальнѣйшихъ писемъ Оедора Михайловича не видимъ мы и мальйшаго указанія на эпиграмму или на зависящія отъ нея ненавистныя отношенія его къ Тургеневу. Въ концѣ своей сибпрской поры, жалуясь на то, что ему, сравнительно съ Тургеневымъ, мало платятъ, Достоевскій говоритъ: «Я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но вёдь не слишкомъ-же хуже и, наконецъ, я надыюсь написать совсымь не хуже». По поводу «Отцовъ и дѣтей» у Тургенева съ Достоевскимъ завязалась переписка, изъ которой видно, что тогдашнія ихъ отношенія были самыя дружественныя.

Относящіяся сюда письма Тургенева переданы были А. Г. Достоевскою, взявшему на себя изданіе Тургеневских писемь, В. П. Гаевскому. Изъ этихъ писемъ видно, что Тургеневъ считалъ оцѣнку Достоевскимъ «Отцовъ и дѣтей» самою безпристрастною и глубокою. (Желательно, чтобы и письма Достоевскаго объ этомъ, находящіяся, надо думать, въ бумагахъ Тургенева у г-жи Віардо, были доставлены А. Г. Достоевской для будущаго дополненнаго

изданія писемъ ея покойнаго мужа).

Размолвка между двумя внаменитыми писателями произошла только послѣ «Дыма» при свиданіи ихъ въ Баденъ-Баденѣ въ 1878 г. Если судить по тому, что разсказалъ объ этомъ со словъ Тургенева г. Евг. Гаршинъ въ «Историч. Вѣстникѣ» (ноябрь 1883 г.), со стороны Достоевскаго сказалась и тутъ чисто-личная подкладка. «Не добрый онъ былъ человѣкъ,—говорилъ при г. Гаршинѣ Тургеневъ увлекавшемуся Достоевскимъ послѣ его пушкинской рѣчи московскому студенту,—не добрый онъ былъ человѣкъ и не могъ равнодушно относиться къ чужому успѣху». Въ Баденъ-Баденѣ Достоевскій, находясь въ затрудинтельномъ положеніи, взялъ у Тургенева какую-то незначительную сумму денегъ. Уже отдавъ деньги, онъ все-таки, по словамъ Тургенева, «чувствовалъ тяжесть своего обязательства относительно человека, котораго онъ не любилъ, а тутъ, какъ нарочно, пищей для этого раздраженія оказался злополучный «Дымь».—«Эту книгу надо сжечь рукой палача», будто-бы сказалъ Достоевскій, взявъ книгу въ руки. Тургеневъ (къ сожальнію, считаетъ нужнымъ замътить самъ г. Гаршинъ, вся эта сцена происходила одинъ-на-одинъ) скромно освѣдомился о причинахъ и въ отвътъ услышалъ цълую обвинительную ръчь на тему: «вы ненавидите Россію, вы не върнте въ ся будущее» и т. д. — однимъ словомъ, Достоевскій отождествляль Потугина съ самимъ Тургенсвымъ 1). При этомъ г. Гаршинъ совершенно върно замѣчаетъ, что въ числѣ матеріаловъ для біографіи Достоевскаго находится письмо его къ А. Н. Майкову, относящееся къ этому самому эпизоду. Но письмо это напечатано съ такими пропусками, что трудно и догадаться, въ чемъ его главное содержание. Послъ того, что разсказано о печальномъ эпизодъ со словъ Тургенева, деликатность, руководившая издателями писемъ Достоевскаго, оказывается совершенно излишнею. На основании стараго правила: «audiatur et altera pars», следовало-бы припечатать письмо Достоевского въ полномъ видъ, какъ дополнение къ І-му тому, бывшему уже готовымъ къ выходу въ свёть въ то время, когда появилась статья г. Гаршина. Я читалъ это письмо въ подлинникъ и знаю, что какъ-бы «невыгодно,-по словамъ г. Гаршина,-ни отзывался Тургеневъ о нравственныхъ качествахъ Достоевскаго», съ Тургеневымъ его развели не какія-ни-

¹⁾ Спустя нѣсколько времени, прибавляетъ г. Гаршинъ, Иванъ Сергѣевичъ получилъ извѣщеніе отъ издателя «Русскаго архива», что Достоевскій обратился къ пему съ письмомъ, въ которомъ воспроизведенъ вышеупомянутый монологъ, но не какъ обвиненіе противъ Тургенева, а какъ его личная исповъдь, въ формулѣ: «я ненавижу Россію, и т. д.» При этомъ Достоевскій просилъ опубликовать это письмо никакъ не ранѣе извѣстнаго срока (сколько помию, 10 — 15-лѣтнаго). Извѣстно, что г. Вартеневъ уже сообщилъ въ отвѣтъ на это о полученіи имъ — не письма Достоевскаго, а выписки изъ письма его къ А. Н. Майкову, писанной пеизвъстно чьею рукой.

будь личныя побужденія или счеты, а исключительно то, что Достоевскій не могь помириться съ Потугинымъ. въ которомъ, по словамъ Өедора Михайловича, Тургеневъ призналъ свое собственное исповъдание (это, конечно, могло произойти только въ пылу раздраженія, на самомъ-же дёлё вёдь и то, что говорить Потугинъ, оказывается у Тургенева «дымомъ»). Изъ-за Потугина, можно сказать, т.-е. изъ-за направленія, олицетвореннаго Тургеневымъ въ лицѣ Потугина и сказывавшагося, по мижнію Достоевскаго, уже въ Белинскомъ, Достоевскій возненавидёль и знаменитаго критика, несмотря на подкупавшее самолюбіе Достоевскаго, преувеличенно восторженное, по мнѣнію Тургенева, отношеніе Бѣлинскаго къ «Бѣднымъ людямъ». Тургеневъ, видѣвшій въ этомъ «прославленіи свыше міры» «одинъ изъ первыхъ промаховъ Бълинскаго», объясняемый «уже начинавшимся ослабленіемъ его организма» 1), быль великодушно далекъ оть объясненія тёмь-же самымъ и того, что Бёлинскій считалъ Тургенева способнымъ только на очерки въ родѣ Даля и лишеннымъ настоящаго творчества. Что-же касается Достоевскаго, то въ письмъ 1871 г. о Бълинскомъ, которое такъ покоробило многихъ, онъ приводитъ въ числѣ другихъ крупныхъ промаховъ критика и то, что «онъ сказалъ, что Тургеневъ не будетъ художникомъ, а между тёмъ это сказано по прочтеніи чрезвычайно значительнаго разсказа Тургенева «Три портрета» 2). Не значить-ли это, что бадень-баденская размолвка нимало не измѣнила прежнихъ отношеній Достоевскаго къ Тургеневу, какъ художнику. Если-же въ 1870 г. онъ писалъ про Тургенева, «что художественная способность его ослабѣла и должна была ослабѣть», то не сходится-ли онъ туть съ мнинемъ самого Тургенева въ письми къ г-жи Милютиной отъ 17-го мая 1871 г.: «Голосъ остался, говорить онъ туть про себя, да пъть нечего. Следовательно, — лучше замолчать. А пъть нечего, потому что я

¹⁾ Воспоминанія о Бълинскомъ.

²⁾ Сочиненія Достоевскаго, томъ I (письмо), стр. 313

живу вив Россіи, -а не жить вив Россіи я по обстоятельствамъ всесильнымъ не могу» 1). Только въ концъ слъдующаго 1872 г. Тургеневъ имѣлъ дъйствительно основаніе жаловаться на то, что онъ назваль «поступкомъ» Достоевскаго, нимало не удивившимъ его потому, что онъ, по его увъренію, считалъ Достоевскаго возненавидъвшимъ его еще съ молодыхъ ихъ лътъ. Мы видъли, что Тургеневъ въ этомъ последнемъ отношении ошибался. «Поступокъ» 1872 г. однако-же остается несомнинымъ. «Достоевскій, —пишеть Тургеневь, —позволиль себѣ нѣчто худшее, чемъ пародію 2); — онъ представиль меня, подъ именемъ К*** (Кармазинова, разумъется), тайно сочувствующимъ Нечаевской партіи. Странно только, что онъ выбраль для пародін единственную пов'єсть, пом'єщенную мною въ издаваемомъ некогда имъ журнале, повесть, за которую онъ осыпалъ меня благодарственными и похвальными письмами 3). Эти письма сохраняются у меня,—говоритъ Тургеневъ. —Вотъ было-бы забавно напечатать ихъ! Но онъ знаетъ, что я этого не сдълаю». Теперъ, когда обоихъ на свътъ нътъ, эти письма, какъ и всякія письма того и другого, должны непременно быть напечатаны, потому что когда дёло касается такихъ людей, какъ они, всякая утайка должна считаться непозволительной. Такіе люди должны предстать передъ потомствомъ во всей полнотъ и ясности своего настоящаго, а не подтасованнаго, такъ сказать, значенія. И такіе люди всегда сумбють сами за себя постоять передъ потомствомъ, которое съ своей стороны всегда оказывается и болже безпристрастнымъ и менъе близорукимъ, чъмъ современники. Тургеневъ въ своемъ письмъ 1872 г. кончаетъ словами: «мнъ остается жальть, что Достоевскій употребляеть свой несомниньий таланть на удовлетворение такихъ нехорошихъ

^{1) «}Русская Старина», 1884 г. январь, стр. 190.

²⁾ Въ «Въсахъ».

3) Тургеневъ тутъ разумъетъ «Призраки», напечатанные въ 1-ой (двойной) книжкъ «Эпохи» 1863 г. Насколько редакція дорожила Тургеневымъ, можно судить по доставленному ему гонорару въ 1.000 руб. (всего, по послъднему изданію, 2½ печатныхъ листа). (Сообщено Н. Н. Страховымъ).

чувствъ». Тургеневъ, очевидно, предполагалъ все тъ-же личности, которыми онъ себъ объяснилъ и баденъ-баденскую размольку, силою воображенія даже создавь для нея; какъ мы видели, небывалый издавній задатокъ въ какойто «безпричинной ненависти» къ нему Достоевскаго. На самомъ-же дёлё Өедоръ Михайловичь, всегда отдававшій должное художественному таланту Ивана Сергъевича, могъ благодарственно превозносить его за повъсть совершенно помимо редакторскаго расчета (ужь этого-то не могло быть у Достоевскаго), а вполнѣ искренно, ради ея художественнаго значенія. Потомъ-же, по страстной впечатлигельности своей бользненно-нервной натуры, Достоевскій могъ усмотръть у Тургенева—не столько въ «Призракахъ», сколько въ «Довольно» (въ народіи, которая пом'єщена въ «Бѣсахъ»—заглавіе «Мегсі», а это скорѣе похоже именно на «Довольно») своего рода позирование передъ публикой. Не что иное, какъ только позирование-противное ему уже потому, что это что-то совстмъ не наше, чему у насъ даже своего названія нѣтъ и чего и признаковъ нѣтъ у такого народнаго поэта, какъ Пушкинъ-не что иное, какъ позирование выставиль Достоевскій и въ Кармазиновъ, а именно разсчитанное на возвращение себъ популярности позированіе передъ молодежью. Онъ могъ невърно понять объяснительныя статьи Тургенева по поводу «Отцовъ и дътей», такъ высоко оцененныхъ имъ самимъ, Достоевскимъ, за такъ ярко сказавшуюся туть неумытную правду художника. Но Достоевскій совершенно искренно оскорбился и огорчился за художническое и гражданское достоинство Тургенева вследствие того, что она, по мнению Достоевского, принималь уже слишкомъ къ сердцу то обстоятельство, что на имя его будто-бы «налегла тень» (т.-е. во мнени общества). «Я себя не обманываю, — писаль въ 1869 г. Тургеневъ, — я знаю, эта тънь съ моего имени не сойдетъ» 1). Достоевскому казалось, что такой преемникъ общаго ихъ учителя Пушкина, какъ Тургеневъ, могъ-бы съ большимъ спокойствіемъ слёдовать совёту поэта:

¹⁾ По новоду «Отдовъ и дѣтей».

...Дорогою свободной Пди, куда зоветь тебя свободный умь, Усовершенствуя плоды любимых думь, Не требуя наградъ за подвигь благородный!

Достоевскому, при его прямо страстной правдивости, показалось, что Тургеневъ, за предълами своего творчества, вдается въ исканіе популярности, а съ этимъ-то и не могъ онъ никогда помириться, и это-то и пародироваль онъ въ Кармазиновъ. Между тъмъ, Тургеневъ, съ не меньшею въ данномъ случав страстностью, подумаль, что Достоевскій выставляеть его «тайно сочувствующимъ нечаевской партіи». Ту-же самую страстность Достоевскій вносиль несомнённо и въ свои отношенія къ Бълинскому, т.-е. страстность въ служеніи правдѣ или тому, что онъ всѣми силами своей души считаль за правду (тогда какъ лично Бълинскій долженъ бы былъ навсегда его подкупить «прославленіемъ свыше мѣры», по выраженію Тургенева, его перваго литературнаго шага). Между тъмъ, и страстности Достоевскаго по отношению къ «великому критику» способны у насъ придавать какое-то неблаговидное, такъ сказать, «докладывающее» значение. Это последнее выражение мною-же и было употреблено въ моихъ публичныхъ лекціяхъ 1) о современной русской литературь, о которыхъ напоминаетъ миъ К. К. Арсеньевъ въ своей стать о біографіи Достоевскаго 2), находя противор вчіе между тогдашнимъ моимъ взглядомъ на «Бъсовъ» и позднъйшимъ (высказаннымъ въ біографіи). Сколько помнится, и и тогда не относиль «Бѣсовъ» къ «докладывающему» направленію. Этого слова, многимъ тогда понравившагося, впрочемъ, мнъ и не напоминаетъ К. К. Арсеньевъ, озадаченный тёмъ, что я въ біографіи Достоевскаго называю романъ «Бъсы» — въ «психологическомъ смыслѣ автобографическимъ и такъ странно у насъ непонятымъ». «Желательно было-бы знать, - гово-

¹⁾ Прежнемъ, т.-е. 2-мъ изданіи. 2) Въ «Въстникъ Европы».

ритъ г. Арсеньевъ, -- упрекаетъ ли г. Милдеръ въ этомъ странномъ непониманіи и самого себя?» Положительно упрекаю, могу я ему отвътить, указавъ уже на невърность, по моему мнѣнію, моего прежняго пониманія «Бѣсовъ» и въ университетъ, и на высшихъ женскихъ курсахъ, и въ позднейшихъ моихъ публичныхъ лекціяхъ о Достоевскомъ 1). Теперь я считаю этотъ романъ—въ художественномъ отношении наименте выдержанный — однимъ изъ самыхъ глубокихъ по замыслу, служащимъ дальнайшимъ воспроизведениемъ тахъ жизненныхъ явленій, происхожденія которыхъ Достоевскій коснулся еще въ «Преступленіи и наказаніи». Ту святотатственную «игру на благородныхъ струнахъ человъческой души», которая воспроизводится въ «Бъсахъ», окончательно пойметъ и оценитъ потомство, и,, понявъ, воздастъ дань тому, кто еще долго, какъ писатель и человекъ, будетъ оставаться у насъ предметомъ частью настоящаго, частью напускного непониманія.

Равнымъ образомъ, и та «тѣнь», которая, по мнительному мнѣнію Тургенева, «не сойдетъ съ его имени»,— въ будущихъ поколѣніяхъ обратится въ яркій ореолъ художника, съ неумытною правдою относившагося къ самымъ щекотливымъ и самымъ загадочнымъ явленіямъ нашей жизни.

Видълись Тургеневъ и Достоевскій въ послѣдній разъ въ Москвѣ на Пушкинскомъ праздникѣ. Вдохновенная рѣчь Достоевскаго увлекла, говорятъ, и Тургенева, пожавшаго руку оратору, когда онъ спускался съ кафедрыВпрочемъ, слово ораторъ тутъ совершенно невѣрно, и объяснять громовое впечатлѣніе, произведенное рѣчью (даже не сказанною, а прочитанною), собственно «ораторскимъ искусствомъ» Достоевскаго, какъ дѣлаетъ это К. К. Арсеньевъ, значитъ не понимать Достоевскаго. Вся сила была (конечно, при мастерскомъ чтеніи) въ искренности, прямотѣ и безстрашной досказанности рѣчи. То, что въ ней наряду съ Пушкинской Татьяной поста-

¹⁾ Въ настоящемъ изданіи онъ воспроизведены.

влена была Тургеневская Лиза, завискло, конечно, не отъ присутствія туть Тургенева, а все отъ той-же честности Достоевскаго. А Тургеневъ, конечно, подалъ Достоевскому руку не ради хвалебнаго отзыва о себф. Потомъ, говорятъ, Тургеневъ вышелъ изъ-подъ обаянія рѣчи-въ качествъ того «неисправимаго западника», какимъ онъ себя считалъ.

А между тъмъ, и проповъди Потугина обозвалъ онъ все тымь же «дымомъ». Это позабываль самь Тургеневъ, и на это не обращалъ вниманія Достоевскій. Въ сущности-же оба сходились въ томъ, что не дымомъ представлялось имъ только великое слово свобода и та народная почва, надъ которой носилось оно, «какъ Божій духъ надъ водами», по высоко-поэтическому сравненію Тургенева. При такомъ заключеніи «Дыма», Достоевскій, не будь онъ такъ нервно страстенъ въ беззавътномъ служении своей идеъ, могъ бы совершенно иначе понять романъ. Но его также недостаточно и односторонне понимаютъ и считающіе себя руководимыми трезвымъ разумомъ почитатели Тургенева. Впрочемъ, полный смысль того, чтб проводилось Тургеневымъ какъ художникомъ, подчасъ, можетъ быть, оставался несовершенно яснымъ и для него самого. Такъ оно, по крайней мірі, очень часто бываеть съ тіми представителями чистаю искусства, къ которымъ несомнённо принадлежаль Тургеневъ и къ которымъ, какъ по свойствамъ своей натуры, такъ и по обстоятельствамъ своей жизни, не можетъ быть отнесенъ, да никогда и не относиль себя самъ Достоевскій 1).

¹⁾ Въ февральской книжкъ «Ист. Въстника» 1884 г. г. Евг. Гаршинъ въ любопытной стать «Испорченная жизнь» пытается выставить Достоевского художникомъ по преимуществу, которому только судьба помешала отдаться вполне своему призванию (въ этомъ и испорченность его жизни). Мнв кажется, что и при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ Достоевскій, какъ слишкомъ живая натура, быль-бы, такъ сказать, воплощениемъ евангельского тезиса, что «не человекъ для субботы, а суббота для человека». Сложись его жизнь ниаче, онь-бы только имель досугь окончательно вырабатывать и выправлять до калейшихъ тонкостей свои произведенія, но въ нихъ бы всегда сказывался не только художникъ, но и душевъдъ-мыслитель и публицистъ.

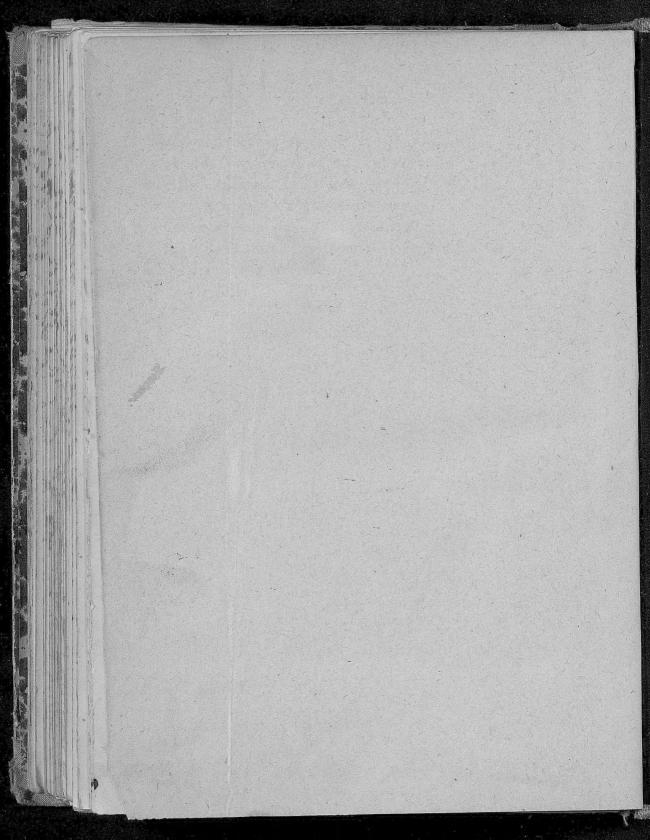
ОГЛАВЛЕНІЕ

1	OT'S ABTOPA	TP.
	НЪСКОЛЬКО СЛОВЪ О ГОГОЛЪ ПО КРИТИКЪ ГОГОЛЕВСКАГО	
	ИЕРІОДА (вивсто введенія)	III
	и. с. тургеневъ.	
	объ общественныхъ типахъ въ повъстяхъ и.с. тургенева.	
	Лекція 1-я. «Записки охотника» и «Рудинъ»	1
	» 2-я. «Дворянское гивздо» и «Наканунв»	
	» 3-я. «Отды и дѣти» и «Дымъ»	51
	тургеневъ какъ художникъ-гражданинъ	86
	ЖЕНОКІЕ ОБРАЗЫ У ТУРГЕНЕВА	97
	О. М. ДОСТОЕВСКІИ.	
	O. In good of bound	
	образы и иден въ сочиненияхъ о. м. достоевскаго.	
	I. «Въдные люди» и другія произведенія первой поры. «Село Степан-	
	чиково». — »Униженные и оскорбленные»	119
	П. «Записки изъ Мертваго дома». — «Записки изъ подполья». — «Зимнія	
		136
		153 177
	IV. «Идіоть». — «Бѣсы»	
	1. Administration management of the second o	

ОГЛАВЛЕНІЕ

	_	_		CTP.
карамазовщина и иночество				
дъти въ сочиненияхъ е. м. достоевскаго		•		300
ө. м. достоевскій какъ нашъ учитель		•		338
ө. м. достоевскій и славянскій вопросъ.	•	•		342
ванисная книжка в. м. достоевскаго		٠		360
нъсколько словъ о взаимныхъ отношенияхъ	1	ĮOC	то-	
ЕВСКАГО И ТУРГЕНЕВА				381





2p.

